

БАНА КАДАМБАРИ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



महाकविश्रीबाणभट्टप्रणीता

कादम्बरी



БАНА ● КАДАМБАРИ



Издание подготовил
П. А. ГРИНЦЕР

Научно-издательский центр
«Ладомир»
«Наука»
Москва

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Д. С. Лихачев (почетный председатель),
В. Е. Багно, Н. И. Балашов (заместитель председателя),
В. Э. Вацуро, М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин,
Н. Я. Дьяконова, Б. Ф. Егоров (председатель), *А. В. Лавров,*
А. Д. Михайлов, И. Г. Птушкина (ученый секретарь),
И. М. Стеблин-Каменский, С. О. Шмидт

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Н. И. НИКУЛИН

© *П. А. Гринцер. Перевод, статья,
примечания, словарь имен,
названий и терминов,
1995*

ISBN 5-86218-221-7



Полному¹ раджаса при сотворении мира,
Сáттвы — в пору его расцвета, тáмаса — при угасании,
Тройственной веды² зиждителю, трех гун воплощению,
Творцу, Хранителю и Губителю³, вечному Брахме слава! (1)

Благословенна пыль со стоп Трехглазого Шивы⁴,
Льнущая к кудрям богов⁵, почернившая голову Бány,
Притушившая блеск камней в коронах могучего Рáваны,
Предел кладущая веренице смертей и рождений!⁶ (2)

Благословен пылающий гневом взгляд Вишну!
Взгляд, которому стоит на миг врага коснуться,
Как грудь того багровеет от хлынувшей крови,
Как будто надвое рвется сама от страха. (3)

Благословенны лотосы ног почтенного Бхрáву⁷,
Которые чтут смиренно владыки Мага́дхи;
Чьи пальцы розовы⁸, высясь на пьедестале
Корон царей окрестных, к ним с мольбой припавших. (4)

Кого из нас не гнетет ненавистников злоба⁹,
Яростных во вражде, подлой и беспричинной?

Уста их всегда полны гибельных оскорблений,
Как жало черной змеи — смертоносного яда. (5)

Злодеи тяжестью своей грубой речи
Обременяют людей, словно железной цепью,
А голос доброго всегда веселит сердце,
Как нежный звон драгоценных ножных браслетов. (6)

Мудрое слово застревает на пути к негодяю,
Будто амрита, застрявшая в горле Раху¹⁰,
Но оно же ложится на сердце доброго,
Будто камень каустубха — на грудь Хари. (7)

Как молодая жена¹¹ искусно и пылко
Прельщает супруга, приблизившись к ложу,
Так эта повесть, искусная, страстная,
Дарует усладу сердцу ценителя. (8)

Кого не возрадует¹² плетеньем рассказов,
Цветистостью слога и многими смыслами
Эта повесть, похожая на гирлянду,
Ловко сплетенную и многоцветную! (9)

Жил некогда брахман Кубера, из рода Ватсыянов,
Чьи ноги-лотосы чтили великие Гупты¹³,
Прославленный в мире, первый из праведников,
Являвший собой на земле подобие Брахмы. (10)

В устах его, чтением вед просветленных,
Очищенных пением жертвенных гимнов,
Ярких от сомы, украшенных знанием,
Всегда пребывала богиня Сарасвати. (11)

Даже птицы в клетках, живущие в доме Куберы,
Слово в слово знали Яджур- и Самавэду,
И ученики его, распевая священные гимны,
Запинались из опаски, что их поправят сороки. (12)

У Куберы родился сын по имени Артхапáти,
Как родился месяц из Молочного океана¹⁴,
Как Хираньягáрбха¹⁵ из яйца мирового,
Как благой Супáрна¹⁶ из чрева Винáты. (13)

К нему, знатоку вед, лучшему из брахманов,
Каждый день стекались новые послушники,
Словно новые побеги сандалового дерева,
Умножая его достоинство, величие и славу. (14)

Щедрыми дарами и многими жертвами
Он открыл себе, смертному, путь на небо,
Как если бы покори́л его боевыми слонами,
Чьи хоботы похожи на победные стяги. (15)

Среди славных его сыновей, великих духом,
Добронравных, искушенных в ведах и шастрах,
Вылся, будто средь гор — Кайлáса,
Беспорочный, как чистый хрусталь, Читрабхáну. (16)

Добродетели благородного Читрабхану,
Яркие, как незапятнанный месяц,
Сердца врагов терзали завистью,
Словно острые когти Нараси́нхи. (17)

Будто черные кудри богинь сторон света¹⁷
Или листья та́малы¹⁸ в ушах богинь веды,
Клубы дыма с воздвигнутых им жертвенников
Только ярче высвечивали его славу. (18)

У него со временем родился сын Бана,
Озаривший семь миров¹⁹ своим блеском,
С чела которого светлые капли пота
Стирала своей ладонью сама Сарасвати. (19)

Этим брахманом Баной — пусть и неловким в слоге,
Пусть неопытным в искусстве живого рассказа,
Пусть подвластным темным соблазнам гордыни —
И была написана эта повесть. (20)

Был царь по имени Шудрака, чьи повеления, склонив головы, чтити все государи. Подобный второму Индре, он правил землей, опоясанной четырьмя океанами;²⁰ великодушный, он завладел сердцами покоренных им царей и обладал всеми признаками властелина мира. Как Вишну, он был отмечен знаками раковины и диска;²¹ как Шива, победил бога любви;²² как Сканды, владел неудержимым копьем; как рожденный из лотоса Брахма, царил над озером белых гусей-государей;²³ как Океан, хранил несметные сокровища; как поток Ганги, следовал благочестивым путем Бхагиратхи;²⁴ как Солнце, сиял каждый день; как Меру, укрывал в своей тени все живое; как Слон, покровитель сторон света²⁵, расточал своей рукой-хоботом бесчисленные дары. Он был вершителем чудесных деяний, устройтелем великих жертвоприношений, зеркалом всех наук, опорой всех искусств, сокровищницей добродетелей, родником нектара поэзии, горой восхода для солнца счастья своих друзей, коме-

той бедствий для недругов, учредителем ученых собраний, покровителем знатоков, самым метким из лучников, самым смелым из храбрецов, самым сведущим среди мудрых. Словно Гаруда, сын Винаты, он карал виноватых; словно Притху — граду гор²⁶, смирял гордецов своим луком.

Одним лишь звуком своего имени разрывавший сердца врагов и одним лишь движением ноги утвердивший свое верховенство над миром, он словно бы смеялся над Вишну²⁷, который должен был стать Человеком-львом, чтобы разорвать сердце Хираньякашипу, и сделать три шага, чтобы измерить вселенную. Богиня царской славы²⁸ привыкла купаться в блеске лезвия его меча, словно бы желая отмыть пятна позора, оставленные на ней за долгие века тысячами дурных государей. В его разуме пребывал Дхарма, в гневе — Яма, в милосердии — Кубера, в мужестве — Агни, в деснице — Земля, во взгляде — Шри, в речи — Сарасвати, в чертах лица — Месяц, в силе — Ветер, в мудрости — Брихаспати, в красоте — Кама, в блеске — Солнце, и потому он казался владыкой Нараяной, воплотившим в себе всех богов и вместившим в себя все стихии²⁹. В сраженьях, которые из-за темных потоков мускуса, льющегося с широких висков боевых слонов, походили на ночи, к нему, будто женщина, спешащая на свидание, всякий раз приходила богиня царской славы. Как бы окутывая мглой, осенял ее черный блеск тысяч доспехов, сбитых царским мечом с широких плеч храбрых воинов, а на

этом мече, будто звезды, сияли большие жемчужины, которые выпали из разрубленных лбов свирепых слонов³⁰ и казались светлыми каплями пота, покрывшими лезвие, когда Шудрака крепко сжал его в своей длани. И огонь его доблести днем и ночью пылал повсюду — даже в сердцах овдовевших жен его недругов, словно бы желая сжечь в них след памяти об убитых супругах.

Когда этот царь, покорив весь мир, правил землей, смуты бывали только сердечными, сражения только между любовниками, строгость законов только в искусстве поэзии, сомнения только в ученых книгах, разлука только в сновидениях, палки только у путников, трепет только в полотнищах знамен, разлад только в музыке, ярость только у диких слонов, кривизна только у луков, решетки только на окнах, темные пятна только на луне, мечях или доспехах, угрозы только в любовных ссорах, пустые поля только на шахматной доске, беспорядок только в женских прическах. И страшились при этом царе одного лишь загробного мира, болтали попусту одни лишь сороки, налагали узы лишь на свадьбах, лили слезы лишь от дыма жертвенных костров, били кнутом лишь лошадей, а лук натягивал один только бог любви.

Царской столицей был город Видиша, который вобрал в себя все приметы золотого века³¹, словно бы избравшего этот город единственным своим прибежищем в страхе перед веком железным, и который был так велик, что казался прародиной трех миров³². Его опоясывала река

Ветравати, чьи гребни волн разбивались о пышные груди резвящихся в ней женщин Мальвы, чьи воды, смешиваясь с красным суриком со лбов пришедших на купание царских слонов, пылали яркими красками заката, а берега оглашались звонкими криками стаяк веселых гусей.

Долго и счастливо царствовал в этом городе Шудрака, наслаждаясь порой собственной юности. Завоевав весь мир, он, беспечальный, сбросил с себя бремя забот о благополучии царства; короны бесчисленных государей, стекавшихся к нему во дворец со всех сторон света, покорно склонились к его ногам; шутя, словно легкий браслет, он нес на своих ладонях всю тяжесть земли. Свиту его составляли бескорыстные, усердные и преданные министры, которые унаследовали свой сан от благородных предков, превосходили мудростью наставника богов Брихаспати и укрепили свой разум неустанным изучением искусства политики. Время он проводил в развлечениях, окруженный равными ему по возрасту, воспитанию и роскоши платья друзьями-царевичами, которые были отпрысками прославленных царских родов, утончили свой ум всевозможными знаниями, обладали мужеством, чувством места и времени и сердцами, преданными славе. Они умели шутить, избегая грубости, владели искусством намека и тайного жеста, знали толк в сочинении стихов, повестей и рассказов, преуспели в живописи и объяснении книг. Крепкими и могучими были их плечи и бедра, а своими руками они, словно молодые львы, не раз разбивали широкие лбы вражеских

боевых слонов. И хотя превыше всего ценили они доблесть, всегда оставались скромными в своем поведении. Одним словом, все они словно были созданы по образу и подобию своего господина.

Царь был красив и молод, и министры надеялись, что он позаботится о продолжении рода, но к усладам любви Шудрака испытывал чуть ли не отвращение и, исполненный великой отваги и жажды воинских подвигов, женщин считал легковесными, как трава. Жены его гарема отличались воспитанностью, скромностью и благородством, красотой же превосходили красоту Рати, но он оставался равнодушным к любовным утехам и предпочитал проводить дни в обществе своих друзей: иногда, увлеченный музыкой, он играл на тамбурине или перебирал струны лютни, так что браслеты на его запястьях металась из стороны в сторону, а серьги в ушах подрагивали и мелодично звенели; иногда, предавшись охоте, он опустошал окрестные леса безостановочным ливнем стрел; иногда в компании знатоков сочинял стихи, или толковал ученые книги, или слушал рассказы и повести, пураны и итихасы; иногда услаждал себя рисованием; иногда пел под лютню; иногда, усевшись у ног святых мудрецов, пришедших с ним свидеться, внимал их наставлениям; иногда разгадывал или сам составлял палиндромы, анаграммы, загадки и ребусы. И так же, как дни, проводил он и ночи: окруженный друзьями, искусными во всевозможных забавах и развлечениях.

Однажды на рассвете, едва только в короне

из тысячи лучей взошло благое солнце и, приоткрыв нежные лепестки бутонов дневных лотов, окрасило землю розовым цветом, к царю Шудраке, восседавшему в Приемном зале, подошла дворцовая привратница. С левого бока у нее свисал меч, точно у мужественного воина, и она казалась прекрасной, но грозной, как сандаловое дерево, полное ядовитых змей. Ее высокая грудь блестела от белой сандаловой мази, и она походила на реку Мандакини, из вод которой выступают два лобных бугра слона Айраваты. Лицо ее отражалось в драгоценных камнях, украшавших короны вассальных царей, и она казалась воплощением воли Шудраки, утвердившейся в их помыслах. Словно осень, она была одета в белое, как перья гусыни, платье; словно палица Парашурамы, она внушала покорность всем царям; словно гора Виндхья, оцетинившаяся тростником, она держала в руке бамбуковый жезл.

Будто богиня — хранительница царской власти, она приблизилась к Шудраке, опустилась перед ним на колени и, коснувшись руками-лианами пола, проговорила: «Божественный, у ворот дворца тебя дожидается девушка-чанда³³, которая пришла с юга и похожа на царскую славу Тришанку³⁴, повергнутую долу грозным возгласом Индры, разгневанного появлением Тришанку в мире богов. Она принесла с собою клетку с попугаем и просит передать царю такие слова: „Ты, царь, подобно океану, хранитель всех сокровищ, какие только есть на земле, а эта птица — сокровище ни с чем не

сравнимое, чудо из чудес. Так рассудив, я пришла припасть к твоим стопам и теперь хочу быть удостоенной счастья лицезреть тебя, божественный“. Выслушав, да повелевает государь!» Сказав это, привратница замолчала. А Шудрака, в ком пробудилось любопытство, глянул на лица окружавших его царей и ответил: «Что здесь дурного? Пусть войдет». И привратница, поднявшись с колен, пошла и привела девушку-чандалу.

Войдя в зал, та увидела царя, который посреди тысячи царей своей свиты был похож на златоглавую Меру, окруженную горами Кула, толпящимися вокруг нее в страхе перед перуном Индры;³⁵ который за пологом лучей от бесчисленных драгоценных камней похож был на дождливый день, сияющий по всем восьми сторонам света³⁶ тысячами радуг; который сидел на кресле из лунного камня под небольшим шелковым балдахином — белым, как пена небесной Ганги³⁷, укрепленным на четырех увитых золотыми цепями драгоценных колоннах и отороченным жемчужными нитями; который водрузил свою левую ногу на круглую скамейку из мрамора, похожую на луну, припавшую к его стопам, когда потерпела поражение в состязании с красотой его лица. Над ним реяло множество опахал на золотых рукоятках, а снизу его озаряло сияние лучей от ногтей на пальцах его ног — сияние, которое темнело, касаясь выложенного сапфирами пола, как будто его пятнали вздохи врагов, ищущих царской милости. Два его бедра алели в блеске рубинов, украшавших

его кресло, и оттого он походил на Вишну, чьи бедра окрашены кровью убитых им демонов Мадху и Кайтабхи. Он был одет в белое, как пена амриты, шелковое платье, на полах которого охрой была нарисована пара гусей и края которого трепетали от ветра, поднятого опахалами. Его грудь, белая от благовонной сандаловой мази, расцвеченная красными узорами шафрана, казалась похожей на гору Кайласу, чьи склоны розовеют от бликов утреннего солнца. На шее его сверкало жемчужное ожерелье, и лицо его казалось второй луной, опоясанной гирляндой звезд. Его предплечья стягивала пара осыпанных сапфирами браслетов, походивших на змей, привлеченных запахом сандала, и казалось, что это цепи, которыми он приковал к себе ветреную богиню царской славы. Мочки его ушей были чуть-чуть оттянуты книзу, нос прям, а глаза похожи на расцветшие голубые лотосы. Его лоб был широк, как золотой серп луны в восьмой день светлой половины месяца, очищен водой помазанья во владыки земли, осенен сулящим счастье пучком волос между бровями³⁸. С венком из душистых цветов малати на голове он казался похожим на Западную гору, когда на рассвете мириады звезд покоятся на ее вершине, а в ярко-красном сиянии драгоценных украшений казался богом любви, опаленным пламенем глаза Шивы³⁹. Вокруг него теснились дворцовые куртизанки, будто хранительницы сторон света, поступившие ему в услужение, и казалось, что сама Земля, охваченная любовью к нему,

начертала в своем сердце его лик, отраженный в драгоценном зеркале пола.

Хотя только ему принадлежала царская слава, он открыл ее для наслаждения всем людям; хотя сам он не имел соперников, все другие соперничали за его благосклонность; хотя располагал он войском из боевых слонов и коней, но полагался только на собственный меч; хотя находился он в одном месте, но наполнял собою весь мир; хотя он прямо сидел на троне, но лучшей опорой ему был кривой лук; хотя затоптал он костры непокорных врагов, ярко пылал огонь его славы; хотя округлы были его глаза, острым казался взгляд; хотя ему знаком был вкус вина, он не знал за собой никакой вины; хотя был он непреклонного мужества, но у всех вызывал поклонение; хотя вознесся на непомерную высоту, но не был высокомерен; хотя светел был его разум, походил он на темного Кришну;⁴⁰ хотя ничем не обременял своих рук, но крепко держал в них бремя мира.

Таким увидела царя девушка-чандала. И чтобы привлечь его внимание, еще на пороге Приемного зала она подняла руку, на которой зазвенел драгоценный браслет и которая была похожа на розовый стебель лотоса, и ударила о пол бамбуковой тростью со стершейся от времени рукояткой. При внезапном звуке удара все присутствующие, будто стадо лесных слонов при падении кокосового ореха, одновременно и сразу повернули головы и, отведя взоры от царя, направили их на вошедшую девушку.

Привратница, указав ей на царя, повелела

оставаться поодаль, а Шудрака внимательно, не отрывая глаз, стал разглядывать девушку. Впереди нее шел человек, чья голова побелела от преклонного возраста, а уголки глаз были красными, как лепестки красного лотоса. Хотя пора его молодости давно миновала, тело его от постоянных трудов сохранило крепость, и, хотя был он низкого происхождения, внешность его не казалась грубой, да и носил он белое платье, подобающее благородным людям. Позади нее стоял мальчик-чанда, чьи спутанные волосы свисали до плеч; он держал в руках клетку с попугаем, от темно-зеленого блеска оперенья которого золотые прутья клетки казались выточенными из изумруда. Сама девушка, юная и прекрасная, была столь смуглой, что походила на Владыку Хари, когда он нарядился красавицей⁴¹, чтобы обольстить асуров и выкрасть похищенную ими амриту, или же на ожившую куклу, сделанную из сапфиров. Одета в темное платье, ниспадающее до самых лодыжек, с красным платком на голове, она походила на лужайку синих лотосов, освещенную вечерним солнцем. На ее круглые щеки падали светлые блики от серег, вдетых в уши, и она походила на ночь, озаренную лучами восходящей луны. На ее лоб желтой пастой была нанесена тилака, и она походила на Парвати, принявшую облик горянки⁴² в подражание Шиве. Она была похожа на Шри, прильнувшую к груди Нараяны и осененную темным сиянием его тела; или на Рати, почерневшую от пепла Маданы, сожженного разгневанным Шивой; или на темный поток

Ямуны, убегающей в страхе от опьяневшего Баларамы⁴³, который грозил вычерпать ее плугом; или на Дургу, чьи ноги-лотосы запятнаны, будто узорами красного лака, кровью только что убитого асуры Махиши. Ногти на ее ногах пламенели от розового блеска ее пальцев, и казалось, она ступает по распутившимся цветам лотосов, не желая касаться жесткого пола, выложенного драгоценными камнями. Тело ее озарял поток красных лучей, льющийся вверх от браслетов на ее лодыжках, и казалось, ее обнимает владыка Агни, который прельстился ее красотой и пренебрег волей Творца, предназначившего ей низкое рождение⁴⁴. Бедра ее были опоясаны кушаком, который казался канавкой с водой, орошающей лиану волос на ее животе, или жемчужной диадемой на голове слона, служащего богу любви. На ее шее, темной, как Ямуна, покоилось ожерелье из блестящих, как воды Ганги, жемчужин. Ее широко раскрытые глаза-лотосы делали ее похожей на осень, густые, как туча, волосы — на дождливый сезон, листья сандала в ушах — на склон горы Малая, поросший сандаловыми деревьями, драгоценная подвеска из двадцати семи жемчужин — на ночное небо с двадцатью семью созвездиями⁴⁵, руки-лотосы — на богиню Лакшми с лотосом в руке⁴⁶. Будто обморок, она морочила головы, лишая людей разума; будто сказочная чаща, навевала чары; будто рожденная среди богов, не нуждалась в богатой родословной; будто греза, могла пригрезиться только во сне; будто куренье из сандала, очищала род чандалов; будто

прекрасное видение, казалась неприкасаемой; будто дальняя даль, была доступна только для взгляда. Будто трава, которой не касалась коса, она не ведала пороков своей касты; будто трость, имела стан обхватом в два пальца; будто Алака, столица Куберы, она ласкала взор своими кудрями.

Глядя на нее, царь, преисполненный изумления, подумал: «Ах, поистине, Творец способен созидать прекрасное даже там, где делать этого не подобает! Но если он уж сотворил красоту, равной которой нет в мире, то почему дал ей в удел такое рождение, при котором нельзя ни коснуться ее, ни насладиться ею? Мне кажется, что, создавая эту девушку, Праджапати не дотрагивался до нее, опасаясь нарушить закон ее касты. Иначе откуда бы это совершенство? Не может быть такой прелести у тела, оскверненного касанием рук! Поистине, это позор для Творца, что он вопреки разумению соединил столь великую красоту со столь низким родом. Эта девушка кажется мне богиней славы асуров: прекрасной, но отпугивающей из-за своей вражды с богами».

Так или почти так подумал царь, а девушка поклонилась ему с достоинством благородной женщины, и серьги ее при поклоне немного нагнулись вниз. Затем она села на пол, выложенный драгоценными камнями, а спутник ее поднял клетку с попугаем, сделал шаг вперед и, обратившись к царю, проговорил: «Божественный, этот попугай, которого зовут Вайшампаяна, постиг все науки, знает все средства политики, помнит наизусть пураны, итихасы и

другие сказания, сведущ в манерах пения, читает и может сам сочинять превосходные повести, пьесы, романы и разного рода стихи, владеет искусством веселой беседы, прекрасно играет на струнных, духовых, ударных и прочих инструментах, танцует и разбирается в танцах, знает толк в живописи, искусен во всевозможных играх, умеет улаживать любовные ссоры, определяет по известным ему приметам норы слонов и коней, мужчин и женщин — словом, он истинное сокровище. И, полагая, что ты, царь, подобно Океану, хранитель всех сокровищ этого мира, дочь моего господина взяла попугая и пришла сюда, чтобы припасть к твоим стопам и попросить взять его себе». Так сказав, он поставил клетку перед царем и отступил назад.

Как только он отошел, попугай, эта лучшая из птиц, поднял вверх правую лапку, повернул к царю голову, пожелал ему счастья и, отчетливо произнося каждый слог, соблюдая должную интонацию и правила грамматики, прочитал в честь государя такие стихи в метре арья:⁴⁷

Груды твоих недругов
причастны суровой аскезе:
Пламень скорби сердечной
сжигает их, словно жертву,
В горьком слезном потоке
свершают они омовенье,
И отвергают упрямо
пищу свою — украшения.

Услышав эти стихи, царь изумился и восхищенно сказал сидящему подле него на чудес-

ном золотом стуле министру по имени Кумарапалита, который, словно наставник богов Брихаспати, владел всеми тонкостями искусства политики и, будучи преклонного возраста и принадлежа знатному роду, считался первым из царских советников: «Слышишь, как ясен выговор и как сладостна интонация у этой птицы. Разве не великое чудо, что он произносит слова, не смешивая разные звуки, четко выделяя гласные и согласные, правильно пользуется грамматикой и поэтическими приемами? И разве не чудо, что, будучи только птицей, он ведет себя как человек — разумно и учтиво. Подумать только: приветствуя меня, он поднял правую лапку и пожелал мне счастья, и прочитал в мою честь стихи в метре арья, искусно соблюдая размер. Обычно звери и птицы ведают лишь страх и голод, знают только случку и сон, понимают одни команды. Откуда же такие чудеса?»

На эти слова Кумарапалита, слегка улыбнувшись, ответил царю: «Божественный, что здесь чудесного? Государю, конечно, известно, что попугай, сороки и кое-какие иные птицы наделены способностью повторять чужие слова. И потому не стоит слишком удивляться, если одна из них, по заслугам в прошлых рождениях⁴⁸ либо искусно обученная каким-либо человеком, приобретает в этом умении особую сноровку. Да к тому же и птицы и звери когда-то владели, подобно людям, членораздельной речью, и лишь из-за проклятия Агни⁴⁹ речь попугаев стала невнятной, а у сло-

нов язык во рту перевернулся кончиком к горлу».

Едва министр так сказал, как загудели полуценные раковины и загремели отсчитывающие время барабаны, возвещая, что лучезарное солнце прошло половину своего дневного пути. Услышав этот гул, царь Шудрака поднялся с кресла в Приемном зале и попрощался с вассальными государями, ибо настал час купания. Как только Шудрака встал, вскочили со своих мест и все другие цари, учинив большую сумятицу: в спешке они толкали друг друга, и острые края их браслетов, имевших форму диковинных рыб, скользя вдоль рук, рвали им платье; из-за нескладных движений цветочные гирлянды на их шеях беспорядочно мотались взад и вперед и переплетались друг с другом; стороны света стали розовыми от шафрановой пудры, поднявшейся над головами; тучи пчел взмыли в воздух с трепещущих венков из цветов малати; лотосы, заложенные за уши, свесились на щеки; а жемчужные нити на груди пустились в танец, когда, отпихивая один другого, цари пытались пробиться вперед, чтобы приветствовать удаляющегося государя.

Приемный зал был оглушен и словно бы приведен в смятение звяканьем золотых браслетов на ногах прислужниц, забросивших опахала за плечи и со всех сторон устремившихся к выходу,— звяканьем, похожим на бормотание старых гусей, опьяневших от меда лотосов; сладостным перезвоном драгоценных поясков, которые скользили по бедрам спящих туда и

сюда дворцовых куртизанок; гоготом гусей, которые жили в озере подле дворца и теперь, привлеченные бречением ножных браслетов, устремились вверх по лестнице, ведущей в зал, крася ее ступени в белый цвет; криками домашних цапель, прибежавших на звон женских поясков,— криками, еще более гулкими и тягучими, чем удары медного колокола; топотом ног сотен вассальных царей, покидавших зал в беспорядочной спешке,— топотом, от которого дрожала земля, будто от раскатов грома; возгласами: «Осторожно! Поберегись!»— которыми привратницы с жезлами предупредительно сдерживали толпу придворных,— возгласами, звучавшими еще громче и протяжней оттого, что им вторили эхом своды царского дворца; скрипом драгоценного пола, по которому елозили короны склонившихся долу царей, царапая его своими зубцами, унизанными алмазами; бряцанием драгоценных серег, которые с грохотом рассыпались по твердому полу, когда цари сгибались в глубоком поклоне; гулом восхвалений придворных певцов, которые выступали вперед и сладкозвучно приветствовали царя, восклицая: «Победы тебе!» и «Долгой жизни!»; жужжанием пчел, которые в испуге от шарканья тысяч ног взлетали с разбросанных по залу цветов; звоном жемчужных нитей на драгоценных колоннах, когда их задевали браслетами суетливо теснящиеся цари.

Отпустив вассальных царей, Шудрака попросил девушку-чандалу не покидать дворца, приказал хранительнице своего ларца с бетелем⁵⁰

отнести попугая Вайшампаяну в глубь дворцовых покоев, а сам удалился в сопровождении нескольких друзей-царевичей. Он снял с себя все украшения, будто солнце, притушившее свои лучи, или небо, сбросившее вниз луну и звезды, и прошел в гимнастический зал, где стояли все необходимые снаряды. Там вместе с царевичами, своими сверстниками, он приступил к бодрящим упражнениям. От немалых усилий тело его покрылось каплями пота, которые на щеках походили на чуть лопнувшие белые бутоны цветов синдхувары, на груди — на жемчужины, рассыпавшиеся из разорванного ожерелья, а на лбу — на брызги амриты, сверкающие на лунном диске⁵¹ в восьмой день светлой половины месяца.

Затем со слугами, которые бежали впереди него с заранее приготовленными купальными принадлежностями, и жезлоносцами, которые — хотя во дворце в это время было мало народа, — как и положено, расчищали ему путь, он направился в царскую умывальню. Под потолком ее был натянут белый балдахин, вдоль стен сидели придворные певцы, посередине высилась наполненная ароматной водой золотая ванна и в ней скамейка из хрусталя, а в одном из углов стояли кувшины с чистой благовонной влагой. Их горлышки потемнели от множества пчел, слетавшихся на сладкий запах, так что они казались прикрытыми черным покрывалом, предохраняющим от солнечного жара. Когда царь, чью голову натерли душистым мылом, собственноручно приготовленным красивыми слу-

жанками из плодов амалаки, ступил внутрь ванны, служанки эти — с туго подпоясанным под грудью платьем, со вздетыми высоко вверх и увитыми браслетами руками-лианами, в которых они держали кувшины с водою, с серьгами, откинутыми назад быстрым движением головы, с заколотыми над ушами волосами — казались богинями, принимающими участие в церемонии царского помазания. Их высокие груди походили на слоновьи лобные бугры, и когда они со всех сторон обступили вошедшего в воду царя, то напоминали собою слоних, обступивших лесного слона. Когда же Шудрака поднялся на хрустальную скамейку, то сам стал выглядеть как Варуна, восседающий на белом гусе.

Затем одна за другою служанки начали поливать царя водою из кувшинов. Те из них, на кого падал темно-зеленый отсвет кувшинов из изумруда, казались обретшими плоть лотосами с чашами из листьев; те, кто держал в руках серебряные кувшины, казались воплощением ночи, льющей потоки света из полного диска луны; те, чье тело от тяжести кувшинов увлажнилось потом, казались речными нимфами с хрустальными кубками, наполненными в местах священного омовения; некоторые казались реками, несущими с гор Малая воду, смешанную с сандаловым соком; некоторые — с кувшинами в руках-лианах, чьи ногти во все стороны рассеивали яркие лучи света, — казались изваяниями богинь у фонтана, разбрызгивающими воду своими пальцами; некоторые — с золотыми

кувшинами с водою — казались богинями дня с кругом солнца в ладонях, жаркими лучами прогоняющего стужу. И все время царского купания слышался трубный гул раковин, который полнил собою все пространство мира и, едва не разрывая уши, сливался с грохотом бесчисленных барабанов, звоном тамбуринов, бубнов, флейт и лютен, с громкими славословиями певцов и поэтов.

Когда царь не торопясь завершил купание, тело его, омытое водой, стало чистым, как осеннее небо. Он надел белое платье, легкое, как высохшая змеиная кожа, обмотал голову шелковым тюрбаном, белоснежным, как прозрачное облако, и стал похож на вершину Гималаев, которую обтекает небесная Ганга. Затем, почтив предков возлиянием воды из пригоршни, а Солнце — чтением гимнов и глубоким поклоном, он направился в храм. В храме царь совершил жертвоприношение в честь Пашупати, а выйдя из него, принес жертву Агни. После этого в комнате для одевания тело царя натерли сандаловой мазью, в которую добавили мускуса, камфары и шафрана, привлечших своим благоуханием гудящий рой пчел. Переменив платье, царь водрузил на голову венок из душистых цветов малати, из украшений оставил одни серьги и в компании царевичей, постоянных своих сотрапезников, отведал еды, доставлявшей наслаждение своим изысканным вкусом.

Вслед за тем, выкурив трубку с благовониями и ополоснув рот, царь взял бетель и поднялся со своего ложа, водруженного на мозаичном

полу. Опершись на руку привратницы, которая, стоя неподалеку, поспешила ему навстречу, он в сопровождении доверенных слуг, которым дозволено бывать во внутренних покоях дворца и чьи ладони затвердели, как кора, от постоянного ношения жезла, направился в Приемный зал. Стены зала, задрапированные муслином, казались сложенными из хрусталя; драгоценный пол, прозрачный, как зеркало, опрыснутый прохладной сандаловой водой, разбавленной мускусом, и усыпанный принесенными в дар цветами, казался небом с бесчисленными звездами; а золотые и серебряные колонны, вымытые сандаловой жидкостью и украшенные деревянным орнаментом, казались божествами — хранителями дома. По залу курился дымок от алоэ, распространяя острый запах благовоний, а посреди зала возвышался помост, на котором стояло ложе, похожее на скалу в Гималаях. Оно было застлано надушенным цветочными духами покрывалом, которое походило на клоч белого облака, уже пролившего свою воду; в изголовье его лежала шелковая подушка, ножки упирались в драгоценный помост, а рядом была скамейка для ног, изукрашенная дорогими камнями.

Царь опустился на ложе, и его телохранительница, сев на пол и положив меч на колени, стала неторопливо и бережно растирать ему ноги своими руками, подобными стеблям лотоса. Расположившись на ложе, Шудрака какое-то время беседовал с царями, советниками и друзьями, составившими, как и обычно после полудня, его окружение, а затем почув-

ствовав желание расспросить попугая об его прошлом. Он приказал находившейся неподалеку привратнице пойти и принести Вайшампаяну из внутренних покоев дворца. Та, опустившись на колени и коснувшись ладонями пола, воскликнула: «Как прикажет божественный!» А затем пошла исполнять повеление и сделала все, как сказал государь.

Спустя короткое время она принесла клетку с Вайшампаяной, и вместе с нею явился к царю смотритель женских покоев. Голова его серебрилась от старости, он опирался на золотой посох, был одет в белое платье, заметно горбился, говорил запинаящимся голосом, ступал важно и медленно и походил на старого гуся, следующего за попугаем из любви к собрату по птичьей породе. Став на колени и коснувшись ладонями пола, смотритель женских покоев проговорил: «Божественный, царицы просили передать тебе, что Вайшампаяна умыт и накормлен. Теперь по твоему повелению привратница принесла его к твоим стопам, государь».

Сказав так, он удалился, а царь спросил у Вайшампаяны: «Пришлась ли тебе по вкусу еда, которой потчевали тебя во дворце?» Тот отвечал: «Божественный, чего только я не попробовал! Я вдоволь попил сладкого, вяжущего сока плодов джамбу, которые своим темно-красным цветом напоминают глаза опьяненных страстью кукушек. Я отведал зерен граната, которые похожи на влажные от крови жемчужины, вырванные когтями льва из висков дикого слона⁵². Я, сколько хотел, поклевал плодов

манго, зеленых, как стебли листьев, и сладких, как виноград. Да что там говорить! Все, чем из собственных рук накормили меня царицы, было восхитительным, как нектар». Царь прервал попугая и сказал: «Довольно об этом. Поскорей утоли наше любопытство и поведай нам по порядку и со всеми подробностями, как и в какой стране ты родился, кто дал тебе имя, кем были твои мать и отец, откуда ты знаешь веды, как обучался шастрам и когда изучил все искусства? Чему ты обязан своими знаниями: прошлым рожденьям или заслугам в нынешней жизни? А может быть, ты и не птица, а кто-то другой, кто принял птичий облик? Где раньше ты был? Сколько тебе лет? Почему живешь в клетке? Как попал в руки девушки-чандалы? И ради чего оказался здесь?» Царь расспрашивал учтиво, но настойчиво и с большим любопытством, и Вайшампаяна, немного помедлив, ответил со всем почтением: «Божественный, рассказ мой долог, но если тебе так угодно, слушай».

РАССКАЗ ПОПУТАЯ

Есть лес, зовущийся Виндхья, который простирается от берегов Восточного до Западного океана и украшает середину земли, будто драгоценный пояс. Этот лес прекрасен своими деревьями, чьи корни пропитаны мускусом, исторгнутым лесными слонами во время течки, а вершины усыпаны гроздьями распустившихся белых цветов, как если бы к ним прильнули сонмы звезд. Стручками перца в этом лесу с

радостным клекотом лакомятся ястребы, а пахучие ветви черной акации ломают хоботами молодые слоны. Этот лес завешан густой листвой, которая по цвету напоминает раздумывавшиеся от вина щеки женщин Кералы или кажется покрытой пятнами красного лака с ног резвящихся лесных нимф. Лианы, переплетаясь, образуют в нем лесные беседки, которые кажутся обителью красоты этого леса. Земля под лианами увлажнена соком плодов граната, расклеваных стайками попугаев, усеяна ягодами и листьями, сорванными с веток какколоы беспокойными обезьянами, посыпана пылью, то и дело летающей со всевозможных цветов, и предлагает усталым путникам постель из лепестков гвоздичного дерева. Рядом растут деревья кетака, карира и бакула; а за ними в зарослях кустарника тамбули висят кокосовые и иные пальмы. Лес затемнен зарослями кардамона, не оставляющими просвета между стволами деревьев и пахнущими таким одурманивающим запахом, что кажется, они залиты мускусом, извергнутым из висков возбужденных страстью слонов. По лесной округе бродят сотни львов, и на них охотятся дикие горцы, желая заполучить жемчужины из лобных бугров убитых львами слонов, застрявшие в их когтях.

Подобно столице владыки мертвых Ямы⁵³, этот лес, кишачий буйволами, грозит смертью; подобно войску, готовому к битве, он щетинится пиками — побегами бамбука, жалит стрелами — жужжащими пчелами, оглашается боевым кличем — рыком львов; подобно Дурге⁵⁴, он пугает

дротиками рогов носорогов и залит кровью красных сандаловых деревьев; подобно великому герою, он высится неприступной горою; подобно сумеркам в день гибели мира⁵⁵, он кажется синим от павлинов, танцующих, точно Шива;⁵⁶ подобно океану во время пахтанья, он полон деревьев шри и травы варуни;⁵⁷ подобно дождливому дню, он темен, как туча; подобно луне со знаком лани⁵⁸ или Большой Медведице, он заселен ланями и медведями; подобно царской власти⁵⁹, он славен опахалами бычьих хвостов и армией могучих слонов; подобно Парвати, покоящейся на льве⁶⁰, он свой покой охраняет львами; подобно Раване, похитителю Ситы⁶¹, он страшен ревом хищников; подобно красавице, он благоухает сандалом и, будто тилаками, украшен лужайками; подобно женщине, страждущей в разлуке, он жаждет веянья ветерка; подобно шее ребенка в ожерелье из тигриных когтей, он опоясан следами тигриных лап; подобно пирушке, он манит медом и хмелем; подобно Земле на клыке Великого вепря⁶², он разрыт клыками диких кабанов; подобно крепостному валу столицы Раваны⁶³, он изобилует деревьями шала, поломанными обезьянами.

Кое-где этот лес украшен травой кушей, гроздьями цветов и охапками листьев, будто зал для свадебной церемонии. Кое-где он щетинится колючками, будто испугавшись рыка разъяренного льва. Кое-где, будто захмелевшая женщина, он что-то невнятно бормочет голосами кукушек. Кое-где, будто пьяный мужлан,

он скрипуче поет стволами деревьев. Кое-где, будто вдова, сбросившая украшения, он роняет на землю пальмовые листья. Кое-где, будто поле битвы, усеянное стрелами, он порос длинными травяными стеблями. Кое-где, будто тело Индры, покрытое тысячью глаз⁶⁴, он изрыт тысячью нор грызунов. Кое-где, будто темное тело Кришны, он чернеет деревьями тамала. Кое-где, будто стяг на колеснице Арджуны⁶⁵, он страшит своими обезьянами. Кое-где, будто дворцовый сад под охраной стражей с бамбуковыми палками, он недоступен из-за бамбуковых зарослей. Кое-где, будто царство Вираты кичаками-воинами⁶⁶, он кичится своими водоемами. Кое-где, будто ночное небо, где Стрелец преследует Козерога, он выслеживает диких коз. Кое-где, будто тот, кто принял подвижнический обет, он рядится в платье из травы и лыка. Хотя не счесть листья на его деревьях, лучшее его украшение — семилиственница. Хотя он и суров с виду, но населен кроткими отшельниками. И хотя темны его заросли, он неизменно чист и светел.

Часть этого необозримого леса зовется Дандакой, и здесь находилась обитель великого мудреца Агастья⁶⁷, того, кто по просьбе царя богов Индры выпил всю воду из океана; чьего приказа не посмели ослушаться горы Виндхья, когда, завидуя горе Меру, они пренебрегли волей богов и протянули в небо тысячу своих вершин, пытаясь преградить путь колеснице солнца; кто съел живьем данаву Ватапи; с чьих ног зубцами своих корон, будто метелками, сме-

тают пыль боги и асуры; кто вознесся на небо и украшает собою, будто тилакой, южное чело небосклона; кому достаточно было произнести только слог «фу», чтобы могучий Нахуша был низвергнут из мира богов на землю. Обитель Агастья, прославленную во всем мире, подобно обители благого Дхармы, окружали деревья, вокруг которых жена мудреца Лопамудра собственноручно прорыла канавки и поливала их оттуда водою, взращивая, как собственных детей. Украшением обители был сын Агастья по имени Дридхадасью, прозванный отцом Дровоношей за то, что он всегда готовил хворост для жертвенного костра, и кто, приняв подвижнический обет, начертав золою на лбу узор из трех линий⁶⁸, облачившись в платье из травы куши, подпоясавшись вервием и взяв в руку посох из дерева палаши, странствовал от хижины к хижине с лиственной чашей и просил подаяния. Посреди обители, даруя ей тень, росли банановые деревья, зеленые, как оперенье попугая, а вдоль ее границ струила быстрые воды река Годавари, как бы придя сюда вслед за своим супругом океаном, выпитым Агастьею.

Неподалеку от обители, в одном из уголков леса, зовущемся Панчавати, жил некогда Рама⁶⁰, который, повинувшись воле отца, отказался от царства, а затем положил конец лживому блеску славы Раваны; жил счастливо вместе с Ситой в красивой лиственной хижине, сложенной Лакшманой, и служал великому Агастье. И хотя Панчавати давно уже опустел, деревья, на которых застыли в неподвижности стаи голубей,

кажутся все еще застланными клочьями дыма от жертвенного костра Рамы, а ветви лиан светятся розовым блеском, словно бы почерпнув его из ладоней Ситы, когда-то срывавшей с них цветы для жертвоприношения. Здесь воды океана, которые выпил, а потом изверг из себя Агастья, словно бы распались на несколько окрестных озер. Здесь лес сияет красным убором свежей листвы, как если бы деревья пропитались кровью бесчисленных воинов Раваны⁷⁰, сраженных ливнем стрел могучего сына Дашаратхи. Здесь старым ланям со стертыми от возраста рогами, которых некогда вскормила Сита, в глухом рокоте туч, напоенных дождевой водою, все еще слышится полнящий пространство трех миров звон лука божественного Рамы, и они прекращают жевать траву и печально рыскают грустными, влажными от слез глазами по всем сторонам света, ставшим для них теперь пустыми. Здесь в давние времена золотая антилопа⁷¹, словно бы подученная своими сородичами, убитыми на охоте Рамой, увела его далеко от дома и обрекла на разлуку с Ситой. Здесь Рама и Лакшмана, печалась из-за утраты Ситы, хотя она и предвещала гибель Дашагривы, попались в руки демона Кабандхи, словно луна и солнце в пасть Раху⁷², и этим повергли в смятение все три мира. Здесь, срезанная стрелой сына Дашаратхи, пала на землю огромная рука демона Йоджанабаху⁷³, и напуганные отшельники чуть не приняли ее за туловище змея Нахуши, приползшего умиловать Агастью. Здесь и сегодня лесные жители любят облик Ситы,

который, дабы утешиться, нарисовал в своей хижине Рама, и им кажется, что она вновь восстает из земли⁷⁴, стремясь повидать обитель, где когда-то жила вместе с супругом.

Поблизости от обители Агастья, где события прошлого и сейчас еще живы у всех в памяти, есть озеро по имени Пампа — безбрежная, бездонная, бескрайняя сокровищница вод. Это озеро кажется вторым океаном, созданным Брахмой по наущению Варуны⁷⁵, который разгневался на Агастью за то, что тот посмел выпить океанские воды. Оно кажется небом, которое в день гибели мира оторвалось от привязи к восьми сторонам света и упало на землю. Оно кажется пропастью, заполненной водою, из которой Великий вепрь поднял на своем клыке земную твердь. Гладь этого озера то и дело колеблют груди-кувшины весело резвящихся в нем жителей гор; на нем цветут белые и голубые лотосы; от капель нектара, сочащегося из раскрытых бутонов лилий, оно все в разноцветных разводах, которые похожи на узоры павлиньих хвостов; на его поверхности светлые лотосы становятся темными из-за облепивших их черных пчел; на нем слышатся радостные крики цапель и громкое гоготанье гусынь, опьяневших от цветочного меда; по нему расходятся веером шумливые волны, поднятые крыльями сотен водяных птиц; оно делает ясный день дождливым из-за тысячи холодных брызг, которые разносит ветер. Оно благоухает цветами, выпавшими из кудрей лесных нимф, которые безбоязненно купаются в его волнах; чарует

ласковым журчанием воды в кувшинах, которые наполняют, спустившись на берег, лесные отшельники; усеяно тысячами гусей, которые неотличимы по цвету от распустившихся лотосов, так что их можно распознать только по голосу; белеет сандаловой пудрой, которую смыло с груди жен горцев во время их купания. Густая пыльца с кустов кетаки, растущих поблизости, стелется по озеру коврами, словно песчаные отмели. Вода у его берегов кажется розовой от одежды, которую полощут в нем отшельники. И всегда над ним веет легкий ветерок, который зарождается в листве деревьев на ближних склонах.

Это озеро со всех сторон окружено лесом, который кажется темным из-за сплошной стены деревьев и, словно дыханием лесных божеств, напоен сладким ароматом множества цветов. Кусты в лесу голы, поскольку все ягоды на них обобрал Сугрива, когда, изгнанный Балином⁷⁶, поселился на горе Ришьямука и каждодневно бродил по лесной округе. Цветы в лесу собирают отшельники для жертвоприношений богам; ветви деревьев обрызганы водой, капающей с крыльев птиц, которые взлетают с озерной глади; на земле под сплетенными лианами, встав в круг, танцуют павлины. К озеру на водопой то и дело приходят серые от густой пыли слоны, которые кажутся тучами, принявшими озеро за второй океан и спустившимися, чтобы почерпнуть из него воды. А посреди озера в воздухе парами носятся чакраваки, и крылья их в темном блеске лотосов кажутся черными,

будто до сих пор их пятнает давнее проклятие Рамы⁷⁷.

На западном берегу Пампы, недалеко от семи пальм, разбитых некогда в щепы стрелою Рамы⁷⁸, стоит большое и старое дерево шалмали. Его подножие обвивает громадный питон, похожий на хобот слона — хранителя мира, и кажется, что оно опоясано глубоким рвом с водою. С его могучего ствола свисают клочья высушенной змеиной кожи, и кажется, что оно прикрыто плащом, который колеблет ветер. Бесчисленным множеством своих ветвей, которые тянутся во все стороны света, оно словно бы пытается измерить пространство, и кажется, что оно подражает увенчанному месяцем Шиве⁷⁹, когда тот в день гибели мира танцует танец тандаву⁸⁰ и простирает во все стороны тысячу своих рук. Это дерево упирается вершиной в небо, словно бы страшась упасть из-за своей дряхлости, увито тянущимися вверх по стволу лианами, будто венами, выступившими на теле от преклонного возраста, усеяно шипами и наростами, будто старческими родинками. Его верхушки не видно из-за полога туч, которые, будто птицы, мостятся на его ветвях и орошают их влагой океана, чье бремя они не вынесли и потому на время спустились с неба. Оно вздымается высоко вверх, будто хочет полюбоваться красотой небесного сада Нанданы. Его крона бела от волокон хлопчатника, которые кажутся клочьями пены, слетевшей с губ лошадей колесницы солнца, когда они, запыхавшись в стремительном беге, проносились мимо его вершины.

Его ствол способен устоять чуть ли не до конца мира, опоясанный, словно железной цепью, гирляндой черных пчел, которые жадно сосут мускус, оставленный лесными слонами, тершимися висками о его кору. Оно кажется живым из-за множества пчел, поселившихся в его дуплах. Подобно Дурьодхане, привечавшему Шакуни⁸¹, оно привлекает к себе шакалов; подобно Вишну в цветочной гирлянде, оно увито цветами; подобно огромной туче, оно громоздится до неба. Оно высится над округой, словно крыша дворца, с которой лесные божества обозревают землю, словно владыка леса Дандака, словно верховный государь всех деревьев, словно соперник гор Виндхья. И оно как бы обнимает своими руками-ветвями весь виндхийский лес.

На этом дереве шалмали жили многие семьи попугаев, слетевшихся сюда из разных стран. Внутри его дупел, на ветвях и в листве, в расщелинах ствола и под старой сухой корой — всюду, где только было свободное место, строили они тысячи укромных гнезд, которые, как они надеялись, никто не сможет разорить, ибо на дерево трудно было взобраться. Когда попугаи рассказывались на ветках этого могучего дерева, оно казалось покрытым густой листвой, хотя на самом деле листва на нем от времени уже поредела. Ночи попугаи проводили в своих гнездах, а днем вереницей, один за другим, улетали в поисках пропитания и походили при этом на реку Ямуну, поднятую вверх плугом захмелевшего Баларамы⁸² и разделившуюся на несколько

протоков, или на лотосы, взращенные небесной Гангой и вырванные из нее божественным слонем Айраватой. Они озаряли пространство зеленым блеском, будто кони колесницы солнца, походили на летучий ковер из изумрудов, тянулись по озерной глади неба, как зеленые водоросли. Своими крыльями, похожими на листья дерева кадали, они, будто веером, охлаждали лики сторон света, измученных солнечным жаром. Они словно бы пролагали в небе широкую, поросшую весенней травой тропу, словно бы опоясывали радугой небесный свод. Насытившись, попугаи возвращались домой и прямо из клювов, красных, как когти тигра, покрытые кровью убитой лани, поили своих птенцов плодовым соком, кормили зернами и побегами риса. А затем проводили всю ночь на дереве, укрыв птенцов у себя на груди, ибо питали к ним великую любовь, которая была несравнима с любой другой их привязанностью.

По воле судьбы у одного из этих попугаев, жившего в старом дупле дерева шалмали и бывшего уже в преклонном возрасте, родился я — его единственный сын. Не выдержав тяжких мук моего рождения, отошла в иной мир моя мать. И хотя отец безмерно страдал из-за смерти любимой жены, любовь к сыну заставила его скрыть эти страдания глубоко в сердце, и в своем одиночестве он всецело посвятил себя моему воспитанию. А между тем был он уже весьма дряхлым; его широкие крылья, на которых осталось совсем мало перьев, похожих на жалкие стебельки травы куши, бессильно сви-

сали с плеч, не пригодные к полету; он постоянно дрожал и, казалось, хотел этой дрожью стряхнуть с себя бремя возраста, доставлявшего ему столько мучений. Лишенный возможности добывать пропитание, он своим клювом, красным, как цветы шепхалики, расщепившимся надвое, стертым и помягчевшим от долголетнего пережевывания побегов риса, подбирал зерна, выпавшие из гнезд соседей, отыскивал огрызки плодов, расклеванных другими попугаями, и приносил их мне. А сам всякий раз кормился лишь тем, что оставалось от моей еды.

Однажды, когда месяц в небе, порозовевший от занявшейся зари, как старый гусь, чьи крылья зарумянились от нектара лотосов, спустился с песчаных отмелей небесной Ганги на берег Западного океана; когда, бледный, как шерсть поседевшей лани, расширился горизонт; когда гроздь звезд, похожих на цветы, разбросанные по глади неба, были словно бы сметены рубиновыми прутьями метелки солнечных лучей, красных, как растопленная смола или окровавленная грива льва; когда семизвездие Большой Медведицы сдвинулось к северу, словно бы направившись к озеру Манасу, чтобы совершить утреннее омовение; когда Западный океан вынес в надвое расколотых раковинах на песчаный берег мириады жемчужин, похожих на сонмы звезд, сброшенных вниз первыми лучами солнца; когда омытый утренним туманом лес, в котором просыпались попугаи, зевали, потягиваясь, львы и самки слонов будили опьяневших от мускуса супругов, словно бы поднес на ладо-

нях своей листвы появившемуся из-за вершины Горы восхода солнцу охапки цветов, отяжелевшие от холодной ночной росы; когда клубы дыма от жертвенных костров, серые, как ослиная шерсть или как стайки голубей в кроне деревьев, населенных лесными божествами, потянулись вверх, будто стяги добродетели; когда, едва заметный, но мало-помалу набирая силу, подул утренний ветерок, принося с собою капли росы, заставляя дрожать стебли лотосов, осушая струйки пота на коже утомленных утехами любви жен горцев, сдувая пену с морд жующих жвачку лесных буйволов, наставляя в искусстве танца трепещущую листву лиан, разбрызгивая из раскрытых чашечек лотосов капли нектара и услаждая цветочным ароматом тучи пчел; когда изнутри бутонов лотосов, куда пробрались, сложив крылья, шмели, послышалось жужжание, которое походило на гимн, славящий пробуждение цветов, или на перезвон колокольчиков, привязанных к вискам слонов; когда лани с шерстью, свалывшейся на брюхе и посеревшей от лежки на земле, под порывами холодного утреннего ветерка стали медленно открывать глаза, зрачки которых были затуманены обрывками сновидений, а ресницы оставались слипшимися словно бы от потекшей туши; когда на лесных тропинках там и здесь появились отшельники; когда на озере Манасе послышалось сладостное гоготанье гусей и громко захлопали ушами лесные слоны, заставляя пуститься в пляс стайки павлинов; когда на лбу слона-солнца, вступившего на свою тропу в небе, за-

сверкали, будто гирлянды цветов, красные, как рубин, утренние лучи; когда медленно-медленно поднялся вверх владыка Савитар и его лучи озарили лес, как если бы снова поселился в горах сын солнца царь обезьян Сугрива и, разлученный со своей женой-звездой Тарой⁸³, стал скакать по верхушкам деревьев близ озера Пампы; когда рассеялись сумерки и солнце засияло так ярко, как будто пожелало в одно мгновение пройти первый отрезок своего дневного пути; когда попугаи, каждый куда хотел, разлетелись по всем сторонам света; когда на дереве шалмали не слышалось ни единого звука и, хотя в гнездах осталось полно птенцов, оно казалось необитаемым; когда мой отец еще не встал, а я, слабый птеник, еще не обретший крыльев, мирно лежал подле него в дупле,— так вот, однажды, когда наступил рассвет, вдруг по всему огромному лесу громогласно прокатился шум охоты, могучий, как рокот Ганги, низведенной на землю Бхагиратхой⁸⁴. И, сливаясь с плеском крыльев поспешно разлетающихся птиц, с ревом испуганных молодых слонов, с жужжанием пчел, покидающих дрожащие лианы, с сопением диких кабанов, ринувшихся бежать с задранными кверху рылами, с рыком львов, пробудившихся ото сна в горных ущельях, он нагнал страх на всех лесных тварей, заставил затрепетать деревья, наполнил ужасом слух лесных божеств. Заслышав этот шум, никогда не слышанный мною прежде, оглушенный им, объятый по своему малолетству трепетом, весь перепуганный, я в поисках защиты забился под

немошные крылья моего престарелого отца, который лежал рядом.

Тут послышался грозный гул голосов множества охотников, которые перекликались друг с другом сквозь кусты и деревья: «Вот душистые лотосы, поломанные на бегу большими слонами!», «Вот сладкие стебли бхадрамусты, изжеванные кабаньим стадом!», «Вот пахучие цветы шаллаки, растоптанные слонятами!», «Вот ломкие сухие листья!», «Вот остатки муравейника, разоренного твердыми, как алмаз, рогами буйвола!», «Вот табун антилоп!», «Вот стадо слонов!», «Вот множество диких кабанов!», «Вот полчище диких буйволов!», «Вот крик павлина!», «Вот нежное курлыканье куропатки!», «Вот вопли цапли!», «Вот рев слона, у которого лев разодрал когтями лоб!», «Вот кабанья тропа, забрызганная смолой!», «Вот изжеванная ланями трава, черная и покрытая пеной!», «Вот пчелы, слетевшиеся на запах мускуса и гудящие у висков слона, расчесанных в течке!», «Вот красная от крови дорожка в траве, проложенная раненой антилопой!», «Вот листья и ветки, потоптанные слонами!», «Вот лужайка, где буйствовали носороги!», «Вот львиная тропа в красном уборе листьев, разодранных их когтями, и вся в жемчужинах, вырванных из лобных бугров слонов!», «Вот земля, покрытая сгустками крови, оставленными недавно родившей ланью!», «Вот похожая на женскую косу лесная тропинка, которую проложил и оросил мускусом отбившийся от стада слон!», «Отрежь дорогу этим буйволам!»,

«Быстрей беги по следу этих ланей!», «Лезь на верхушку дерева!», «Гляди по сторонам!», «Прислушайся к этим звукам!», «Натягивай лук!», «Будь осторожен!», «Спускай собак!».

Спустя немного времени весь лес на всем его протяжении был как бы приведен в смятение грозным, как грохот натертых воском барабанов, рыком пронзенных стрелами львов, которому отвечали протяжным эхом горные ущелья; трубным, похожим на раскаты грома, ревом покинувших перепуганное стадо и блуждающих в одиночку слоновьих вожаков, которому вторили глухие удары их хоботов; жалобным стоном ланей, чью шкуру яростно рвали собаки и чьи зрачки боязливо метались из стороны в сторону; воплями слоних, которые, оплакивая разлуку с убитыми супругами, кружили по лесу со своими слонятами, хлопали длинными ушами и поминутно останавливались, прислушиваясь к нараставшему шуму; громким сопением самок носорогов, потерявших в суматохе своих недавно родившихся детенышей и теперь тщетно призывающих их в бесплодных поисках; криками птиц, взлетевших с верхушек деревьев и беспорядочно порхающих в воздухе; гулким бегом охотников, которые, преследуя зверей, своей дружной поступью словно бы заставляли землю дрожать от страха; пением стрел, которые срывались с туго натянутых луков со звоном, сладостным, как выкрики цапель, рвущиеся из их горла во время любовных утех; лязгом мечей, которые, со свистом рассекая воздух, обруши-

вались на могучие хребты буйволов; яростным лаем собак, спущенных с привязи.

Вскоре, однако, шум охоты умолк и лес успокоился, точно гряда облаков после ливня или воды океана после его пахтанья богами и асурами. Тогда я, чей страх стал меньше, а любопытство, наоборот, возросло, выполз из-под крыльев отца и высунул из дупла голову, желая по молодости знать, что вокруг происходит. Трепеща от недавнего испуга, я таращил глаза в глубь леса и увидел, как показалось из чащи войско горцев. Оно надвигалось, словно река Нармада, разделенная на тысячу протоков тысячью рук Арджуны Картавиры⁸⁵, словно заросли деревьев тамала⁸⁶, подхлестнутые ветром; словно стражи ночи гибели мира, собранные воедино; словно скопище каменных черных колонн, сдвинутых с места землетрясением; словно клочья мрака, гонимые лучами солнца; словно слуги бога смерти, посланные за своими жертвами; словно демоны, вырвавшиеся из подземного мира; словно воины Кхары и Душаны⁸⁷, перебитые некогда стрелами Рамы, а теперь за ненависть к Раме обращенные в пищачей; словно все приверженцы века Кали⁸⁸, сошедшиеся вместе; словно стадо лесных вепрей, устремившихся на водопой; словно темные тучи, сорванные с неба лапой льва, взобравшегося на гору; словно мириады комет, возвещающие гибель всему живому. Это войско в несколько тысяч воинов, затемнившее собою весь лес, вызывало великий ужас, точно сборище тысяч оборотней.

А посреди этого могучего войска я увидел юного вождя. Крепкий, словно сделанный из железа, он казался вновь родившимся Экала-вьей. Едва видные волосы бороды придавали ему сходство с молодым вожаком слонов, чьи щеки впервые оросили капли мускуса. Ярким блеском своего тела, смуглого, как черный лотос, он словно бы наполнял лес водами реки Ямуны. Копна его вьющихся волос, ниспадающих до самых плеч, походила на гриву льва, запятнанную мускусом убитого им слона. Лоб его был широким, а нос длинным и хищным. Слева на него падал красный отсвет драгоценного камня, которым он украсил свое левое ухо, вырвав его из капюшона змеи⁸⁹, и казалось, что это след красных листьев, на которых он привык спать, лежа на левом боку. Его кожа была умащена едким мускусом, добытым из висков недавно убитого слона, и, будто натертая ароматической мазью, благоухала, как цветы семилиственницы. Опьяненный этим запахом, над ним, будто зонт из перьев павлина, кружился рой черных пчел, и казалось, что это накидка из темных листьев тамалы оберегает его от солнечного жара. Веткой с листьями, зажатой в руке, он стряхивал капли пота со своих щек, и казалось, что ему старается услужить весь лес Виндхья, покорный его длани. Своим взглядом, словно бы напоенным кровью, он красил в огненный цвет всю округу, и взгляд этот казался лесным тварям зарницей ночи гибели мира. На загрубевшей коже его рук, как бы взявших себе мерой хобот слона — хранителя мира и свисавших до самых

колен, виднелись шрамы от ножа, которым он ежедневно приносил кровавые жертвы богине Чандике. Его грудь, широкая, как склон горы Виндхья, была сплошь покрыта каплями пота, пропитанного спекшейся кровью ланей, которые казались жемчужинами, выпавшими из слоновьих висков и перемешанными с красными ягодами дерева гунджи. Его живот был гладок и тверд от постоянных усилий и упражнений. Его мощные ноги словно бы насмехались над почерневшими от мускуса столбами для привязи слонов. Одет он был в платье из красного шелка. И поскольку не просто так, а по неистовству своей натуры он привык постоянно хмурить свои длинные брови, на лбу его пролегли три глубокие складки, которые казались трезубцем Дурги — знаком его служения и верности грозной богине.

Рядом с ним, не отставая ни на шаг, бежали его верные псы, обученные обречь на вдовство лесных ланей, и их усталость можно было распознать лишь по свисающим вниз языкам, таким красным, что, хотя они и были сухи, казались влажными от крови антилоп. Пасти собак были полуоткрыты, так что виднелся гребень зубов с клыками по обе стороны, в которых, казалось, застряли клоки гривы растерзанных львов. Их горло опоясывали ошейники из медных монет, похожие на цветочные гирлянды. Их шкура была исполосована шрамами, оставленными дикими вепрями. Хотя и невеликие ростом, они по своей мощи казались молодыми львами с еще не отросшей гривой. А за ними

трусили их самки, такие большие, что казались львицами, вымаливающими у них снисхождение к своим супругам.

Вождя окружало несметное множество горцев. Некоторые несли слоновьи бивни и хвосты молодых яков; некоторые — чаши, сплетенные из листьев и полные меда; некоторые, будто львы, несли жемчуг, добытый из лобных бугров слона; некоторые, будто пишачи, — куски сырого мяса; некоторые, будто слуги Шивы, — львиные шкуры; некоторые, будто джайны-аскеты, — павлиньи перья; некоторые, будто подростки с черными, как у ворона, волосами, — вороньи крылья; некоторые, будто Кришна, вырвавший бивень из глотки Кувалаяпиды⁹⁰, — слоновьи бивни; а некоторые, будто небо в дождливый день, были одеты в платье цвета дождевой тучи.

Словно лес, грозящий рогами носорогов, был грозен вождь горцев с ножом за поясом. Словно весенняя туча, расцвеченная радугой, он нес лук, украшенный разноцветными перьями. Словно ракшаса Бака, устранивший Экачакру⁹¹, он пугал оружием чакрой. Словно Гаруда, вырывающий зубы у змей⁹², он выламывал бивни у слонов. Словно Бхишма, враждующий с сыном Друпеды⁹³, он осилил всех недругов. Словно жаркий день, чреватый грозой, он таил угрозу всему живому. Словно видьядхара, быстрый мыслью, он был стремителен в замыслах. Словно великий подвижник Парашара, он поражал величием. Словно Гхатоткача, сын Бхимы, он казался непобедимым. Словно Пар-

вати, почитавшая Шиву, он чтит право силы. Как у демона Хираньякши, его грудь была в шрамах от клыков вепря. Как любители пения — певца, его окружали любимые пленницы. Как пишача кровью, он упивался кровавой охотой. Как нота нишада⁹⁴ в музыкальной гамме, за ним следовали верные нишады. Как трезубец Дурги⁹⁵, его копье было красным от крови буйвола. Хотя был он почти дитя, но истребил много дичи. Хотя владел сокровищами и драгоценными камнями, питался лишь соком и кореньями. Хотя не был Рамой, но имел мощные рамена. Хотя изведаль много дорог, но был предан одной лишь Дурге. Он казался сыном гор Виндхья, воплощением бога смерти, побратимом зла, сверстником века Кали. Своим видом он внушал ужас, но силой — вызывал уважение. И не было никого, кто годился бы ему в соперники. А звали его, как узнал я позже, — Матанга.

Глядя на него и его воинов, я подумал: «Увы, их жизнь полна заблуждений, и поделом ее осуждают добрые люди. Ведь эти горцы полагают похвальным приносить человеческие жертвы, а пищу их составляют вино, мясо и все прочее, чего избегают добронравные. Их служба — охота, их проповедь — вой шакалов, их наставники в добре и зле — совы, их мудрость — знание птичьих повадок, их родичи — собаки, их царство — глухой лес, их празднества — попойки, их друзья — смертоносные луки, их сподвижники — стрелы, пропитанные ядом, их музыка — вопли доверчивых ланей, их возлюбленные — чужие жены, попавшие в плен, их

общество — свирепые тигры, их возлияния — кровь зверей, их жертвы богам — живая плоть, их пропитание — разбой, их украшения — змеиная кожа, их благовония — мускус диких слонов. И даже лес, который служит им убежищем, они разоряют, подрывая корни деревьев».

Пока я так размышлял, вождь горцев, устав от долгого пути по лесу, пожелал отдохнуть в тени. Он подошел к подножию дерева шалмали и, положив на землю лук, опустился на ложе из листьев, тотчас приготовленное его слугами. Затем некий юноша горец спустился к озеру и, потревожив его гладь взмахом рук, принес в чаше, выложенной листьями лотоса, немного воды — чистой, как драгоценный камень «кошачий глаз», холодной, как снег, благоухающей, как пыльца лотосов, похожей на расплавленный жемчуг и такой прозрачной, что поверить в то, что она есть, можно было, лишь прикоснувшись к ней ладонью, — воды, которая словно бы вобрала в себя блеск неба, растопленного солнцем в день гибели мира, или вылилась прямо из лунного диска. Вместе с водой он принес сочные и свежие корешки нескольких сорванных им лотосов, которые вождь, когда он утолил жажду, съел один за другим, уподобившись Раху, заглатывающему по частям луну. Избавившись от усталости, вождь поднялся на ноги и, встав во главе войска горцев, тоже напившихся воды из озера, неторопливо двинулся в путь прежней дорогой.

Однако одному старому горцу, безобразному, как пишача, не хватило мяса, и он, желая

раздобыть что поесть, задержался на какое-то время у подножия дерева. Когда вождь с войском удалился, он начал пристально, снизу доверху, разглядывать дерево шалмали, прикидывая, как бы на него взобраться, и своими красными, как сгустки крови, глазами, грозно сверкающими из-под полукружий рыжих бровей, казалось, жаждал выпить до дна наши жизни и словно бы пересчитывал наши гнезда, как ястреб, жадный до птичьего мяса. При виде его у всех попугаев от ужаса перехватило дыхание. Ибо на что только не способен безжалостный человек! А он легко, будто по ступенькам, вскарабкался на дерево, высотой в несколько палм и кроной касавшееся облаков, и принялся одного за другим хватать на ветвях и в дуплах беспомощных птенцов попугаев: и тех, кто всего лишь несколько дней как родился и, сохраняя красный цвет материнского чрева, был похож на цветы дерева шалмали; и тех, у кого только что прорезались крылья и потому похожих на лотосы с проклюнувшимися побегами; и тех, кто походил на плоды дерева арка; и тех, кто с едва покрасневшим маленьким клювом выглядел как почка лотоса с едва видимым розовым лепестком. И всех их он убивал и сбрасывал на землю.

Когда мой отец осознал, какая великая, гибельная, неотвратимая беда на нас обрушилась, он в безграничном ужасе стал бросать во все стороны, вверх и вниз, слепые от отчаяния взгляды, зрачки его глаз, полные страха смерти, округлились и беспокойно задвигались, а сами глаза заволоклись слезами. С пересохшим гор-

лом, неспособный оказать сопротивление, он все-таки прикрыл меня слабыми, беспомощно обвисшими крыльями, полагая, что в них единственное мое спасение. Весь во власти заботы обо мне, он попытался меня защитить, но, не зная, как это сделать, загородил меня собственной грудью.

Между тем злодей горец, карабкаясь с ветки на ветку, постепенно добрался до нашего дупла и протянул внутрь свою руку, кисть которой пропахла мясом и кровью убитых лесных тварей, а ладонь покрылась рубцами от тугой тетивы лука, руку, ужасную, как туловище старой черной кобры и похожую на палицу бога смерти. Этой рукой жестокий негодяй вытащил из дупла моего жалобно пищущего отца и, хотя тому удалось нанести несколько ответных ударов клювом, безжалостно придушил его. А меня, прикрытого отцовскими крыльями,— то ли из-за малости моего роста, то ли оттого, что я из страха свернулся клубком, то ли просто потому, что еще не настал час моей смерти — он, по счастью, не заметил. Убив моего отца, свернув ему шею набок и своротив голову, он бросил его на землю. Я падал вместе с отцом, прильнув к отцовской груди и свесив шею между его ног, но, поскольку срок моей жизни еще не кончился, упал на ворох сухих листьев, сметенных в кучу ветром, и кости мои уцелели. Пока старый горец спускался с дерева, я, пользуясь тем, что был одного цвета с прелыми листьями и меня трудно было среди них разглядеть, отполз в сторону от тела отца.

Мне надобно было бы тут же проститься с жизнью, но я, негодный, слишком маленький, чтобы знать сыновнюю любовь, которая приходит только с возрастом, был одержим одним только страхом, который свойствен нам от рождения. Сочтя себя вырвавшимся из когтей смерти, я, опираясь на едва прорезавшиеся крылья, кое-как заковылял к подножию росшего неподалеку дерева тамала. Оно возвышалось среди других деревьев, будто копна волос богини леса Виндхья; его листьями, словно бы сотворенными из темных вод реки Ямуны, жены горцев украшали себе уши; сквозь его развесистую крону не пробивались лучи солнца; меж его ветвей, увлажненных мускусом диких слонов, было темно даже днем; а густотой своей тени, черной, будто платье Баларамы⁹⁶, оно как бы смеялось над смуглотелым Кришной. Это дерево и приняло меня в свои объятия, точно второй отец.

Тем временем горец, спустившись с дерева, подобрал разбросанных по земле птенцов попугаев, обвязал их веревкой, сплетенной из побегов лиан, положил в корзину, выложенную листьями, и поспешил вдогонку за своим вождем. Я же, хотя и дрожал от страха, хотя сердце мое и высохло от горя разлуки с погибшим отцом, хотя все тело ныло от падения с большой высоты, вновь обрел надежду на жизнь и внезапно почувствовал великую жажду, сжигающую все мои внутренности. Рассудив, что злодей горец, должно быть, уже далеко, я немного приподнял голову и глазами, трепещу-

щими от испуга, стал осматриваться. Всякий раз, когда где-нибудь шевелилась хотя бы былинка, мне мерещилось, что негодяй возвращается, но все-таки я отполз от подножия тамалы и попытался спуститься к воде. Поскольку крылья у меня еще не выросли, я ковылял на неокрепших ногах и то падал навзничь, то сваливался на один бок и силился поддержать себя кончиком крыла, то останавливался, измученный своим же усердием. От неумения ходить я то и дело задира́л вверх голову и на каждом шагу горестно вздыхал. И пока, весь покрытый пылью, я полз, в голове моей теснились такие мысли:

«В этом мире, поистине, даже в самое трудное время любое существо не перестает заботиться о жизни. Для всех на земле нет ничего дороже, чем собственная жизнь. И вот, хотя умер мой добрый отец, хотя все мои чувства в смятении, я все-таки живу. Горе мне, бездушному, черствому, неблагодарному! Увы, тяжело печалюсь по убитому отцу, не ожидая ни от кого помощи, я все еще цепляюсь за жизнь. Да, злое у меня сердце, если я сразу же забыл, как после кончины моей матушки отец, поборов неутешное горе, сам будучи уже преклонного возраста, со дня моего рождения не щадил усилий, чтобы меня вырастить, и, полный любви ко мне, всеми средствами оберегал от опасностей. Жалок я, что страшусь уйти из этого мира вслед за отцом, который сделал мне столько добра! Желание жить, поистине, каждого делает бессердечным! Даже в таких обстоятельствах мне вдруг захотелось пить. Нет, жажда — это просто изнанка

моей жестокости, моего равнодушия к горю смертной разлуки с отцом... Однако и теперь озеро еще не близко: еле слышится кряканье уток, похожее на перезвон ножных браслетов озерных нимф, едва доносится крик цапель, почти не чувствуется запах лотосов, поглощенный далью. Между тем это время дня нестерпимо. Солнце стоит в зените и своими лучами неустанно льет зной, обжигающий, будто горячий песок, и распалаяющий жажду, а по земле трудно двигаться из-за скопища раскаленной пыли. От невыносимого желания пить я уже не способен даже пошевелиться. Я не властен над собственным телом, в сердце — одно отчаяние, взор застилает тьма! Поистине, злая судьба не считается с моими желаниями и хочет моей немедленной смерти!»

Пока я так размышлял, мимо меня по дороге к озеру Пампе, желая в нем искупаться, проходил в компании своих сверстников — молодых аскетов подвижник по имени Харита, сын великого мудреца Джабали, живущего неподалеку в обители. Очистивший свой разум знанием всех наук, он был подобен сыну Брахмы. Из-за блеска его тела на него нестерпимо было смотреть, будто на второе солнце: казалось, что он вырезан из солнечного диска, руки и ноги высечены из молний, а кожа умащена жидким золотом. Он светился ярким, золотым сиянием, будто день, озаренный утренним солнцем, или лес, охваченный пожаром. Его густые волосы цвета расплавленной меди, очищенные ежедневным купанием в местах святого омовения,

вились до самых плеч, а когда они вздымались над головой, словно языки пламени, он становился похожим на бога Агни, который, пожелав сжечь лес Кхандаву, принял облик юноши брахмана⁹⁷. С его правого уха свисали, сверкая, хрустальные четки, которые походили на ножной браслет богини — покровительницы лесной обители или на круг предписаний дхармы. На лбу был нанесен золой священный знак из трех линий, как если бы он взял на себя тройственный обет воздержания словом, мыслью и делом от всех чувственных усад. В левой руке он держал горлом вверх хрустальный кувшин для воды, напоминающий журавля, готового взлететь в небо, чтобы указать туда путь смертным. На плечи его была наброшена темная козья шкура, словно бы окутывающая его облаком дыма, который впитался в его кожу при жертвоприношениях, а теперь рвался наружу. С его левого плеча ниспадал священный брахманский шнур, свитый будто из светлых стеблей лотоса и такой легкий, что, когда его касался ветерок, он, казалось, пересчитывает одно за другим ребра на худом теле юноши. Правой рукой он опирался на деревянный посох, к которому была привязана чаша, выложенная листьями и полная цветов, собранных в дар богам на лесных лианах. Рядом с ним бежала ручная лань из обители, с которой он был дружен с детства, вскормив ее рисом из собственных рук, и которая несла на рогах вырытый ею ил для его купания, а глазами рыскала по сторонам в поисках травы куши, цветов и сочных побегов.

Тело Хариты, как кора — ствол дерева, облегло платье из льна, его опоясывал поясok из травы, как травяные тропинки — гору, он привык вкушать сок сомы, как Раху — свет солнца, и пить солнечные лучи, как пьют их дневные лотосы. Его кудри блестели от частых омовений, как крона дерева на берегу реки, его зубы, похожие на лепестки лилии, были белыми, как бивни молодого слона, его дружба была такой же крепкой, как у сына Дроны с Крипой;⁹⁸ его грудь украшала козья шкура, как созвездие Козерога — небо. Он свободен был от мглы заблуждений, как летний день — от мрака, подавил в себе пыл страстей, как дождь, побивающий пыль, постоянно совершал омовения, как владыка вод Варуна, избавлял людей от страхов, как хранитель мира Хари. Его глаза сияли, как вечерние звезды, и сам он был светел, как раннее утро. Он строго следовал путем добродетели, как колесница солнца — путем небесным; он оберегал мир своей души, как мудрый царь — мир на земле; на его лице выступали острые скулы, как в море — острые скалы; он чтил воды Ганги, как Ганга — волю Бхагиратхи; он жил в лесу среди деревьев, как пчела — в поле среди цветов. Хотя он сторонился богатых хором, лес был его храмом; хотя он ничем не был связан, но стремился к свободе от уз; хотя ни на кого не налагал наказаний, но всегда носил палку-посох; хотя спал по ночам, но во всякое время бодрствовал духом; хотя имел всевидящие глаза, но не замечал соблазнов.

Сердца благородных людей всегда, когда

даже нет к тому повода, полны сочувствия и жалости. Поэтому, завидев меня, несчастного, Харита почувствовал сострадание. Обратившись к одному из молодых аскетов, шедших с ним рядом, он сказал: «Этот птенец попугая, у которого еще не выросли крылья, должно быть, свалился с дерева. Или, может быть, выпал из клюва ястреба. Смотри, как мало в нем жизни: у него закрыты глаза, он часто и тяжело дышит, то и дело падает навзничь, все время разевает клюв и не может выпрямить шею. Давай, пока он не погиб, возьмем его с собой и отнесем к воде». Послушавшись Хариты, его спутник спустился со мною к берегу озера. Там Харита, отложив в сторону кувшин и посох, приподнял меня, совершенно беспомощного, раздвинул пальцами клюв и влил в него несколько капель воды. Обрызгав меня водою со всех сторон и тем самым возвратив к жизни, он уложил меня среди растущих вдоль берега озера лотосов в прохладную тень, а сам приступил к предписанной обычаем церемонии омовения. Завершив ее очистительной задержкой дыхания, он прочел гимн «Ригведы» и, устремив глаза на солнце, принес в дар владыке Савитару свежие прекрасные лотосы, которые принес с собою в чаше, выложенной листьями. Затем, встав с колен, он надел платье из льна, белое, как свет вечернего солнца, смешанный со светом луны, пригладил ладонью свои огненные кудри и в сопровождении молодых отшельников, чьи волосы еще не высохли после купания, взяв меня с собою, неторопливо направился в сторону своей обители.

Спустя недолгое время пути я увидел эту обитель, прекрасную, как второй мир Брахмы. Со всех сторон ее обступал густой лес, богатый разного рода цветами и плодами, где росло множество деревьев тала, тилака, тамала, хинтала и бакула, где лианы оплетали высокие кокосовые пальмы, где трепетала листва на деревьях лодхра, лавали и лаванга, где сверкала пыльца на цветах манго, где желтели цветочные кисти кетаки, где слышалось пение пьяных от страсти кукушек и гудение множества пчел, где лесные божества раскачивались, как на качелях, на гибких ветках лиан, где, словно дождь метеоров, устилали землю осыпавшиеся от ветра белые лепестки всевозможных цветов. В этом лесу Дандака, окружавшем обитель, который пестрел сотнями безбоязненно бродящих ланей и пламенел цветущими повсюду лотосами, кустарник, некогда обглоданный принявшим вид антилопы Маричей⁹⁹, уже вновь покрылся листвой, но земля до сих пор была изрезана лунками, оставшимися от острых краев лука Рамы.

К обители со всех сторон спешило множество отшельников с хворостом, травой кушой, цветами и глиной, и их сопровождали ученики, распевая ведийские гимны. Где-то наполняли кувшины водой, и к ее журчанию, вытянув вверх шеи, прислушивались стайки павлинов. Обитель казалась устремленной в небо лестницей; ступенями которой были клубы дыма от жертвенных костров, умиловленных обильными возлияниями масла и словно бы готовых на ярких языках пламени перенести отшельни-

ков с их смертными телами в мир бессмертных богов. По границам обители тянулись длинные пруды. Их вода, омывая тела благочестивых подвижников, всегда была чистой, в беге волн отражалось сразу несколько солнц, и казалось, что здесь купаются, явившись на свидание с отшельниками, семь небесных риши; а по ночам пруды сияли цветущими лотосами, как будто с неба, дабы увидеть отшельников, сходили на водную гладь сонмы звезд. Лесные лианы словно бы воздавали обители почести, сгибая под ветром свои ветви, ей кланялся кустарник, складывая листву, как складывают при приветствии ладони, ее славили деревья, непрерывно осыпая землю цветами. Во двориках перед хижинами на вольном воздухе сушилось просо, грудями лежали плоды амалаки, лавали, лаванги, каркандху, кадали, лакучи, манго и кокоса. Мальчики-ученики читали вслух веды, и, подражая им, попугаи подхватывали и повторяли ведийские мантры, а стаи сорók выкрикивали священные заклинания. Дикie петухи клевали лепешки, испеченные в дар вишвадевам, молодые утки в прудах лакомились зернами жертвенного риса, ручные лани длинными и мягкими, как листья, языками лизали руки детям подвижников. На жертвенных кострах потрескивали, обгорая, ветки кустарника, цветы и трава куша. Камни по всей округе были пропитаны соком разбитых на них кокосовых орехов, а стволы деревьев, с которых недавно сорвали кору, залиты розовой смолой. На земле красной сандаловой краской были начертаны

круги, изображавшие солнце, внутри них лежали цветы каравиры, а места трапезы подвижников были обведены золой для отвращения злых духов. Старых и слепых отшельников поддерживали под руки обученные обезьяны. Похожие на браслеты из раковин, словно бы соскользнувшие с рук-лиан Сарасвати, повсюду валялись стебли лотоса, которые, наполовину изжевав, бросили молодые слоны. Антилопы кончиками рогов откапывали для отшельников съедобные корни, слоны орошали водою из хоботов канавки вокруг деревьев, лесные кабаны подносили детям на клыках луковицы лотоса, ручные павлины, хлопая широкими крыльями, раздували жертвенные огни. Приятно пахли приношения богам из ячменя, бобов, молока и жира, воздух пропитан был ароматом вареного риса, повсюду слышалось шипение огня, пожирающего жертвенное масло.

В обители привечали прибывших гостей, почитали жертвами Хари, Хару, Брахму и божественных предков, творили поминальные обряды, учились науке жертвоприношений, повторяли наставления в добродетели, читали вслух священные книги, обсуждали смысл шаштр, строили хижины из листьев с двориками, умащенными сухим коровьим пометом, предавались созерцанию, распевали гимны, занимались йогой, приносили жертвы лесным божествам, плели пояски из травы мунджи, чистили платье из льна, собирали хворост, обрабатывали шкуры черных антилоп, просеивали зерно, сушили корни лотоса, связывали бусины четок, чертили

на лбу священные знаки, обстругивали посохи, наполняли водою кувшины. Здесь не ведали века Кали, не знали с ложью, ничего не слышали о божестве любви.

Подобно Брахме, рожденному из лотоса¹⁰⁰, эта обитель была оплотом всех рождений. Подобно Вишну, ставшему вепрем и человеком-львом¹⁰¹, она сдружилась вепрем, людьми и львами. Подобно мудрецу Капиле, она копила мудрость. Подобно Балараме, победителю Дхенуки¹⁰², она устраняла беды от демонов. Подобно гордому Удайяне, она удаляла горести. Подобно царю Друме, она царила в дремучем лесу. Подобно грому дождевой тучи, она гремела водопадами. Подобно Хари, она хранила три мира. Подобно Хануману, разбившему кости Акши¹⁰³, она полна была обезьян, дробящих косточки акши. Подобно Агни, сжегшему лес Кхандаву, она озаряла лес своими огнями. Хотя в ней воскурляли благовония, она пропахла дымом жертвенных костров. Хотя она не зналась с чандалами, но почитала богиню Чандику. Хотя в ней пылали сотни огней, она не ведала огня горя. Хотя вокруг темнели дремучие заросли, она сияла светом мудрости.

В обители черными были клубы дыма, но не дела подвижников, красными — клювы попугаев, но не лица от гнева, жесткими — стебли травы, но не нравы, трепещущими — листья деревьев, но не сердца, страстными — песни кукушек, но не взоры. Здесь разжигали жертвенные костры, но не ссоры, хватили за горло кувшины, но не людей, ласкали сосцы священ-

ных коров, но не соски у женщин, гадали по звездам, но не на ученых спорах, ходили вокруг жертвенных огней, но не вокруг да около сути дела, взывали к богам в жажде знания, но не богатства, перебирали четки, но не поступки ближних, заплетали волосы, но не плели козней, почитали Раму, но сторонились срама, гнули спины от старости, но не перед властью. Если в обители и ведали о битвах, то только из сказаний вед, если и слышали о ранах, то только из пуран, если и дрожали, то только от холодного ветра, если и восхищались золотом, то только золотом осенней листвы, если и ценили пыл страсти, то только в пении птиц, если и любили танцы, то только у павлинов, если и сносили коварство, то только в повадках змей, если и терпели бесстыдство, то только у обезьян, если и мирились со скрытностью, то только у корней деревьев.

Посреди обители в тени дерева ашоки сидел святой мудрец Джабали. На ветвях ашоки, покрытых красными листьями, висели черные шкуры антилоп и кувшины для воды; на стволе желтели следы пудры с пальцев рук дочерей аскетов; из канавки, прорытой у ее подножия, пили воду молодые лани; дети подвижников сушили на ней свои одежды из травы куши, а земля подле нее была освящена слоем благовонного коровьего помета. Будучи от природы не слишком высокой, ашока широко и вольно вырослась во все стороны и казалась особенно красивой, увешанная только что поднесенными цветочными дарами.

Как землю окружают моря, златоглавую Меру — вершины других гор, жертву — жертвенные огни, день гибели мира — тысячи солнц, течение времени — века, так Джабали окружали великие мудрецы, предававшиеся суровому подвижничеству. Джабали поседел от старости, которая вынуждала дрожать его тело, будто в страхе смертельного проклятия; цеплялась за его волосы, будто возлюбленная; покрыла лоб морщинами, будто гнев; лишила походку твердости, будто вино; наградила родинками, будто тилаками; сделала кожу пепельно-серой, будто он исполнял обет голодания. Его длинные, побелевшие от времени волосы вздымались вверх, словно знамя дхармы, возвещающее его превосходство в подвижничестве над всеми аскетами, переплетались друг с другом, словно шнур, свитый из его заслуг, по которому он бы мог взобраться на небо, трепетали, словно гроздья цветов на древе добродетели, высоко взметнувшем свои ветви. На его широком лбу был начертан золой священный знак из трех линий, который походил на три русла Ганги, прорезающей, изгибаясь, скалистый склон Гималаев. Над его глазами нависали лианы бровей, похожие на опрокинутый серп луны, а над ними громоздились глубокие складки морщин. Из его уст, приоткрытых в постоянном чтении гимнов, от его зубов, чистых, как побеги дерева добродетели, как природа кротких чувств, как волны океана мудрости, как потоки реки сострадания, изливалось сияние, которое красило в белый цвет всю

округу и делало его похожим на царя Джахну, извергающего воды Ганги¹⁰⁴. Рядом с Джабали вились черные пчелы, привлеченные сладким ароматом его дыхания, и монотонно жужжали у его губ, словно обретшие плоть слова проклятий. На его худом лице щеки запали внутрь, скулы и нос обострились, зрачки глаз сверкали, как искры, каждая из поредевших ресниц торчала отдельно, раковины ушей поросли волосами, а пряди бороды свисали до пояса. Вся его шея была изрезана жилами, которые походили на натянутые вожжи, сдерживающие нетерпеливых коней чувств. Сквозь его прозрачную кожу отчетливо проступало каждое ребро, и тело его было похоже на чистый поток Мандакини, который прорезают поднятые ветром белые волны и по которому плывет гирлянда лотосов — свисающий с плеч мудреца брахманский шнур. Своими тонкими пальцами он перебирал хрустальные бусины четок, похожих на ожерелье Сарасвати, составленное из больших и ярких жемчужин, и потому он казался второй Полярной звездой, вокруг которой неустанно вращаются малые светила. Его ноги и руки были покрыты сеткой набухших вен, которые походили на гибкие лианы, обвивающие Древо желаний. На нем было платье из тонкого льна, словно бы сотканное из лучей луны, или из пены амриты, или из нитей его добродетели, которое от постоянных омовений в озере Манасе стало таким белым, что казалось еще одним покровом его старости. Рядом с ним, умножая его красоту, стоял на треножнике хрустальный кувшин с

водой из реки Мандакини, который походил на белого гуся, покоящегося на цветущем лотосе. В твердости великий подвижник соперничал с горами, в глубине мудрости — с океаном, в блеске — с солнцем, в спокойствии — с месяцем, в чистоте — с небосводом. Как Гаруда, мститель Винаты¹⁰⁵, он строго карал виноватых; как рожденный из лотоса Брахма, был он оплотом брахманам; как белые полосы змеиной кожи, змеились его волосы; как гордый слон, он ни перед кем не склонялся; как наставник богов Джива, он наставлял все живое; как луг при свете солнца, был светел его лик; как листья осенью, осыпались дни его жизни; как Шантану, предок пандавов, он предан был только правде; как Гаури, чтит Владыку гор;¹⁰⁶ как солнце в пламя лучей, одет был в платье из льна; как огонь Вадава, питался одной водой; как покинутый город, был убежищем для голодных; как Шива, покрытый золой¹⁰⁷, был укором для зла.

Глядя на него, я подумал: «О величие подвижничества! Этот мудрец — само спокойствие, но пылает, точно расплавленное золото, и сверкает глазами, точно слепящая молния. Хотя сам он невозмутим и бесстрастен, но каждому, кто его видит, он внушает страх своим величием. Если даже от отшельников, чей подвиг не так суров, исходит нестерпимое сияние, опаляющее, как огонь сухие цветы или траву, то насколько же оно ярче у таких, как он, устранителей зла, к чьим ногам склоняются все миры, кто своей аскезой смывает, будто водой, любое прегрешение, а своим божественным взором созерцает

всю землю, будто зернышко граната на своей ладони. Даже звук имени великого мудреца очищает, что уж говорить об его облике! Счастлива обитель, где он настоятель! Счастлива земля, на которой он живет, подобно рожденному из лотоса Брахме! Поистине, блаженны те мудрецы, что, оставив иные заботы, день и ночь сидят подле него, второго Брахмы, и не отводят глаз от его лица, внимая святой беседе! Блаженна и Сарасвати, которая наслаждается близостью его рта, усыпанного белоснежными зубами, и постоянно пребывает в его праведном, излучающем сострадание, бесконечно прозорливом разуме, подобно тому как царственная гусыня, наслаждаясь вместе с другими птицами близостью лотосов, постоянно живет в чистом, обильном водою и бесконечно глубоком озере Манасе! Наконец-то, спустя долгие годы, четыре веды, обитавшие ранее в устах-лотосах четырехликого Брахмы¹⁰⁸, нашли себе новое прибежище! Все знания мира, запятнанные касанием века Кали, теперь, сосредоточившись в нем, вновь стали чистыми, подобно рекам, замутившимся в сезон дождей и вновь очистившимся осенью. Поистине, добродетели не нужно печалиться о Золотом веке: воплотившись в нем, она победила соблазны века Железного! Поистине, небу не стоит гордиться, что на нем сияет созвездие Семи Риши¹⁰⁹, раз такой мудрец, как он, живет на земле! Какая отвага нужна была старости, чтобы дерзнуть сойти, подобно Ганге, сошедшей на голову Шивы¹¹⁰, или струям молока, льющимся в жертвенное пламя, на его

заплетенные в косицы, белые, как лучи луны или клочья пены, волосы, смотреть на которые так же больно, как на солнце в день гибели мира! Даже солнечные лучи стороной обходят этот лес отшельников, словно бы опасаясь могущества святого мудреца, огородившего обитель клубами дыма от жертвоприношений. Когда жертвенные костры, поглощая освященные гимнами подношения, сплетают под порывами ветра огненные языки, кажется, что, исполненные любви к нему, они почтительно складывают ладони. Когда, благоухая запахом цветов, растущих в обители, ветерок касается его платья из тонкого льна, кажется, он медленно падает ему в ноги в страхе перед его величием. Говорят, что нет ничего могущественнее пяти стихий мироздания¹¹¹, но его могущество — первое среди могуществ! Мир, где живет этот великий подвижник, освещают как бы два солнца. Земля только потому кажется неподвижной, что он ее опора. Он — океан сострадания, мост над потоком жизни, русло реки милосердия, топор для зарослей лиан страсти, родник нектара довольства, наставник на пути совершенства, гора заката для поборников зла, корень дерева невозмутимости, ось колеса закона, древко стяга добродетели, святая купель мудрости, подводный огонь в море алчности, пробный камень сокровищ знания, лесной пожар в чащобе желаний, заклятие для змей гнева, солнце во тьме невежества, засов для дверей ада, средоточие добрых деяний, хранилище благочестия, топь для бездушных помыслов, поводырь по тропе велико-

душия, исток благих намерений, обод колеса мужества, оплот добронравия, враг века Кали, друг истины, поле чести, озеро щедрости, ограда от бедствий, щит от обиды, ненавистник высокомерия, избавитель от гнета. Чуждый гнева, свободный от соблазнов, равнодушный к удовольствиям, святой отец своим величием оберегает обитель от розни, хранит ее от зависти. О могущество великих духом! Даже звери в этой обители, отказавшись от извечной вражды, примирившись друг с другом, наслаждаются жизнью. Вот змея, истомленная зноем, не ведая страха, свернулась, словно на зеленой лужайке, в перьях хвоста павлина, похожего на ковер из распустившихся лотосов, расцвеченного сотнями круглых лун, сверкающего, как глаза лани. Вот олененок, подружившийся со львятами, у которых еще не выросла грива, оставил свою мать и сосет молоко из сосцов львицы. Вот лев, полузакрыв глаза, забавляется тем, что слоненок, приняв за охапку цветов его белую, как лунный свет, гриву, ухватил ее хоботом и тянет себе в рот. Вот несколько обезьян, позабыв об обычной проказливости, подносят сорванные ими плоды искупавшимся в озере детям аскетов. Вот слоны, смирив необузданный норов, стараются не хлопать ушами, чтобы не согнать с висков пчел, которые, замерев от наслаждения, лакомятся мускусом. Чего больше! Даже безжизненные деревья, кажется, приняли ради святого старца отшельнический обет: поверх платья из коры и лыка они словно бы накинули на себя шкуры черных антилоп — клубы дыма, взды-

мающегося от жертвенников, а в своих руках-ветвях держат жертвенные дары — плоды и цветы. Что уж тут говорить о живых существах!»

Пока я так размышлял, Харита опустил меня в тень подле ашоки и, коснувшись в почтительном приветствии ног отца, сел рядом с ним на подстилку из травы куши. Едва он уселся, как отшельники, завидев меня, начали его расспрашивать: «Откуда ты взял этого птенчика?» А он отвечал: «Я нашел его, когда ходил купаться. Он, верно, выпал из дупла одного из деревьев, растущих у озера Пампы, и лежал, измученный жаждой, в горячей пыли. От падения с большой высоты тело его было изранено, и жизнь в нем едва-едва теплилась. Отшельнику трудно взобраться на высокое дерево, и я не мог положить его обратно в гнездо. Тогда, движимый состраданием, я решил принести его сюда. У него еще не выросли крылья, и сам он не способен подняться в воздух. Поэтому пусть пока поживет на каком-нибудь дереве здесь, в обители, а я и сыновья аскетов будем кормить его рисовыми зернами и поить плодовым соком. Ведь покровительство беззащитным — первый долг для таких, как мы. Когда же у него появятся крылья и он сможет летать, пусть летит куда пожелает, а если привыкнет к нам, то может и остаться здесь».

Когда святой Джабали услышал рассказ обо мне, у него пробудилось любопытство, и, слегка наклонив голову, он посмотрел на меня покойным, но пристальным взором, будто омыв меня

чистой водой. А затем, взглядевшись еще внимательней, он словно бы узнал меня и проговорил: «Он пожинает плоды своих дурных деяний». Поистине, этот великий мудрец в силу своего подвижничества способен проникать божественным оком три времени: прошлое, настоящее и будущее, и весь мир как бы лежит у него на ладони. Он ведает былые рождения, предсказывает грядущее, определяет срок жизни любого существа, попавшегося ему на глаза. Зная такой его дар, все отшельники, собравшиеся подле ашоки, преисполнились любопытства: «Что за дурные деяния совершил этот попугай? Отчего он их совершил и где? Кем он был в своем прошлом рождении?» И стали просить великого подвижника: «Расскажи нам, святой отец, за какие дурные деяния он теперь расплачивается, кем был он в прежнем рождении, отчего стал птицей и каково его имя. Утоли, божественный, наше любопытство; тебе ведомо все чудесное».

На расспросы отшельников великий мудрец отвечал: «Эта удивительная история очень длинна, а день уже на исходе. Приближается час омовения, и нам нельзя медлить: время воздать почести богам. Ступайте, завершите свои дневные обязанности, а вечером, когда, отведав плодов и кореньев, вы будете отдыхать, я подробно, с начала до конца, расскажу вам, кто он такой, что делал в прежнем рождении и как снова появился на свет. Теперь же надо его накормить и дать ему отдохнуть. Когда я буду рассказывать, он вспомнит, словно забытый сон, всю свою

прошлую жизнь». Так он сказал и, поднявшись с места, приступил вместе с другими отшельниками к вечерним обрядам, начиная с омовения.

Тем временем день подошел к концу. Солнце в небе словно бы пропиталось красным сандалом, который отшельники принесли ему в дар, совершая предписанные после омовения жертвы. Его сияние стало слабеть, словно бы выпитое подвижниками, когда они, запрокинув по обычаю головы, не отрывали от его диска неподвижного взгляда. Оно спустилось с неба, подобрав красные, как лапки голубя, ноги-лучи, словно бы опасаясь коснуться подымающегося вверх созвездия Большой Медведицы. В сиянии пунцовых лучей оно отразилось в Западном океане и стало похоже на лотос, что растет из pupa возлежащего на водах Вишну¹¹² и источает струю золотистого меда. Его лучи, будто птицы на исходе дня, покинули землю и, оставив дневные лотосы, взлетели на вершины деревьев и гор. Покрытые багровыми пятнами заката, деревья в обители словно бы облачились в одежды из красного лыка, которые развесили повсюду отшельники. И едва сияющее тысячу лучей благое солнце зашло, занялась алая заря, как если бы из глубин Западного океана поднялось коралловое дерево.

В обители между тем отшельники предавались созерцанию. Ласково звенели струи молока, льющегося из вымени священных коров. На жертвенных алтарях зеленела трава куша, а дочери подвижников разбрасывали по земле вареный рис в дар божествам — храните-

лям сторон света. Вечерняя заря, подкрашенная светом вспыхнувших звезд, казалась коровой с красными глазами, которая долго где-то бродила, а теперь вернулась в стойло. Купы лотов, опечаленные разлукой с солнцем, словно бы приняли на себя обет ради возвращения своего господина: подняли кувшины с водою — свои бутоны, облачились в платье из лыка — белых гусей, подпоясались вервием — водорослями, стали перебирать четки — снующих над ними пчел. Когда солнце опустилось в Западный океан, сонмы звезд, будто брызги при всплеске волн, усеяли небо. Они засверкали так, как если бы дочери сиддхов в честь вечерней зари рассыпали по небесной глади гроздь ярких цветов. А спустя какое-то время и заря погасла, как если бы, совершая вечерний обряд, отшельники смыли ее пригоршнями воды.

Едва погасла вечерняя заря, как ночь, оплакивая ее уход, натянула на себя покров мрака, будто темную шкуру антилопы. Все вокруг, кроме сердец подвижников, сделалось черным. Однако вскоре, узнав, что солнце зашло, месяц залил своим светом небо, и оно стало похожим на лесную обитель бессмертных богов: полоска тьмы на краю неба казалась рощей деревьев тамала, созвездие Семи Риши — семью божественными мудрецами, звезда Арундхати¹¹³ — праведной женой Васиштхи, созвездия Ашадха и Мула¹¹⁴ — отшельническим посохом и целебным корнем, яркие звезды Козерога — сверкающими глазами ручной лани. Как белая Ганга падает с головы Шивы, украшенной луной и

черепами¹¹⁵, и вливается в океан, так лунный свет, белый, как оперенье гуся, падал с неба, украшенного луной и черепками звезд, и полнил океан волной прилива. На озере-луне¹¹⁶, белом от расцветших лотосов, показалась лань, словно бы пришедшая попить воды — лунный свет и неподвижно застывшая в трясине амриты. Лунные лучи, белые, как цветы синдхувары, раскрывшиеся после сезона дождей, купались в лotosовых озерах, словно гуси, слетевшиеся к океану. С серпа луны исчезли розовые краски восхода, и она стала похожа на лобный бугор слона Айраваты, с которого водами небесной Ганги смывает красный сурик.

И вот, когда благой месяц постепенно поднялся высоко в небо, когда мир просветлел от блеска луны, будто припудренный белой пудрой, когда задул — как бывает в начале ночи — тяжелый от капель вечерней росы ветерок, принес с собой аромат распустившихся лотосов и обрадовал своим касанием ручных ланей, которые мирно дремали, сомкнув ресницы, и медленно пережевывали во рту свою жвачку, — так вот, когда минула первая половина первой стражи ночи¹¹⁷, Харита накормил меня, взял на руки и в сопровождении других отшельников пошел к отцу. Тот покойно сидел на тростниковой подстилке в одном из уголков обители, залитом лунным светом, а рядом ученик по имени Джалапада неторопливо обмахивал его опахалом, сделанным из оленьей кожи и травы куши. Приблизившись, Харита сказал: «Отец, сердца пришедших к тебе отшельников

полны нетерпения услышать чудесную историю этого птенчика, который теперь избавлен от прежней усталости. Прошу тебя, поведай нам, что он делал в прошлом рождении, кем был и кем ему предстоит стать». Услышав эти слова, великий подвижник поглядел на меня и, убедившись, что все отшельники готовы прилежно ему внимать, медленно начал: «Слушайте, если желаете слышать».

РАССКАЗ ДЖАБАЛИ

Есть в стране Аванти город Удджайини, затмевающий славой столицу богов, лучшее украшение трех миров. Он кажется обителью Золотого века, новой планетой, которую сотворил для себя тот, кто зовется благим Махакалой, владыкой праматхов, создателем, хранителем и разрушителем вселенной. Он окружен ожерельем рвов с водою, таких глубоких, что простираются до нижнего мира, и кажется второй землей, окруженной обманутым его величием океаном. Он обведен кольцом белоснежного крепостного вала, чьи башенки касаются неба, словно гребни горы Кайласы, пожелавшей остаться обиталищем Шивы¹¹⁸. Он изрезан длинными улицами, вымощенными золотистым песком и гравием, уставлен лавками, полными раковин, устриц, кораллов, изумрудов и жемчуга, и кажется дном океана, обнажившимся, когда океанские воды выпил Агастья. Он славится картинными галереями с изображениями богов и асуров, сиддхов и гандхарвов, видьядха-

ров и нагов, как если бы все они спустились на колесницах с неба, чтобы взглянуть на бесчисленные празднества, справляемые в городе. На его перекрестках высятся красивые храмы, белые, будто гора Мандара¹¹⁹ во время пахтанья Молочного океана, купола их похожи на золотые кувшины, а развевающиеся на ветру белые флаги — на пики Гималаев, которые сотрясает, падая с неба, священная Ганга. Он прекрасен пригородными парками, где уютные беседки, прохладные из-за бьющих рядом фонтанов, стоят в тени высоких зеленых деревьев и усыпаны светлой пылью цветов кетаки. В городе подле каждого дома разбиты сады, которые затемяют полумраком тучи пчел, вьющихся в воздухе со звонким жужжанием. Над городом постоянно веет ласковый ветерок, пропитанный ароматом цветов, растущих на садовых лианах. Над домами в честь бога любви, которого чтут горожане, реют флаги со знаками макары¹²⁰ на полотнищах из красного муслина, с древками из маданы и с привязанными к ним красными опахалами, усыпанными кораллами, и колокольчиками, сулящими счастье своим перезвоном. Повсюду в городе звучат гимны вед, которые смывают грехи с его жителей. Повсюду слышны крики пьяных от радости павлинов, которые распускают ярким веером свои хвосты и весело танцуют около садовых фонтанов, глухо рокочущих, будто обтянутые влажной кожей барабаны, и разбрызгивающих водяные брызги, которые в лучах солнца переливаются радугой, словно в дождливый день. Будто тысяча глаз Индры¹²¹,

сверкают в этом городе тысячи прудов, которые пленяют цветущими лотосами-зрачками, белеют прозрачными лилиями-веками, околдовывают резвящимися рыбами-взорами. Подобно амрите, город пенится террасами из слоновой кости, которые со всех сторон обступают банановые деревья. А вдоль города струится река Сипра, чьи воды, потесненные кувшинами грудей опьяненных молодостью женщин Мальвы, вздымаются вверх и, словно бы завидуя небесной Ганге на голове Шивы, хмурят свои брови-волны и пытаются заполнить собою пространство неба.

Слава жителей этого города гремит по всему миру. Как полумесяц надо лбом Рудры, они блистают своими кудрями; как гора Майнака, сберегшая крылья¹²², они оберегают себя от кривды; как Ганга, цветущая лотосами, они украшены золотом; как законы смрити¹²³, они не боятся смерти; как гора Мандара, они богаты дарами моря. Хотя они избегают зла, но осыпают себя золою; хотя отвергают людей недостойных, но не знают ни в чем недостатка; хотя им не чужды дерзания, они чураются дерзости; хотя речь их приветлива, но всегда непритворна; хотя они преданы любви, но не предают любимых; хотя со всеми радушны, но не кажутся равнодушными; хотя высоко ставят долг, но не знают долгов. Они не испытывают иного страха, кроме страха иного мира, сведущи во всех науках, щедры, разумны, улыбчивы, неистощимы на забавы, изобретательны в нарядах, понимают любой язык, красноречивы, знают множество

преданий и легенд, владеют всеми видами письма. Они чтут «Махабхарату», пураны и «Рамаяну», рассказывают «Брихаткатху», опытни во всех искусствах, искусны во всех играх, начиная с игры в кости, прилежны в изучении вед, ценят прекрасные и мудрые реченья, всегда тверды духом. Они приятны и ласковы, как весенний ветерок, прямы и нестибаемы, как сосны в Гималаях, увлечены стихами и драмой, как Сита — Рамой, следуют советам друзей, как день следует за солнцем, не заботятся о будущем, подобно буддистам, соблюдают предписания вед, подобно праведным брахманам, сострадают всему живому, подобно джайнам.

Дворцы в городе кажутся холмами, скопления домов — ветвистыми рощами, щедрые жители — деревьями, исполняющими желания, а сам город — со стенами, расписанными картинами из жизни богов и людей, словно бы вмещает в себя весь мир. Как румяная заря, он озарен блеском рубинов; как поле Куру, он окурен дымом жертвенных костров; как Шива с белыми зубами, он улыбается зубцами башен; как бог Кубера, он бережет богатства; как Хари, он славится храмами; как свежее утро, он пробуждает от сна невежества; как поле битвы, он полон слоновьих бивней; как Шеша над змеями, он царит над землей; как море, он радуется мощью; как царская зала, он богат золотом; как Дурга, он дружен со львами;¹²⁴ как Адити, он горд своими детьми; как Вишну, он высится над землей; как Астика, покровитель змей, он покровитель благородных семей; как «Хариванша», он

полнится хвалою Хари. Хотя этот город изукрашен парчой, но огражден от порчи; хотя живут в нем четыре варны, но жив он одной верой; хотя пленяет своей прелестью, но презирает лесть; хотя временами кажется разным, но не знает розни.

В этом городе на своем каждодневном пути по небу солнце словно бы совершает обряд поклонения Шиве: кони солнечной колесницы, восхищенные сладким пением горожанок на верхних террасах дворцов, сгибают свои выи, а полотнище знамени колесницы клонится книзу. В этом городе солнечные лучи сверкают разными красками: падают на украшенный мозаикой из драгоценных камней пол — и становятся розовыми, как свет зари; на террасы из изумруда — и выглядят темными лотосами; на дорожки из лазурита — и кажутся как бы рассеянными по небесной тверди; на черные клубы дыма от возжиганий алоэ — и словно бы прореживают тьму; на изделия из жемчуга — и словно бы соревнуются в блеске со звездами; на лица широкобедрых женщин — и словно бы целуют распутившиеся лотосы; на хрустальные стены — и словно бы смешиваются с лунным сиянием; на белые полотнища знамен — и словно бы купаются в небесной Ганге; на желтый, как солнце, песок — и словно бы глядятся в зеркало; на окна из сапфира — и словно бы попадают в темную пасть демона Раху. В этом городе яркий блеск женских украшений перекрашивает мглу ночи в золотистый цвет утренней зари, и, обманутые этим блеском, уже не

разлучаются пары чакравак¹²⁵, а любовники не зажигают светильников: им кажется, что от пламени их любви полыхает сам воздух. В этом городе, обители трехглазого Шивы, постоянно слышатся крики домашних гусей, и мнится, что это рыдает Рати по сожженному Шивой Каме¹²⁶. В этом городе трепещущие от ветра шелковые стяги кажутся руками, которые по ночам простирают вверх дворцы, чтобы стереть с луны пятна и помочь ей в соперничестве с лицами-лотосами женщин Мальвы. В этом городе месяц словно бы спускается с неба, покорный любви к красавицам, чьи лица он разглядел на верхних террасах дворцов, и катится по зеркалу мостовых, выложенных дорогими камнями и прохладных от сандаловой воды. В этом городе тысячи попугаев и скворцов, пробуждаясь на исходе ночи, радостно приветствуют утро, но их громкое пение и клекот пропадают втуне, ибо их нельзя расслышать из-за мелодичного звона женских браслетов и протяжных, сладких, как нектар, криков ручных цапель. В этом городе только пламя светильников не знает покоя, легковесны только одежды, бьют только в барабаны, разлучаются только пары чакравак, проверяют только вес золота, трепещут только флаги, избегают света только ночные лотосы, притупляется только оружие. Что тут еще говорить! В этом городе живет тот, чьи ноги обласканы блеском драгоценных камней в коронах склонившихся перед ним богов и асуров; кто острым своим трезубцем сразил могучего демона Андхаку; на чьей голове сияет месяц,

отполированный ножными браслетами Гаури; чья грудь осыпана пеплом сожженной Трипуры; к чьим стопам соскользнули браслеты Рати, когда она, оплакивая гибель Камы, протянула к нему с мольбою руки; в чьей яркой, как языки пламени в день гибели мира, копне волос струится небесная Ганга — в этом городе живет, пренебрегши привычкой к Кайласе, сам благой Шива, зовущийся Махакалой.

В этом городе, который превосходит любое его описание, был царь по имени Тарапида — верное подобие Налы и Нахуши, Яяти и Дхундхумары, Бхараты, Бхагиратхи и Дашаратхи. Он силою собственных рук покорил землю и теперь вкушал плоды верховной власти, мудрый, исполненный мужества, изучивший науку политики, сведущий в добродетели, затмивший блеском своей красоты луну и солнце, очистивший дух и плоть бесчисленными жертвоприношениями, избавивший мир от всех бедствий. Богиня Лакшми с лотосом в руке, которая одаряет дружбой одних героев, покинула ради него свое цветочное ложе, пренебрегла блаженством покоя на груди Нараяны и прильнула к нему с безоглядной любовью. Он был могучей опорой истины, которую чтят великие подвижники, так же как ноги Вишну служат опорой небесной Ганги¹²⁷, почитаемой святыми мудрецами. Подобно океану, он стал хранителем славы, схожей с луной: холодной, но сжигающей зло, немеркнувшей, но вечно изменчивой, чистой, но омрачающей лица-лотосы недругов, невозмутимой, но возбуждающей страсть в

людях. Как горы в страхе лишиться крыльев бежали в подземное царство, так в страхе лишиться приверженцев искали его покровительства земные цари. Как следует за планетами Будха, так следовал он советам мудрых. Как Индра, убивший Вритру, он был победителем в битвах. Как Арджуна, хранивший Драупади, он был хранителем своих друзей. Как Махасена, сын Шивы, он обладал могучей силой. Как Шеша, царь змей, он поддерживал землю. Как поток Нармады, берущий начало с высоких гор, он был потомком великих царских родов. И, словно воплощенный Дхарма, словно второй Вишну, он избавил от горестей своих подданных.

Как Пашупати удержал гору Кайласу¹²⁸, которую пытался сокрушить Равана, черный помыслами и содеявший много зла, так царь Тарапида укрепил древо дхармы, которое до корней потряс век Кали, запятнанный невежеством и множеством злодеяний. Он казался людям вторым Камой, которого возродил Шива, когда его сердце смягчилось от сострадания к Рати. Покорные силе его меча, чтили его все цари: низко склонив головы, сомкнув в приветствии ладони-лотосы, они тянули ему навстречу ветви своих рук; зубцы их корон, будто листья — солнечный свет, озаряло сияние ногтей на его ногах; и зрачки их глаз в испуге от его взора беспокойно метались из стороны в сторону. Цари стекались к его двору со всех земель: на востоке простирающихся до горы Удаи, чье подножие омыто волнами Восточного океана, на

чьих склонах кисти цветов на деревьях словно бы удваиваются в числе гроздьями нависших над их кронами звезд, сандаловые деревья обрызганы амритой, льющейся из серпа восходящего месяца, листья на деревьях лаванга пробиты острыми копытами коней колесницы солнца, а ветви деревьев шалака обломаны хоботом слона Айраваты;¹²⁹ на юге — до берега Южного океана¹³⁰, где руками Налы сложен был мост из обломков тысячи скал, где уже не найдешь плодов лавали, обобранных обезьяньим войском, где божества океана, выходя из волн, почитают следы стоп Рамы, а прибрежный песок, словно звездами, усеян раковинами, расколотыми упавшими в море горами; на западе — до горы Мандары¹³¹, которая при пахтанье океана его прозрачными водами смысла мириады звезд, вершина которой до сих пор увлажнена брызгами амриты, скалистые склоны отполированы резными браслетами с рук Вишну, а утесы осыпались под тяжестью тела Васуки, когда боги и асуры обмотали им, как веревкой, гору и растягивали его в разные стороны; на севере — до горы Гандхамаданы¹³², которая славится обителью Бадарика, хранящей следы ног Нары и Нараяны, чьи склоны отвечают эхом на звон браслетов жительниц стольного града Куберы, чьи ручьи очищены касанием рук семи божественных мудрецов, совершающих здесь обряд почитания зари, чьи лужайки и сейчас благоухают ароматом лотосов, некогда сорванных Врикодарой.

Когда Тарапида, будто слон — хранитель

мира, который карабкается на Древо желаний¹³³, сияющее яркой листвой и увешанное гроздьями плодов, поднимался на трон, сверкающий драгоценными камнями и украшенный жемчужными кистями, стороны света, уstraшенные тяжестью его меча, падали перед ним ниц; словно лианы, клонящиеся под тяжестью пчел. Его несравненному могуществу завидовал, думаю, даже царь богов Индра. Словно стая гусей от горы Краунча¹³⁴, по всему миру тянулись лучи его доблести, крася землю в белый цвет добродетели и радуя сердца людей. Его слава, сладкая, как амрита, растекалась по десяти направлениям света, наполняя их гулом восхвалений, очищая своей белизной мир богов и асуров¹³⁵, словно прибой Молочного океана. Царское счастье ни на миг не покидало тени его зонта, словно бы опасаясь нестерпимого жара его величия. Повсюду люди слушали рассказы о его деяниях, как слушают благие посулы, принимали их к сердцу, как принимают наставления, размышляли о них, как размышляют о добродетели, повторяли, как повторяют гимны, запоминали, как запоминают веды. Когда он царствовал, недоступность была только у гор, подчинение — только в грамматике, любованье собой — только в зеркале, упрямство — только в делах веры, кривизна — только у луков, тупость — только у ножей, колкость — только у копий, заносчивость — только у знамен, коварство — только у змей, битвы — только на сцене, узы — только между друзьями, подавление — только страстей, усмирение — только диких слонов,

пожирание — только огненных жертв, падение — только звезд, распушенность — только у волос, тернии — только у цветов, безразличие — только у аскетов, ослепление — только у влюбленных, затмение — только у солнца, убывание — только у луны, предательство — только в преданиях, нужда в палке — только у стариков, неотесанность — только у камней, изломанность — только у бровей, жадность — только к знаниям, неудачливость — только в игре в кости.

Был у царя Тарапиды министр по имени Шуканаса, преданный ему с детства, брахман по рождению, изощривший свой разум в науках и искусствах, многоопытный в применении всех средств политики. Кормчий, прокладывающий путь кораблю власти, он даже в великих опасностях никогда не падал духом, был воплощением мужества, твердыней долга, оплотом истины, опорой благочестия, наставником добродетели. Как Шеша, несущий бремя земли, он нес терпеливо бремя царских дел. Как океан, он был источником жизни для всех живых существ. Как составленный из двух половин Джарасандха¹³⁶, он заключал в себе двуединство войны и мира. Как Парвати — Шиву, он чтит правду. Как Дхарма — Юдхиштхиру, он охранял добродетель. Знающий все веды и веданги, полный благих устремлений, держащий в руках все нити правления, он был для царя все равно что Брихаспати для Индры¹³⁷, или Шукра для Вришапарвана, или Васиштха для Дашаратхи, или Вишвамित्रа для Рамы, или Дхаумья для

Юдхиштхиры, или Даманака для Бхимы, или Сумати для Налы. Силой своего разума он, как того и желал, без труда завладел богиней царского счастья Лакшми, хотя она и укрывалась на покрытой шрамами от меча Нараки груди Нараяны, чьи руки затвердели от пахтанья океана горой Мандарой. Мудрость под опекой Шуканасы приносила все больше и больше счастливых плодов, подобно лиане, прильнувшей к могучему дереву и дающей все новые и новые побеги. А по земле, опоясанной четырьмя океанами, рыскали тысячи его лазутчиков, и каждый вздох любого царя всегда известен был Шуканасе, как будто он слышал его в собственном доме.

Царь Тарапида, своей грозной рукой — могучей, как хобот небесного слона Айраваты, крепкой, как царский жезл, твердой, как жертвенный столп в жертвоприношении-битве, умелой в избавлении мира от зла, покрытой сеткой лучей-веток от блеска лезвия меча-лианы, подобной комете, возвещающей гибель врагов, — покорил еще в юности всю землю и, переложив на министра Шуканасу как на друга бремя царствования, даровав благоденствие подданным, уже не видел нового подобающего его величию дела. Усмирив врагов и устранив все опасности, он стал меньше времени уделять царским обязанностям и, сколько мог, предавался утехам молодости.

Иногда, отдавшись во власть Камы, он вкушал радости любви: будто в бассейне с сандаловой водой, он купался в нектаре улыбок своих

возлюбленных, за ушами которых веточки с листьями сбивались набок под напором волосков, вставших от наслаждения¹³⁸ на их щечках; блеск их драгоценностей отражался в сверкании его глаз, будто присыпанных шафрановой пудрой; сноп лучей от ногтей на их пальцах озарял его тело, словно облачая его в белое шелковое платье; его обнимали их руки-лианы, словно оплетая гирляндами из цветов чампаки; по нежным рукам красавиц, когда они подносили их к покусанным губкам, скользили, звеня, золотые браслеты; от их украшений, сорванных в порыве страсти, бугрилось ложе; венки на голове царя становились пунцовыми, когда к нему прижимались их ноги, покрытые красным лаком; от пылких ласк из их ушей падали на пол и ломались драгоценные серьги; постель чернела от пятен туши, которой они разрисовывали себе грудь; на лицах их желтые тилаки и румяна смывались прозрачными каплями пота.

Иногда царь забавлялся игрой с золотыми кубками, изготовленными в форме рога: из них красавицы лили на него нескончаемые, как ливень стрел бога любви, потоки шафрановой воды, которые делали его тело золотистым; от водяных брыз, смешивающихся с красным лаком, платье его становилось розовым, а сандаловая мазь, которую он втирал в кожу, пропитывалась запахом мускуса.

Иногда он вместе с женами гарема купался в продолговатых прудах, расположенных рядом с дворцом: гирлянда волн белела от сандаловой пудры с их грудей; красный лак с их ног, на

которых звенели, скользя, браслеты, прилипал к оперенью гусей; вода, пестревшая разнообразием цветов, выпавших из женских кудрей, была усеяна лепестками лилий, украшавших их уши, устлана пылью со сломанных лотосов, покрыта клочьями пены, взбитой частыми взмахами их рук, сверкала брызгами, поднятыми шлепками их круглых ягодич.

Иногда он обманывал своих возлюбленных, уклоняясь от свиданий с ними, и они, в обиду нахмутив брови, руками, по которым скользили, звеня, браслеты, опутывали его ноги цветочными стеблями и били его пучками травы, озаренными блеском их ногтей. Иногда, с упоением вкушая вино из женских уст, он расцветал в улыбке, как расцветает дерево бакула¹³⁹, когда девушки изо рта опрыскивают его вином. Иногда под ударами женских ног в нем вспыхивала страсть и кожа розовела от прихлынувшей крови, подобно тому как розовеет гроздьями цветов ашока, когда девушки пинают ее ногами. Иногда, весь белый от сандаловой мази, с ярким, трепещущим от ветра венком на шее, он наслаждался вином, как Баларама¹⁴⁰, чье тело бело и украшено цветочной гирляндой. Иногда, заложив за ухо ветку с листьями, свисающими на его разрумянившиеся от вина щеки, он с веселым возгласом уходил в благоухающий цветами лес, подобно тому как удаляется туда опьяневший от страсти слон, издавая трубный рев и хлопая ушами. Иногда он отдыхал на лужайке, поросшей лотосами, и всем сердцем внимал перезвону драгоценных браслетов, как отдыхает, издавая

звонкие крики, царственный гусь в лотосовом озере. Иногда он бродил по холмам с гирляндой из цветов бакулы на шее, как бродит лев, обросший густой гривой. Иногда он блуждал в чащобе лиан, ошетилившихся распустившимися почками, как блуждает среди цветов шмель. Иногда, закутавшись в черный плащ, он крался вечером на свидание к возлюбленной, как крадется месяц по темному небу. Иногда в компании нескольких друзей он внимал игре женщин гарема на лютнях, флейтах и бубнах, и звуки музыки разносились по внутренним покоям дворца, где на окнах были распахнуты золотые ставни, а в нишах гнездились голуби, словно бы выкрашенные в серый цвет дымком от постоянных возжиганий алоэ. К чему много слов! Всем, что только приятно и желанно, что не идет вразрез с добродетелью ни теперь, ни в будущем,— всем он наслаждался, сохраняя сердце невозмутимым; наслаждался не из приверженности к удовольствиям, а потому, что полностью выполнил свой царский долг. Ибо для царя, выполнившего свой долг и сделавшего свой народ счастливым, плотские радости — драгоценные украшения жизни; для всех же иных они постыдны. И все-таки из любви к своим подданным Тарапида время от времени показывался на людях и, когда это требовалось, поднимался на трон.

Шуканаса же в силу своей мудрости как бы играючи нес великое бремя царской власти. Он вершил дела государства, как вершил бы их сам царь, и удвоил преданность его подданных. Его

так же, как Тарапиду, чтили вассальные государи, и, когда они приветствовали его низкими поклонами, трепетала сеть лучей от драгоценных камней в их коронах, зала царского совета увлажнялась каплями нектара с их цветочных венков, а браслеты на их руках вплотную прижимались к золотым серьгам в их ушах. А когда он выступал в поход, цоканье копыт его конницы оглушало десять направлений света, горы рушились от тяжелой поступи его войска, земля чернела от мускуса, льющегося из висков грозных боевых слонов, реки становились серыми от клубов поднятой пыли. От топота ног воинов лопались барабанные перепонки, вся округа гремела от грома победных криков, тысячи реющих в воздухе белых опахал заслоняли небо, и свет солнца меркнул, скрытый за золотыми зонтиками царей, составляющих его свиту.

Царь Тарапида, возложив бремя власти на своего министра и сам предавшись утехам юности, со временем познал все доступные человеку радости. Все, кроме одной: радости увидеть собственного сына. Жены его гарема, хотя и вкушали вместе с ним все его удовольствия, походили на заросли кустарника — с цветами, но без плодов. И по мере того как уходила молодость, царь все больше и больше печалился, что он бездетен и заветное его желание не сбывается. Его сердце пресытилось плотскими уладами. Окруженный тысячами царей, он чувствовал себя одиноким, зрячий — казался себе слепым и, будучи опорой мира, — сам себе не имел опоры.

Как лунный камень в копне волос Хары, как

блеск камня каустубхи на груди Вишну, как драгоценный камень в капюшоне Шеши, как гирлянда цветов на шее держателя палицы Бала-рамы, как берег для океана, следы мускуса для слона — хранителя мира, лиана для могучего дерева, цветение деревьев для весны, свет для луны, лотос для пруда, звезды для неба, стая гусей для озера Манаса, сандаловая роща для гор Малая — так лучшим украшением для царя была первая из жен его гарема, царица Виласавати, которая вызывала восхищение во всех трех мирах и казалась средоточием женской прелести.

Однажды, войдя в покои царицы, царь застал ее сжавшейся в комок на кушетке; она подпирала ладонью левой руки свое лицо-лотос, сняла с себя все украшения и осталась с непричесанными и спутанными волосами в одном шелковом платье, мокром от беспрерывно льющих слез. Поодаль с грустными, озабоченными лицами молча толпились слуги, вокруг стояли женщины свиты, не отрывавшие от нее опечаленных взглядов, а рядом с ней — старшие жены гарема, пытавшиеся ее утешить. Она хотела встать навстречу царю, но он усадил ее обратно на кушетку, сам сел подле нее и, желая узнать, чем вызваны ее слезы, которые он стер ладонью с ее щек, встревоженно спросил: «Царица, отчего ты плачешь беззвучно и горько, приняв на одну себя тяжесть своей печали? Капли слез словно бы связывают твои ресницы в жемчужные нити. Отчего, тонкостанная, не надела ты своих украшений? Почему не

покрыла свои ноги красным лаком и не стала похожей на солнце, озаряющее розовым светом бутоны лотосов? Зачем не скользят по твоим ногам-лотосам драгоценные браслеты, будто белые гуси по озеру бога любви с цветочным луком? По какой причине безмолвствует твой стан, лишенный звонкозвучного пояса? Почему на груди твоей нет орнамента темной пасты, похожего на знак лани на полной луне? По какой причине твоя тонкая шея, о широкобедрая, не украшена ожерельем, подобным потоку Ганги, струящейся рядом с месяцем в волосах Шивы? Зачем понапрасну вянут твои щеки, красавица, на которых узоры шафрана смыты ручьями слез? Отчего единственным украшением для твоих ушей, похожих на лотосы, стала твоя ладонь с ее нежными пальцами-лепестками? По какой причине, высокочтимая, вместо тилаки, нанесенной желтой мазью, на твой лоб легли эти спутанные пряди? Кудри твоих волос, не убранные цветами, черные, как сгустки тьмы в первую стражу ночи, терзают мой взор. Сжался, царица! Поведай мне причину твоей скорби. Твои протяжные вздохи, от которых колышется платье на твоей груди, приводят в трепет мое любящее сердце, точно красный листок на ветке. Я в чем-то провинился? Или кто-то из твоих слуг? Как ни стараюсь припомнить, клянусь тебе, не знаю за собой и малой вины. Ибо ты для меня — и жизнь и царство. Так Расскажи же, прекрасная, в чем твое горе!»

Так он умолял Виласавати, но та не отвечала ни слова. Тогда он стал расспрашивать слуг, чем

вызваны ее слезы, и хранительница ларца с бетелем по имени Макарика, которая никогда с царицей не расставалась, сказала: «Божественный, разве мог государь хоть в чем-то провиниться перед царицей? А зная, как он к ней расположен, кто из челяди или придворных осмелился бы ее оскорбить? Нет, царица наша страдает оттого, что ее супружество с государем оказалось бесплодным, как если бы она была в плену злых чар, и мысль эта гнетет ее уже долгое время. Давно уже моя госпожа, будто царица подземного царства, упорно избегает всех радостей жизни. Ею настолько владеет печаль, что слугам с великим трудом удастся уговорить ее лечь спать, поесть, умыться, надеть украшения или заняться каким-то иным привычным делом. Она пыталась скрыть свое горе, чтобы не омрачать заботой сердце государя, но сегодня, в четырнадцатый день светлой половины месяца, отправившись в храм почтить молитвой благого Махакалу, она вдруг услышала там такие стихи из „Махабхараты“:

Блаженные миры бездетным недоступны;
И только сын спасет отца и мать от ада.

Услышав эти стихи, царица тотчас вернулась во дворец, и с тех пор, как ни умоляют ее со всем почтением слуги, она отказывается от еды, не надевает украшений, не отвечает на расспросы, но только рыдает, и лицо ее стало черным от слез, будто дождливый день. Выслушав, да повелевает государь!»

Сказав так, Макарика замолчала. Царь тоже

погрузился в молчание, а затем, горько и тяжело вздыхая, заговорил: «Что может человек? Ведь все зависит от судьбы! К чему рыдания? Видно, боги оставили нас, если наши сердца не вкусили сладкого нектара объятий сына. Видно, нет за нами добрых дел в прежних рождениях. В нашей жизни приносят плоды только бывшие деяния, и изменить законы судьбы подвластный ей человек не способен. Однако нужно сделать все, что только можно. Будь, царица, еще почтительней со старшими. Приноси богам двойные жертвы. Не щади себя в услужении святым мудрецам, ибо мудрецы — высочайшие божества, и, если своим усердием сниснешь их милость, они награждают исполнением даже самых несбыточных желаний. Так, некогда в стране Магадхе у царя по имени Брихадратха по милости мудреца Чандакаушики родился сын Джарасандха — несравненный воитель, победивший самого Джанардану¹⁴¹. Или же царь Дашаратха, хотя и был преклонного возраста, обрел по милости Ришьяшринги, сына великого мудреца Вибхандаки, четырех сыновей¹⁴² — непобедимых, как четыре руки Нараяны¹⁴³, и невозмутимых, как четыре океана. Да и другие прославленные цари, умиловив великих подвижников, вкусили нектар рождения сына. Ибо служение святым мудрецам никогда не пропадает втуне!

О! Когда же и я, царица, увижу тебя с полным чревом и с побледневшим лицом, похожей на вечер перед восходом луны в четырнадцатый день светлой половины месяца? Когда же на

празднестве рождения моего сына ликующие слуги поднесут мне блюда с поздравительными дарами? Когда же порадует меня царица, представ передо мною в желтом платье и с сыном на коленях, будто небо в красках утренней зари с восходящим солнечным диском? Когда же взвеселится мое сердце при виде сына, который, улыбаясь беззубым ртом, раскинется на спине, и волосы его будут промыты чистым соком целебных трав, губы смазаны топленным маслом, лицо — в разводах белой горчицы¹⁴⁴, смешанной с золой, на шее — нитка с желтыми бусинами? Когда же избавятся мои глаза от пелены скорби, глядя, как его золотистое тельце, словно светильник, разгоняющий мглу, под приветственные крики народа будут передавать с рук на руки жены гарема? Когда же, ползая по земле, серый от пыли, он станет украшением моего двора, и моего сердца, и моих взоров? Когда же, поднявшись на окрепшие ножки, он будет взад и вперед бродить по дворцу, словно молодой лев, который хочет поймать ручную лань, отделенную от него прозрачной хрустальной стенкой? Когда же он станет бегать по внутренним покоям дворца, преследуя домашних гусей, пришедших на звяканье женских браслетов, и этим доставит хлопоты своей нянюшке, которая поспешит на звон колокольчиков, подвешенных к его золотому поясу? Когда же он, изображая царя слонов, разрисует себе щеки, будто мускусом, черными узорами алоэ, посыплет тело, будто пылью, серой сандаловой пудрой и, в то время как нянька будет подзывать его согнутым

пальцем, станет встряхивать головою, словно боится бодца и принимает ее возгласы за бой барабана? Когда же он в шутку раскрасит лица придворных красным лаком, которым его мать покрывает себе ноги? Когда же, застыв на месте от удивления, он будет следить широко распахнутыми глазами за собственным отражением в зеркале драгоценного пола? Когда же он явится ко мне в Залу совета и тысячи царей, приветствуя его, протянут ему навстречу руки, а он невольно зажмурит глаза от лучезарного блеска их драгоценных уборов? Такие и сотни таких же мыслей мелькают в моей голове бессонными ночами. И дни и ночи жжет меня, будто огонь, страх остаться бездетным. Пустым кажется мне мир и бесплодным царство. Но что поделаешь, раз судьба неумолима! Оставь поэтому свою скорбь, царица. Будь твердой и верной долгу. Ибо только у того, кто верен долгу, близка встреча с удачей и счастьем!»

Так сказав, царь взял в мягкую, как древесный лист, ладонь немного воды и ополоснул ею залитое слезами лицо царицы, похожее на цветущий лотос. Снова и снова утешал он ее нежными и ласковыми словами, избавляющими от скорби, наставляющими в добродетели, и, проведя с нею немало времени, наконец удался. А когда он ушел, Виласавати, почувствовав облегчение, надела положенные ей украшения и занялась исполнением своих каждодневных обязанностей.

С тех пор она стала еще усердней в принесении жертв богам, в почитании брахманов,

в услужении старшим. И, страстно желая иметь сына, она неукоснительно исполняла любой обет — о каком бы и где ни слышала, — не считаясь ни с какими тяготами. В храмах Чандики¹⁴⁵, черных от дыма постоянно возжигаемых смол, чистая телом, в белой одежде, соблюдая пост, она спала на ложе, утыканном гвоздями и лишь слегка прикрытом травой кушей. На скотном дворе, сидя под брюхом священной коровы, обладающей счастливыми признаками, она, под благословения старых жен пастухов, из золотых кувшинов, украшенных драгоценными камнями и орнаментом из листьев, обливалась чистой водой, смешанной с плодовым и цветочным соками. Каждый день, вставая от сна, она подносила брахманам драгоценные золотые блюда с кунжутом. В четырнадцатую ночь темной половины месяца на перепутье четырех дорог, в центре круга, начертанного великими магами, она совершала омовение и всевозможными дарами старалась умиловить богов — хранителей сторон света¹⁴⁶. Она посещала святилища сидхов и возносила там моления об исполнении желаний, бывала в достославных храмах богинь-матерей, купалась в озерах, где обитали могущественные наги, обходила по кругу, слева направо, священные лесные деревья, начиная с ашваттхи, и воздавала им почести. Во время купания она собственными руками, по которым, звеня, скользили браслеты, из серебряного блюда кормила птиц творогом и вареным рисом. Она ежедневно чтит богиню Амбику щедрыми подношениями цветов, ладана, сладостей, кун-

жута, поджаренных зерен риса и риса, сваренного в молоке. С сердцем, полным веры, она вопрошала о будущем странствующих монахов-джайнов, чьи пророчества всегда сбываются, и одаривала их блюдами с рисовыми лепешками. Она с почетом принимала у себя прорицателей судьбы, часто навещалась к толкователям примет, смиренно вопрошала гадателей по птицам. Она заучивала тайные заклинания, из поколения в поколение хранившиеся старцами. Когда к ней приходили брахманы, она просила их читать ведийские гимны и во время чтения страстно мечтала о сыне. Она постоянно слушала святыя предания. Она носила с собой ларец с берестой, на которой желтыми письменами были написаны благотворные мантры. Она повязывала себе на шею амулеты из целебных трав. Ее слуги собирали повсюду и передавали ей слухи о разного рода знамениях, а по ночам разбрасывали по округе куски сырого мяса для шакалов. Все свои загадочные сновидения она пересказывала толкователям снов. И на перекрестках дорог она приносила жертвы во славу Шиве.

Однажды, когда ночь была на исходе и небо, на котором осталось лишь несколько потускневших звезд, сделалось серым, как крыло старого голубя, царь Тарапида увидел во сне, как в уста Виласавати, стоящей на верхней террасе дворца, опускается полный диск месяца, будто круглая луковица лотоса — в рот слониhi. Царь сразу же проснулся, встал, озарил спальню сиянием широко распахнувшихся от радости глаз и,

послав за Шуканасой, который пользовался его безграничным доверием, пересказал ему свой сон. Обрадованный не менее царя, Шуканаса сказал: «Божественный, наконец-то исполнились наши желания и надежды всех наших подданных. Нет сомнения, что в положенный срок государь насладится счастьем увидеть лицо собственного сына. Ведь сегодня и мне был сон, в котором некий брахман, одетый в белое платье и похожий на милостивое божество, возложил на лоно царицы цветущий лотос, увенчанный сотнями чистых, как серп луны, лепестков, составленный из тысячи тончайших волокон, увлажненный каплями цветочного меда. Известно, что добрые знамения всегда предвещают близкую радость. А какая иная у нас причина для радости? Нет, сны, увиденные в конце ночи, не бывают лживыми или бесплодными. Я уверен, что скоро у царицы родится сын, который, подобно Мандхатри, будет первым среди царей-мудрецов и станет источником счастья для всей земли. Он доставит столько же радости государю, сколько рождение лотосов на осеннем пруду доставляет радости царственному слону. И с его появлением на свет род моего повелителя, которому суждено нести бремя власти над всею землей, будет таким же нескончаемым, как поток мускуса у слона—хранителя мира».

Выслушав слова Шуканасы, царь взял его за руку и вместе с ним пошел на женскую половину дворца, где порадовал Виласавати рассказом и о своем сне, и о сне Шуканасы.

Спустя несколько дней по воле богов царственный плод, подобно отражению луны в водах озера, обременил лоно царицы Виласавати. И от этого она стала еще прекрасней, словно сад Нандана от дерева Париджаты или грудь Мадхусуданы от камня каустубхи. Как чудесное зеркало, она хранила в своем чреве верный образ своего господина — повелителя земли. С каждым днем беременности ее движения становились медленнее и медленнее, будто у тучи, отяжелевшей от влаги, в избытке выпитой ею из океана. Часто она глубоко вздыхала и устало прикрывала веки. Ее опытные служанки, видя, каким яствам и какому питью она отдает предпочтение, как потемнели, словно осенние облака, соски на ее груди, как сама она побледнела, словно стебель цветка кетаки, быстро поняли, что с ней происходит. И однажды, когда царь восседал на троне у себя во дворце и вокруг него, словно сонмы звезд вокруг полной луны или тысячи драгоценных камней капюшонов Шеши¹⁴⁷ вокруг Нараяны, сверкали тысячи светильников, напоенных ароматическим маслом; когда рядом с ним были лишь самые близкие из коронованных им царей, а поодаль стояли самые верные слуги; когда он вел доверительную, не предназначенную для чужих ушей беседу с Шуканасой, который сидел подле него в высоком тростниковом кресле, одет был в простое белое платье, но глубиной своей мудрости превосходил толщу вод океана, — так вот, однажды в счастливый день к царю подошла главная служанка царицы, смотрительница ее

спальни по имени Кулавардхана, умудренная постоянным проживанием в царской семье, гордая своей всегдашней близостью к царю, сведущая во всех благих приметах, и тихо прошептала ему на ухо известие о беременности Виласавати.

При этой вести, никогда им прежде не слышанной и услышать которую царь уже не надеялся, на теле его от удовольствия поднялись все волоски, кожа словно бы увлажнилась амритой, поток радости наполнил сердце, рот, расцветший в улыбке, словно бы излил эту радость в блеске зубов, и глаза его, мокрые от сладостных слез, с дрожащими от волнения зрачками и трепещущими ресницами, оборотились в сторону Шуканасы. Шуканаса, заметив сначала, как к царю подошла Кулавардхана с сияющим от улыбки лицом, а затем, как ликует царь никогда не виданным прежде ликованием, сразу понял, хотя сам ничего не слышал, что никакой другой причины для столь великой радости, кроме той, какая все время у него на уме, быть не может. И, догадавшись, он придвинул к царю свое кресло и, приглушив голос, сказал: «Государь, неужели увиденный сон оказался хоть как-то похож на правду? Не потому ли так весело сияют глаза Кулавардханы, а твои глаза, в нетерпении услышать приятную новость, словно бы устремились к ушам и походят на заткнутые за уши прекрасные голубые лотосы? Их наполнили слезы радости, и зрачки их, сверкая, танцуют, выдавая невольную причину твоего торжества. Разум мой истомился в страстном ожидании великого для

нас праздника. Так поведай же мне, государь, что случилось!» В ответ на его слова царь с улыбкой сказал: «Если верно то, о чем сообщила мне Кулавардхана, то сон сбывся. Но я еще не могу в это поверить. Откуда такое счастье? Достойный ли я сосуд для нектара такой вести? Хотя Кулавардхана всегда говорит только правду, сегодня я готов сомневаться в этом, ибо не заслужил такого блаженства. Так не будем же мешкать, пойдем и сами расспросим царицу, насколько верно то, что мы узнали». Так сказав, он отпустил вассальных царей и, сняв с себя все украшения, подарил их Кулавардхане; а та, ослесленная его милостью, поблагодарила его таким глубоким поклоном, что лоб ее коснулся поверхности пола.

Когда царь поднялся с трона, сердце его, полное нетерпения, радостно билось, а правый глаз, предвещая удачу, моргал, будто трепещущий лепесток голубого лотоса, с которым играет ветер. Вместе с Шуканасой, в сопровождении лишь нескольких слуг, бывших рядом, он направился на женскую половину дворца, и факелы впереди него, чьи пламенные языки раздувал ветер, рассеивали темноту комнат, по которым он проходил.

В спальне, которую освятили очистительными обрядами и только что выкрасили в белый цвет, в которой горели благодатные лампы и по углам стояли полные воды кувшины, где стены были недавно расписаны сулящими покой и счастье красивыми картинами, а вдоль стен шел диван, отороченный жемчужной бахромой,

и высились драгоценные светильники, разгоняющие полумрак, он увидел Виласавати, одетую в тонкое шелковое платье, полы которого украшал желтый орнамент. Она покоилась на ложе, предназначенном для будущей матери: вокруг ложа священной золой был начертан охраняющий от зла круг; у его изголовья стояли два белых кувшина, благоприятствующие мирному сну; оно было обложено разного рода целебными травами и кореньями; на нем лежало магическое кольцо и были рассыпаны семена белой горчицы; с него свешивались красные листья фигового дерева, скрепленные тонкой нитью, и зеленые листья дерева аришты; оно возвышалось на длинных ножках, имело белое, как лунный свет, покрывало и казалось широким, как склон Гималаев. Старые служанки гарема, сведущие в обрядах, совершали над царицей очистительную церемонию с помощью золотых кубков, полных жидкого творога, блюд с рисовыми зернами, белыми и подвижными, как волны, не связанных в венки или гирлянды цветов, рыбин с неотрезанными головами, оставляющих на полу долгий влажный след, кусков свежего мяса, светильников под колпаками, горящих холодным светом, ярко-желтых зерен горчицы и пригоршней воды. Сама царица, хранящая младенца в своем чреве, походила на землю со скрывшейся в ее недрах вершиной гор Кула, или на реку Мандакини, с погружившимся в ее воды Айраватой, или на летний день с солнцем, спрятавшимся за грядой облаков, или на ночь с месяцем, еще не вышедшим из-за горы

восхода, или на пуп Нараяны, из которого еще не вырос лотос с Брахмой, или на южную часть неба, на которой вот-вот появится звезда Агастья, или на берег Молочного океана с сосудом амриты, прикрытым пеной. И, радостно переговариваясь о счастливом событии, ей прислуживали служанки, одетые в чистые белые платья.

Виласавати попыталась встать навстречу царю; одной рукой-лианой она оперлась на тут же подставленную руку служанки, а другую, на которой зазвенели соскользнувшие вниз браслеты, опустила на левое колено, но царь опередил ее и со словами: «Довольно, довольно, царица! Не усердствуй в учтивости, не поднимайся!» — сам сел на постель рядом с нею. А Шуканаса опустился в кресло с золотыми ножками, которое стояло неподалеку от ложа царицы и было затянуто белым чехлом.

И вот царь, чей разум опьянел от избытка счастья, шутливым голосом спросил у царицы: «Государыня, Шуканаса хотел бы узнать, есть ли хоть доля правды в том, что говорит Кулавардхана?» В ответ Виласавати только потупилась, а щеки ее, глаза и губы озарились легкой улыбкой, как будто она в смущении прикрыла лицо завесой лучей, хлынувших от ее белых зубов. Когда же царь вновь и вновь повторил свой вопрос, она сказала: «Зачем ты повергаешь меня в нестерпимый стыд? Я ничего не знаю» — и, еще ниже опустив голову, поглядела на царя искоса, как бы со страхом. Тогда владыка земли, чье лицо-луна просияло от едва сдерживаемого смеха, сказал ей: «О прекрасная! Если мои рас-

спросы смущают тебя, я готов замолчать. Но разве не говорит сам за себя бледно-шафрановый цвет твоей кожи, так похожий на цвет лепестков раскрывшихся бутонов чампаки, что различить их можно только по запаху? Разве не говорят за себя твои груди с их потемневшими сосками, как будто на них навечно застыли черные пятна туши или как будто они увенчаны сгустками дыма от пламени сердечной скорби, которую залил теперь нектар амриты зачатия сына, или как если бы они были парой чакравак, держащих в клювах черные лотосы, или словно они два золотых кувшина, чьи горла прикрыты листьями тамалы? И разве не говорит сам за себя твой стан, который лишился обычной гибкости, а с нею и трех складок возле пупка и которому с каждым днем все больше досаждают тесный пояс?» Царя прервал Шуканаса, который, затаив улыбку в углах рта, сказал: «Божественный, зачем ты волнуешь царицу и ввергаешь ее в смятение своими расспросами? Не будем касаться новости, принесенной Кулавардханой». И, затеяв разговор на иные темы, по большей части шуточные, Шуканаса, прежде чем уйти домой, еще долго оставался с царем и царицей. А Тарапида провел в опочивальне своей супруги всю ночь.

По приказу царя во время беременности Виласавати все ее желания по первому ее требованию немедленно исполнялись. И вот, когда прошел положенный срок, когда астрологи, исчислявшие каждую минуту по водяным и солнечным часам, установленным рядом с дворцом,

отметили появление солнца над линией горизонта, в счастливый день и добрый час царица, подобно туче, рождающей молнию, родила сына и одарила радостью сердца всех людей. Едва царевич появился на свет, как на царском дворе зазвучали громкие приветственные крики и началось великое ликование. Земля сотрясалась от топота ног тысяч слуг, обрадованные придворные, спотыкаясь на бегу, бросились поздравлять царя, в давке падали сбитые с ног карлики, горбуны и прочие убогие люди, повсюду раздавался перезвон браслетов хлопочущих служанок, народ расхватывал одежду и украшения на выставленных ларях с подарками — весь город пришел в волнение. Затем вассальные цари, жены гарема, министры, царские слуги, гетеры, юноши, старцы — весь люд вплоть до простых пастухов, охваченный восторгом, пустился в пляс. И гром барабанов, глухой, как рев океана во время его пахтанья Мандарой, сладостные звуки бубнов, раковин, колокольчиков, тимпанов, протяжный звон торжествующих тамбуринов — весь этот радостный гул, сливаясь с гомоном тысяч людей, наполнил собою три мира. Сопровождаемый этим гулом и гомоном, великий праздник рождения царского сына нарастал с каждым мгновением, подобно океану при восходе луны.

Хотя сердцем царя всецело владело страстное желание постоянно любоваться лицом своего сына, он посещал родильный покой лишь в особые дни и благодатные часы, указанные придворными астрологами, посещал без всякой

свиты, в сопровождении одного только Шуканасы. У входа в покой стояли два освященных драгоценных сосуда, пол был устлан покрывом из свежих листьев, стены украшены изображениями младенцев, знаками плуга и пестика, выплавленными из золота; тигровой шкурой, не имеющей ни одного изъяна, венками из травы дурвы и белых цветов, гирляндами из листьев с подвешенными к ним колокольчиками. По обе стороны входа сидели сведущие в обрядах замужние женщины. Одни из них выводили сухим коровьим пометом узоры из свастики, покрывали их мелкими ракушками, похожими на песок, обкладывали разноцветными лоскутами из хлопка, посыпали сверху красными лепестками цветов кусумбхи; другие мастерили фигурку богини-матери, покровительницы шестидневных младенцев¹⁴⁸, и наряжали ее в парчовое платье, обрызганное шафрановой водой; некоторые лепили изваяние Карттикеи, сидящего на круглой спине большого павлина¹⁴⁹ с широко распластанными крыльями, держащего в руке знамя из легкого красного шелка и грозно поднявшего вверх свою пику; некоторые изготавливали изображения солнца и луны и покрывали их слоем красного лака; некоторые раскладывали на полу цепочки глиняных шариков, красили их в шафрановый цвет, густо намазывали похжей на жидкое золото горчицей и крепили на них, будто иглы, побеги ячменя; некоторые украшали чисто вымытые сандаловой водой стены орнаментом из блюд, обтянутых кусками разноцветной материи и обсыпан-

ных желтой рисовой пудрой. К боковой двери покоя был привязан козел, украшенный гирляндами из душистых цветов, а у изголовья постели царицы, в кругу, очерченном зернами спелого риса, сидела старая женщина благородного вида. В покое постоянно возжигали истолченные в порошок, политые топленным маслом барьяны рога и сухую змеиную кожу; пахло целебным дымом от тлеющих листьев дерева ариштаки; брахманы читали вслух веды и разбрызгивали святую воду; прислужницы возносили молитвы великим богиням-матерям, нарисованным красками на холсте; несколько старых женщин благозвучно пели, благословляя роженицу. Здесь же слышались пожелания счастья, приносились жертвы на благо младенцу, неустанно провозглашалась тысяча имен Наряны¹⁵⁰, висели сотни венков из белых цветов и горели на подставках из чистого золота оберегающие от бед светильники, которые неподвижными языками пламени, словно недремлющим внутренним оком, следили за счастьем новорожденного. А снаружи со всех сторон покой охраняли стражники с обнаженными мечами в руках.

Подходя к родильному покою, царь касался рукою воды и огня, чтобы оградить новорожденного от зла, а войдя, неотрывно глядел на сына — исток своей величайшей радости. Тот лежал у груди Виласавати, похудевшей и побледневшей от родильных мук, и блеск, от него исходящий, делал лишним свет светильников, горевших в комнате. Поскольку он только недавно родился, тело его сохраняло багровый

оттенков, и он был похож на алый круг восходящего солнца, или на полную луну в сиянии вечерней зари, или на свежую почку на древе желаний, или на распустившийся красный лотос, или на планету Будху, спустившуюся с неба, чтобы свидеться с матерью-землей. Казалось, что он сотворен из побегов кораллового дерева, или из света утреннего солнца, или из блеска рубина. Он выглядел как Карттикея, но только с одним, а не с шестью лицами¹⁵¹, как сын царя богов, выпавший из рук некоей небожительницы. Сиянием своего тела, ярким, как расплавленное золото, он словно бы наполнял всю комнату; его отличали все признаки величия, дарованные ему природой как украшения; к нему словно бы льнула богиня счастья Шри, надеясь на его покровительство в будущем.

Царь, добившись того, о чем всю жизнь мечтал; чувствовал себя наверху блаженства. Снова и снова вглядывался он в лицо сына, не отрывал от него глаз с неподвижно застывшими зрачками, полных слез радости, которые вновь выступали, как только он их вытирал; и, широко распахнутые, они излучали такую нежность, как если бы он хотел немедля заговорить с сыном, обнять его, вобрать в себя весь его облик. И царю казалось, что теперь-то он достиг исполнения всех своих желаний.

Однажды Шуканаса, чьи желания исполнились в той же мере, широко распахнутыми от радости глазами внимательно оглядел тельце младенца и сказал царю: «Взгляни, божественный! Недавно стиснутый в чреве у матери, царь-

вич еще не обрел всей своей красоты, но уже видны у него признаки повелителя мира, предвещающие будущее величие. Вот на гладком лбу, похожем на розовый от вечерней зари серп молодой луны, трепещет между бровями завиток волос, тонких, как нежные волокна сломанного стебля лотоса. Вот пара глаз с загнутыми вверх ресницами, таких продолговатых, что кажется, они тянутся до самых ушей, а когда раскрываются, то заливают всю комнату ярким светом и становятся похожими на две распустившиеся голубые лилии. Вот нос, напоминающий золотой слиток, такой длинный, что кажется, он хочет насладиться благоуханием рта, душистым, как аромат расцветшего лотоса. Его нижняя губа, напоминающая золотое ожерелье, похожа на нераскрывшийся бутон красного лотоса. Его руки с розовыми, как распустившийся цветок лотоса, ладонями отмечены счастливыми линиями, а также знаками диска и раковины¹⁵², словно у благого Вишну. Пара его ног, нежных, как ветви Древа желаний, украшена знаками знамени, колесницы, коня, зонтика и лотоса¹⁵³ и словно бы предуготовлена для почтительного касания тысяч корон подвластных ему государей. А голос его, когда он кричит, силен и звучен, точно грохот большого барабана».

Едва министр так сказал, как вассальные цари, стоявшие у дверей покоя, торопливо расступились и дали дорогу поспешно вошедшему слуге по имени Матанга. От радости глаза Матанги были широко раскрыты, лицо сияло, а

на теле поднялись вверх все волоски. Склонившись к ногам царя, он проговорил: «Божественный, судьба благосклонна к тебе, враги разбиты. Живи долго и властвуй над всей землей! Тебе на радость у сиятельного Шуканасы от старшей его жены брахманки Манорамы только что родился сын, подобный Парашураме, родившемуся от Ренуки. Выслушав, да повелевает государь!»

Услышав эти слова, подобные дождю амриты, царь, чьи глаза широко раскрылись от радости, воскликнул: «О, сколько чудесных событий! Верно говорят, что за бедой идет беда, а за удачей удача. Судьба, которая, подобно тебе, Шуканаса, одинаково равнодушна к беде и счастью, сегодня щедро меня одарила!» Сказав это, царь с сияющим от восторга лицом крепко обнял Шуканасу и в знак дружбы поменялся с ним верхним платьем. А слуге, принесшему благую весть, он, взвеселившись всем сердцем, велел выдать такую награду, которая по ценности не уступала самой вести.

Тут же Тарапида вместе со слугами и женами гарема направился во дворец Шуканасы. Все стороны света наполнились звоном тысяч женских ножных браслетов. От быстрых движений женщин, то падая, то взлетая, гремели также браслеты на их руках-лианах, а сами руки с поднятыми вверх ладонями казались лотосами на небесной Ганге, которые колеблет ветер. Ломясь, падали на землю веточки с листьями, которые они заложили себе за уши. Шелковые платья рвались, цепляясь за драгоценные украшения на подругах. Румяна смывались потом и

оставляли красные пятна на одежде. Тилаки на лбах стали едва заметны, тоже смытые потом. От громкого смеха куртизанки походили на распустившиеся белые лотосы¹⁵⁴. Они так спешили, что на их груди беспорядочно прыгали драгоценные бусы. Пряди их волос, свисая на лоб, липли к красным тилакам, а сами волосы пожелтели от туч пудры, висящей в воздухе. Впереди процессии шли, пританцовывая, карлики, горбуны, калеки, немые, глухие, хромые и прочие убогие люди. Женщины подшучивали над старыми слугами, стягивая с них накидки и завязывая их вокруг шеи, звонко, живо и слаженно пели под аккомпанемент лютен, флейт, барабанов и цимбал, танцевали и веселились, объятые великой радостью, и уже не различали, что следует, а чего не следует говорить, точно пьяные, или безумные, или одержимые демонами.

Царя сопровождала также толпа придворных, от топота ног которых, казалось, раскалывается земля. Об их гладкие щеки бились, раскачиваясь, драгоценные серьги, клонились туда и сюда заложенные за уши лотосы, сваливались от неловких движений венки с голов, ходили ходунном гирлянды цветов на шеях, а вокруг них неистово гудели раковины, грохотали литавры, барабаны, тамбурины и бубны. Шли за царем и бродячие певцы, которые танцевали, громкозвучно играли на разного рода трубах и флейтах, декламировали стихи и пели. А когда шествие приблизилось ко дворцу Шуканасы, празднество разразилось с удвоенной силой.

На шестой день от рождения царевича со-

вершены были посвячительные обряды, а когда наступил десятый день, царь, выбрав благоприятный час, раздал брахманам в дар множество коров и золотых монет. И в память о своем сне, в котором он видел, как полный месяц вошел в уста-лотосы Виласавати, дал сыну имя Чандрапида, что значит «Увенчанный луной». А на следующий день и Шуканаса, исполнив положенные брахману церемонии, с соизволения царя дал своему сыну подобающее для брахмана имя — Вайшампаяна¹⁵⁵.

Постепенно, по мере того как над Чандрапидой вершились все предписанные законом обряды, начиная с первой стрижки волос, прошло его детство. И тогда, чтобы сын не пристрастился только к развлечениям, царь Тарапида велел выстроить для него вне города, на берегу реки Сипры, Дом Учения, подобный жилищу богов. Дом был длиною в восьмую часть йоджаны, обнесен стеною, выкрашенной в белый цвет и напоминающей снежную гряду Гималаев, а вдоль стены был прорыт глубокий ров, наполненный водою, так что проникнуть внутрь можно было лишь по подвесному мосту через поднимающийся и опускающийся створ железных ворот. В одном из флигелей дома имела конюшня, и там хранилась лошадиная сбруя, а в нижней части дома находился гимнастический зал. И царь приложил немало усилий, чтобы найти для Чандрапиды лучших наставников во всех областях знания.

В один прекрасный день Тарапида передал сына на руки этим наставникам и поместил его,

словно льва в клетку, в Дом Учения, запретив покидать свое новое жилище. Чтобы отвратить его ум от пустых забав и направить на одну цель — овладение знаниями, он определил ему в товарищи главным образом сыновей его же учителей, а в качестве единственного друга приставил к нему Вайшампаяну. И каждое утро, едва только встав ото сна, царь вместе с Виласавати и немногочисленной свитой приезжал в Дом Учения и виделся с сыном.

Под надзором царя и благодаря своему прилежанию Чандрапида в самое короткое время овладел всеми знаниями, которым каждый из учителей наставлял его в своей области с усердием, кое могло сравниться только со способностями ученика. Все виды наук и искусств запечатлелись у него в уме, словно в чистейшем драгоценном зеркале. Он достиг высокой искусности в словообразовании, грамматике, логике, правоведении, политике, атлетических упражнениях, во владении разного рода оружием: луком, дротиком, щитом, мечом, копьем, пикой, боевым топориком и палицей, в управлении колесницами, в езде на слонах и конях, в игре на лютне, флейте, тамбурине, цимбалах и других инструментах, в изучении трактатов по искусству танца, написанных Бхаратой и другими мудрецами, а также трактатов по музыке, начиная с трактата Нарады, в укрощении диких слонов, в определении возраста лошадей и примет человека, в рисовании, живописи, чтении рукописей, письме, во всех играх, в распознавании запахов, голосов птиц и свойств драгоценных

камней, в резьбе по дереву и слоновой кости, в астрономии, архитектуре и медицине, в искусстве заклинаний и лечения от ядов, в устройстве подкопов, в наведении переправ, в преодолении препятствий, в горных восхождениях, в науке любви, в магии, в знании поэзии, романов, драм, повестей, «Махабхараты», пуран, итихас, «Рамаяны», в знакомстве со всеми алфавитами и разными языками, в понимании тайных знаков, во всех ремеслах, в толковании гимнов вед и во многих других навыках и умениях.

При том что Чандрапида всего себя отдавал учению, он с детства, подобно Бхиме¹⁵⁶, отличался удивительной телесной силой, вызывающей восхищение во всем мире. Молодые слоны не способны были сдвинуться с места, когда он, словно внезапно прыгнувший юный лев, играючи прижимал их к земле, ухватив руками за длинные уши. Одним ударом меча он перерубал пальмы, точно стебли лотоса. Его стрелы срезали вершины гор, подобно стрелам Парашурамы¹⁵⁷, который, будто лесной пожар в бамбуковых зарослях, уничтожил стволы многих царских династий. Он легко подбрасывал железную палицу, которую общими силами едва могли приподнять десять мужей. И ни в чем, ни в каких талантах, кроме как в телесной силе, не уступал Чандрапиде Вайшампаяна. Из великого уважения к его познаниям, из глубокого почтения к Шуканасе, оттого, наконец, что они с раннего детства вместе росли и возились в одной пыли, Чандрапида крепко подружился с Вайшампаяной, и тот пользовался его полным дове-

рием, став для него как бы вторым сердцем. Ни на мгновение они не расставались, и Вайшампаяна всегда следовал за Чандрапидой, как день следует за солнцем.

Пока Чандрапида постигал глубины всевозможных знаний, подошла пора его юности, придавшая ему, прекрасному, двойную прелесть, — пора, которая составляет славу трех миров, как амрита — славу океана, порождает радость в сердцах людей, как вечерний восход луны, меняет краски лица, как радуга — цвет дождливого неба, служит оружием бога любви, как цветы Древа желаний на его луке¹⁵⁸, пора, которая прекрасна пробуждением страстей, как восход солнца прекрасен грядущим теплом, и предназначена для веселых танцев и игр, как предназначен для них хвост павлина. Словно слуга, улучивший подходящий момент, явился к Чандрапиде бог любви. Расцвела его красота и расширилась грудь, исполнились ожидания родителей и наполнились силой руки, истощились надежды врагов и утончилась талия, разрослась его щедрость и раздалися бедра, удвоилось мужество и удлинились волосы, поникли жены его недругов и низко свесились руки, чистым стал его нрав и светлым взгляд, непреклонными — приказы и прямыми плечи, твердым — голос и верным — сердце.

Когда царь увидел, что Чандрапида вступил в первую пору юности, и узнал, что наставники им довольны и что он постиг все искусства и изучил все науки, то в один счастливый день вызвал к себе полководца по имени Балахика и

послал его со свитой всадников и пеших воинов привезти Чандрапиду во дворец. Балахика подъехал к Дому Учения и, после того как привратники доложили о его прибытии, вошел внутрь дома и приветствовал царевича таким глубоким поклоном, что драгоценный убор на его голове коснулся пола. С разрешения Чандрапиды он сел в указанное ему кресло и вел себя так почтительно, как если бы перед ним был сам царь. Затем, немного помедлив, Балахика придвинулся к царевичу поближе и слово в слово передал ему послание государя:

«Царевич, великий царь велел сказать тебе: „Наши желания исполнились: ты овладел науками, постиг все искусства, стяжал славу в знании всех видов оружия. Пришло время покинуть тебе с разрешения наставников Дом Учения. Теперь, когда ты изучил все науки и искусства, да увидят тебя мои подданные, словно юного слона, закончившего обучение и покидающего стойло, да полюбуются они тобой, как любят только что взошедшим месяцем! Пусть сбудутся надежды тех, чьи глаза так долго и так пылко желали тебя лицезреть! Все жены гарема полны страстного нетерпения встретиться с тобой. Минуло десять лет, как ты уехал в Дом Учения, и было тебе, когда ты уезжал, шесть лет. Если все прошедшие годы сложить, то теперь тебе уже шестнадцать. Оставив Дом Учения, ты повидаешься со своими матерями¹⁵⁹, которые страстно жаждут тебя обнять, почтишь своих старших родичей. А затем, как тебе заблагорассудится, не ведая никаких запретов, ты

будешь наслаждаться счастьем царской власти и утехами юности. Будь дружелюбен с вассальными царями, чти брахманов, заботься о подданных и доставляй радость близким!“»

«У ворот дома,— продолжал Балахика,— стоит посланный тебе великим царем конь по имени Индраюдха, быстрый, как ветер, как Гаруда, несравненное сокровище трех миров. Почитая его чудом из чудес, персидский шах подарил его нашему царю и сопровождал подарок такими словами: „Не выношенный в материнском чреве, но восставший из вод океана, этот конь, хотя он и достался мне,— драгоценность, достойная лишь великого государя“. Знайки лошадей, осмотрев его, сказали, что его отличают те же признаки, какими славится Уччайхшравас, и что нет и не будет другого коня, с ним схожего. Окажи же ему честь — сядь на него! Царем также послана, чтобы стать твоей свитой, тысяча царевичей — все отпрыски славных царских династий, храбрые, красивые и воспитанные. Они будут служить тебе, как служат их отцы твоему отцу. Верхом на лошадях они ждут тебя у ворот и хотят выказать тебе свою преданность».

Как только Балахика кончил говорить, Чандрапида, повинувшись воле отца и желая поскорее уехать, голосом, могучим, как гром надвинувшейся тучи, приказал: «Пусть приведут Индраюдху!» По его повелению двое слуг тотчас же подвели Индраюдху и, прилагая все силы, чтобы сдержать его могучий шаг, повисли с обеих сторон на золотом кольце, продетом в

мундштук на его сбруе. Так повстречался Чандрапида с этим лучшим из коней, таким огромным, что, только вытянув вверх руку, можно было достать до его холки.

Казалось, что Индраюдха губами всасывает весь воздух перед собой, что грозным ржанием, поминутно сотрясающим его брюхо и оглушающим все пространство, он высмеивает лживый слух о небывалом проворстве Гаруды, что своей мордой, то опускающейся до земли, то вновь вздымающейся высоко вверх, он надменно мерит три мира, готовый преодолеть их одним прыжком, и при этом яростно хрипит хищными ноздрями, оттого что кто-то сдерживает его порыв. Его круп, весь в белых, желтых, зеленых и розовых разводах, похож был на радугу, а сам он напоминал молодого слона, покрытого пестрой попоной, или быка Шивы¹⁶⁰, осыпанного светлой пылью предгорий Кайласы, или льва Парвати¹⁶¹, чья грива в красных пятнах крови убитого богиней асуры. Он выглядел точно сама резвость, воплощенная в телесную форму. Издавая сквозь щели своих дрожащих ноздрей хриплое сопение, он, казалось, отбрасывал крыльями носа тот воздух, что поглотил в своем быстром беге. Раздосадованный твердостью мундштука, лязгавшего в глубине его пасти, он стряхивал клочьями пены накопившуюся слюну, и казалось, что это остатки амриты, выпитой им, когда он жил в океане. На его вытянутой вперед морде совсем не было мяса, так что она казалась вырезанной из кости. Пара его неподвижно торчащих ушей, на которые падал отблеск драго-

ценных камней в уздечке, казалась привязанной к голове двумя красными опахалами. На шее его сверкала золотая цепь, отбрасывающая тысячи бликов, и казалось, что его густая, развевающаяся по ветру грива покрыта красным лаком или же что в ней запутались, когда он странствовал по океану, отростки красных кораллов. На нем была яркая сбруя, украшенная золотым орнаментом, а также большими жемчужинами и другими драгоценными камнями, которые звенели при каждом его движении, и эта сбруя казалась похожей на вечернюю зарю с гроздьями звезд и созвездий. Туловище его отливало зеленым блеском изумрудов, которыми была усыпана его упряжь, и он казался одним из коней колесницы солнца¹⁶², спустившимся с неба. Гневаясь, что сдерживают его стремительный бег, он горячился и, будто дождь, исторгал из каждой поры своего тела капли пота, которые казались жемчужинами, прилипшими к нему, когда он жил в океане. Равномерно поднимая и опуская ноги, он, будто в барабан, бил в землю своими широкими копытами, которые казались подножием сапфировой горы или гранитными скалами, и оглушал мир их звонким цоканьем. Его бабки словно бы были выточены, грудь — развернута, морда — вылеплена, холка — вытянута, бока — отполированы, круп сзади — раздвоен. Он казался соперником Гаруды в резвости, товарищем Маруты в странствиях по трем мирам, земным воплощением Уччайхшраваса, собратом разума в быстром полете. Подобно Вишну¹⁶³, он был способен одним шагом изме-

рить землю; подобно гусю Варуны¹⁶⁴, он был оплотом верности; подобно уступу горы, он горд был своей недоступностью; подобно поляне лотосов, на нем пламенели волосы; подобно суровому обету, он сулил победу над врагами; подобно летнему дню, он был горяч и ярок; подобно змее, он тянул вверх голову; подобно берегу океана, он весь был усыпан жемчугом; подобно царскому стражу, он был бесстрашен; подобно видьядхаре, он казался всевидящим; подобно светозарному солнцу, он озарял собою весь мир.

Когда Чандрапида увидел этого коня, прежде никем и никогда не виданного, порожденного нездешним миром, обладающего всеми счастливыми признаками, достойного царствовать надо всей вселенной, воплотившего в себе все лучшее, что есть только в конской породе, сердце его, всегда невозмутимое, преисполнилось необычайным волнением. И он подумал: «Разве можно назвать сокровищем то, что добыли боги и асуры, когда они пахтали воды океана горой Мандарой, обвязав ее змеем Васуки, если им не удалось обрести такое сокровище, как этот конь? Разве получил Индра какую-либо выгоду от власти над тремя мирами, если он ни разу не поднялся на его широкую, как склон горы Меру, спину? Поистине, стоглазый Индра был обманут океаном¹⁶⁵, если он мог прельститься Уччайхшравасом! Поистине, этот конь никогда не встречался владыке Нараяне, если тот и теперь предпочитает ездить на Гаруде! Думаю, что слава моего отца выше

славы царя тридцатки богов¹⁶⁶, раз такая драгоценность, с которой ничто не может сравниться, украшает его, а не Индры, сокровищницу. По великой своей красоте, по небывалой мощи он кажется неким божеством, так что мне, говоря по правде, боязно на него садиться. Откуда бы у обычной лошади такие стати, присущие только небожителям, способные вызвать изумление во всех трех мирах? Впрочем, говорят, что проклятые мудрецами боги иногда оставляют свою плоть и переселяются по их повелению в иные существа. Так, рассказывают, что великий подвижник, мудрец по имени Стхулаширас, проклял некогда апсару Рамбху — украшение трех миров, и она, покинув мир богов, нашла приют в сердце лошади: став кобылой по имени Ашвахридая, она долгое время жила на земле в городе Мриттикавати и была в услужении у царя Шатадханвана. Да и другие небожители, лишившись по проклятию мудрецов своего величия, скитались по земле в разных обликах. Нет сомнения, что и этот конь — существо великое духом, но страдающее от проклятия. О его божественной природе мне словно бы вещает мое сердце».

Подумав так, Чандрапида поднялся с кресла и пожелал сесть на коня. Приблизившись, он мысленно обратился к нему с такими словами: «О благородный конь! Кто бы ты ни был, прими мое уважение. В любом случае прости мне, что я оскорбляю тебя попыткой подняться на твою спину. Ведь даже боги, если хотят остаться неузнанными, рискуют подвергнуться невольному

унижению». Тут Индраюдха, словно бы поняв Чандрапиду, искоса на него посмотрел, а затем, полузакрыв глаза, мотнул гривой и наклонил голову. Как бы приглашая царевича сесть, он ударил правым копытом о землю, так что шерсть на его груди покрылась серыми пятнами от поднявшейся пыли, приветливо заржал и стал ласково и благозвучно пофыркивать и посапывать подрагивающими ноздрями. Тогда Чандрапида, как если бы это приветливое ржание давало ему на то право, поднялся на Индраюдху.

Когда он уселся ему на спину, все три мира показались ему величиною с ладонь. И, проехав на нем немного вперед, он увидел перед собою конное войско, которое было так велико, что казалось, не имеет конца и краю; которое оглушительным цоканьем копыт, грозным, как град камней в день гибели мира, словно бы раскалывало надвое землю; которое наполнило все пространство ржанием и громкозвучным фырканием лошадей, чьи ноздри были забиты поднявшейся пылью. Небесная твердь поросла лесом взметнувшихся вверх пик-лиан, чьи наконечники-ветви сверкали в лучах пылающего солнца, и войско казалось озером, сплошь покрытым лотосами на вытянутых вверх стеблях. Восемь сторон света были заслонены тысячами раскрытых зонтов из павлиньих перьев, и войско казалось тучей, сияющей тысячами разноцветных радуг. Кони с мордами, белыми от выступившей на губах пены, беспокойно перебирали ногами, и войско казалось бурлящими водами океана в день гибели мира.

При появлении Чандрапиды все всадники, словно океан при восходе луны, двинулись ему навстречу. Стараясь опередить друг друга в желании его приветствовать, царевици окружили его со всех сторон. Поспешно убрав зонты, они обнажили головы и пытались усмирить своих коней, возбужденных начавшейся суматохой. Балахика по очереди представлял их Чандрапиде, называя их имена; и, когда они низко склоняли перед Чандрапидой головы, казалось, что в сиянии рубинов почтительно снятых корон они изливают на него свою любовь, а когда подносили ко лбу ладони, сложенные, как нераскрытые цветочные бутоны,— что в их волосах навечно застряли лотосы, которые попали туда из кувшинов с водою во время их помазания в наследники престола.

Чандрапида оказал каждому из них должное внимание, а затем в сопровождении Вайшампаяны, следующего за ним на своем коне, поехал в столицу. Его защищал от солнечного зноя белый зонт, укрепленный на высоком золотом древке, который напоминал белый лотос — обитель богини царской славы¹⁶⁷, или полную луну; сияющую над озером лотосов — свитой царевицей, или песчаный берег бурной реки конного войска; который походил по цвету на круглый капюшон Васуки, омытый пеной Молочного океана, был унизан гроздьями больших жемчужин и имел эмблемой изображение льва. Стебли лотосов, украшавших его уши, трепетали от ветра, поднятого множеством опахал, которыми слева и справа обведали его слуги; впереди

бежали юные и сильные воины, числом в несколько тысяч, которые прославляли его гимнами; а придворные певцы сладкозвучными голосами беспрестанно провозглашали приветственный клич: «Победы тебе и долгой жизни!»

Спустя короткое время Чандрапида, подобный вновь обретшему тело¹⁶⁸ и сошедшему на землю богу любви, въехал в город, и горожане, побросав свои занятия, высыпали ему навстречу, став похожими на купы лотосов, расцветшие при появлении месяца¹⁶⁹.

«Когда есть на земле такой, как он, то Картикея, чья красота загублена несколькими лицами, недостоин имени царевича»!¹⁷⁰, «Ах, велики, видно, наши заслуги, если наши глаза, залитые потоком радости, хлынувшей из самого сердца, и широко раскрытые от восхищения, могут невозбранно любоваться его божественным обликом!», «Воздадим великие хвалы Вишну, принявшему новое воплощение и представшему перед нами в виде Чандрапиды!» — так восклицали горожане, сложив руки в приветствии и славя Чандрапиду. И поскольку на тысячах окон повсюду были раздвинуты ставни, город, казалось, распахнул тысячи глаз в нетерпении взглянуть на Чандрапиду.

Узнав, что Чандрапида, овладевший всеми знаниями, покинул Дом Учения и въезжает в столицу, женщины города, в жажде на него поглядеть, не успев закончить себя прихорашивать, поспешили, взволнованные, на верхние террасы своих домов. Некоторые из них, с зеркалом в левой руке, были похожи на ночь с бли-

стающей полной луной. Некоторые, на чьих ногах еще не высох красный лак, ходили на лотосы с бутонами, озаренными утренним солнцем. Некоторые, путаясь ногами в оброненных в спешке поясах, напоминали слоних, осторожно ступающих из-за мешающих им пут. Некоторые, в разноцветных одеждах, были похожи на радугу в сезон дождей. Некоторые, в сиянии белых лучей, отброшенных ногтями на пальцах их ног, напоминали домашних гусынь, привлеченных звоном ножных браслетов. Некоторые, зажав в руке жемчужные ожерелья, ходили на Рати с хрустальными четками, оплакивающую гибель Маданы. Некоторые, с жемчужными бусами на груди, были похожи на ясный вечер с парой чакравак, разделенных узкой, светлой рекой. Некоторые, чьи драгоценные ножные браслеты сверкали радугой лучей, казались преследуемыми павлинами. А некоторые, успевшие лишь наполовину осушить драгоценные кубки с вином, казалось, теперь разбрызгивают это вино алыми бутонами своих губок. И было множество других женщин, которые любовались Чандрапидой, просунув округлые лица сквозь изумрудные окна, и казались похожими на лотосы, распустившие в небе свои цветочные чаши.

Когда женщины в толчее задевали друг друга, слышался ласковый перезвон их браслетов. Он сливался с нежными звуками игры на лютнях, смешивался с курлыканьем ручных цапель, возбужденных звяканьем металлических поясков, сопровождался криками домашних павли-

нов, которые вторили похожему на глухие раскаты грома топоту женских ног по выложенным драгоценными камнями лестничным ступеням, растворялся в гоготе гусей, которые в испуге принимали поднявшийся шум за рокот надвигнувшихся туч. И этот гул, которому отвечало эхо из дворцовых покоев, казался торжественным возглашением победы бога любви.

В одно мгновение дома, заполненные женщинами, показались как бы выстроенными из женских тел; земля, по которой ступали их покрытые лаком ноги,— усыпанной красными лотосами; город, озаренный их улыбками,— воздвигнутым из сияния красоты; небо, заслоненное тысячами круглых лиц,— покрытым полными лунами; воздух, заполненный множеством ладоней, поднятых в защиту от солнца,— преобразившимся в луг лотосов; солнечный свет, пронизанный лучами от драгоценных камней,— окрашенным радугами; день, купающийся в потоке пылающих взглядов,— сотканным из лепестков голубых лотосов. И в то время как женщины, любуясь Чандрапидой, не отрывали от него широко раскрытых в восторге глаз, образ его навсегда запечатлевался в их сердцах, словно они были сделаны из зеркального стекла, воды или хрусталя.

Не в силах скрыть овладевшей ими страсти, женщины шаловливо подшучивали друг над другом, и в их словах слышалось и лукавство, и томление, и простодушие, и смущение, и ревность, и веселость, и зависть, и кокетство, и влюбленность:

«Эй, торопливая, меня бы подождала!»,
«Спятившая с ума при его виде, надень платье!»,
«Дурочка, подбери волосы: они мешают тебе
смотреть!», «Глупышка, сними свою лунную диа-
дему, не то, ослепленная ею, ты поскользнешься
на разбросанных цветах!», «Обезумевшая от
страсти, подвяжи свои нерасчесанные кудри!»,
«Жаждающая поглядеть на Чандрапиду, подтяни
кушак: он сползает вниз!», «Злосчастная,
поправь веточку за ушами: ее листья свесились
тебе на щеки!», «Потерявшая голову, подними
свое украшение из слоновой кости: оно упало на
землю!», «Опьяненная собственной молодостью,
прикрой грудь: тебя видят люди!», «Бесстыд-
ница, завяжи платье: оно распахнулось!», «При-
кидывающаяся скромницей, иди побыстрее!»,
«Любопытная, дай и мне посмотреть, уступи
место!», «Ненасытная, сколько же ты будешь
глазеть!», «Оглушающая слух стуком сердца,
постеснялась бы слуг!», «Чертовка, люди над
тобой смеются: с тебя падает платье!», «Ослеп-
ленная любовью, ты даже не замечаешь своей
подружки!», «Сломленная страстью, плохо тебе
придется: ты страдаешь понапрасну!», «Притво-
ряющаяся стыдливой, что смотришь украдкой?
Гляди смелее!», «Гордая своей красотой, не
тесни других пышной грудью!», «Гневливая, не
бранись, проходи вперед!», «Жадная, ты одна
загородила все окно!», «Ополоумевшая от
любовных желаний, не тяни на себя мою
накидку!», «Опьяневшая от нектара .страсти,
обуздай свои вожделения!», «Нетерпеливая, не
мечись на глазах у старших!», «Похваляющаяся

своим добронравием, чего же ты смущаешься?», «Глупенькая, прикройся: от лихорадки любви у тебя на теле поднялись волоски!», «Не умеющая себя вести, что тебя так взбудоражило?», «Страдалица, ты напрасно себя мучаешь многотрудными ужимками и гримасами!», «Впавшая в беспамятство, ты даже не заметила, как выбежала из дома!», «Поглощенная любопытством, ты, кажется, позабыла, что нужно дышать!», «Грезящая о любовном свидании, открой глаза: он давно уже проехал!», «Сраженная стрелами бога любви, прикрой накидкой голову от солнечных лучей!», «Одержимая демоном целомудрия, не старайся не видеть того, что стоит увидеть!», «Несчастливая, ты погубишь себя обетом смотреть лишь на собственного мужа!», «Подружка, взгляни: ведь он, поистине, бог любви, только без макары на знамени¹⁷¹ и в разлуке с Рати!», «Смотри! Венок из цветов малати на его голове кажется сквозь белый зонт скоплением лунных лучей, принявших по ошибке его волосы, черные, как рой пчел, за сгусток ночной тьмы», «Смотри! На его щеки падает зеленый отблеск жемчужных серег, как если бы он украсил свои уши зелеными листьями шириши», «Смотри! В красном пламени рубинов его ожерелья словно бы пылают страстные желания юности, пытаюсь проникнуть в его сердце», «Смотри! Сквозь завесу опахал он, кажется, глянул в нашу сторону», «Смотри! Он что-то сказал Вайшампаяне и улыбнулся, заставив стрелами лучей, хлынувших от зубов, побелеть все стороны света», «Смотри! Балахика полой своего платья, зеле-

ного, как оперенье попугая, смахивает с его волос пыль, летящую из-под копыт лошадей», «Смотри! Он поднял свою ногу-лиану и водрузил пятку, нежную, как лотос в руке Лакшми, на холку своего коня», «Смотри! Он просит бетель и шутливо тянет вперед нежные и длинные пальцы своей похожей на розовый бутон лотоса ладони, словно слон, который вытягивает хобот, желая получить охапку травы шайвалы», «Счастлива та, кто, уподобившись Лакшми, завладеет его рукой, превосходящей по красоте лотос, и станет вместе с ним соправительницей земли!», «Счастлива царица Виласавати, которая его — слона — хранителя мира, способного выдержать бремя всей земли,— выносила, словно небо, в своем чреве!»

Такие и похожие возгласы раздавались со всех сторон, пока Чандрапида, которого женщины словно бы пили своими взглядами, призывали звоном своих колец, сопровождали в пути своими сердцами, оплетали сетью лучей от драгоценных камней в своих украшениях, чтили жертвенным даром своей юности, осыпали, словно огонь на свадебной церемонии, пригоршнями жареного риса, охапками цветов и браслетами, падавшими с их ослабевших рук, медленно приближался ко дворцу. Спустя немного времени он подъехал к его главным воротам, рядом с которыми, темные, как гряда гор, стояли боевые слоны, источая из висков черные потоки мускуса, и которые походили на обложенный тучами день. И здесь же пестрели тысячи зонтов на высоко поднятых древках и

толпились сотни гонцов, прибывшие из разных стран.

Вблизи ворот Чандрапида спешился и, опершись рукой-лианой на руку Вайшампаяны, вслед за Балахикой, который почтительно указывал ему дорогу, прошел внутрь дворцового парка, как бы вмещавшего в себя все три мира, собранные воедино. Вход в парк безотлучно охраняли стражи с золотыми жезлами в руках. Умастившие свое тело белой мазью, в белых доспехах, с венками белых цветов и белыми тюрбанами на голове, они день и ночь, точно нарисованные или высеченные из камня, неподвижно стояли у колонн портала и своею белой одеждой походили на жителей Белого острова¹⁷², а высоким ростом — на людей Золотого века. Величественные, как Гималайские горы, повсюду высились дворцы со свежевыбеленными стенами, с крышами, уснащенными множеством двориков, террас, балконов и башенок, которые касались облаков и красотой превосходили пики Кайласы. Сквозь проемы бесчисленных дворцовых окон струились потоки лучей от драгоценных камней в женских уборах, и парк казался прикрытым пологом, сотканным из золотых нитей. Глубоко в землю были врыты склады оружия, где хранились самые разные его виды и которые напоминали пещеры подземного мира, полные ядовитых змей. Выложенные дорогими камнями, все в следах красного лака с женских ног, в парке возвышались прогулочные холмы, которые живущие на их вершинах павлины оглашали нестройными криками. Рядом распо-

лагались слоновые стойла, а в них жило множество слоних, исполнявших каждодневную службу. Золотые седла на их спинах прикрывали разноцветные попоны, за длинными ушами висело сразу по несколько опахал, и, хорошо обученные, спокойные и сдержанные, они походили на знатных молодых женщин.

Одну из сторон парка охранял могучий слон по имени Гандхамадана. Он лежал, привязанный к столбу, и, сощутив глаза, положив хобот на левый бивень, прислушивался, не шевеля ушами, к непрерывному, раскатистому, как гром надвинувшихся туч, бою барабанов, которому вторили нежный звон колокольчиков и сладкие звуки лютен и флейт. По его бокам свисала разноцветная попона и делала его похожим на гору Виндхья, чьи склоны расцвечены горными породами. Радуюсь пению погонщика, он глухо трубил в свой хобот. Его уши украшали белые раковины, все в пятнах черного мускуса, и был он похож на грозящую миру гибелью тучу, сквозь которую едва просвечивает лунный диск. Золотой бодец, прикрепленный к его щеке, казался вдетой в его ухо серьгой. Вокруг шеи, запачканной мускусом, вился рой пчел, словно еще одно опахало. Спереди он высился как скала, а сзади сливался с землей, и потому казалось, что он поднимается из подземного мира. На лбу его сверкала диадема из двадцати семи жемчужин, и потому он казался ночным небом с двадцатью семью созвездиями, сияющими подле луны. Хобот его кончался широким красным раструбом, и он казался последним месяцем

осени с пышной красной листвой. Стоя на трех ногах и приподняв четвертую, он походил на Вишну-карлика, делающего три шага¹⁷³. На одном из его бивней была вырезана львиная морда, и он походил на склон Кайласы с бродящим по нему львом. Когда же он шевелил своими длинными ушами, то походил на человека с болтающимися у щек серьгами.

Парк был славен своими конюшнями, в которых, с яркими попонами на спинах, со звонкими колокольчиками на шеях, стояли царские любимцы — кони, а рядом на кучах заготовленного сена сидели конюхи. Потряхивая расцвеченными красной мареной гривами, которые походили на гривы львов, запятнанные кровью убитых слонов, кони прислушивались к звукам хвалебных гимнов, распеваемых повсюду, и пережевывали в пасти зерна риса, сваренные в меде.

Во Дворце правосудия, расположенном в парке, восседали благородные мужи, ведающие судом, которые были одеты в дорогие одежды и словно бы воплощали в себе саму справедливость. И здесь же готовили тысячи царских указов судейские писцы, которые знали названия всех какие ни есть деревень и городов на земле, следили за порядком на ней, будто за общим домом, и заносили в книги все события в мире, словно бы по повелению царя правосудия Ямы.

Дворцовый парк был полон слуг — выходцев из земель Андхра, Дравида и Синхала, которые то там, то здесь собирались в кружки, ожидая выхода из дворца своих царственных

хозяев. Опираясь на щиты, изукрашенные звездами и лунами, они походили на ночное небо; от сияния их острых стальных мечей пылал вокруг нестерпимый жар; у каждого в одном ухе висела серьга из слоновой кости, густые волосы они заплетали в тугие косицы, могучие ноги и руки натирали белой сандаловой мазью, а за поясом носили короткие ножи.

В Приемном зале главного дворца, каждый на своем месте, восседало несколько тысяч помазанных Тарапидой на царство вассальных государей. Они метали кости, играли в шахматы, перебирали струны лютен, писали красками на холсте портреты великого царя, рассуждали о поэзии, шутили, решали головоломки, разгадывали загадки, обдумывали мудрые реченья в стихах, написанные государем, сами слагали стихотворные строки, разбирали достоинства и недостатки известных поэтов, составляли узоры из листьев, болтали с куртизанками, слушали придворных певцов. Высокие короны на их головах были обвязаны белыми тюрбанами, и они походили на гряды гор Кула, с вершин которых ниспадают горные реки, освещенные лучами восходящего солнца. К приходу царя в Приемном зале растлали пестрые ковры и расставляли золотые кресла, так что он казался изукрашенным множеством ярких радуг. По всему дворцу, входя и выходя из него, сновали куртизанки с золотыми рукоятками опахал на плечах, каждому их шагу сопутствовал перезвон ножных и руч-

ных браслетов, а лица их отражались на драгоценном полу, как если бы он цвел множеством лотосов.

В одном из уголков парка на золотых привязях лежали собаки; повсюду бродили ручные олени, разнося с собою острый, пряный запах; на каждом шагу встречались горбуны, карлики, евнухи, глухие и другие убогие люди; выставлены были для обозрения пара киннаров и несколько дикарей; жили здесь боевые петухи, и бараны, и обезьяны, и перепелы, и воробьи, а также певчие куропатки, гуси, голуби, кукушки, говорящие попугаи и скворцы. Внутри больших клеток, словно пленные горные духи в пещере, рычали грозные львы, не в силах стерпеть запах мускуса, который источали могучие слоны. Весь парк искрился мерцанием глаз везде шныряющих ланей, у которых так беспокойно бегали зрачки, как будто они страшились пылающего, точно пожар, золотого блеска дворцовых строений. Стайки павлинов, расхаживающих по настилу из изумруда, можно было отличить от самого настила только по их протяжным крикам. А в прохладной тени сандаловых деревьев спали ручные цапли.

В глубине парка находился гарем, над которым надзирали старцы, носящие на голове тюрбаны, одетые в белое шелковое платье, опирающиеся на золотые и серебряные посохи. У них были густые седые волосы, сосредоточенный вид, а поведение отличалось такой сдержанностью, как если бы они олицетворяли собой достоинство, благородство, воспитанность и

добросердечие. Даже в своем преклонном возрасте они сохраняли решительность и энергию, словно состарившиеся львы. Внутри гарема девушки играли в шары и куклы и раскачивались на качелях, к которым были привязаны беспрерывно звенящие колокольчики; попугаи подхватывали клювами соскользнувшие с женских рук жемчужные ожерелья, принимая их за лоскуты сброшенной змеиной кожи; по полу разгуливали стайки голубей, слетевших с дворцовых крыш, так что комнаты гарема казались усыпанными зеленоватыми лотосами; на помосте служанки разыгрывали пьесу, рассказывающую о подвигах царя Тарапиды; рядом резвились обезьяны, которые, убежав из обезьянника, пообрывали плоды на гранатовых деревьях в парке, ломали ветки на деревьях манго, а теперь рвали когтями украшения, отобранные ими у перепуганных карликов, горбунов и иных калек и убогих; и здесь же попугаи и скворцы повторяли подслушанную ими ночью болтовню любовников и этим приводили их в смущение. А двор гарема белел от множества гусей, издававших сладкие крики, и крики эти сливались со звоном браслетов, скользивших по ногам женщин гарема, когда они поднимались вверх по дворцовой лестнице.

Дворцовый парк застилали черные клубы дыма от возжиганий алоэ, и казалось, что над ним нависли черные тучи; сторожевые слоны разбрызгивали из хоботов воду, и казалось, что он окутан туманом; деревья тамала отбрасывали на аллеи глубокую тень, и казалось, что он

погружен в ночь; яркими красками листвы пылали деревья ашока, и казалось, что он озарен утренним солнцем; на женщинах сверкали жемчужные ожерелья, и казалось, что он полон звезд; повсюду били бесчисленные фонтаны, и казалось, что он воплотил в себе сезон дождей; на верхушках высоких жердей сидели павлины, и казалось, что он блистает молниями; стены его домов украшали резные фигуры, и казалось, что в парке живут боги — покровители очага; ширь его ворот заполняли привратники с жезлами, и казался он желанным приютом для слуг Шивы; каждый день торговцы свозили к нему товары из дальних стран, и казался он торжественным гимном, сложенным из дивных строк; он манил и радовал обилием развлечений и казался обителем Манорамы и Рамбхи; он служил для сотен людей оплотом и кровом и казался солнцем — покровителем лотосов.

Пруды парка восхищали благоуханием лотосов, и казалось, над ним то и дело восходит благое солнце. Над ним развевались стяги и вымпелы, и он казался пьесой в стихах, развлекающей вымыслом. Он сторицей вознаграждал за услуги и казался грозной столицей асуров. Он хранил сокровища со всей земли и казался пураной — хранительницей мысли. Его богатства прибывали с каждым месяцем года, и он казался морским приливом при восходе месяца. В нем постоянно звучала дивная музыка, и он казался слоном, источающим ливни мускуса. Его окружала ограда из золота, и он казался сказочным Золотым городом. В нем жили тысячи благод-

ных семей, и он казался Шивой, обвитым тыся-
чью змей.

Здесь каждый день славили богов гимнами, и парк казался явленной «Бхагавадгитой». Здесь отроду не ведали яда корысти, и он казался родом ядавов, ведомым Кришной¹⁷⁴. Здесь люди учились склонности к добродетели, сопрягали веру и знание, образовывали себя в искусстве слова, и он казался наукой грамматики, наставляющей в склонении, спряжении и словообразовании. Здесь тысячи царей укрывались от гордыни своих врагов, и он казался океаном, укрывшим тысячи крылатых гор¹⁷⁵. Здесь стены были расписаны красивыми фресками, и он казался сценой, где играют прекрасную пьесу. Здесь не знали обид калек, люди сырые и больные, и он казался карликом Вишну, победившим асуру Бали¹⁷⁶. Здесь развешивали белые полотнища из льна, и он казался вечером с полной белой луной. Здесь собирали дань с покорных вассальных царей, и он казался Удаяной, покорившим Васавадатту¹⁷⁷. Здесь по удару гонга совершали омовение слуги, и он казался водами Ганги, вознаграждающими за заслуги. Здесь хранились сотни сосудов с медвяным соком, и он казался храмом, уставленным сосудами с сомой. Здесь скрещивались лучи от ожерелий с двадцатью семью жемчужинами, и он казался луной в ожерелье из двадцати семи созвездий. Здесь вспыхивал восторг дружбы уже при первом знакомстве, и он казался востоком в первых лучах солнца.

Привлекающий запахами лаков, смол, курений, притираний и мазей, парк казался лавкой

торговца благовониями. Заполненный плодами лавали, пахучей гвоздикой, душистыми ягодами, мускатным орехом, он казался рынком торговцев пряностями. Скрывающий желания своих обитателей, он казался кроткой женою. В нем хлопали в ладоши при каждом красивом речении, и он казался собранием знатоков красноречия. В нем передавали из рук в руки сотни посланий с дарами из золота и драгоценностей, и он казался прославленным игорным домом. В нем чтили верность и преданность, и он казался благочестивым преданием. В нем то и дело звенели песни и веселые крики, и он казался весенним лесом, обжитым птицами. В нем на деревьях играли царственные обезьяны, и он казался обезьяньим царством Сугривы. По нему часто сновали мангусты, и он казался густой лесной чащей. Он весь был залит звуками музыки и казался звучной музыкальной залой. Его посещали актеры-бхараты¹⁷⁸, и он казался священной «Махабхаратой». Он знал восходы, заходы и звездные часы человеческой жизни и казался знатоком астрологии. Ему были ведомы нравы разных народов, и он казался книгой законов Нарады¹⁷⁹. Ему были любы стройные звуки, и он казался струнами лютни. Ему были чужды лицемерие и поза, и он казался олицетворенной поэзией. Он чист был от смертных грехов и казался высокой снежной грядой. Он был прекрасен во всякий час и казался крайним пределом счастья. Он расшевеливал сонных и казался рассветным солнцем. Он радовал и пленял кра-

сотой и казался Радхой, пленяющей Кришну¹⁸⁰.

Белый от цветочной пылицы, он казался Баладевой¹⁸¹ с плугом. Привечающий брахманов, он казался венцом творения Брахмы. Украшенный павлинами, восседающими на склонах холмов, он казался Скандой, сидящим на павлине. Не знающий горьких унижений, он казался гордой женщиной. Душный от благовонных курений, он казался радушной куртизанкой. Навещающий неземные миражи, он казался небесным миром. Свободный от стремлений к поживе, он казался суровым подвижником. Различающий веления судьбы, он казался праведным судьей. Стяжавший славу у добрых людей, он казался стягом добродетели. Принимающий с почетом гостей, он казался почтенным Агастьей. Его не заботили никакие утраты, и он казался безоблачным утром. Он был полон боевого оружия и казался полем битвы Рудры. В нем жили пришельцы из многих земель, и он казался убежищем множества змей. Не было меры его богатству, и он казался вершиной горы Меру. Хотя широки были его ворота, он оставался недоступен для ворогов. Хотя был он славой страны Аванти, сторонился всякого чванства. Хотя не счастье было в нем золотых монет, он почитал нищенствующих монахов.

Чандрапида — кому, восклицая приветствия, указывали путь поспешно выступившие вперед привратники; кого встречали с почетом ранее восседавшие в креслах, а теперь толпящиеся вокруг него цари, и, по очереди предста-

вленные служителями, так низко склоняли перед ним головы, что лучи от драгоценных камней в их коронах словно бы ласкали гладь пола; кого на каждом шагу благословляли, выйдя из внутренних покоев, старейшие женщины гарема — знатоки обрядов гостеприимства, — Чандрапида прошел сквозь семь залов дворца, заполненных тысячами всевозможных существ, будто сквозь семь континентов земли¹⁸², и увидел своего отца. Тарапиду со всех сторон окружали преданные ему и славящиеся своей силой телохранители, которые получили право служить царю по наследству, происходили из знатных родов и по своей великой крепости и мужеству походили на демонов-данавов. Ладони их рук загрибели до черноты от постоянного ношения оружия, все тело, кроме глаз, рук и ног, было скрыто за темными доспехами, волосы отливали смолю, и потому они выглядели как столбы для привязи слонов, которые облепили черные пчелы, привлеченные запахом слоновьего мускуса. Справа и слева от царя стояли придворные куртизанки, которые обмахивали его опахалами, и он восседал на троне, как белый гусь на водах Ганги или как божественный слон Айравата на светлом и чистом прибрежном песке.

«Вот царь!» — провозгласил хранитель дворца, и Чандрапида, почтительно приветствуя отца, так низко наклонил голову, что сдвинулся на лоб драгоценный камень в его волосах. А царь, еще издали простерший к нему свои могучие руки, подозвал его поближе, встал с

трона и, роняя счастливые слезы, взволнованно прижал послушного сына к груди, на которой от радости поднялись волоски, как если бы он желал слиться с ним, вобрать его в себя, выпить его всеми порами своего тела. Чандрапида сел на пол у ножек его трона, а снятое с себя верхнее платье, которое хранительница ларца с бетелем свернула и торопливо предложила ему вместо подушки, отодвинул ногой в сторону и тихо сказал: «Убери!» Вслед за Чандрапидой царь так же крепко, как собственного сына, обнял Вайшампаяну и усадил его в придвинутое кресло. И все то время, какое царевич пробыл у отца, придворные куртизанки, позабыв махать опахалами, оцепенело следили за Чандрапидой страстными взглядами, долгими, как гирлянды трепещущих на ветру лотосов, словно бы пожирая его своими блестящими, широко раскрытыми глазами. Наконец царь простился с Чандрапидой и отпустил его со словами: «Ступай, сынок, поклонись своей любящей матери, порадуешься встречей с собою, как и положено, других моих жен, которые жаждут тебя повидать». Соблюдая должное почтение, Чандрапида встал и, отказавшись от свиты, вместе с Вайшампаяной направился на женскую половину дворца, куда путь ему указывали царские слуги, удостоенные права там появляться.

Пройдя туда, Чандрапида встретился с матерью, которую со всех сторон, будто воды Молочного океана богиню Лакшми¹⁸³, окружали несколько сотен женщин, одетых в белые одежды; которую развлекали рассказами о былом,

священными преданиями, поучениями из книг и наставлениями в законе старые монахини в темно-красном платье, с отвисшими вниз мочками некогда прекрасных ушей, чтимые всем миром, как вечерние зори; которой прислуживали евнухи, наряженные женщинами и разукрасившие румянами свои лица; над которой постоянно реяло множество опахал, сделанных из бычьих хвостов; подле которой стояли служанки с одеждой, украшениями, цветами, пудрой, бетелем, пальмовыми листьями, притираниями и золотыми кувшинами в руках. На груди у царицы висела жемчужная нить, и она походила на землю с потоком Ганги, струящейся посреди двух гор. А лицо ее отражалось в зеркале, лежащем на коленях, и она походила на небо, в котором лунный диск встретился с кругом солнца.

Приблизившись к матери, Чандрапида припал к ее ногам, а она, хотя рядом и были слуги, готовые повиноваться малейшему ее повелению, сама поспешила поднять его и приветствовала согласно обряду. Она долго обнимала его, целовала в голову, всем сердцем желая ему одного только счастья, и материнская любовь словно бы излилась наружу каплями молока, проступившими на сосках ее высокой груди. Затем она оказала подобающий почет Вайшампаяне и тоже обняла его, а Чандрапиду, который из скромности пытался сесть на пол, несмотря на все его сопротивление, привлекла себе на колени. Вайшампаяна же уселся в плетеное кресло, незамедлительно принесенное слугами.

Вновь и вновь лаская Чандрапиду, вновь и вновь касаясь ладонями его лба, груди и плеч, Виласавати проговорила: «Сынок, у твоего отца, верно, каменное сердце, если он решился тебя, которого должны бы пестовать три мира, обречь на такие долгие муки. Как мог ты столько времени терпеть предписанные твоими наставниками лишения? Впрочем, еще младенцем ты обнаруживал стойкость, приличествующую лишь зрелому мужу. И тогда твое сердце, совсем еще ребячье, не ведало пристрастия к детским играм. А теперь, когда по милости отца ты овладел всеми нужными знаниями, я надеюсь вскоре увидеть тебя обретшим и достойную тебя жену». Чандрапида при ее словах со смущенной улыбкой потупил взгляд, а она поцеловала его в щеку, на которой тут же отразилось ее лицо, словно лотос, заложенный царевичем за ухо. Проведя какое-то время в беседе с матерью, Чандрапида порадовал встречей с собою других жен гарема, а затем, попрощавшись, сел на Индраюдху, поджидавшего его у ворот, и в сопровождении свиты царевичей отправился повидаться с Шуканасой.

Подъехав к парку дворца Шуканасы — где обитали сотни слонов, тысячи разномастных лошадей и жило неисчислимое множество народа; где днем и ночью толпились брахманы, почитатели Будды, нищенствующие монахи и шиваиты, которые в завершение своих дел приходили отовсюду свидеться с Шуканасой и усаживались в кружок в разных уголках парка, одетые в лохмотья, будто в неприхотливые одежды

добродетели, и умастившие свой разум, будто глаза мазью, знанием всех наук; где тысячи слоних, принадлежащие вассальным царям, прошедшим внутрь покоев, стояли неподвижно или бродили расседланными, а на их спинах, словно наброшенные сверху попоны, сидели и спали утомленные долгим ожиданием погонщики,— Чандрапида, как и раньше у царского парка, спешил, хотя привратники, торопливо бросившиеся ему навстречу, просили его и дальше следовать верхом.

Оставив коня у ворот, Чандрапида взял за руку Вайшампаяну и вошел во дворец Шуканасы, будто в еще один дворец своего отца: здесь так же привратники очищали перед ним от людей дорогу, так же славил его толпа царей, которые поднялись со своих мест и, тряся от усердия коронами на головах, пытались ему услужить, так же по всей анфиладе залов застыли в страхе слуги, остереженные грозными окриками стражи, так же дрожали полы от шарканья ног вассальных царевичей, напуганных взмахами жезлов в руках хранителей дверей.

Пройдя внутрь, Чандрапида, смиренно склонившись, приветствовал Шуканасу, сидящего в окружении многих тысяч царей, словно второго отца. Шуканаса — а вслед за ним и все цари один за другим — быстро поднялся, сделал почтиительно несколько шагов ему навстречу и, широко раскрыв глаза, увлажненные слезами радости, крепко и нежно обнял Чандрапиду, а затем Вайшампаяну. Когда же Шуканаса кончил их обнимать, Чандрапида отказался от предло-

женного ему в знак уважения кресла и сел прямо на пол. То же сделал Вайшампаяна, а за ним и все другие владыки земли, кроме самого Шуканасы, уселись на полу, отодвинув в сторону свои кресла.

Помолчав несколько минут, Шуканаса, у которого от великой радости, переполнившей сердце, поднялись все волоски на теле, сказал царевичу: «Чандрапида, сынок! Поистине, только сегодня, когда божественный Тарапида увидел тебя в цвете юности окончившим свое учение, обрел он долгожданный плод царской власти! Сегодня сбылись мечты твоих наставников, не пропали даром добрые дела, совершенные нами в прошлых рождениях! Сегодня явили свою милость божества — покровители нашего дома! Ибо у тех, у кого нет заслуг, не может быть такого, как ты, сына, вызывающего восхищение во всех трех мирах. Где встретишь такую цветущую юность, как у тебя, такую удивительную мощь, такие способности к любому знанию? Да, счастливы подданные, обретшие такого, как ты, покровителя, равного Бхарате и Бхагиратхе! Воистину, земля должна была прославиться великими подвигами, чтобы удостоиться такого, как ты, властелина! Воистину, несчастна Лакшми, которая по легкомыслию искала прибежища на груди Хари и пренебрегла надеждой воплотиться в смертную женщину и прильнуть к тебе! Прими же, подобно отцу, на многие годы себе на руки бремя земли, как принял его на свои клыки великий вепрь Вишну!»¹⁸⁴

Так сказав, Шуканаса почтил царевича укра-

шениями, нарядами, цветами, благовониями и другими дарами, а затем с ним распрощался. Чандрапида же, покинув Шуканасу, прошел на женскую половину его дворца, где повидался с матерью Вайшампаяны Манорамой. А выйдя от нее, он сел на Индраюдху и отправился в уже выстроенный для него по приказу отца дворец, во всем подобный дворцу самого Тарапиды.

У ворот дворца стояли серебряные кувшины с чистой водой, висели гирлянды из зеленых листьев, трепетали тысячи белых флагов. Стороны света наполнились звуками музыки, земля была устлана цветами лотосов, пылали жертвенные огни, слуги надели белые одежды. По случаю первого вхождения хозяина в дом совершены были очистительные обряды, и Чандрапида проследовал во дворец. Там, в одной из красивых комнат, он какое-то время отдыхал, опустившись на ложе, а затем приступил к каждодневным обязанностям, начиная с омовения и кончая трапезой. И он отдал распоряжение, чтобы Индраюдху тоже поместили внутрь дворца, в то его крыло, где находилась собственная опочивальня царевича.

Так прошел этот день, полный необычных и обычных событий. А затем диск солнца сошел с небосклона, словно браслет, соскользнувший с ноги сиятельного дня и сплошь залитый блеском рубинов. Дневной свет устремился на запад, словно поток воды вослед колеснице солнца по проложенной ею колее. День словно бы протянул вниз свою руку и полностью стер ее ладонью — красным, как свежий бутон, кругом

солнца — светлые блики с чашечек лилий. Пары чакравак, подле которых роились пчелы, прилетевшие на запах лотосов, расстались друг с другом¹⁸⁵, словно их растащил в разные стороны бог смерти, набросив на каждую из них черную петлю¹⁸⁶. Солнце, устав от бега по небу, словно бы извергло в красном сиянии медвяный сок лотосов, который пило в течение дня, почерпывая его пригоршней своих лучей.

И вот, когда благое солнце — эта серьга западного небосклона — скрылось в подземном мире; когда засияла вечерняя заря, словно лотос на глади небесного озера; когда на лицах божеств — хранителей сторон света появились темные пятна, словно узоры, нанесенные черной тушью; когда свет вечерней зари уступил место тьме, словно красный цвет лотосов — черным, как пчелы, краскам ночных цветов; когда пчелы пробрались в бутоны лотосов, словно пальцы мрака, пытающиеся похитить испытый лотосами солнечный свет; когда постепенно исчезло сияние вечерней зари, словно пал листок, украшавший ухо богини ночи; когда в жертву богине вечерней зари повсюду были рассыпаны зерна риса; когда на верхушки павлиньих насестов налипла мгла, похожая на павлинов, которых, однако, там не было; когда голуби угнездились в оконных нишах, словно серьги в ушах богини царской славы; когда девушки гарема перестали раскачивать качели, на которых застыли в неподвижности золотые скамейки и замолкли звонкие колокольчики; когда в клетках, висящих на ветках деревьев манго в

дворцовом парке, перестали болтать попугаи и сороки; когда стихли пение и музыка и отложены были в сторону лютни; когда смолк перезвон женских ножных браслетов и угомонились домашние гуси; когда с висков возбужденных течкой слонов слетели пчелы и были сняты с них раковины, опахала, жемчужные нити и прочие украшения; когда в стойлах коней — царских любимцев зажглись светильники; когда вывели наружу слонов для охраны дворца в первую стражу ночи; когда разошлись жрецы, прочитав благодарственные гимны; когда, покинутые вассальными царями, словно бы раздвинулись покои дворца и в них остались немногие слуги; когда выложенный драгоценными камнями пол, в котором отразился свет тысяч лампад, выглядел усыпанным лепестками цветов чампаки, принесенных в дар богам; когда продолговатые пруды в свете факелов казались розовым утром, которое наступило до времени, чтобы утешить лотосы, удрученные разлукой с солнцем; когда мирно заснули в своих клетках львы; когда в царский гарем вошел бог любви, словно страж с натянутым луком и стрелами; когда в девичьих ушах, словно серьги, зазвенели страстные слова любовных посланий, переданных через подружек; когда женские сердца, страдающие от горя разлуки, пылали так, как если бы в них поселился на время солнечный жар — так вот, в тот час, когда наступила первая пора ночи, Чандрапида в сопровождении слуг с горящими факелами в руках пешим отправился во дворец отца, побыв у него некоторое время,

повидался с Виласавати, а затем вернулся в свою опочивальню и возлег на ложе, озаренное блеском бесчисленных драгоценных камней, точно Вишну — на царя змей Шешу¹⁸⁷ с тысячью его блестящих капюшонов.

А наутро, когда просветлело, но благое солнце, ниспосылающее тысячи лучей, еще не взошло, Чандрапида поднялся и, поскольку сердце его горело желанием испытать еще не изведенное им удовольствие охоты, сел на Индраюдху и с разрешения отца отправился в лес. Его сопровождало много слонов, всадников и пеших воинов, а впереди, как бы удваивая его нетерпение, бежали ловчие с охотничьими собаками на золотых поводках — каждая величиной с осла. Ловчие были одеты в кафтаны и куртки, полосатые, как шкура старого тигра, на их головах были повязаны тюрбаны разных цветов, лица поросли густой бородой, с уха у каждого свисало по золотой серьге, чресла были туго препоясаны, икры и бедра закалены постоянным бегом, в руках они держали луки и то и дело издавали охотничий клич. В лесу под испуганные взоры лесных божеств, полузакрывших глаза при звоне его лука, Чандрапида стрелами, посланными с натянутой до самого уха тетивы и сверкающими, как лепестки распутившегося лотоса, и дротиками, насквозь пробивающими твердые, как железо, виски дикого слона, перебил множество лесных кабанов, львов, антилоп, буйволов и ланей. И не меньше зверей он поймал живыми, повязав их собственными могучими руками.

Когда же наступил полдень, он поехал домой, пустив вскачь Индраюдху, с которого непрерывным дождем, как если бы он искупался в реке, лил пот, который то и дело лязгал зубами, заставляя звенеть свой железный мундштук, с чьей повисшей вниз от усталости морды падали клочья кровавой пены, чьи бока стали влажными под шелковой попоной, в чьей гриве, словно бы в подтверждение знакомства с лесом, запутались, точно серьги, стебли травы и кисти цветов с жужжащими в них пчелами. Красоту Чандрапиды как бы удваивала его кольчуга, мокрая от пота и крови убитых им животных. В суматохе погони он потерял хранителя своего зонта, и теперь зонтом, защищающим от солнечного зноя, служила ему только ветка со свежими листьями. Покрытый пылью всевозможных цветов, он казался самым воплощением весны. На лбу его, сером от пыли из-под копыт лошадей, ясно видны были дорожки, оставленные каплями пота. Его пешие слуги далеко отстали, не было никого впереди него, и он скакал лишь с несколькими царевичами на быстрых конях и вспоминал о превратностях охоты: «Вот это был лев, вот это буйвол, вот это антилопа, вот это лань!»

Сойдя с коня, он сел в кресло, тотчас же принесенное встретившими его слугами, снял кольчугу и платье, предназначенное для верховой езды, и, нежась под ветерком реющих над ним опахал, немного отдохнул. Затем он пошел в купальню, где стояли сотни серебряных и золотых кувшинов с водою, а посреди них —

золотая ванна. Когда он закончил купание, ему вытерли тело чистыми простынями, повязали на голову шелковый тюрбан, надели платье, и, помолившись богам, он проследовал в комнату для туалета. Там присланные царем дворцовые слуги во главе со старшим привратником, рабыни Виласавати под водительством Кувалавардханы и служанки гарема, которых отрядили жены и наложницы Тарапиды, поднесли ему благовонные мази, венки, одежду и всевозможные украшения, сложенные в ларцы. Взяв все это в должном порядке, он сначала своими руками натер мазью Вайшампаяну, затем совершил собственный туалет и, раздав по заслугам каждому, кто был рядом, венки и мази, одежду и украшения, направился в обеденный зал, который сиял тысячами драгоценных сосудов и чаш, словно осеннее небо звездами.

Там, сев на скамью, покрытую вдвое сложенным ковром, и посадив рядом с собою Вайшампаяну, который неустанно восхвалял его доблесть, он приступил к трапезе. А поодаль, каждый на своем месте, уселись царевицы и служанки ему с тем большим усердием, что чувствовали его особую к себе милость, особенно когда он говорил: «Это дайте такому-то, а это — тому-то». Покончив с едой, он ополоснул рот, взял бетель и, немного отдохнув, пошел к Индраюдхе. Он побыл подле него какое-то время и побеседовал о его достоинствах. Всем сердцем привязанный к Индраюдхе, он сам — хотя поблизости было немало слуг — насыпал ему зерна в кормушку и только потом удалился.

И в том же порядке, как накануне, он по очереди посетил царя и родичей, а затем возвратился к себе во дворец и лег спать.

На следующий день рано утром к нему явился дворецкий по имени Кайласа, которого царь, высоко ценя, поставил во главе гарема, а за ним следовала девушка, цветущая первым цветом молодости. Гордая своим пребыванием в царском дворце, но сохранившая скромность, только что обретшая юную прелесть, одетая в платье ярко-красного цвета, она казалась восточным пределом неба, залитым утренним солнцем. Сиянием своего тела, розовым, как прибрежный песок, она словно бы наполняла комнаты рекой сладостной амриты. Она походила на лунный свет, который в страхе быть выпитым Раху¹⁸⁸ покинул серп месяца и спустился на землю. Она казалась воплощением богини — хранительницы царского дворца. На ее ногах, похожих на лотосы, звенели, словно бы подражая гусиным выкрикам, драгоценные браслеты. Вокруг ее талии повязан был восхитительный золотой пояс. Ее грудь была круглой и не слишком высокой. При каждом движении ее руки ногти на ее пальцах излучали такой блеск, что казалось, она потоком сияния изливает наружу свою красоту. Ее тело купалось в лучах света, которые во все стороны отбрасывали ее ожерелья, и она казалась второй Лакшми, составшей из Молочного океана. Ее нижняя губка потемнела от жевания бетеля. Ее нос был приятной формы, ровный и прямой. Ее глаза были светлыми, как распутившийся лотос. На ее

щеки падали блики от длинных драгоценных серег, и казалось, что это свисают вниз листья с цветочных веток, заложенных за ее уши. Ее лоб был украшен тилакой, нанесенной серой, неяркой сандаловой мазью. Высокого роста, с гибкими руками, она походила на рощу, поросшую лианами. Радую взор своей царственной статью, она походила на царскую славу сына Радхи¹⁸⁹. Ведомая верным дворецким, она походила на вечную веду. Блистая стройностью стана, она походила на строгий храм. В лучах серебристых серег, она походила на серп луны.

Кайласа приблизился к Чандрапиде, поклонился ему, коснувшись рукою пола, и сказал: «Царевич, великая царица Виласавати посылает тебе такое послание: „Эта девушка по имени Патралекха — дочь владыки кулутов. Захватив его столицу, великий царь вместе с другими пленниками привез ее сюда еще девочкой и поместил среди служанок гарема. С тех пор я ее воспитывала и заботилась как о собственной дочери, ибо почувствовала к ней расположение и помнила, что она царевна, оставшаяся без покровителя. Теперь я посылаю ее тебе и полагаю, что она достойна стать хранительницей твоего ларца с бетелем. Ты — да суждена тебе долгая жизнь! — не считай ее обыкновенной служанкой, но обходись с ней ласково, как с ребенком, смотри на нее как на свою питомицу и оберегай ее от необдуманных поступков, как ты оберегаешь от них свой разум. Ты можешь, как друга, посвящать ее во все твои дела, требующие доверия. За долгие годы мои любовь и при-

вязанность к ней укрепились, и сердце мое прилепилось к ней, как к дочери. Она заслуживает обхождения, подобающего ее высокому царскому роду, ты сам оценишь ее воспитанность, и я не сомневаюсь, что за немногие дни она приобретет твое благоволение. Я говорю об этом потому, что ты еще не знаешь ее характера, я же с течением времени люблю ее все сильнее и сильнее. Во всяком случае царевичу следует позаботиться, чтобы она навсегда осталась верной его служанкой». Когда Кайласа кончил говорить, Чандрапида долго, не отводя глаз, смотрел на Патралекху, склонившуюся перед ним в глубоком поклоне, а затем отпустил дворецкого со словами: «Да будет так, как повелевает матушка!» Патралекха же, как только увидела царевича, почувствовала горячее желание преданно ему служить и с тех пор не покидала его ни днем, ни ночью, бодрствовал он или спал, стоял или сидел, гулял или оставался во дворце, словно была его тенью. Также и у Чандрапиды приязнь к ней возникла с первого взгляда и продолжала неуклонно расти. С каждым днем он проникался к ней все большей любовью и делился с ней, словно с собственным сердцем, всеми своими тайнами.

Спустя некоторое время царь Тарапида решил сделать Чандрапиду наследником царства и приказал своим слугам приготовить все необходимое для церемонии помазания. Однажды, когда день помазания был уже близок, Шуканаса, свидевшись с царевичем и желая, как ни был тот сведущ, сделать его еще более све-

душим, обратился к нему с долгим наставлением:

«Чандрапида, сынок! Хотя ты знаешь все, что нужно знать, и изучил все науки, немало еще остается такого, что предстоит тебе постичь. Поистине, беспроглядна тьма невежества, сопутствующая юности, и она не рассеивается от лучей солнца, не растворяется в блеске драгоценных камней, не исчезает в сиянии светильников. Опьянение дарами Лакшми¹⁹⁰ тяжело и не проходит с течением лет. Слепота власти губительна и не поддается лечению глазными мазями. Жар лихорадки гордыни изнурителен и не умеряется холодом. Безумие яда чувственных удовольствий опасно и не излечивается лекарствами и заговорами. Короста страстей заскорузла и не смягчается омовениями и притираниями. Сон сознания, навеянный царскими уладами, глубок и не кончается с наступлением утра. Власть, доставшаяся по рождению, беспечная юность, природная красота, богатырская сила — вот великие соблазны, вот цепь зла! Каждое из звеньев этой цепи — источник нечестивых деяний; что уж говорить о всех них вместе! В ранней юности разум обычно замаран и может быть очищен лишь прозрачной водой шастр. Глаза юношей, хотя и кажутся светлыми, затуманены страстями. И подобно тому как порыв ветра, поднимая столб пыли, уносит за собой сухой лист, страсть, пятная душу юноши, увлекает его сколь угодно далеко. Мираж наслаждений обманывает ланей чувств и непременно ввергает в беду. Человек, опьяненный

наступившей юностью, вкушает всевозможные удовольствия, точно сахарную воду, и они кажутся ему все слаще и слаще. Безрассудная склонность к плотским радостям губит человека, уводя его на ложный путь, точно путника, потерявшего зрение.

Однако такие люди, как ты, открыты для наставлений, будто порожний сосуд. Ибо в беспорочный ум мудрое наставление проникает так же легко, как лунный луч сквозь чистое стекло. Если слова наставника, как бы ни были они целительны, слышит дурной человек, они причиняют ему страдание, словно вода, попавшая в ухо. А доброму человеку они придают еще большую красоту, словно драгоценная раковина, украсившая ухо слона. Мудрое наставление избавляет от самого черного зла, подобно тому как в вечернюю пору луна рассеивает мглу. Совет наставника унимает страсти, укрощает их добродетелью, подобно тому как старость очищает волосы белизною.

Ты еще не вкусил яда чувственных наслаждений, и потому тебе самое время выслушать наставление. Ибо, если сердце уже поразили стрелы бога с цветочным луком¹⁹¹, слова наставника стекают с него, как вода. Высокий род и ученость сами по себе не предохраняют от дурных склонностей. Разве пламя не жжет, если горит сандаловое дерево? Или огонь Вадава разве не пожирает вод океана, хотя обычно вода смирят огонь? Поучение наставника — это омовение без воды, способное очистить от любого зла, это вечная юность, не знающая ни

седых волос, ни одряхления. Оно насыщает, но не делает тучным, сияет, как пламя, но не жжет, пробуждает ото сна, но не приносит с собою хлопоты; оно лучшее из украшений, хотя и не сделано из золота. И особую нужду в нем имеют цари, ибо редки подле них истинные наставники.

Люди боязливо прислушиваются к слову царей, точно к эху, а те не слышат наставлений, ибо уши их прикрыты опухолью своевольной гордыни. А даже если слышат, то пренебрегают ими, как слоны, прикрывши глаза, и печалят наставников, дающих им благие советы. Ибо разум царей поражен лихорадкой самодовольства, богатство растит бездушие лживой гордыни, царская слава ведет к параличу бездействия, порожденному ядом безнаказанности.

Поэтому царь, преданный добродетели, прежде всего другого должен знать, кто такая Лакшми. Эта Лакшми, снующая среди доспехов храбрых воинов, словно пчела среди лотосов, поднялась некогда из Молочного океана и, чтобы умерить горечь разлуки с теми, к кому привыкла за долгие годы жизни в его водах, взяла с собою на память¹⁹² кровавый цвет у дерева Париджаты, кривизну у Месяца, нетерпеливость у коня Уччайхшраваса, способность губить у яда калакуты, искусство пьянить у напитка варуни, жесткость у камня каустубхи. Нет в мире ничего столь же неуловимого, как эта злодейка. Ибо, даже заполучив ее, с трудом удерживаешь; хотя и обвяжешь ее крепкой цепью заслуг, она ускользает; хотя и запрешь в

клетку из длинных, острых копий зорких воинов, она скрывается; хотя и посадишь под стражу тысячи могучих слонов, черных от потоков мускуса, она убегает прочь. Она не дорожит дружбой, не смотрит на происхождение, не замечает красоты, не считается с родством, не ценит искренность, не соображается с мудростью, не прислушивается к закону, не привержена добродетели, не чтит щедрость, не способна к размышлению, не хранит обычай, не внимлет истине, не признает счастливых знамений. Она исчезает, как очертания города гандхарвов¹⁹³, как только на нее глянешь. Она не стоит на одном месте, как будто и по сей день кружится в водовороте, поднятом в океане горой Мандарой. Она никогда не ступает твердо, как если бы, пребывая на лотосе¹⁹⁴, поранила ногу об его твердый стебель. Даже тогда, когда великие цари заботливо пестуют ее в своих дворцах, она удирает от них, словно бы опьяненная мускусом, льющимся из висков их боевых слонов. Она упивается блеском мечей, словно бы стремясь научиться у них безжалостности. Она льнет к груди Нараяны, словно бы желая перенять у него изменчивость облика¹⁹⁵. Неверная, она покидает царя со всеми его подданными, властью, казной и землями, как привыкла к концу дня покидать лотос со всеми его корешками, лепестками, стеблем и чашей. Словно дерево, обжитое лианами, она окружает себя приживалами. Словно Ганга, породившая богов Васу¹⁹⁶, она порождает богатства, но тут же смывает их, как пену с волн. Словно солнце

на небосклоне, она слоняется с места на место. Словно пропасть подземного мира, она пропитана тьмой. Словно Хидимба¹⁹⁷, она покорна только таким, как Бхима. Словно молния в дождливый день, она светит лишь на мгновение. Словно злая пищащи, она знает только кровавую пищу и доводит до безумия слабого человека. Словно из ревности, она избегает тех, к кому благосклонна Сарасвати¹⁹⁸. Она не касается добродетельного, как если бы он был нечист. Она пренебрегает великодушным, как если бы он был недостоин счастья. Она не замечает доброго, как если бы он не заслуживал доверия. Она шарахается от благородного, как от змеи. Она обходит храброго, как репей на дороге. Она забывает о щедром, как о дурном сне. Она не знает со скромным, будто с преступником. Она смеется над мудрым, будто над помешанным.

Людам она кажется фокусницей, совмещающей несовместимое: возбуждая жар желаний, она навлекает холод отчаяния; заставляя тянуться ввысь, требует низости; рожденная из воды, томит жаждой; надеяя могуществом, обращает в ничтожество; придавая силу, она утверждает бессилие; сестра сладкой амриты¹⁹⁹, она оставляет по себе горечь; обладая плотью, она невидима; предназначенная для великих духом, она предпочитает подлых. Словно созданная из пыли, она пачкает даже чистосердечного. И чем ярче она светит, тем больше, непостоянная, как трепещущее пламя лампы, покрывает все копотью.

Поистине, она — болотная заводь, взращивающая ядовитые лианы желаний, охотничья дудка, заманивающая ланей чувств в силки, облако дыма, пятнающее алтарь добродетели, мягкое ложе для долгого сна заблуждений, верное убежище для пишачей гордыни, слепота, поражающая глаза закона, знамя войска нечестивых, река, полная крокодилов гнева, вино на разнузданном пиршестве похоти, музыка для танца высокомерия, нора для змей алчности, палка, бьющая по благоразумию, засуха для посевов добронравия, плодородная почва для чертополоха нетерпимости, пролог к драме злодеяний, выпел на слоне страсти, плаха для добрых помыслов, пасть Раху для луны долга. И я не знаю такого человека, кого бы она, даже не будучи с ним знакомой, не заключила бы в объятия, а затем не обманула. Она исчезает из виду, даже пойманная взглядом, меняет обличья, даже отлитая в бронзе, ускользает, даже запечатленная в памяти, обманывает, как только о ней услышишь, предает, как только о ней подумаешь.

Таков ее нрав, злодейки, и если цари по воле судьбы хоть на мгновение прибегают к ее покровительству, они вступают на стезю порока и попадают в беду. Уже при помазании вода из священных кувшинов как бы смывает с них благородство; дым, клубящийся над жертвенником, как бы пятнает их сердце; острые стебли травы куши в руках жрецов как бы подрезают их выдержку; лента тюрбана на их голове как бы стирает предчувствие старости; широкий круг

царского зонта как бы заслоняет видение иного мира; веяние опахал как бы отметаает в сторону искренность; взмахи жезлов как бы изгоняют добродетель; победный клич как бы заглушает доброе имя; колыхание знамен как бы сдувает с них честь.

Горе царям, которых пленяет власть, хотя ее презируют мудрые, хотя она неустойчива, как шея ослабевшей от усталости птицы, и озаряет лишь на мгновение, как огонек светлячка! Добиваясь крупницы успеха, они забывают о своем высоком роде, и, словно дурная кровь, безумствует в них пламя страстей, раздуваемое злыми деяниями. Ненасытной жадой удовольствий их терзают собственные чувства, числом чуть ли не в несколько тысяч, хотя от природы их только пять. Их приводит в замешательство и сбивает с толку собственный разум, который кажется расколовшимся на тысячу частей, хотя на самом деле он только один. Они словно бы живут под несчастливыми звездами, повинуются оборотням, покорны дурным закланиям, подвластны демонам, снедаемы лихорадкой, пожираемы чудовищами. Будто пораженные стрелами Камы, они извиваются в корчах; будто в жару лихорадки алчности, вертятся во все стороны; будто сбитые тяжелым ударом, не держатся на ногах; будто крабы, движутся вкривь и вкось; будто калеки, изувеченные собственным злодейством, нуждаются в чужой помощи. Они с трудом cedят слова, как если бы их губы вспухли от яда лжи. Своими взорами, опаленными страстью, они вызывают головную боль у близких;

как пыльца с цветов семилиственницы. Подобно умирающим, они не узнают даже родичей. Как слепцы, страдающие от яркого света, они избегают смотреть на людей добродетельных. Как изваяния из воска, они не терпят пламени мудрости. Как разъяренные слоны на крепкой привязи, они прикованы к столбам своей гордыни и не слушают наставлений. Как безумцы, вкусившие отраву корыстолюбия, они все вокруг себя видят в золотом мареве. Как стрелы, пропитанные ядом, они готовы убивать, лишь только доверятся злодеям. Посылая войска, они повергают в прах даже дальние царства, точно сбивают палкой плоды на далеком дереве. Они манят своей красотой, но пагубны для людей, будто несозревшие ягоды. Их могущество ужасно, будто погребальный костер. Они видят не дальше собственного носа, будто люди, страдающие от близорукости. Их дома кишат негодьями, будто улей пчелами. Едва услышав их голос, пугаешься, как при грохоте кладбищенского барабана. Едва подумав о них, попадаешь в беду, как если бы совершил тягчайшее преступление. Изю дня в день накапливая богатства, они распухают от грехов, как от водянки. И в таком виде, став мишенью для тысяч стрел зла, они, сами того не сознавая, падают все ниже и ниже, точно капли воды с высоких стеблей травы.

Есть и другого рода цари. Восхвалениями, подобающими одним божествам, их сбивают с толку негодяи, искушенные в обмане, преследующие свою только выгоду, будто коршуны,

охочие до чужого мяса, будто цапли в лотосовом пруду царского дворца. Посмеиваясь в глубине души, льстецы возводят пороки этих царей в достоинства и убеждают их, что игра в кости — приятный отдых, прелюбодеяние — свидетельство мудрости, охота — закалка для тела, пьянство — развлечение, леность — твердость духа, невнимание к жене — сдержанность, пренебрежение советами старших — независимость, потворство слугам — великодушие, пристрастие к танцам, пению, музыке и гетерам — приметы вкуса, любовь к злодейству — свойство широкой души, способность терпеть оскорбления — невозмутимость, своеволие — признак властности, презрение к богам — дерзновение, хвала придворных — истинная слава, поспешность — отвага, нежелание отличать добро от зла — беспристрастие. И цари, чей ум опьянен властью, думают в самоупоеании, что все это правда. Будучи только смертными, они почитают себя более чем людьми, как если бы являли собой нечто сверхъестественное или были частицей божества, начинают вести себя как подобает одним небожителям и становятся всеобщим посмешищем. Они радуются, когда придворные ублажают их своим раболепием. В своем ослеплении они самодовольно воображают себя каким-либо богом и к паре своих рук мысленно добавляют еще две, как у Вишну, или грезят, что у них во лбу скрыт третий глаз, как у Шивы. Они полагают, что одним своим появлением оказывают людям великую милость, а одним только взглядом даруют отличие; беседу с собою они

считают честью, свое приказание — подарком, свое касание — очищением от грехов. В лживой мании собственного величия они не молятся богам, не чтят брахманов, не уважают тех, кто достоин уважения, не хвалят тех, кто заслуживает похвалы, не приветствуют тех, кого нужно приветствовать, не поднимаются с места навстречу старшим. Они смеются над мудрецами за то, что те пренебрегают охотой за наслаждениями, называют болтовней, порожденной старческим слабоумием, советы учителей, недовольны наставлениями министров, видя в них недоверие к своей прозорливости, гnevаются на тех, кто желает им блага. Тому человеку радуются они всей душой, с тем разговаривают, того возвышают, с тем предпочитают проводить время, того благодетельствуют, того делают другим, к тому прислушиваются, того осыпают милостями, того высоко чтут, тому оказывают доверие, кто беспрестанно, днем и ночью, в умилении сложив руки, славит их, точно бога, и восхищается их величием. Да и что достойного в тех царях, для которых нет ничего выше книги Каутильи, состоящей по большей части из жестоких предписаний, чьи наставники — жрецы, закосневшие в магии, чьи советники — министры, искусные в обмане, кто предан Лакшми, соблазлившей и бросившей тысячи государей, кто прилежен в изучении науки насилия и готов расправиться даже с собственным братом, как бы искренне тот его ни любил!

Потому, царевич, исполняя долг государя, многотрудный из-за тысячи опасных и губитель-

ных соблазнов, исполняя его к тому же в столь юном возрасте, подверженном великим искушениям, ты должен поступать так, чтобы над тобою не смеялся народ, не осуждали люди добродетельные, не порицали наставники, не обижались друзья, не гневались мудрые. И старайся, чтобы тобою не пользовались негодяи, не прикрывались развратники, не обманывали мошенники, не соблазняли женщины; чтобы не издевалась над тобою удача, не заставляла пускаться в пляс гордыня, не сводила с ума любовь, не ослепляли чувства, не опрокидывала навзничь страсть, не сбивала с пути тяга к удовольствиям.

Впрочем, ты стоек от природы, да и отец твой не пожалел трудов на твое воспитание, а богатство и власть ослепляют лишь тех, у кого непостоянно сердце и недостает мудрости. Так что говорил я все это, не сомневаясь в твоих достоинствах. Повторяй себе, однако, снова и снова: даже мудрого и знающего, великодушного и благородного, стойкого и решительного человека злодейка Лакшми может сделать дурным царем. А теперь прими мои благословения и готовься к счастливому часу помазания в наследники престола, о котором распорядился твой отец. Возложи на себя бремя царствования, завещанное тебе твоими предками! Пригни головы недругов и возвысь своих родичей! А став наследником, отправляйся на завоевание всех стран света и вновь покори землю, украшенную семью континентами²⁰⁰, как прежде покори ее твой отец! Сейчас тебе самое время

утвердить в мире свое могущество. Ибо все-сильно слово царя, утвердившего свое могущество, как все-сильно слово мудреца, проникающего три мира».

Так сказав, Шуканаса умолк. И его безупречным наставлением Чандрапида словно бы был разбужен, омыт, пропитан, очищен, освящен, помазан, просветлен, увенчан, украшен. Пробыв у министра немалое время, он с радостным сердцем возвратился к себе во дворец.

Прошло несколько дней, и в счастливый час, когда домашний жрец приготовил все необходимое для торжественного обряда, Тарапида в присутствии Шуканасы и многих тысяч вассальных царей своими руками поднял священные кувшины и окропил сына водой помазания, взятой со всех мест святого паломничества, из всех рек и всех океанов, водой, омывшей все на свете растения, все плоды, все породы земли, все драгоценные камни, водой, смешанной со слезами отцовской радости и очищенной благими гимнами. И в этот час царская слава, не покидая Тарапиду, приникла к влажному от помазания телу Чандрапиды, подобно тому как лиана льнет к новому дереву, не оставляя старого. Затем царица Виласавати, подле которой стояли жены гарема, ликуя всем сердцем, умастила Чандрапиду с головы до ног благоуханной, белой, как лунный свет, сандаловой мазью. Голову царевича убрали белыми, только что распустившимися цветами, грудь расписали узорами светлой пасты, уши украсили стеблями травы дурвы. Он надел белое, как блеск луны,

шелковое платье, отороченное длинной бахромой, жрец повязал ему на запястья шелковые шнурки-амулеты, а на грудь повесил ожерелье из семи больших жемчужин, скрепленных лотосовой нитью, которое казалось воплощением царской славы или семью звездами Большой Медведицы, явившимися взглянуть на его торжество. В белом платье, в гирлянде из белых цветов, ниспадающей с плеч до самых колен и прекрасной, как лучи солнца, он похож был на Человека-льва²⁰¹ с белой гривой, или на гору Кайласу, с которой низвергается множество светлых ручьев, или на слона Айравату, усыпанного лотосами небесной Ганги, или на Молочный океан, весь в сверкающей пене.

Затем Тарапида, взяв в руку жезл, самолично расчистил перед Чандрапидой путь, и тот проследовал за отцом в Приемный зал и поднялся там на золотой царский трон, словно месяц на золотую вершину Меру. Когда же он сел на трон и вассальные цари воздали ему положенные почести, раздался мерный гул боевого барабана, по которому ударили золотыми палками, гул, возвещающий начало похода на завоевание мира и напоминающий рев туч в день гибели вселенной, или рокот океана при пахтанье его горой Мандарой, или шум землетрясения в конце юги, или треск молний в грозовых тучах, или гром ударов клыков Великого вепря, сотрясающий подземный мир. Мощью этого гула все три мира словно были раздвинуты, распахнуты, расширены, растерзаны, разбиты, наполнены, опрокинуты, оглушены.

Скрепы, связывающие стороны света, словно бы распались. Ширясь в пространстве, этот гул привел в смятение хранителей мира. В нижнем мире он устрасил Шешу, который, как бы впитывая его в себя, поднял вверх тысячу дрожащих от ужаса капюшонов; в воздухе слоны — стражи сторон света услышали в нем вызов на бой и, выдвинув вперед бивни, начали наносить ими беспорядочные удары; в небе от этого гула заметались в страхе кони колесницы солнца; на вершине Кайласы ему отвечивал радостным ревом бык Шивы, полагая, что слышит громкий смех своего хозяина; на горе Меру, приветствуя его, глухо затрубил в хобот Айравата; в обители Ямы, придя в ярость от незнакомых звуков, буйвол бога смерти²⁰² наклонил голову и выставил кривые рога.

Услышав грохот барабана, Чандрапида под крики приветствий: «Победа! Победа!» — сошел с трона, и в тот же миг сошла на нет слава его врагов. Он покинул Приемный зал, и, вскочив со своих кресел, роняя из порванных в спешке ожерелий жемчужины, похожие на рисовые зерна, что рассыпают по земле ради успеха военного похода, за ним двинулись тысячи царей. И был подобен он дереву Париджате, окруженному рощей дерев желаний, с которых падают белые цветы и почки, или Айравате, ступающему во главе других слонов — стражей мира, которые разбрызгивают из хоботов воду, или небесному простору, который прочерчен ливнями, или дождливому сезону с тучами, проливающими потоки воды.

Выйдя из дворца, Чандрапида взобрался на слоницу, которую быстро подвел к нему погонщик, украсив ее, как это принято в начале похода, счастливыми амулетами. На пристегнутом рядом седле уселась Патралекха, а над Чандрапидой в защиту от солнца раскрылся униженный жемчугом зонт, имеющий тысячу спиц. И был этот зонт таким же белым, как водоворот Молочного океана при пахтанье его Мандарой, и таким же прекрасным, как гора Кайласа с протянутой к ней длинной рукой Раваны²⁰³. Еще не выехав за пределы дворца, он увидел, что все вокруг залито ослепительным светом утреннего солнца, который казался сиянием его собственной славы, вспыхнувшим после помазания, и свет этот притушил яркий блеск драгоценных камней в коронах вассальных царей, ожидающих его за дворцовой оградой. Он увидел, что поверхность земли порозовела, словно бы от любви к нему, ставшему наследником царства, что небо сделалось багряным, словно со всех сторон было объято пламенем, возвещающим гибель его врагов, что день пылает красным заревом, словно пропитанный лаком, которым покрыла себе ноги земля, надевшая в его честь наряд богини царской славы.

И когда он выехал из дворцовых ворот, навстречу ему на тысячах слонов устремилось несметное множество царей, чьи имена по очереди называл назначенный ему в помощники полководец. Они торопливо склоняли перед ним в приветствии головы, и в суматохе зонты их ломались, цепляясь друг за друга, короны

кренились набок, а драгоценные серьги, свешиваясь вниз, колотились об их щеки. В сопровождении свиты царей Чандрапида медленно двинулся на восток.

Сразу за ним шел слон Гандхамадана, чью шкуру сплошь покрыли красные узоры, с шеи до самой земли свисала жемчужная цепь, а голову украшали венки из белых цветов, так что он выглядел похожим на гору Меру в сиянии вечернего солнца, с ниспадающим по склону потоком Ганги и со скалистой снежной вершиной, усеянной сонмами звезд. Рядом с ним вели под уздцы Индраюдху, чьи морда, ноги и туловище сияли в блеске золотых украшений, как если бы он весь был намазан шафрановой мазью. А далее, под сенью леса белых зонтов, раскачивающихся над слонами, двигалась вся армия и наполняла землю таким шумом, как будто настал день гибели мира и хлынули волны океана, в котором раздробленной на тысячу кусков отразилась падающая луна. Как только Чандрапида тронулся в путь, к нему присоединился Вайшампаяна. Совершив перед дальним походом очистительные обряды, он выехал на быстроногой слонихе в сопровождении большого войска и тысяч царевичей и, одетый в белое платье, с гирляндой благоухающих белых цветов на груди и белым зонтом над головой, выглядел как еще один царевич-наследник или как месяц, следующий за солнцем — Чандрапидой.

Повсюду грянул клич: «Выступил царский наследник!», и тогда под тяжелой поступью войска содрогнулась земля, как если бы сдвинулись

кручи гор и перестали сдерживать воды океана, устремившиеся затопить сушу. Когда же цари бесконечной чредой стали подъезжать и приветствовать друг друга, десять сторон света покрылись сетью лучей, отброшенных от драгоценных зубцов их корон, и засияли от яркого блеска браслетов, украшенных резным орнаментом. Казалось, что в одной стороне пространство было расцвечено голубыми перьями крыльев соек, в другой — тысячами узоров распущенных павлиньих хвостов, в третьей — вспышками молний из надвинувшихся туч, в четвертой — красной листвою Древа желаний, в пятой — всеми цветами радуги, в шестой — сиянием утреннего солнца. В блеске лучей от множества разноцветных камней в драгоценных коронах белые зонты царей казались сделанными из павлиньих перьев. Было похоже, что земля состоит из одних лошадей, стороны света — из слонов, воздух — из полотнищ зонтов, небо — из леса знамен, ветер — из аромата слоновьего мускуса, мир смертных — только из царей, горизонт — из блеска украшений, солнечный свет — из сияния диадем, день — из опахал, три мира — из победных кличей. И казалось, наступил великий день гибели вселенной: грозно ступающие слоны походили на рушащиеся горы Кула, колышущиеся знамена — на падающие луны, рокот барабанов — на глухой гром смертоносных туч, струи воды из слоновьих хоботов — на звездный ливень, клубы пыли над землей — на темные кометы, рев слонов — на грозный, пронзительный свист урагана, красные узоры на висках сло-

нов — на брызги крови, всадники, наводнившие округу, — на беспокойные волны вспененного океана. Нескончаемые потоки темного слоновьего мускуса покрыли мраком все стороны света, и оглушительный шум наполнил весь мир.

Десять сторон света²⁰⁴, будто напуганные этим грозным шумом, скрылись кто куда, спрятавшись за полотнища развернутых белых знамен. Небо, будто боясь загрязнить себя пылью земли, взметнулось высоко вверх, поднятое тысячами шишаков на бесчисленных боевых слонах. Лучи солнца, будто отогнанные грозными взмахами жезлов в руках жезлоносцев, скрылись от войска, окутанного пылью из-под копыт лошадей. Земля, страждущая под тяжким бременем, истерзанная топотом ног сотен боевых слонов, глухо застонала, как если бы вновь слышались удары барабана, возвещающие начало похода. Пешие воины прокладывали себе дорогу в потоках мускуса, льющегося из висков разгоряченных слонов, который доходил им до лодыжек и пенился белой пеной, клочьями падающей с морд лошадей. Из-за дурманящего аромата мускуса и для людей, и для опьяненных этим ароматом слонов все запахи слились воедино. И в одно мгновение от шума двинувшегося вперед несметного войска, от громкого протяжного боя больших барабанов, от ржания лошадей, сливающегося с цоканьем копыт, от трубного рева слонов, перемежающегося оглушительным хлопаньем их ушей, от непрерывного перезвона колокольчиков на пополах шагающих слонов, которому сопутство-

вало звяканье маленьких колокольчиков на их шеях, от рокота походных барабанов, усиленного благозвучным гулом раковин, от постоянного, все нарастающего грохота тамбуринов людям по всей округе заложило уши, как если бы ими внезапно овладела глухота.

Мало-помалу от тяжелой поступи войска стала клубиться пыль — разного цвета из-за разной окраски земного покрова: там серая, как брюшко старого карпа, там желтая, как грива верблюда, там темная, как шерсть большой антилопы, там белая, как волокна хлопка, там блеклая, как вянувший стебель лотоса, там рыжая, как волосы обезьяны, там светлая, как клочья пены у жующего жвачку быка Шивы. Подобно потоку Ганги, который выбивается из-под стоп Хари, она выбивалась из-под копыт лошадей; подобно разгневанному человеку, которого покидает терпение, она покидала землю; подобно играющему в жмурки, у которого закрыты глаза, она застилала взоры; подобно томимому жаждой, она поглощала струи воды, бьющие из слоновьих хоботов; подобно птице, она взмывала в поднебесье; подобно рою пчел, она льнула к пятнам мускуса на висках разгоряченных слонов; подобно льву, она вспрыгивала на слоновьи спины; подобно победителю в битве, она чернила войсковые знамена; подобно старости, она белила головы. Она забивалась между ресницами, словно бы запечатывая сургучом глаза воинов; липла к каплям нектара на лотосах в их ушах, словно бы наслаждаясь цветочным запахом; теснилась внутри

ушных раковин боевых слонов, словно бы опасаясь быть прихлопнутой их ушами. Своими вытянутыми вверх мордами ее как бы пили резные звери на зубцах царских корон; ее как бы чтили цветочными подношениями кони, с губ которых падали клочья пены; ей вдогонку как бы скользили змейки розовой краски с лобных бугров возбужденных слонов; с ней как бы пыталась слиться благовонная пудра, сдутая ветром со множества опахал; ее как бы хотела поглотить цветочная пыльца, опадающая с тысяч венков на головах царей. Она, как грозная планета Раху, вдруг выпила сияние солнца, браслетами желтой охры, словно бы начертанными ради успеха похода, легла на руки воинов и была похожа на светлые опилки сандалового дерева, распиленного пилой. Поднимаясь клубами вверх от поступи несметного войска, густая, будто внезапно нависшая туча, она мало-помалу заволокла округу, словно бы вобрав в себя все пространство.

Этой пылью, столбы которой вздымались все выше и выше, пропитаны были все три мира; и она была счастливым сгягом победы, инеем, побившим лотосы враждебных династий, благовонной пудрой, украсившей шатер царской славы, снегом, выпавшим на лужайки лотосов нечестивцев, темным сполохом сознания земли, обессилевшей под бременем войска, желтыми цветами дерева кадамбы, расцветшего при появлении туч — выступивших в поход воинов, стадом слонов, затоптавшим лотосы лучей солнца, океаном, затопившим небо и землю при гибели

вселенной, черным покрывалом на голове богини славы трех миров. Многоцветная, как шерсть Великого вепря, могучая, как столб дыма от огня, пожирающего вселенную в день ее гибели, она будто вырывалась из подземного мира, вздымалась из-под ног воинов, сыпалась искрами из глаз, исторгалась всеми сторонами света, низвергалась с неба, разносилась ветром, порождалась лучами солнца. Она казалась сном, но без утраты сознания, сумраком, но при сияющем солнце, прохладой, но в жаркое время года, темной ночью, но без блеска звезд, хмурым днем, но без льющегося дождя, подземным царством, но без обитающих в нем змей. И она разрасталась все шире и шире, словно шаги Вишну²⁰⁵.

Как лужайка цветущих лотосов, омытая ливнем, небо было омыто пылью с земли, белой, будто пена Молочного океана. Как опахало из выцветших перьев павлина, диск солнца потускнел, став серым от густой пыли. Как потрепанное шелковое знамя, потемнела от пыли небесная Ганга. Не в силах снести тяжкую поступь войска, земля словно бы обратилась в пыль и устремила в мир бессмертных богов, чтобы вновь попросить облегчить ее бремя²⁰⁶. Сделав серым стяг колесницы солнца, без остатка выпив солнечный жар, но и сама как бы им сожженная, пыль снова падала в волны океана. И тогда земля, как если бы уже наступила гибель мира, казалось, вошла в собственное лоно, или в воды океана, или в утробу бога смерти, или в глотку Шивы, или в тело Нараяны, или в яйцо

Брахмы²⁰⁷. День как бы был сотворен из одной земли, пространство — вылеплено из глины, небо превратилось в пыль, и все три мира, неразличимые, слились воедино.

Вскоре, однако, от фонтанов белой, как волны Молочного океана, воды, которую во все стороны из хоботов разбрызгивали слоны, от капель мускуса, которые они сбрасывали с себя, когда шевелили ушами, от потоков слюны, льющейся с губ лошадей, когда они ржали, пыль улеглась и пространство вновь просветлело. Тогда, глядя на несметное войско, словно бы вынырнувшее из вод океана, и преисполнившись изумления от этого зрелища, Вайшампаяна сказал Чандрапиде: «Царевич! Разве есть что-либо на свете, чем еще не завладел великий царь царей божественный Тарапида и что хочешь ты теперь завоевать? Есть ли страна, не покоренная им, которую ты собираешься покорить? Есть ли крепость, им не захваченная, которую ты захватишь? Есть ли земли, ему не подвластные, которыми ты овладеешь? Есть ли сокровища, им не добытые, которые ты добудешь? Есть ли цари, перед ним не склонившиеся? Кто в знак покорности ему еще не прикладывал к своей голове ладони, нежные, как бутоны лотоса? Чьи лбы, украшенные золотым ободом, не шлифовали пол в его Приемном зале? Чьи драгоценные короны не касались ножек его трона? Кто, точно привратник, не держал перед ним жезла, не обмахивал его опахалом, не приветствовал его пожеланием победы? У кого на короне резные звери не вку-

шали светлые, как струи воды, лучи от ногтей на его ногах? А теперь все эти владыки земли, гордые своей мощью, готовые в неудержимом порыве дойти до каждого из четырех великих океанов, равные Дашаратхе, Бхагиратхе, Бхарате, Дилипе, Аларке и Мандхатри, славящиеся своими предками, совершившие жертвоприношение сомы,— все они покорно принимают на освященные водой помазания драгоценные зубья своих корон благословенную пыль с твоих ног, словно золу, оберегающую от зла. На этих царях, словно на горах Кула, держится земля, а ты держишь в своих руках их армии, затопившие десять сторон света. Взгляни: куда ни бросишь взор, всюду видишь воинов, которых, кажется, исторгает подземный мир, порождает утроба земли, источают стороны света, выплескивает небо, плодит день. Думаю, что земля, страждущая под бременем неисчислимого войска, вспоминает теперь о похожем смятении великой битвы бхаратов²⁰⁸. Солнце блуждает среди леса флагов, словно бы желая их сосчитать, и, кажется, спотыкается об их верхушки. Земля, купаясь в потоках мускуса, который непрерывно источают слоны и который пахнет кардамоном, оглушенная жужжанием пчел, слетевшихся на этот запах, кажется захлестнутой черными водами реки Ямуны. Вереницы вымпелов, белых, как луна, занавесили все стороны света и кажутся реками, устремившимися в небо в страхе быть вытоптанными грозно ступающим войском. И как не дивиться тому, что еще не распались скрепы земли — горы Кула, что сама

земля под напором войска еще не раскололась на тысячу кусков, что еще не подогнулись головы царя змей Шеши, придавленные тяжестью стольких армий и уже бессильные поддерживать сушу!»

Беседуя с Вайшампаяной, Чандрапида прибыл в военный лагерь, в котором было возведено множество арок, воздвигнуты тысячи походных домов из тростника, раскинуты палатки из яркой белой ткани. Спешившись, Чандрапида приступил к исполнению каждодневных царских обязанностей. И хотя собравшиеся вокруг него цари и советники пытались развлечь его разного рода рассказами, день этот он провел в печали, ибо сердце его томилось из-за новой разлуки с отцом. Так прошел день, а ночью он большей частью бодрствовал, развеивая сон разговорами с Вайшампаяной, возлежавшим неподалеку на собственном ложе, и с Патралекхой, покоящейся по другую сторону от него на расстеленной прямо на земле циновке. И говорили они друг с другом о Тарапиде, о Виласавати, о Шуканасе.

На рассвете Чандрапида поднялся и возглавил войско, которое в должном порядке, непрерывными маршами и на каждом марше возрастающим числом, стало продвигаться вперед и на своем пути сотрясало землю и колебало горы, убыстряло течение рек и осушало озера, опустошало леса и сравнивало с землей холмы, засыпало ущелья и протаптывало долины. Покоряя непокорившихся, возвышая падших, ободряя напуганных, защищая беззащитных, истребляя

нечестивых, сокрушая противящихся, коронуя новых государей, собирая сокровища, принимая дары, налагая дань, учреждая законы, воздвигая памятные стелы, возводя триумфальные колонны, издавая указы, почитая брахманов, привечая мудрецов, охраняя отшельников, обретая любовь народа, проявляя мужество, умножая величие, стяжая славу, утверждая благонаравие, сея добрые деяния, Чандрапида, как он того и хотел, постепенно проложил дорогу через всю землю и осыпал пылью, поднятой его войском, воды всех морей, опустошил леса вдоль всех морских берегов. Сначала он завоевал Восток, затем — Юг, отмеченный звездой Тришанку²⁰⁹, затем — Запад, которому покровительствует Варуна²¹⁰, затем — Север, расположенный под созвездием Семи Риши²¹¹. Так в течение трех лет он прошел землю, опоясанную рвом из четырех океанов, и покорил все ее континенты.

После того как в указанной очередности Чандрапида завоевал всю землю и уже возвращался домой, случилось так, что неподалеку от Восточного океана ему пришлось усмирить племя киратов, живущее на горе Хемакуте вблизи Кайласы, и захватить их столицу — город Суварнапуру. Там он остановился на несколько дней, чтобы дать отдых войску, утомленному долгим походом, и однажды, оседлав Индраюдху, выехал из города на охоту. Углубившись в лес, он вдруг заметил пару киннаров, спустившихся по своей прихоти с горной вершины. Поскольку с подобными существами он

никогда не встречался, то почувствовал любопытство и, пытаясь их поймать, начал осторожно к ним приближаться. Но и они никогда прежде не видели человека и, напуганные, пустились бежать. Преследуя их на Индраюдхе, чью резвость он удваивал, поддавая ему в бока пятками, Чандрапида в одиночку далеко ускакал от своего войска. Им владела единственная мысль: «Вот-вот я их поймаю, вот-вот они уже пойманы!» — и с присущей ему неслыханной быстротой Индраюдха в одно мгновение, будто одним прыжком, перенес его, оставшегося без свиты, на расстояние в пятнадцать йоджан от прежнего места. Тут Чандрапида увидел, что пара киннаров, которую он преследовал, взобралась на вершину ближайшей горы. Продолжать преследование он не мог из-за обступивших вершину скал, и, когда киннары вскарабкались на гору, Чандрапида медленно отвел от них взгляд и, заметив, что за время скачки и он сам, и Индраюдха от усталости сплошь покрыты потом, придержал своего коня.

Словно бы смеясь над самим собою, он подумал: «Ради чего я без толку хлопочу, точно дитя? Не все ли равно, поймаю я эту пару киннаров или не поймаю? Что пользы будет, если поймаю? И что станется, если не поймаю? Ну и наваждение! О, эта тяга хоть что-то да делать! Откуда эта страсть к вздорным поступкам? Эта приверженность к ребячьим забавам? Рвение, которое сулило как будто немало выгоды, оказалось бесплодным. Дело, начатое с усердием и выглядящее необходимым, оказалось лишенным

смысла. Мои клятвы друзьям оказались невыполненными. Мой царский долг остался в небрежении. Великий подвиг, на который я пошел, не состоялся. Усилия, приложенные ради завоевания мира, пропали даром. Зачем, словно соблазненный демоном, я покинул свою свиту и заехал в эту дальнюю страну? Отчего бесцельно преследовал эту пару конеголовых? Теперь, размышляя над этим, я готов смеяться над собою, словно над кем-то посторонним. Я даже не знаю, как далеко мое войско, которое шло за мною. Ведь Индраюдха так быстроног, что во мгновение ока преодолевает огромные расстояния. Из-за его резвости, да и потому, что я сам неотрывно следил за парой киннаров, я не запомнил дороги, по которой ехал через этот бесконечный лес, заваленный сухой листвой, непроходимый из-за густого кустарника, сплетенных лиан и сотен деревьев. Я не знаю, как вернуться отсюда в свой лагерь. И даже если с большим трудом я пробьюсь сквозь обступившие меня заросли, то едва ли встречу человека, который укажет бы мне дорогу в Суварнапуру. Правда, я вспоминаю, мне не раз говорили, что к северу от Суварнапуры проходит граница обитаемых земель, далее идет безлюдный лес, а за лесом — Кайласа. Так ведь вот Кайласа! И потому мне нужно повернуть коня и ехать прямо на юг, постоянно сверяя свой путь с солнцем».

Так решив, он левой рукой натянул поводья и повернул коня. А затем вновь подумал: «Благое солнце, сияя нестерпимым блеском, точно драгоценный камень в кушаке, украшает сре-

динную часть неба. Между тем Индраюдха очень устал. Поэтому нарву-ка я для него несколько охапок травы дурги, дам ему искупаться и попить воды в каком-нибудь озере, горном ручье или реке, а кстати и сам утолю жажду и отдохну в тени какого-либо дерева, прежде чем снова тронуться в путь». Так подумав, он поехал по лесу и в поисках воды беспрестанно бросал взоры по сторонам, пока не увидел тропу, влажную от комьев глины, оставленных стадом диких слонов, которые, вероятно, жили в предгорье и недавно прошли здесь, возвращаясь с водопоя. Тропа была усеяна ворохами лилий, чьи стебли, корни и листья были обглоданы слонами, чернела пятнами мокрой ряски, усыпана красными, синими и белыми лотосами с вырванными вместе с землей корнями, покрыта обломанными ветками деревьев в ярких цветах и срезанными побегами лиан со снующими по ним пчелами, увлажнена мускусом, который пах свежими цветами и был темен, как сок, выжатый из листьев тамалы.

В надежде отыскать какой-нибудь водоем Чандрапида спустился вниз по тропе и подъехал к подножию Кайласы. Почти все оно поросло деревьями сарала, сала и саллаки, чьи кроны были похожи на круглые зонты, а верхушки можно было разглядеть, лишь вытянув шею, и которые, хотя и росли густо, казались далеко отстоящими друг от друга из-за того, что не было на их стволах ветвей. Покрытое крупнозернистым желтым гравием, заваленное камнями, оно почти не имело травы и кустарника и

казалось рыжим из-за пыли минералов, раскрошенных клыками диких слонов. Расщелины в скалах были устланы мхом, чьи причудливые узоры казались выдавленными на их поверхности, а склоны вязли в непрерывно капающей с деревьев смоле и стекающей с вершины горы лаве. Земля была усеяна коричневой каменной пылью, выбитой из скал острыми, как резец, копытами лошадей, и золотистым песком, вырытым из нор кротами. На песке виднелись следы копыт множества буйволов, ланей и антилоп, а поверх следов были разбросаны клоки их шерсти. На зубчатых обломках скал сидели парами куропатки, у входа в пещеры — семьи орангутангов, повсюду пахло серой, и среди зарослей лиан тянулись вверх побеги бамбука.

Проехав от подножия Кайласы немного на северо-восток, Чандрапида заметил густую рощу, похожую на скопище туч, разбухших от влаги, и сумрачную, как ночь. Углубившись в нее, он был обласкан встречным ветром, прохладным от близости воды и несшим с собой водяные брызги и пряный запах цветочной пыльцы. Касание ветерка было таким же приятным, как свежесть сандаловой мази, а громкие крики гусей, опьяненных нектаром лотосов, тешили слух Чандрапиды и словно бы подзывали его поближе.

Выехав на опушку, Чандрапида увидел озеро по имени Аччхода, живительное для взора, необычайно красивое. Оно было похоже на драгоценное зеркало богини красоты трех миров, или на хрустальную обитель богини земли, или на хранилище океанских вод, или на колыбель

стран света, или на отражение небосвода, или на расплавленную Кайласу, или на растаявшие Гималаи, или на разжиженный лунный свет, или на смех Шивы, обратившийся в воду, или на все достоинства вселенной, представшие в виде озера, или на плоскогорье из драгоценного камня вайдурья, или на собранные воедино ливни осенних туч, или на зеркало Варуны. Удивительно чистое, оно казалось созданным из сердец святых мудрецов, из добродетелей праведников, из блеска глаз антилоп, из сияния драгоценных камней; прозрачное для глаза, оно казалось пустым, хотя было заполнено водой. В сиянии радуг, которые блистали в брызгах, разносимых ветром, оно словно бы находилось под охраной тысячи луков Индры²¹². Поросшее лотосами, оно словно бы вмещало вселенную, подобно лотосу Нараяны²¹³, из которого произрастают три мира со всеми их лесами, горами, звездами и планетами. Его воды, казалось, смешались с нектаром, излитым полумесяцем на челе Шивы²¹⁴, когда благой бог, сотни раз спускавшийся сюда с соседней Кайласы, нырял и плавал в его волнах,— нектаром, подобным потоку красоты, струящемуся с ланит Парвати, когда супруга Шивы умывалась здесь озерной водой. Озеро было настолько глубоким, что походило на вход в подземный мир, и толща его вод, в которых отражались заросли деревьев тамалы, растущие по его берегам, казалась насквозь темной. По всей глади озера были рассыпаны купы черных лотосов, и пары чакравак старались проплыть стороной²¹⁵, опасаясь, что среди дня они окажутся под покровом ночи.

Часто Брахма, набирая из озера воду, освящал его своим кувшином. Не раз мудрецы валахильи утренней и вечерней зарей совершали на его берегах обряд почитания солнца. Нередко к нему спускалась Сарасвати, чтобы нарвать лотосов для жертвенной церемонии. Тысячу раз чтили его своим купанием семь божественных риши. Каждый день жены сиддхов омывали в нем свои одежды, изготовленные из коры деревьев, исполняющих желания. А жены из гарема владыки гухьяков Куберы, плескаясь в озере, затягивали его волны в водоворот своих круглых пупков, похожих на стянутый в кольцо лук бога любви Камы.

Кое-где среди озера росли лотосы, чьим соком пьянил себя гусь Варуны; кое-где крепкие стебли и корни лотосов были поломаны купающимися слонами — стражами сторон света; кое-где каменистые прибрежные склоны оказались подрытыми копытами быка Шивы; кое-где виднелись клочья пены, разметанные по воде рогами буйвола Ямы; кое-где купы лотосов были вырваны с корнем могучими бивнями Айраваты.

Подобно юности, полной волнений, озеро пенилось волнами. Подобно больному лихорадкой любви²¹⁶, ему служили отрадой белые влажные лотосы. Подобно великому мужу со счастливыми признаками²¹⁷, оно тайло в себе рыб, дельфинов и черепах. Подобно плачу жен Краунчи²¹⁸, сраженного Карттикеей, оно оглашалось криками птиц краунча. Подобно гомону битвы, по нему разносился гогот гусей, бивших

крыльями. Подобно Шиве, проглотившему яд калакуту²¹⁹, его синюю воду лакали утки. Подобно пущенной Вишну чакре, над ним вились в воздухе чайки. Подобно знамени Макарадх-ваджи, оно зналось с макарами²²⁰. Подобно богам с немигающими глазами²²¹, в нем жили безмолвные рыбы. Подобно лесу с разевающими пасти львами, оно наполнилось распустившимися лотосами. Подобно Шеше с тысячью белых капюшонов, оно шелестело тысячами белых кувшинок. Подобно пчелиному улью, над ним беспрерывно жужжали пчелы. Подобно Кадру, вскормившей грудью тысячу змей²²², оно вспоило тысячи слонов. Подобно сандаловым рощам в горах Малая, прохладны были его песчаные мели. Подобно небрежному выводу без подтверждения, оно затопляло водами твердь берегов.

При одном виде этого озера у Чандрапиды прошла усталость, и он подумал: «Ах, теперь, когда я повстречался с этим озером, обрела смысл моя безрассудная погоня за парой конеголовых. Сегодня оба моих глаза награждены видом того, что единственно стоит увидеть: они узрели вершину всего прекрасного в мире, идеал совершеннейшего из удовольствий, венец того, что доставляет счастье, воплощение того, что радует сердце, крайний предел того, что только доступно зрению. Если Брахма создал нектар амриты уже после того, как сотворил это озеро, то, поистине, он сделал лишнее дело. Подобно амрите, воды этого озера даруют блаженство всем пяти чувствам: удивительно

чистые, они веселят взгляд, прохладные, они приятны своим касанием, благоухающие лотосами, они отрадны для обоняния, звенящие от криков гусей, они ласкают слух, сладкие, они, тешат вкус. Нет сомнений, что лишь в жажде постоянно видеть это озеро Шива, супруг Умы, сохраняет привязанность к своей обители на горе Кайласе. Нет сомнений, что Вишну, держатель диска, никогда не насытит своих желаний, пока пренебрегает его чистыми и сладкими, как нектар, водами и предпочитает возлежать на соленых и темных водах океана²²³. Нет сомнений, что этого озера не было в начале времен, когда земля, убоявшись клыков Великого вепря, погрузилась в океан, чьи воды одним глотком смог выпить Агастья²²⁴, вместо того чтобы нырнуть в это великое озеро, глубокое, как беспредельные подземные миры, откуда не то что один, а тысячи вепрей не смогли бы ее достать. Нет сомнений, что в день великой гибели мира²²⁵ грозовые тучи именно из него по каплям набирают воду, чтобы потом затопить землю и застлать мраком вселенского ливня десять сторон света. И я думаю, что оно-то и было той водной стихией, которая на заре творения составляла яйцо Брахмы и только потом раскинулось здесь, приняв форму озера».

Так подумав, он направился к южному берегу Аччходы, где среди густого песка громоздились обломки скал; где повсюду возвышались прекрасные песчаные линги, усыпанные белыми лилиями, которые принесли видьядхары, вырвав их вместе со стеблями из озера; где

цвели красные лотосы, окропленные водой, которой Арундхати совершала здесь жертвенное возлияние солнцу; где на прибрежных скалах нежились озерные нимфы; где виднелись цепочки следов от ног Богинь-матерей, которые приходили сюда купаться с горы Кайласы; где по разбросанным кучкам золы можно было догадаться, что здесь после купания обсыпали себя золой слуги Шивы;²²⁶ где земля осталась влажной от мускуса, излившегося из висков Ганеши, когда он спускался к озеру; где по следам огромных лап можно было различить тропу, по которой ходит на водопой лев Парвати. Спешившись, Чандрапида расседлал Индраюдху, позволил ему пощипать травы и немного на ней поваляться, а затем отвел к воде. Когда конь вволю напился и искупался, он вывел его на берег, снял уздечку и тонкой золотой цепочкой привязал его ногу к подножию одного из растущих поблизости деревьев. Нарезав свежей травы дурвы, Чандрапида бросил коню несколько ее охапок, а затем уже сам спустился к озеру. Вымыв руки, он отпил немного воды, будто чатака; отведал лепестков лотоса, будто чакравака; провел по лотосам пальцами-лучами, будто месяц; подставил голову озерному ветерку, будто змея; возложил себе на грудь прохладные листья лотоса, будто юноша, раненный стрелами Камы²²⁷ — и с лотосом, покрытым водяными брызгами, в руке вышел на берег, будто лесной слон, у которого кончик хобота в каплях воды. На обломке скалы, окруженном лианами, он соорудил себе ложе из только что сорванных, прохладных и

влажных листьев и стеблей лотоса, сунул под голову свернутое в узел верхнее платье и прилег отдохнуть.

Вдруг с северного берега озера до него донеслось, чаруя слух, чье-то божественное пение, которое сопровождали звуки лютни. Но еще раньше его услышал Индраюдха; он выронил из зубов охапку травы, насторожил уши и, вытянув вверх шею, повернул голову. Заслышав музыку, Чандрапида преисполнился изумления. «Откуда здесь, где не бывает смертного человека, эти звуки?» — подумал он и, поднявшись с лиственного ложа, устремил свой взор в ту сторону, откуда доносилась песня. Но из-за дальности расстояния он, как ни напрягал зрение, ничего не увидел, хотя пение ни на миг не смолкало. Тогда, желая узнать, кто поет, Чандрапида решил пуститься на розыски, оседлал Индраюдху, сел на него и направился вдоль западного берега озера. Будто откликаясь на его просьбу, замороженные пением лани указывали ему путь по лесной тропинке, которая благоухала цветами, трепещущими на ветках деревьев саптахады, бакулы, элы, лаванги и лавали, манила жужжанием пчел и казалась темной от деревьев тамалы, как если бы была дорожкой мускуса, оставленного слоном — хранителем мира. Как бы в знак приветия, ему дул в лицо ласковый, животворный ветерок с горы Кайласы, который был прохладен от капель воды, подхваченных им в чистых горных ручьях, который срывал кору с берез, разбрасывал клочья пены со жвачки быка Шивы, нежно касался оперенья

павлина Сканды, весело играл сережками в ушах Парвати, трепал, забавляясь, лотосы в волосах жительниц Северной Куру; раскачивал деревья какколы, сметал пыльцу с цветов на деревьях намеру, который казался разбуженным вздохами змея Васуки, раздосадованного тем, что Шива обвязал им себе косицу будто бы лентой.

Спустя некоторое время Чандрапида доехал до лужайки, окруженной со всех сторон рощей, зеленеющей, как изумруд, и манящей сладким воркованием голубей. В ней твердые почки на ветках деревьев были разорваны когтями снующих повсюду птиц бхрингараджей. В ней нежная листва деревьев манго была ободрана стаями веселых кукушек. В ней слышалось среди цветов жужжание опьяневших от меда пчел. В ней куропатки безбоязненно клевали побеги перца, а плодами деревьев пиппалы лакомились тетерева, пожелтевшие от пыльцы с цветов чампаки. В ней на гранатовых деревьях, гнувшихся под бременем плодов, высиживали своих птенцов воробьи. В ней обезьяны, резвясь, раскачивали лапами пальмовые листья, а от взмахов крыльев молодых голубей, задиристо ссорящихся друг с другом, осыпались цветы. В ней на древесных вершинах сидели птицы сарика, раскрашенные цветочной пылью в разные цвета. В ней громоздились кучи плодов, расклеванных сотнями попугаев или разорванных их когтями. В ней заросли деревьев тамалы оглашались криками чатак, принявших их за дождевые тучи²²⁸, из которых можно напиться воды. В ней моло-

дые слоны сотрясали деревья лавали, обрывая с их веток листья. В ней на земле валялись гроздья цветов, сбитые крыльями голубей, которых пьянило веселье юности. В ней трепетали от легкого ветерка нежные листья банановых деревьев. В ней гнулись под тяжестью созревших орехов кокосовые пальмы. В ней листья на многих деревьях свернулись в хрупкие чаши. В ней финики на пальмах были разодраны клювами никем не пуганных птиц. В ней воздух звенел от криков павлинов, перекликающихся друг с другом в радостном возбуждении. В ней купы деревьев оцетинились завесой еще не распустившихся почек. В ней песчаный покров земли промывался ручьями, постоянно текущими с горы Кайласы. В ней тонкие молодые ветки, покрытые, будто пятнами лака, красной листвой, казались руками лесных божеств. В ней бледно-желтые антилопы лакомились листвой кустарника грантхипарнаки.

Словно радуга, сияющая в тучах, роща сверкала многоцветной листвой. Словно ночные лотосы, не терпящие солнца, деревья дарили прохладу, не пропуская солнечных лучей. Словно воины Рамы — Нила, Нала и сын Анджаны — стояли на страже деревья нила, нала и анджана. Словно на улицах города, повсюду на ветках теснились голуби. Словно отшельники, усмирившие страсти, мирно шептались тростниковые заросли. Словно змеи на теле Шивы, змеились побеги лиан. Словно кораллы на морском берегу, бугрились морщины корней. Словно золотые короны, сияли

зеленые кроны. Словно пандавы, обученные Дроной, парили в воздухе мудрые дрозды. Словно воины, лишенные жизни, на земле лежали сухие листья. Словно метелки хвостов могучих слонов, висели кисти пахучих цветов. Словно сторожевые посты, на опушке росли густые кусты. Словно кольчугой на груди, они оградили себя колючками. Словно человек от обид и тягот, они клонились от обилия ягод. Словно львиные ножки царского трона, внизу под деревьями пролегали львиные тропы. Словно жертвы в языках пламени, к небу тянулись высокие пальмы. Словно деревни, обобранные врагами, деревья были ободраны рогами. Словно богатая родичами семья, деревья разбрасывали семена. И словно маг или чародей, роща манила и чаровала взоры.

На лужайке посреди рощи Чандрапида увидел пустой и прекрасный храм благого Шивы. Он стоял на западном берегу озера у подножия горы Кайласы и, подобно лунному сиянию, заливал всю округу белым светом, отчего и звался Сандрапрабха, или Сияющий как Луна. Когда Чандрапида приблизился к храму, то от пыльцы цветов кетаки, которая летала повсюду, разносимая ветром, его тело стало белым, как если бы он, дабы лицезреть Пашупати, посыпал себя по обету золой или, сам того не ведая, облачился в платье из беспорочных заслуг, чтобы быть допущенным в святую обитель. Войдя в храм, Чандрапида увидел изваяние Шивы, чьи стопы чтят все три мира, владыки всего сущего, того, что движется и недвижно. Шива стоял под хрусталь-

ным балдахином, опирающимся на четыре колонны, и весь был усыпан белыми лотосами, недавно сорванными в Ганге, так что с их влажных лепестков еще стекали капли воды, которые походили на расщепленные лунные диски, или же на осколки громогласного смеха Шивы, или на лоскутья капюшонов Шеши, или на единокровных братьев раковины Вишну, или на подобия сердца Молочного океана²²⁹. Они словно бы жемчужной короной венчали голову Шивы, чей фаллос был высечен тоже из чистого жемчуга.

А затем он увидел девушку, которая, верная обету поклонения Шиве, сидела справа от изваяния в позе послушницы и неотрывно на него смотрела. Удивительно ярким сиянием своего тела, сгустившимся в зыбкое марево, наполнившее все стороны света, белым, как волны Молочного океана, хлынувшие в день гибели мира, пронизающим пространство, как свет заслуг, скопленных за долгие годы покаяния, омывающим подножия деревьев, как воды Ганги, она словно бы превращала всю эту местность с ее холмами и лесами в светлую гладь луны, добавляя еще больше белизны горе Кайласе и, отражаясь в глазах того, кто ее видел, словно бы очищала его разум. В окружающем ее белом сиянии она была почти неразличима, будто находилась внутри хрустального дома, или погрузилась в молочную воду, или надела платье из тонкого китайского шелка, или растворилась в зеркальном стекле, или скрылась за пологом осенних туч. Казалось, что суть ее — белизна, не имею-

щая примеси ни одной из пяти великих стихий: земли, воды, огня, воздуха и эфира, что составляют человеческое тело. Она выглядела олицетворением жертвоприношения Дакши²³⁰, которым тот хотел умиловить Шиву, дабы не быть схваченным за волосы его слугами; или воплощением Рати, которая взяла на себя обет почитания Хары ради воскрешения Маданы; или богиней Молочного океана, которая по праву давней дружбы²³¹ пришла взглянуть на месяц, венчающий голову Шивы; или луной, которая в страхе перед Раху ищет у Шивы покровительства; или Айраватой, который явился предложить в дар своему господину свою слоновью шкуру; или смехом обращенного к югу лица Пашупати, который, прогремев, застыл в телесной форме; или средоточием блеска золы, которой осыпает себя Рудра; или лунным светом, сияющим, чтобы отбелить синеву шеи Хары; или чистотой помыслов Гаури, обретших тело; или доступным созерцанию обетом целомудрия Карттикеи; или белым сиянием туловища быка Шивы; или блеском цветов на деревьях у храма, совершающих поклонение Шанкаре; или благодатной аскезой Брахмы, сошедшей с неба на землю; или славой десяти Праджапати первой юги²³², отдыхающих от труда странствования по семи мирам; или тремя ведами, скрывшимися в лесу из-за горя крушения дхармы в Железном веке; или зарницей грядущего Золотого века, принявшей вид девы; или пламенем духовного зрения божественных мудрецов в его плотском обличье; или цепочкой небесных слонов, со-

рвавшихся вниз в своем беге навстречу Ганге; или красотой Кайласы, рухнувшей на землю²³³, когда ее сотрясал десятиликий Равана; или свечением Белого острова²³⁴, пришедшего взглянуть на другие земли; или прелестью цветов каши, распустившихся в ожидании осени; или блеском туловища Шеши, приползшего из нижнего мира; или сиянием тела Баларамы, отлётевшим от него, когда он, опьянев, споткнулся; или светом всех полнолуний, собранным воедино.

Она выглядела так, как если бы все гуси на свете наделили ее своей белизной; как если бы она восстала из сердцевины самой добродетели, или была создана из раковины, или изваяна из жемчуга; как если бы ее тело было соткано из волокон лотоса, или выдолблено из слоновой кости, или вычищено щеткой лунных лучей, или выкрашено белой краской, или вымыто пеной амриты, или покрыто блестящим слоем ртути, или умощено жидким серебром, или вырезано из лунного диска, или осыпано цветами кутаджи, кунды и синдхувары; или как если бы она была средоточием белого цвета.

С ее головы ниспадали до плеч светлые кудри, которые казались сотворенными из лучей утреннего солнца, отделившихся от его диска, когда оно покоилось на Горе восхода. Ее волосы, цвета сполоха молний, увлажненные после недавнего купания каплями воды, казались посыпанными золой с ног Шивы, к которым она припала в благочестивом рвении. А в самой гуще волос она укрепила драгоценный слепок с ног Шивы, украшенный его собственным име-

нем. Ее лоб был покрыт золой, белой, словно пыль звезд, растоптанных копытами лошадей колесницы солнца, и походил на склон Гималаев с лунным диском, прильнувшим к его скалистой вершине. Она чтит Пашупати взглядом, который был устремлен прямо на его фаллос, исполнен глубокой преданности и похож на еще одну гирлянду лотосов, брошенную на его изваяние. Приоткрывая рот в неустанном пении, она словно бы омывала Супруга Гири ярким сиянием своих зубок, которые казались средоточием и чистоты ее сердца, и красоты мелодии; что она пела, и сладости звуков и слов песни. С ее шеи свисали четки, составленные из жемчужин, таких же больших, как плоды амалики, и таких белых, что они казались сокровенными знаками вед, взятыми из уст Брахмы, или звуками гимна гаятри²³⁵, связанными в цепочку друг с другом, или семенами лотоса, растущего из пупа Нараяны, или семью божественными мудрецами, принявшими вид звезд и пожелавшими очистить себя касанием ее руки. Эти четки делали ее похожей на луну в ореоле белых лучей в светлую половину месяца. А ее груди, слегка наклоненные вниз, круглые, как черепа на голове Шивы, и прекрасные, как кувшины с водой очищения, делали ее похожей на Гангу, по которой плывут два лебедя.

Она была в платье из коры небесного Древа желаний, которое крепил узел в ложбинке между ее грудями и которое походило своей красотой на опахало или же на гриву льва Парвати. Ее тело опоясывал священный шнур,

словно бы свитый из лучей месяца, удостоенного Шивой стать драгоценным украшением его волос. Ее ноги до щиколоток были прикрыты шелковой юбкой, которая, хотя и была по цвету белой, казалась розовой от сияния ее пяток, повернутых вверх в позе брахмасана²³⁶.

Ей прислуживала юность, словно ученик, который приходит в назначенное время, постоянен и сдержан в своем поведении. Ей сопутствовала во всей своей прелести невинность, словно желая снискать себе религиозную заслугу. За ней следовала, оставив свое обычное легкомыслие, красота, словно ручная лань с прекрасными продолговатыми глазами. Своей правой рукой — на которой пальцы были унизаны кольцами из маленьких ракушек, которая, начертав на лбу священный знак из трех линий, оказалась покрытой белой золою, которую ниже плеч обвивали браслеты из раковин и на которую падал белый отсвет блестящих ногтей, отчего она стала похожей на смычок, выточенный из слоновьего бивня — девушка, держа на коленях, как дочь, лютню из слоновьей кости, перебирала ее струны и словно бы олицетворяла собою саму музыку. Будто подруги, не отличимые от нее и тоже с лютнями на коленях, ее обступали со всех сторон ее отражения на драгоценных колоннах храма. И также она отражалась в фаллосе Шивы, зеркально чистом после омовения, так что казалось, он принял ее в свое сердце, умиловленный ее великой преданностью. Играя на лютне, девушка воспевала Шиву гимном, который струился из ее горла, словно нить жемчуга, в кото-

ром слова сходились к припеву, словно планеты к Полярной звезде, который пылал страстью, словно ревнивица гневом, пленял богатством звуков, словно кокетка разнообразием взглядов, то затихал, то слышался громче, словно не владеющая собой захмелевшая женщина, был полон глубокого чувства, словно познание мира — верой. К гимну и лютне, усевшись в круг и насторожив уши, прислушивались антилопы, кабаны, обезьяны, слоны, лани, львы и прочие лесные звери, которых так заворожило чудесное пение, что, казалось, они замерли в духовном созерцании.

Словно божественная Ганга, эта девушка казалась сошедшей с неба; словно молитва жреца — чуждой всего обыденного; словно накопник стрелы Сокрушителя Трипуры²³⁷ — сотворенной из яркого пламени; словно тот, кто вкусил амриты, — не ведающей мирских забот; словно воды океана перед пахтаньем — невозмутимой; словно речь, свободная от двусмысленности, — прямодушной; словно отвергшее страсти учение Будды — невозмутимой; словно входящая в огонь Сита²³⁸ — взыскующей света истины; словно искусный игрок в кости — умеющей скрывать свои чувства; словно земля, напоенная влагой, — пьющей одну воду; словно морозная дымка в зимнее утро — вобравшей в себя блеск солнца; словно стихи, чуждые всего лишнего, — во всем соблюдающей меру. Она сидела неподвижно, точно нарисованная на картине, и освещала землю светом своего тела, словно сотворенная из ярких лучей. Не ведая ни

пристрастий, ни забот о себе, ни плотских желаний, она походила на неземное божество. И хотя на вид ей было не более восемнадцати лет, точнее назвать ее возраст нельзя было из-за ее божественной сути.

Спешившись и привязав коня к ветке дерева, Чандрапида подошел к изваянию трехглазого Шивы и совершил обряд поклонения. Затем он снова, не отрывая глаз и не моргая, стал глядеть на божественную девушку. И в голове его, пораженного спокойствием ее облика и совершенством ее красоты, мелькали такие мысли: «Каких только чудес и совпадений не бывает на свете! По случайной прихоти выехав на охоту и безуспешно преследуя пару конеголовых киннаров, я вдруг очутился в этой удивительной местности, куда нет доступа людям и где подобает жить одним божествам. Разыскивая воду, чтобы утолить жажду, я набрел на это озеро, которое пленяет сердце и которое посещают одни только сиддхи. Отдыхая на его берегу, я слышал чудесное пение, а пойдя на его звуки, встретил божественную девушку, лицезреть которую недостойны простые смертные. У меня нет сомнений в ее божественной сути. Разве сам вид ее не говорит, что она существо иного мира? Да и могла бы разве земная женщина породить такую небесную музыку? Так вот, если только она внезапно не исчезнет, не поднимется на вершину Кайласы или не взлетит в небо, я обязательно подойду к ней и спрошу, кто она, как ее зовут и почему, такая юная, она приняла на себя тяжкий обет

подвижничества. Поистине, во всем этом таится что-то чудесное!» Так рассудив, Чандрапида сел подле одной из колонн хрустального балдахина над изваянием Шивы и стал дожидаться окончания пения.

Когда песня умолкла и замерла лютня, девушка, похожая на лотос, на котором стихло жужжание пчел, совершила поклонение Харе, обошла изваяние слева направо, а затем повернулась к Чандрапиде и словно бы ободрила его своим взглядом. Этим взглядом, светлым по природе и непритворным в силу ее подвижничества, она как бы коснулась его своей добротелью, омыла священной водою, благословила аскезой, одарила чистотой, наделила благочестием, наградила исполнением желаний, а потом сказала: «Добро пожаловать, путник! Как ты, господин, попал в этот край? Вставай же, пойдем со мной, я приму тебя как гостя».

Когда Чандрапида услышал эти слова, то, почитая за милость уже одно то, что девушка обратила на него внимание, он поднялся, благодарно ей поклонился и, учтиво ответив: «Как прикажешь, госпожа», — пошел за ней, будто ученик за учителем. По дороге он подумал: «Какое счастье, что, увидев меня, она не скрылась. Сердце мое полно любопытства и желания ее расспросить. Хотя она обладает божественной внешностью, редкой даже для подвижников, поведение ее настолько благородно и исполнено доброты, что, если я почтительно ее попрошу, надеюсь, она не откажет мне рассказать историю своей жизни». Так решив и пройдя вслед за девушкой

около ста шагов, он увидел пещеру, вблизи которой деревья тамалы росли так густо, что казалось, в разгар дня наступила ночь. Пещера скрывалась за зарослями лиан, на распустившихся ветках которых сладкозвучно жужжали опьяневшие от меда пчелы. Рядом пенились ручьи, которые, падая с большой высоты, с протяжным грохотом разбивались об острые края белых камней, разбрасывали во все стороны холодные как льдинки водяные брызги и окутывали пещеру влажной дымкой. У входа в пещеру, по обе ее стороны, низвергались два водопада с водою белой как снег, или жемчуг, или смех Шивы, так что казалось, что свисают вниз два трепещущих опахала. А внутри пещеры стояло несколько драгоценных кувшинов для омовения, висело платье для йогических упражнений, к рукоятке тростникового посоха была привязана пара сандалий, сплетенных из кожуры кокосовых орехов, в одном из углов разложена постель из лыка, обсыпанная золою, в другом — находилась круглая чаша для сбора милостыни, словно бы вырезанная из лунного диска, и рядом с нею кувшин для воды, выдолбленный из тыквы.

Чандрапида сел на камень у входа, а девушка положила лютню у изголовья своей постели и, дабы принять гостя с подобающим ему почетом, пошла зачерпнуть воды из водопада. Когда она приблизилась к царевичу с водой в пригоршне, Чандрапида сказал: «Довольно! К чему эти хлопоты? Ты и так, госпожа, оказала мне великую милость. Не нужно никаких стараний. Ведь

достаточно увидеть тебя, чтобы, все равно что прочитав гимн „Ригведы“, очиститься от всякого зла. Присядь!» Однако по настоянию девушки, он все же позволил ей исполнить обряд гостеприимства, но при этом сам, низко склонив голову, выказал ей всяческое почтение. А когда девушка завершила обряд и села рядом с ним на камень, он после недолгого молчания в ответ на ее расспросы рассказал все о себе, начав с похода на завоевание мира и кончив тем, как попал сюда, преследуя пару киннаров.

Выслушав его рассказ, девушка встала и с чашей для милостыни в руках обошла деревья, растущие подле храма. Вскоре чаша оказалась полной плодов, которые сами попадали с веток. Возвратившись к Чандрапиде, девушка предложила ему их отведать. А Чандрапида подумал: «Поистине, нет ничего недоступного для подвижничества. Что может быть удивительнее того, как эти безжизненные деревья, словно разумные существа, воздают почет благородной госпоже и сами предлагают ей свои плоды. Вот чудо, какого мне не приходилось видеть!» Преисполненный великого изумления, он встал, пошел за Индраюдхой и, расседлав его, привязал рядом с пещерой. Затем, умывшись под струями водопада, он отведал сладких как нектар плодов и напился холодной как лед воды. Ополоснув после еды рот, он подождал в стороне, пока девушка тоже не утолила голод и жажду плодами, кореньями и водою. А когда она, закончив трапезу и совершив предписанные вечерние обряды, села на камень, Чандра-

пида тихо приблизился к ней, сел рядом и почтительно проговорил: «Госпожа, нескромность, свойственная людям, да еще усиленная любопытством, да к тому же подкрепленная твоим радушием, побуждает меня, чуть ли не вопреки собственной воле, задать тебе несколько вопросов. Ибо даже крупица внимания со стороны просветленного возбуждает у недостойного смелость; даже малое время, проведенное ими вместе, создает близость, даже намек на гостеприимство порождает дружбу. Поэтому, если это не причинит тебе беспокойства, удостой меня рассказа о себе. Чей род осчастливила ты, госпожа, своим рождением: марутов, риши, гандхарвов, гухьяков или апсар? Отчего, юная и нежная, как цветок, ты приняла на себя столь суровый обет? Что общего у твоей молодости и этого покаяния, у твоей красоты и прелести и этого умерщвления плоти? Мне кажется немыслимой связь между ними. Почему ты живешь одна в безлюдном лесу, покинув блаженную обитель богов на небе, населенную сиддхами и садхьями? Отчего так сияет белизной твое тело, хотя оно и сотворено, как у всех, из пяти стихий?»²³⁹ Я никогда и нигде не видел такого чуда и не слышал ни о чем подобном. Смилуйся надо мной, благая, поведай мне о себе!»

Выслушав его, девушка какое-то время молчала, о чем-то мучительно размышляя, а затем, не произнеся ни слова, закрыла глаза и с тяжкими вздохами принялась плакать. Потoki слез, которые словно бы пенились добротой ее

чувств, струились животворной влагой ее аскезы, искрились светлым сиянием ее глаз и изливали наружу чистоту ее сердца, стали течь непрерывной чредой по ее прекрасным, круглым ланитам, падать на землю сплошной вереницей капель, будто жемчуг из разорванного ожерелья, разбиваться брызгами о ее высокую грудь, прикрытую платьем из лыка. Видя ее рыдающей, Чандрапида подумал: «О, сколь тяжелы удары судьбы, если они способны сломить даже ту, кого, казалось бы, нельзя сломить. Поистине, нет таких невзгод, которые бы миновали того, кто наделен плотью. Постине, неотвратима смена радостей и бед! Однако слезы ее возбудили в моей душе еще большее любопытство. Немалой должна быть причина подобной скорби, особенно у такой, как она: земля не заколеблется от слабого толчка». Однако, как ни велико было любопытство Чандрапиды, он, почитая себя виновным, что неволью заставил девушку вспомнить о своих несчастьях, встал и принес воды из ручья, чтобы она омыла себе лицо. И хотя слезы у нее еще продолжали струиться непрерывной чредой, она, тронутая его учтивостью, сполоснула покрасневшие глаза, вытерла лицо полой платья, а затем, глубоко и горько вздохнув, проговорила: «Царевич! К чему тебе знать, отчего я, негодная, жестокосердая, злосчастная от рождения, отреклась от мира? Эта история недостойна того, чтобы быть услышанной. Но раз тебе так хочется, я ее расскажу. Слушай!»

РАССКАЗ МАХАШВЕТЫ

Тебе, добродетельному, доводилось, верно, слышать, что в мире богов живут некие девы, зовущиеся апсарами. Есть четырнадцать родов-апсар: первый возник из разума лотосорожденного Брахмы, второй — из вед, третий — из огня, четвертый — из ветра, пятый — из амриты, добытой при пахтание океана, шестой — из воды, седьмой — из света солнца, восьмой — из лучей луны, девятый — из земли, десятый — из молнии, одиннадцатый был сотворен богом смерти, двенадцатый — богом любви, а два последних явились на свет от брака с гандхарвами двух дочерей Дакши — Муни и Аришты. Как видишь, из четырнадцати родов апсар только два происходят от гандхарвов. И в числе потомков этих двух родов шестнадцатым по счету сыном Муни родился Читраратха, который своими достоинствами превосходит остальных пятнадцать братьев во главе с Читрасеной. Его доблесть прославлена, поистине, во всех трех мирах, а его величие приумножается тем, что сам благой Индра, к чьим ногам-лотосам склоняются гирлянды корон всех богов, называет его другом. Еще в юности дланью своей, на которую падает темно-синий отблеск лезвия его меча, добыл он себе верховенство надо всеми гандхарвами. Неподалеку отсюда, у северной границы Бхаратаварши, в стране Кимпуруше среди гор Варша на горе Хемакуте, находится его столица. Там под сенью его скипетра живет несколько сотен тысяч гандхарвов; и именно он,

Читрататха, насадил этот прекрасный лес, названный его именем, вырыл это громадное озеро Аччходу и воздвиг это изваяние Шивы, супруга Парвати. Что же касается Аришты, сестры Муни, то она родила прославленного гандхарву Хансу, старшего из шести единоутробных братьев, среди которых вторым за Хансой идет Тумбуру. Когда Ханса был еще ребенком, Читрататха, владыка всех гандхарвов, помазал его в цари, отдал ему под власть второй род гандхарвов, и с тех пор в окружении неисчислимого войска Ханса тоже живет на горе Хемакуте.

Между тем в роде апсар, возникшем от лучей луны, родилась девушка по имени Гаури, с телом таким белым, что кажется сотворенным из прелести лунного диска, излившейся белым сиянием, и такая прекрасная в глазах обитателей трех миров, что кажется второй богиней Парвати. Подобно реке Мандакини, супруге Молочного океана²⁴⁰, она стала любимой женой владыки второго рода гандхарвов Хансы. Вступив с ним в брачный союз, как Рати с богом любви или осенняя туча с лотосом, она была провозглашена им главной царицей и с тех пор наслаждается близостью с равным себе по рождению. От этой великой своими достоинствами супружеской пары и родилась — им на горе! — я, единственная их дочь, но лишенная счастливых обетований, средоточие многих тысяч несчастий — такая вот, какой ты меня видишь. Отец мой, бывший долгое время бездетным, отпраздновал мое рождение так торжественно, как не празднуют рождение сына. И на десятый день моего

появления на свет он дал мне, согласно обычаю, имя — Махашвета, что значит Очень Белая. В отцовском доме я счастливо прожила свои детские годы, в младенчестве нескладно, но нежно лепетала, переходя, как лютня, с колен на колени гандхарвов, не знала ни забот, ни страстей, ни горя. Но в конце концов и ко мне пришла пора юности, подобно тому как с началом весны приходит месяц мадху²⁴¹, с месяцем мадху — цветочные почки, с почками — цветы, с цветами — пчелы, с пчелами — опьянение медом.

Настали дни, когда на лесных лужайках расцветают новые лотосы; когда нежные побеги на деревьях манго пробуждают желания у влюбленных; когда стяги бога любви колышет легкий ветер с гор Малая; когда девушки, веселясь, обрызгивают вином изо рта почки на деревьях бакулы;²⁴² когда бутоны цветов калейки чернеют от слетевшихся пчел; когда повсюду разносится гул ударов о стволы ашоки ножных браслетов²⁴³ прекрасных женщин; когда в чудесных манговых рощах слышится сладкое жужжание пчел, привлеченных благоуханием раскрывшихся почек; когда земля, словно посыпанная песком, становится белой от густого слоя цветочной пыльцы; когда на качелях из веток лиан раскачиваются опьяневшие от меда шмели; когда если и выпадают дожди, то только дожди нектара, исторгнутого из бутонов цветов лавали когтями резвящихся на деревьях кукушек; когда дороги словно бы политы кровью сердец путников²⁴⁴, которые разорвались от страха при звоне натянутого лука Манматхи, заполучившего себе

на радость в жертву жизни их жен; когда стороны света оглушает пронзительный свист нескончаемой вереницы стрел бога любви, оперенных цветами; когда даже днем спешат на свидание женщины, ослепленные охватившей сердце страстью; когда время как бы затоплено вышедшим из берегов океаном любви — настали весенние дни, когда блаженствуют сердца всех живущих в этом мире.

И вот в один из таких дней месяца мадху я вместе с матерью пошла к озеру Аччходе, чья красота была умножена красотой цветущих на нем лотосов налина, кумуда, кувала и кахлара. Там, почтив образы Шивы, которого вместе с Бхринги и Рити нарисовала на скалах приходящая сюда купаться богиня Парвати, и где, как можно было судить по оставшимся на песке следам ног, совершали поклонение святые мудрецы, я бродила со своими подругами и, восхищаясь всем сердцем этой прекрасной, чарующей местностью, восклицала: «Вот заросли лиан, дарящие путникам гроздь чудесных цветов, чьи стебли гнутся под тяжестью пчел! Вот манговые деревья, источающие медовый нектар из цветочных почек, разодранных когтями кукушек! Вот тенистая аллея сандаловых деревьев, чьи корни покинуты змеями, напуганными криками опьяневших павлинов! Вот превосходные качели из веток лиан, на которых, как видно по брошенным пучкам распутившихся цветов, качались лесные нимфы! Вот дерево на берегу, у подножия которого в густом слое цветочной пыли видна пленительная вереница следов гусиных лап!»

Внезапно, хотя лес был полон всевозможных цветочных запахов, я почувствовала, что ветер доносит особый запах, который заглушал и превосходил все другие ароматы, который своей сладостью обволакивал, очищал и ласкал ноздри, на который, пытаюсь опередить друг друга, поспешно устремились пчелы, который я никогда не знала прежде и который, как мне показалось, не мог принадлежать земному миру. Желая понять, откуда идет этот запах, я, влекомая им, точно пчела, смущая озерных гусей звоном своих ножных браслетов, который стал еще громче от дрожи охватившего меня предчувствия, прошла с полужакрытыми глазами несколько шагов ему навстречу и вдруг увидела молодого подвижника, пришедшего искупаться в озере.

Он был похож на Васанту²⁴⁵, который, оплакивая разлуку с Маданой, обращенным в пепел пламенем глаза Хары, совершает аскезу; или на серп месяца на голове Шивы, который предается покаянию, дабы стать полной луною; или же на Каму, который стал подвижником в надежде умиловать Трехглазого бога. От него исходило необыкновенное сияние, так что он казался запертым в клетку из трепещущих прутьев-молний, или попавшим в разгар летнего дня внутрь солнечного диска, или окутанным облаком сверкающего пламени. Огненный блеск его тела, слепящий и яркий, будто пламя светильника, красил лес в багряный цвет и всю местность словно бы устилал золотом. Его мягкие и светлые кудри развевались, как желтые

ленты. На его лбу был нарисован золою священный знак, который выглядел как победоносный стяг добродетели, как пятно сандаловой мази, призванной охладить его страсть к Сарасвати²⁴⁶, и он казался потоком Ганги с белой полоской песчаного берега. Ему придавали величие нахмуренные брови-лианы, похожие на арку входа в храм, которая грозит проклятием нечестивцам. Его продолговатые глаза казались длинной гирляндой глаз, взявших часть своей прелести займы у лесных ланей. У него были большой и прямой нос, похожий на бамбуковый посох, и широкая нижняя губа, такая красная, как если бы ее полнила горячая кровь юности, не нашедшая доступа в его сердце. У него не было бороды, и лицо его походило на только что расцветший лотос, еще не усиженный черными пчелами. Его украшал священный брахманский шнур, похожий на согнутую в дугу тетиву лука Камы или на стебель лотоса, растущий в озере покаяния. В одной руке он держал кувшин, похожий на плод дерева бакулы с не оторванным от него черенком, в другой — хрустальные четки, будто бы сделанные из застывших слез Рати, оплакивающей гибель Камы. Глубокая впадина его пупка казалась водоворотом, в котором бурлила река его учености. Тонкая, будто проведенная черной тушью, дорожка волос на его животе казалась тропинкой, по которой убегает тьма невежества, напуганная светом его мудрости. На его бедрах покоился пояс, свитый из стеблей травы мунджи, казавшийся нимбом, который он отнял у солнца,

побежденного его блеском. Платьем ему служила кора с дерева Мандары, красная, как глаза старой куропатки, и омытая водами небесной Ганги. Он казался драгоценным камнем обета безбрачия, цветком добродетели, воплощением прелести Сарасвати, желанным супругом мудрости, средоточием всех знаний. Как лето, несущее жестокую засуху, он нес подвижнический посох. Как лес, увитый цветами приянгу, он был приятен видом. Как месяц чайтра²⁴⁷, он чаровал красотой. А рядом с ним был другой юный аскет, похожий на него и такого же, как он, возраста, который собирал цветы для обряда поклонения Шиве.

Тут я заметила за ухом молодого подвижника кисть цветов, никогда не виданных мною прежде. Эта кисть светилась, будто блеск улыбки богини леса, обрадованной приходом весны, казалась пригоршней спелого риса, которой месяц мадху приветствует первые порывы ветра с гор Малая, или юной прелестью богини цветов, или гирляндой капель пота, которая проступила на лбу Рати, утомленной долгой любовной игрою, или опахалом из павлиньих перьев, развевающихся, словно победоносное знамя, на голове слона бога любви. Цветы, увлажненные медовым нектаром, словно бы томились в ожидании своих любовников-шмелей и были похожи на звезды, собранные в созвездии Криттика.

Благоухание этой кисти показалось мне, поистине, слаще запахов всех на свете цветов, и, глядя на молодого подвижника, я подумала: «Ах,

неисчерпаема у Творца кладовая красоты, если он смог извлечь из нее такое сокровище! Ибо, уже сотворив благого бога с цветочными стрелами, чья прелесть приводит в смятение три мира, он сумел создать и этого второго бога любви, чья красота сияет еще ярче. Думаю, что когда Праджапати порождал на свет луну, радующую взоры всех людей, или лотос, ставший желанной обителью Лакшми, он только примерялся к искусству творения лика этого юноши. Иначе какой бы был смысл в создании столь сходных вещей! И конечно, выдумка, что солнце своим лучом, зовущимся Сушумна²⁴⁸, выпивает свет луны, когда она убывает в темную половину месяца: на самом деле весь лунный свет сосредоточился в его теле. Иначе откуда взялось бы это совершенство красоты у того, кто предан покаянию, которое, как известно, не щадит красоту и сулит одни мучения!»

Пока я так размышляла, бог любви с цветочными стрелами, не различающий добро и зло и жалующий лишь красоту и молодость, покорила меня, как цветок, благоухающий медом, покоряет пчелу. Я смотрела на юношу долго-долго, смотрела сквозь полузакрытые ресницы, смотрела неотрывно, жадно, затаив дыхание и не моргая, как если бы хотела всего его выпить взглядом, и мои глаза, с их трепещущими, сверкающими зрачками, словно бы полыхали разноцветными зарницами. Я смотрела на него, будто о чем-то его умоляя, будто шепча «я вся твоя», будто вверяя ему душу, будто заклиная дать мне место в его сердце, и, хотя сознавала,

что делаю что-то недостойное, постыдное, неподобающее девушке высокого рода, я потеряла власть над своими чувствами. Я смотрела на него, оцепенев всем телом, словно пораженная параличом, или нарисованная на картине, или вырезанная из камня, или застывшая в обмороке, или накрепко запеленутая, или кем-то связанная. Я смотрела на него, всецело покорившись неведомой силе, которая повелевает, не нуждаясь в словах, которую трудно назвать и дано только чувствовать — сама не знаю точно какой: то ли совершенству его красоты, то ли собственной прихоти, то ли богу любви, то ли порыву юности, то ли чему-то иному, на них похожему,— не знаю, не знаю... Меня как бы подхватили и несли навстречу ему мои чувства, влекло вперед мое сердце, подталкивал сзади бог с цветочным луком, но кое-как я умудрилась остаться на месте, хотя и не была способна ни на какие усилия. А затем из моей груди, словно бы уступая место Каме, хлынули непрерывным потоком ветры вздохов. Соски на груди поднялись, словно бы желая провозгласить, что сердце мое покорно любви. Чувство стыда исчезло, словно бы смытое потом. Нежное тело затрепетало, словно бы в страхе перед острыми стрелами Маданы. На руках, страстно жаждущих объятий, поднялись волоски, словно бы пытаясь взглянуть на его красоту. Красный лак, смытый с обеих ног влагой пота, словно бы проник в виде пламени страсти в мое сердце.

И я подумала: «Что за дурное дело затеял жестокий бог любви, обрекая меня в жертву».

этому человеку, смирившему свои чувства и чуждому наслаждениям страсти! Сколь неразумно женское сердце, не способное распознать, на кого направить свои желания! Что общего между ним, средоточием беспорочной славы и покаяния, и деяниями Манматхи, которые приятны лишь обычным людям! В глубине души этот юноша, конечно, только посмеется надо мною, уже осмеянной Камой. Но удивительно, что, даже понимая все это, я все равно ничего не могу с собою поделать. Многие девушки, отбросив стыд, выбирают любимых по собственной воле²⁴⁹, многих женщин коварно опьяняет Манматха — мне, однако, выпала наихудшая доля. Как же случилось, что от одного его вида в одно мгновение пришел в смятение и перестал собою владеть мой разум? Обычно ведь только время и достоинства избранника делают любовь все-сильной. Пока еще я не вполне лишилась рассудка и пока еще он не заметил ту готовность, с которой я поддаюсь на козни бога любви, лучше бы мне поскорей бежать отсюда. А то его может разгневать зрелище чуждой его душе любовной страсти, и он проклянет меня. Ведь натура подвижников такова, что гнев всегда у них наготове».

Так подумав, я уж было хотела уйти. Однако вспомнила, что таким людям, как он, нельзя не выказать почтения, и, пытаясь не моргать и не глядеть на землю, чтобы только не отрывать взгляда от его лица, я склонилась перед ним в глубоком поклоне, так что стебли цветов в моих ушах, выпрямившись, перестали касаться щек,

венки на голове соскользнул с длинных выющихся волос на лоб, а драгоценные серьги опустились на плечи.

И вот, когда я приветствовала его,— из-за всевластия бога любви, из-за готовности месяца мадху порождать страсть, из-за необычайной прелести окружающей местности, из-за избытка горячности, свойственной молодости, из-за нестойкости чувств, из-за несдержанности желаний, из-за непостоянства ума, из-за того, что случилось то, что должно было случиться... да что там перебирать: из-за моей несчастной судьбы и потому что мне было предначертано такое страдание — он, чью невозмутимость поколебал вид моей страсти, сам вдруг затрепетал, потрясенный богом любви, как пламя светильника, которое колеблет ветер. На теле его поднялись волоски словно бы навстречу впервые его посетившему Мадане. От него ко мне полетели вздохи, словно бы указывая дорогу устремившимся в мою сторону мыслям. В его руке задрожали четки, словно бы из-за страха нарушить обет. На его щеках выступили капли пота, словно бы еще одна цветочная кисть, заложенная за ухо. А пара его глаз, широко распахнутых от радости, с расширившимися зрачками, похожих на распустившиеся лотосы, которые самовольно покинули воды Аччходы и устремились в небо, непрерывным потоком взглядов-лучей как бы заполнила десять направлений света и обратила всю местность в луг лотосов.

Когда я увидела, какая случилась с ним перемена, сила страсти моей удвоилась и меня охва-

тило такое чувство, какое едва ли можно описать. Я подумала: «Один только Мадана, наставник в любовных приемах и жестах, мог научить его такой игре глаз. Иначе откуда у этого юноши, чей разум чужд всем прельщениям, связанным с чувствами, взялся этот взгляд, который не поддается выучке, взгляд, словно бы напоенный нектаром любви и источающий амриту, взгляд, медлящий, будто от усталости, томный, будто во сне, пленяющий радостным блеском зрачков и украшенный смелой игрой бровей? Откуда у него это удивительное искусство — не прибегая к словам, одними глазами высказать тайное желание сердца?»

Сделав несколько шагов вперед, я подошла ко второму подвижнику, спутнику этого юноши, и, поклонившись, спросила: «Почтенный! Как зовут этого молодого аскета и чей он сын? Как называется дерево, кистью цветов которого он украсил свое ухо? Я никогда не вдыхала прежде такого удивительного аромата, пропитавшего всю округу, и это вызывает у меня великое любопытство». Слегка улыбнувшись, он отвечал: «Девушка, твой вопрос не так простодушен. Однако я утолю твое любопытство. Слушай!

Есть великий мудрец по имени Шветакету. Сам он живет в небесной обители, но святость его прославлена во всех трех мирах, и пару ног его почитают бесчисленные сонмы богов, асуров и сиддхов. Своей красотой он превосходит Сканду, сына Куберы, радует сердца жен богов и асуров, услаждает три мира. Однажды, желая нарвать лотосов, чтобы почтить ими богов, Шве-

такету пошел к небесной Ганге, чьи воды белы, как смех Шивы, и сплошь покрыты узорами мускуса, излитого Айраватой. Когда он спустился к берегу, его заметила богиня Лакшми, которая, как и всегда, восседала на белом лотосе, цветущем тысячью лепестков. А увидев его, она залюбовалась его красотой и уже не отрывала от него своих глаз, полузакрыв их от удовольствия. Под пеленою радостных слез зрачки ее трепетали, как волны, нежными руками она прикрыла уста, чуть-чуть распахнутые от восхищения, и разум ее всецело был покорен любовью. Посредством одного только взгляда она насладились с ним счастьем любовного соития и утолила свою страсть на белом лотосе, послужившем ей ложем. Когда же у нее родился сын, она подняла его со своих колен и отдала Шветакету со словами: „Почтенный, прими своего сына“. Тот совершил над ним положенные для младенца обряды и, поскольку мальчик был зачат на лотосе, зовущемся Пундарика, дал ему точно такое же имя. А после того, как сын принял обет брахмачарина²⁵⁰, обучил его всем наукам. Так вот, тот, кого ты видишь перед собой, и есть этот Пундарика. Кисть же цветов, о которой ты спрашиваешь, росла на дереве Париджате, что появилось из вод Молочного океана во время его пахтанья богами и асурами. И о том, почему эта кисть, вопреки правилам подвижнического обета, украсила его ухо, я тоже тебе расскажу.

Сегодня — четырнадцатый день темной половины месяца, и, чтобы совершить положен-

ную в этот день церемонию в честь обитающего на Кайласе супруга Амбики, Пундарика оставил мир бессмертных богов и вместе со мною направился к этой горе. Когда он проходил через лес Нандану, навстречу ему, опираясь на руку прекрасной богини месяца мадху, вышла богиня этого леса, хмельная от цветочного вина, с венком цветов бакулы на голове, в гирлянде из цветов и листьев, ниспадающей до колен, со свежими побегами цветов манго в ушах. В руке она держала кисть цветов Париджаты, и, поклонившись Пундарике, она сказала: „Почтенный, эта кисть, подобно твоей красоте, способна радовать взоры всех существ в трех мирах. Сделай милость, возложи ее, жаждущую стать твоим украшением, себе на ухо. Тогда рождение Париджаты на свет не будет бесплодным“. Несмотря на ее уговоры, Пундарика, в смущении от похвал своей красоте опустив голову, продолжал свой путь, не обращая на нее внимания. Но она неотступно следовала за ним, и тогда я сказал: „Что здесь дурного, друг? Исполни ее просьбу“. А затем, как он тому ни противился, я чуть ли не силой украсил кистью цветов Париджаты его ухо. Вот я и рассказал тебе все, о чем ты просила: кто он, чей сын, что это за цветы и как они к нему попали».

Как только он кончил рассказывать, Пундарика, слегка улыбнувшись, сам обратился ко мне: «О любопытная! К чему все эти расспросы? Если тебе пришелся по сердцу сладкий запах этих цветов, возьми их себе». С этими словами он подошел ко мне, снял кисть цветов со своего

уха и приладил ее к моему, а пчелы в цветах жужжали так сладостно, будто молили меня о любовном свидании. В предвкушении касания его руки у меня там, где он прилаживал кисть, поднялись все волоски на коже, словно стебли новых цветов дерева Париджаты. Да и у него, когда он дотронулся до моей щеки, от радости задрожали пальцы, и он даже не заметил, как обронил не только свою стыдливость, но и четки, которые держал в руке. Прежде чем они упали на землю, я успела подхватить их и, словно бы в шутку, надела себе на шею. Подобного ожерелья я никогда не носила и ощутила такое блаженство, как будто это не четки, а руки молодого подвижника обвились вокруг моей шеи.

Как раз в это время держательница моего зонта мне сказала: «Царевна, купание царицы закончилось. Настало время возвращаться домой. Изволь и ты совершить омовение». Этими словами я, точно плененная слониха первым уколом бодца, была вырвана против собственной воли из блаженной неги и побрела купаться, с трудом отведя от Пундарики взгляд, который тонул в нектаре его красоты, был как бы пришпилен к его щекам иглами поднявшихся на них волосков, приколот к нему острыми наконечниками стрел Маданы, привязан цепью его достоинств. А когда я уходила, второй молодой аскет, видя, что Пундарика потерял всю свою невозмутимость, сказал ему дружески, но слегка недовольно:

«Друг Пундарика! Это недостойно тебя. Ты

готов идти путем обычных людей, мудрецам же подобает твердость духа. Разве ты не видишь, что не владеешь собой и охвачен растерянностью, точно простой смертный? Откуда это смятение чувств, которого ты не ведал до нынешнего дня? Где твоя стойкость? Где самообладание? Где власть над разумом? Где хладнокровие? Где обет ученичества, завещанный тебе предками? Где безразличие ко всему мирскому? Где наставления твоих учителей? Где твои ученость и обет бесстрастия? Где вражда к наслаждениям и равнодушие к успеху? Где преданность покаянию? Где благочестие, где отказ от удовольствий, где юношеская скромность? Поистине, мудрость никчемна, наставление в добродетели бесплодно, ученость беспомощна, способность различать добро и зло бесполезна, рассудок бессилен, знания бессмысленны, если в этом мире даже таких, как ты, пятнают страсти и покоряет безумие любви. Неужели ты даже не заметил, что из твоих рук выпали четки и что не ты их потом подобрал? Ты лишился разума! Ладно, пусть четки пропали, но сбереги хотя бы свое сердце, которое тоже хочет унести эта негодница!»

Так он увещевал Пундарику, а тот, словно бы слегка устыдившись, сказал: «Друг Капинджала! Ты заблуждаешься на мой счет. Я не намерен терпеть обиду и допустить, чтобы эта дурно воспитанная девушка унесла мои четки». С этими словами он повернул ко мне свое похожее на луну лицо, пленяющее притворным гневом, чарующее усилием грозно нахмурить

брови, украшенное дрожанием губ, жаждущих поцелуя, и добавил: «Ветреница, ты и шаг отсюда не сделаешь, если сперва не возвратишь мои четки». Услышав это, я сняла с шеи нитку жемчуга и, как цветочную гроздь, которую дарят в начале радостного танца Маданы, вложила ему в руку со словами: «Возьми, господин, свои четки». Не отводя глаз от моего лица, он взял рассеянно жемчуг, а я пошла совершать омовение, хотя и так уже вся была омыта потом любовной лихорадки.

Когда я вышла из воды, увести меня домой моим подругам и матери стоило не меньших усилий, чем заставить реку течь вспять, и по дороге к дому я думала только о Пундарике. Возвратившись во дворец, я прошла в девичьи покои, и с этого момента в горе от разлуки с Пундарикой уже не понимала, вернулась я или все еще рядом с ним, одна или окружена людьми, молчу или разговариваю, бодрствую или сплю, плачу или смеюсь, несчастна я или счастлива, больна или влюблена, беда случилась со мною или радость, день сейчас или ночь, что хорошо, а что плохо. Не сведущая в искусстве любви, я не знала, куда идти, что делать, кого повидать, о чем говорить, с кем поделиться, где искать утешения. Я просто поднялась в свою комнату во дворце, отпустила подруг, заперла дверь, чтобы никто из слуг не мог войти, и одна, позабыв о всех делах, долго стояла, прислонив голову к хрустальному стеклу окна. Я неотрывно глядела в ту сторону, где встретила Пундарика, и сторона эта казалась мне охваченной сиянием, или же выложенной

драгоценными камнями, или залитой океаном амриты, или украшенной пламенем восхода полной луны. Я словно бы желала расспросить о нем ветер, веющий от Аччходы, запахи лесных цветов, звонкое пение птиц. Я завидовала тяготам подвижничества, которые были ему дороги, и готова была принять обет молчания, лишь бы он был ему приятен. Пристрастие, порожденное любовью, заставляло меня приписывать платью аскета благородство, лишь потому что он носил такое платье, юности — очарование, лишь потому что он был молод, цветам Париджаты — прелесть, лишь потому что они его украшали, миру богов — величие, лишь потому что он жил в этом мире, богу любви — всесилие, лишь потому что была всесильна его красота. Хотя он и был далеко, я тянулась к нему лицом, как лотос тянется к солнцу, волна морского прибоя — к луне, павлин — к туче²⁵¹. Все так же на шее моей висели его четки, словно талисман, оберегая меня от смерти из-за горя разлуки. Все так же льнула к моему уху кисть цветов Париджаты, словно нашептывая мне его тайны. Все так же, словно бы вспоминая о блаженстве касания его руки, топорщились волоски на моих щеках, похожие на хрупкие лепестки цветов кадамбы, заложенных за уши.

Есть у меня хранительница ларца с бетелем по имени Таралика, которая вместе со мной ходила купаться на озеро. Когда я стояла у окна, она долго на меня смотрела издали, а потом приблизилась и почтительно сказала: «Царевна, когда, возвращаясь от озера Аччходы, я прохо-

дила через густую рощу лиан, ко мне подошел один из двух похожих на богов молодых подвижников, которых мы встретили на берегу;— тот, кто отдал царевне кисть цветов с небесного дерева,— и очень осторожно, стараясь, чтобы не заметил его спутник, стал спрашивать о тебе: „Милая, кто эта девушка, чья она дочь, как ее зовут и куда она идет?“ Я отвечала: „Она дочь апсары Гаури, рожденной от лучей божественного месяца, и царя гандхарвов Хансы, на чьих ногах ногти отполированы драгоценными зубьями корон его родичей, чьи могучие плечи покрыты узорами краски со щек женщин-гандхарвов, льнущих к нему в любовном томлении, чьим тронном служит подобная лотосу рука Лакшми²⁵². Имя ее Махашвета, и она идет в город гандхарвов на горе Хемакуте“. Выслушав меня, он некоторое время молчал, о чем-то размышляя, долго смотрел на меня немигающим взором, словно о чем-то умоляя, а затем снова заговорил: „Милая, хоть ты еще молода, но не кажешься легкомысленной, а твоя красота внушает доверие. Не исполнишь ли ты одну мою просьбу, с которой я хочу к тебе обратиться?“ Почтительно сложив руки, я ответила со всей скромностью: „Зачем, господин, ты просишь об этом? Кто я в сравнении с тобой? Такие, как ты, великие духом, почитаемые всеми тремя мирами, даже взор свой, способный искоренить любое зло, не направляют на таких, как я, если только мы не стяжаем от богов особую милость. Тем более они не обращаются к нам с просьбой. Смело приказывай, что мне сделать, окажи мне

такую честь“. На мои слова он отвечал ласковым взглядом, словно я его подруга, помощница или даже спасительница, сорвал лист с растущего рядом дерева тамалы, растер его на камне, так что выступил сок, благоуханный, как мускус слона, и, обмакнув в этот сок ноготь своего мизинца, что-то начертал на полоске лыка, которую оторвал от собственного платья. Затем он мне отдал лыко с напутствием: „Передай незаметно это письмо своей госпоже, когда она останется одна“». Так сказав, Таралика достала из ларца с бетелем письмо и вручила его мне.

Ее рассказ о Пундарике заморозил меня, точно гимн любви. Хотя слова, которые она выговаривала, состояли только из звуков, они словно бы даровали мне блаженство осязания; хотя они были адресованы только слуху, но пронизали все мое тело, и на нем от радости поднялись все волоски. Я взяла из рук Таралики полоску лыка и увидела на ней стихи, написанные в метре арья:²⁵³

Белой нитью жемчуга
ты пленила мне сердце,
И оно потянулось к тебе
в надежде на встречу,
Словно гусь, плененный
жемчужными стеблями лотоса
И плывущий за ними
по глади озера Манаса.

Когда я прочла эти стихи, то, и так страдая от любви, испытала новую муку, как бывает у

заблудившегося путника, когда он вообще перестает различать стороны света, или у слепца темной ночью, или у немого, если ему отрезают язык, или у близорукого, когда фокусник размахивает перед его лицом опахалом из павлиньих перьев, или у косноязычного, когда он заболевает горячкой, или у хлебнувшего отравы, когда он к тому же падает в обморок, или у чуждого добродетели, когда он теряет еще и веру, или у пьяного, когда он выпьет еще вина, или у безумного, когда он попадет под власть негодяя. И так уже вся в смятении, я пришла в еще большее волнение, словно речка во время половодья. Узнав, что Таралика еще раз виделась с Пундарикой, я глядела на нее, как если бы она сподобилась великой награды, или насладились жизнью в небесном мире, или удостоилась посещения бога, или добилась исполнения желаний, или выпила амриты, или была помазана на царство над тремя мирами. Я разговаривала с ней так почтительно, будто она, всегда бывшая рядом со мною, стала недоступна для глаз, будто с нею, которую знала издавна, я впервые теперь познакомилась. Мне казалось, что она, хотя и была у меня в услужении, отныне стоит высоко надо всем миром. Я умоляюще касалась ее щек, ее выющихся, как лианы, волос, и себя, а не ее считала служанкой, ее, а не себя — госпожой. Снова и снова я спрашивала ее: «Таралика, как ты с ним встрети-лась? Что он тебе говорил? Сколько времени пробыл с тобою? Как долго он шел за нами?» И весь этот день во дворце я провела в беседе с нею, запретив появляться другим моим слугам.

Затем, когда солнечный диск, зацепившись за край неба, налился багровой краской, как если бы сердце мое поделилось с ним пламенем моей страсти; когда богиня солнечного света, пылавшая огненным жаром, побледнела, будто страдающая от любви женщина, и возлегла на ложе из лотосов; когда солнечные лучи, красные, как ручьи, пробивающие себе путь среди горных пород, покинули чаши лотосов и собрались вместе, словно стадо диких слонов; когда день скрылся в ущелье горы Меру, которая отвечала эхом на веселое ржание коней колесницы солнца, вкушающих отдых после долгой скачки по небу; когда алые бутоны лотосов, облепленные мириадами пчел, будто в обмороке, закрыли свои глаза-лепестки, как если бы их сердца омрачились горем разлуки с солнцем; когда пары уток чакравак, прежде чем расстаться, сквозь стебли лотосов, которые они глодали с обеих сторон, как бы обменивались друг с другом сердцами,— словом, когда наступил вечер, ко мне вошла держательница моего опахала и доложила: «Царевна, один из двух твоих знакомцев подвижников пришел к воротам дворца и просит тебя вернуть четки».

Услышав о молодом подвижнике и подумав, что это Пундарика, я мысленно бросилась бежать навстречу ему к воротам, однако принудила себя остаться на месте и только кликнула придворного и приказала ему привести пришельца ко мне. Спустя немного времени в сопровождении седого от старости привратника, будто утреннее солнце в сопровождении

луны, ко мне явился Капинджала, друг Пундарики, нераздельный с ним, как юность нераздельна с красотой, любовь с юностью, весна с любовью, южный ветер с весной. Когда он подошел поближе, я заметила, что он как будто чем-то озабочен, угнетен, подавлен, хочет высказать нечто, что тяготит его сердце. Поднявшись навстречу, я поклонилась ему и попросила сесть. А когда он сел, то, несмотря на его сопротивление, чуть ли не насильно вымыла ему ноги, вытерла их насухо полой своего платья, а затем села с ним рядом на пол. Явно желая что-то сообщить, он бросил взгляд на Таралику, стоявшую неподалеку. А я, разгадав смысл этого взгляда, сказала: «Почтенный, она — все равно что я сама. Говори безбоязненно!»

На это Капинджала отвечал: «Царевна, о чем тут говорить! То, что я хочу тебе рассказать, настолько постыдно, что лучше бы вовсе этого не знать. Разве есть что-то общее между нами, аскетами, стойкими разумом, питающимися луковицами, кореньями и плодами, избравшими себе обителью лес, и этой мирской жизнью, которая предназначена для людей беспокойных, запятнана стремлением к плотским утехам, соблазняет всевозможными удовольствиями и полна страстей? Однако там, где правит судьба, все идет не так, как положено. Ей ничего не стоит сделать любого посмешищем. И я уж не знаю, что приличествует отшельническому платью, что подобает волосам, заплетенным в косицу, чего требует покаяние и что отвечает закону добродетели. Такого унижения я нико-

гда не испытывал! Но нужно тебе обо всем рассказать: другого средства я не найду, другого лекарства не ведаю, другого спасения не вижу, другого пути нет. Если не расскажу, случится большая беда. Жизнь друга можно спасти лишь ценой собственной жизни! Поэтому слушай!

Ты помнишь, еще при тебе я высказал Пундарике свое недовольство им и сурово его укорил. А потом, охваченный гневом, я бросил собирать цветы и поспешил его покинуть. Когда же ты ушла домой, я некоторое время выжидал, гадая, что он делает в одиночестве, а затем вернулся и, спрятавшись в кустах, начал его повсюду высматривать. Но Пундарiku я так и не увидел и принялся размышлять: „Не отправился ли он вслед за этой девушкой, окончательно сломленный любовью? Или, собравшись с духом после ее ухода, он из чувства стыда избегает встречи со мной? А может быть, рассердившись, он решил уйти, меня не дождавсь? Или же он пошел меня разыскивать и бродит теперь невесть где?“ Задавая себе эти вопросы, я некоторое время не трогался с места. Но потом, обеспокоенный, что с момента моего рождения мы первый раз с ним расстались, я подумал: „В отчаянии от собственной слабости он мог учинить над собой все что угодно. На что не решишься из чувства стыда! Нет, нельзя оставлять его одного“. Так подумав, я принялся повсюду его искать. Но поиски мои оставались тщетными, и чем дальше, тем больше сердце мое наполнилось страхом за любимого друга и предчувствием какого-то несчастья. Я довольно

долго блуждал, углублялся в чащу леса, старательно осматривал выющиеся среди сандаловых деревьев тропинки, заросли лиан, берега Аччходы. И наконец я увидел его: он сидел неподалеку от озера в гуще лиан, которые так тесно сплелись друг с другом, что казалось, сплошь состоят из цветов, пчел, кукушек и попугаев, и которые были так прекрасны, что казалось, именно здесь родилась весна. Ничего не делая, не шевелясь, Пундарика выглядел нарисованным, или высеченным из камня, или впавшим в оцепенение, или умершим, или спящим, или погруженным в молитвенное размышление. Хотя он не двигался с места, но далеко ушел от верности долгу; хотя он был в одиночестве, но имел спутником бога любви; хотя и пылал страстью, но был бледен; хотя и пусто было его сердце, но в нем жила его любимая; хотя он молчал, но тем самым громко славил могущество Камы; хотя и сидел на камне, но опору себе искал в смерти.

Его терзал бог с цветочными стрелами, который, словно из страха быть проклятым, старался остаться невидимым. Он застыл в оцепенении, и казалось, что его покинули чувства, устремившись в глубь сердца, чтобы повидать там его возлюбленную, или же не вынеся нестерпимого жара его страсти, или же разгневавшись на рассудок за постигшее их смятение. Из его сомкнутых глаз, словно бы застланных дымом пылающего костра страсти, непрерывным обильным потоком струились сквозь ресницы горькие слезы. От его глубоких вздохов на ближайших

лианах трепетали красные, как его губы, лепестки цветов, и казалось, что с этими вздохами вверх вздымается пламя любви, пожирающее его сердце. От зеркала ногтей на его левой руке, которой он подпираал щеку, падали светлые блики на лоб, и казалось, что это светится тилака, нанесенная белой сандаловой мазью. Словно бы украшая его уши темными лотосами или листьями тамалы, вокруг него вились черные пчелы, жаждущие вкусить то, что осталось от аромата кисти цветов Париджаты, и казалось, своим монотонным жужжанием они нашептывают ему заклятия, вызывающие любовное опьянение. От лихорадки любовной страсти у него на коже поднялись все волоски, и казалось, что тысячи шипов цветочных стрел Камы поразили каждую пору его тела. Будто древко знамени своего безумия, он сжимал в своей правой руке жемчужное ожерелье, которое, словно бы от блаженства касания его ладони, устремило вверх тысячи сверкающих волосков-лучей. Деревья осыпали его цветочной пылью, будто волшебной пудрой, подчиняющей человека власти любви. Сорванные порывами ветра, на него падали листья растущих поблизости ашук, словно бы удваивая своим красным блеском жар его страсти. Лесные девы обрызгивали его нектаром из распустившихся чашечек цветов, словно бы омывая его влагой любви. Желтые лепестки цветов чампаки, привлекая своим ароматом тучи пчел, сыпались на него с деревьев, и казалось, что это бог Кама стреляет в него раскаленными стре-

лами, летящими в облаках дыма. Повсюду жужжало множество пчел, опьяневших от пряных лесных запахов, и казалось, что это ветер высмеивает его своим свистом. Слышалось звонкое нестройное пение стай веселых кукушек, и казалось, что это месяц мадху хочет повергнуть его в смятение громким криком: „Слава весне!“ Он был бледен, как луна на рассвете, высох, как русло Ганги летом, скрючился, как сандаловая ветка в огне. Он казался мне кем-то на себя не похожим, или никогда не виденным прежде, или совсем незнакомым, или обретшим другое рождение, или принявшим новый образ. Он выглядел как одержимый злым духом, как попавший во власть могучего демона, как родившийся под несчастливой звездой, как безумец или страдалец, как глухой, слепой или немой. Разум его покинул, сам он как бы растворился в любви и страсти, и прежний его облик стал неузнаваем.

Я долго не отводя глаз смотрел на него тако-го и, сострадая всем сердцем, подумал с печалью: „Поистине, нет предела могуществу бога любви, который в единый миг привел его в это жалкое состояние! Как те сокровища знаний, что он накопил, в одну минуту могли стать бесполезными? Увы, это непостижно уму. С самого детства он отличался твердым характером, не уклонялся от предписаний долга, был образцом для меня, да и для всех других молодых подвижников. А теперь он, точно простой смертный, околдован Манматхой, который пренебрег его ученостью, презрел его покаяние,

отнял у него самообладание. Нет, видно, в мире такого юноши, который ни разу бы не сделал неверного шага!”

Подойдя к Пундарике, который все еще сидел с закрытыми глазами, я сел рядом с ним на камень, положил руку ему на плечо и сказал: „Друг Пундарика! Поведай мне, что с тобой“. Тогда, с трудом приоткрыв глаза, которые, казалось, слиплись, оставаясь так долго сомкнутыми, которые были застланы слезами, воспалены и полны боли, которые покраснели от непрерывных рыданий и стали похожи на алые лотосы, прикрытые белой кисеей, он некоторое время смотрел на меня неподвижным взором, а потом медленно, с протяжным вздохом, в смущении разбивая слова на отдельные слоги, тихо ответил: „Друг Капинджала, зачем ты спрашиваешь о том, что сам знаешь?“ Услышав его ответ, я понял, что болезнь неизлечима, но, полагая, что, если друг вступает на неверный путь, следует приложить все силы, чтобы как-то его предостеречь, все-таки стал говорить:

„Друг Пундарика! Я действительно все знаю, но вот о чем хочу я тебя спросить. Обучали ли тебя тому, что ты делаешь, твои наставники? Прочитал ли ты об этом в книгах законов? Или это новый способ обретения добродетели? Неизвестная форма покаяния? Путь восхождения на небо? Таинство обета? Средство освобождения? Еще один вид духовной аскезы? Как можешь ты даже думать о чем-либо подобном, не то что говорить или чувствовать? Как ты не видишь, что тебя, словно какого-то невежду,

просто-напросто высмеивает этот негодный Манматха? Ибо только глупец позволяет мучить себя богу любви. Став рабом плотских желаний, которые презренны для добродетельных и чтимы одними ничтожествами, разве ты можешь рассчитывать на счастливый для себя исход? Поистине, глуп, тот, кто мечтает о благе, предаваясь чувственным наслаждениям: думая, что исполняет свой долг, он орошает водой ядовитые лианы желаний; хватается за меч, принимая его за гирлянду синих лотосов; гладит черную змею, полагая, что это струя дыма от возжиганий алоэ; берет в руки пылающий уголь, воображая, что взял драгоценный камень; пытается вырвать бивень у дикого слона, убежденный, что срывает стебель лотоса. Отчего же, зная истинную природу плотских радостей, ты считаешь это знание бесплодным и устремляешься к ним, как мотылек на пламя свечи? Ты даже не хочешь сдерживать свои чувства, которые вышли из берегов, будто реки, вздувшиеся от обильных дождей; не желаешь охладить свой разгоряченный разум. Что общего у тебя и этого бога, который лишен даже собственного тела?²⁵⁴ Соберись с мужеством и приструни этого негодяя!"

Не дослушав меня до конца, он прервал меня, вытер глаза, сквозь ресницы которых текли ручьи слез, и, взяв меня за руку, сказал: „Друг, к чему столько слов? Легко тебе говорить: ты не ранен стрелами бога любви, напоенными змеиным ядом. Так просто учить другого! Но советовать можно тому, кто видит, слышит, понимает, что ему говорят, кто способен отли-

читать добро от зла. А я лишен всего этого. Твердость, знание, мужество, здравый смысл — для меня пустые слова. Кое-как я могу еще поддерживать в себе дуновение жизни, но время слушать советы далеко уже позади, позади уже пора мужества, дни учения, часы трезвых раздумий. Кто, если не ты, мог бы меня вразумить? Кто, если не ты, мог бы удержать меня от неверного шага? Чье, если не твое, слово могло бы найти во мне отзвук? Какой другой друг, кроме тебя, есть у меня в этом мире? Но что же мне делать, когда я уже не владею собой? Видишь, какая беда меня постигла. Увы, уже не время для советов. Пока еще теплится во мне жизнь, я хочу отыскать хоть какое-нибудь лекарство от лихорадки любви, иссушающей меня, как жар двенадцати солнц²⁵⁵ в день гибели мира. Мое тело будто в огне, кожа сгорела, глаза опалены, сердце превратилось в пепел. Теперь, когда все тебе известно, ты волен поступать, как захочешь“.

Так сказав, он замолчал. А я, невзирая на его слова, пытался снова и снова воззвать к его разуму. Но хотя я говорил с ним дружески и заботливо, ссылаясь на наставления шастр, приводил примеры из священных преданий, он не слушал меня. И тогда я подумал: „Страсть так далеко завлекла его, что возвратить его к прежнему невозможно. Сейчас бессмысленны советы, нужно попытаться хотя бы спасти его от смерти“. Так решив, я пошел к озеру, сорвал прохладные цветочные стебли, набрал влажные листья лилий, отыскал лотосы кумуда, кувалая и

камала, приятные сладким запахом своей пыльцы, вернулся с ними и в гуще лиан, где он сидел, приготовил для него на одном из камней ложе. А когда он покойно возлег на него, я наломал нежных веток с растущих поблизости сандаловых деревьев и их ароматным, холодным, как лед, соком смочил ему лоб и все тело. Растерев в порошок смолу, проступавшую сквозь кору камфарных деревьев, я обтер с него пот, положил ему на грудь платье из лыка, увлажненное сандаловым соком, и стал обмахивать его банановым листом, с которого стекали прозрачные струйки воды. И когда я снова и снова обкладывал его свежими листьями лотосов, снова и снова обрызгивал его сандаловым соком, снова и снова стирал с него пот, снова и снова обмахивал его листом бананового дерева, у меня в голове мелькали такие мысли: „Поистине, нет ничего невозможного для бога любви! Что может быть общего между моим другом, чистым по своей природе, довольным, подобно лани, своею жизнью в лесу, и этой дочерью царя гандхарвов Махашветой, средоточием многих соблазнов и прелестей? Да, для бога любви нет нигде в этом мире ничего трудного, непосильного, невозможного, невыполнимого, недоступного. Он легко справляется со всем тем, на чем другие терпят неудачу, и никто не может ему противостоять. Что тут говорить о существах разумных, если он способен повелевать неразумными! По его воле ночные лотосы могут воспылать любовью к солнцу, а дневные лотосы забыть о своей неприязни к луне, ночь может

подружиться с днем, лунный свет пристраститься к мгле, тень обволочь светильник, молния поселиться в туче, страсть сойтись с юностью. Что для него недоступно, если такого, как Пундарику, чья мудрость глубиной поспорит с океаном, он сделал слабым, как тростинку? Как смогли ужиться в Пундарике одновременно подвижничество и страсть? Поистине, его постигла болезнь, которая неизлечима. Что же теперь делать, на что направить усилия, куда бежать, в чем спасение, где искать поддержки, кто придет на выручку, чем можно ему помочь, как найти лекарство или убежище, которые бы сохранили ему жизнь? Каким умением, каким способом, каким путем, каким советом, какой мудростью, каким утешением можно убедить его жить?”

Такого рода мысли теснились у меня в голове и сердце, охваченных скорбью, и тут я снова подумал: „Что толку во всех этих рассуждениях? Любым способом — дурным или хорошим — нужно спасти ему жизнь. И есть только одно средство ее сохранить — его свидание с Махашветой. Конечно, по молодости лет он слишком стыдлив и полагает, что любовь ему не приличествует, мешает покаянию и способна покрыть его позором. Поэтому сам он ни за что не решится исполнить свое желание и встретиться с нею, хотя бы только один вздох отделял его от смерти. А между тем эта сердечная болезнь не терпит промедления. Мудрые утверждают, что ради жизни друга следует идти на любое постыдное дело. Дело, что мне предстоит, и

постыдно и запретно, но обстоятельства таковы, что от него нельзя отказаться. Разве есть другое средство? Разве есть другой путь? Так или иначе, но я должен пойти к Махашвете и рассказать ей, в каком он состоянии“. Так решив, я выдумал какой-то предлог и, не сказав, куда иду, чтобы он меня не удерживал, ушел. Зная, что делаю не то что положено, стыдясь этого знания, я все-таки явился к тебе. Вот так обстоит дело. И теперь ты поступай так, как сочтешь нужным, как требуют того обстоятельства и мой приход к тебе, как кажется тебе достойным его любви и тебя самой».

Так сказав, он замолчал и, не отводя глаз от моего лица, ждал моего ответа. А я, слушая его, словно бы окунулась в озеро амриты, или погрузилась в океан нектара любви, или искупалась в водах блаженства, или взошла на пик исполнения желаний, или вкусила усладу всех удовольствий сразу. Чувство радости, меня переполнившее, излилось наружу потоком счастливых слез, и, поскольку я от смущения наклонила голову, они падали, не касаясь щек, падали непрерывно, одна за другой, будто связанные в длинную гирлянду, падали крупными прозрачными каплями, ибо я не пыталась закрыть глаза. И одновременно я думала: «Как хорошо, что бог любви вместе со мною преследует и его. Да, Мадана меня измучил, но не лишил своей благосклонности. Если правда, что Пундарика в таком состоянии, то разве не стал бог любви моим помощником, благодетелем, близким другом, которому я не вижу равных? Но, конечно, правда: этот

Капинджала так честен с виду, что даже во сне с его уст не могут сорваться слова лжи. А если так, то что же мне делать и как ему ответить?» Пока я раздумывала, вдруг быстро вошла привратница и доложила: «Царевна, узнав от слуг, что тебе нездоровится, сюда идет великая царица». Услышав это, Капинджала, который не хотел ни с кем встречаться, быстро поднялся и сказал: «Царевна, я не могу дольше медлить. Скоро уже зайдет благое солнце, украшение трех миров, и я должен идти. Почтительно складываю руки и умоляю тебя: спаси жизнь моего дорогого друга. На тебя последняя моя надежда».

С этими словами, не дав мне даже времени ответить, он ушел, едва пробившись сквозь дверь, у которой уже теснилась свита моей матери: привратницы с золотыми жезлами в руках, придворные с бетелем, цветами, пудрой и притираниями, служанки с опахалами, горбуны, карлики, евнухи, глухие, немые и другие убогие. А вслед за ними вошла моя матушка и, пробыв со мною довольно долго, вернулась затем к себе во дворец. Но что она делала, о чем говорила, как вела себя, оставаясь со мною, я даже не помню, потому что мысли мои были тогда далеко.

Царица ушла, и когда зашло благое солнце, владыка жизни лотосов и друг чакравак²⁵⁶, и отпустило на отдых своих зеленых, как голуби харитала, коней; когда лик западной стороны света стал розовым, лужайки лотосов — зелеными, а восточная часть неба — темной; когда мир живых существ погрузился во мрак, словно

бы захлестнутый в день своей гибели волнами океана, мутными от земных хлябей, — я, не зная, что предпринять, сказала Таралике: «Таралика, разве ты не видишь, как расстроены мои чувства, в каком смятении ум, не способный отличить хорошее от дурного? Сама я уже не могу понять, что мне делать. Посоветуй, как быть; ведь Капинджалы, который при тебе обо всем рассказал, здесь уже нет. Если я, подобно простой девушке, отрину стыд, откажусь от сдержанности, отвергну скромность, пренебрегу всеобщим осуждением, забуду о правилах доброго поведения, переломлю свой нрав, не посчитаюсь со своим родом, примирюсь с бесславием и без позволения отца, без согласия матери, ослепленная страстью, пойду к Пундарике и отдам ему свою руку, то это будет великим преступлением перед долгом, оскорблением старших и попранием добродетели. Если же из приверженности к добродетели я предпочту другой исход и покончу счеты с жизнью, то этим обману доверие Капинджалы, который решился прийти сюда и просить меня о помощи. И кроме того, если, потеряв надежду увидеть меня, умрет Пундарика, то на меня падет великий грех убийства брахмана»²⁵⁷.

Пока я так говорила, взошел месяц и своим рассеянным светом посеребрил восточную часть неба, подобно тому как серебрит лес цветочная пыльца. От лунного блеска восток стал белым, как если бы был посыпан жемчужной пылью из висков слона²⁵⁸ тьмы, разорванных лапами-лучами льва-месяца, или сандаловым порошком,

облетевшим с груди жен сиддхов, живущих на Горе Восхода, или прибрежным песком, поднятым ветром, который дует от всегда беспокойного океана. Понемногу волны лунного света высветлили лицо ночи, как если бы при виде месяца она раскрыла в нежной улыбке уста и озарила себя блеском своих зубов. Серп месяца поднимался все выше и выше, будто бы из подземного мира, разорвав земной покров, потянулся в небо белый капюшон Шеши. И постепенно в сиянии взошедшего юноши месяца, который создан из амриты, доставляет радость всему живому, дорог всем женщинам и — пропитанный красным жаром страсти, с детства преданный Каме — единственно желанен на празднестве любви, ночь предстала красавицей.

Тогда, глядя на этот месяц, розовый от зарева недавнего восхода, как если бы его напоил блеском своих кораллов лежащий поблизости океан, или оросила кровью нашедшая на нем убежище лань²⁵⁹, которую убил своею лапой лев Горы Восхода, или измазала красным лаком Рохини, ударив его в любовной ссоре ногой, я, чье сердце, хотя и пылал в нем огонь любви, было окутано мраком, склонилась, хотя и была всецело в руках Маданы, к ногам Таралики и, глядя на месяц, хотя видела перед собой одну смерть, подумала: «Вот весна, вот ветер с гор Малая, вот все хорошее, что они приносят с собой... а вот я, которая не может терпеть этого злого, назойливого месяца и чье сердце истерзано неодолимыми муками любви! Восход этого месяца для меня все равно что град углей для

того, кого жжет огонь лихорадки, или снегопад для страдающего от холода, или укусы змеи для и так уже отравленного ядом». И, подумав так, я закрыла, точно во сне, глаза и упала в обморок, будто лотос, увянувший при восходе луны. А когда благодаря усилиям Таралики, которая стала торопливо втирать мне в кожу сандаловую мазь и обмахивать меня пальмовым веером, я очнулась, то увидела, что моя служанка так напугана, будто в ней поселилось само отчаяние. Она прижимала к моим вискам сочащийся влагой лунный камень²⁶⁰, и лицо ее ослепло от ливня слез, льющихся непрерывным потоком. Только я открыла глаза, как она упала мне в ноги, умоляюще сложила руки, влажные от сандаловой мази, и воскликнула: «Что стыд! Что почтение к старшим! Окажи мне милость, пошли меня привести к тебе возлюбленного твоего сердца, или сама вставай и иди к нему. Ты не можешь и впредь терпеть мучительство этого Маданы, который на восходе всесильной луны пробуждает сотни желаний, будто сотни волн в океане». На это я отвечала: «Глупая! При чем тут Мадана? Это месяц, друг ночных лотов, явился сюда, чтобы отвести меня на встречу либо с Пундарикой, либо со смертью. Он устранил все сомнения, избавил ото всех раздумий, снес все препятствия, освободил ото всех страхов, лишил стыда, снял вину за самовольный уход, покончил с пустой тратой времени. Теперь я пойду к нему, возлюбленному и мучителю моего сердца, и, пока жива, буду угождать ему насколько смогу». Так сказав, я оперлась на

Таралику и с трудом встала, ибо после обморока все тело мое словно бы было разбито. Но только я поднялась, как у меня, предвещая несчастье, заморгал правый глаз и, почувствовав внезапный страх, я подумала: «Что за новую беду готовит мне судьба?»

Когда простор меж землей и небом наполнился сиянием все выше и выше встававшего лунного диска, который походил на большое озеро в дворцовом парке трех миров и чьи лучи лились ливнем чистого нектара, или ручьями сандалового сока, или волнами океана амриты, или тысячью потоков белой Ганги; когда люди словно бы наслаждались видением Белого острова или счастьем пребывания в лунном мире, когда земной шар, казалось, был приподнят из Молочного океана луной, похожей на круглый клык Великого вепря; когда в каждом доме жены приветствовали восход луны возлияниями сандаловой воды, пропитанной ароматом цветущих лотосов; когда по тропинкам, освещенным луной, сновали тысячи подруг-наперсниц, посланных влюбленными женами; когда там и здесь поспешали на свидание прекрасные девушки, прикрывая себя от лунного света синими шелковыми накидками, похожие на богинь цветочных полей, которые укрываются в тени синих лотосов; когда в продолговатых прудах дворцовых парков проснулись водные лилии и их окружили тучи пчел; когда небо казалось песчаным островом посреди реки ночи, побелевшей от пыльцы распутившихся лотосов; когда мир живых существ, подобно вели-

кому океану при восходе луны, наполнился радостью и, казалось, весь состоял из любовных угод, праздничного веселья, игр и удовольствий; когда павлины, купаясь в потоках лучей, льющихся из драгоценной диадемы луны, прославляли громкими криками начало ночи — тогда, не замеченная никем из придворных, вместе с Тараликой, взявшей с собой разного рода цветы, благовония, мази и бетель, я спустилась вниз по дворцовой лестнице. Мое платье было влажно от воды, которой меня обрызгала Таралика, когда я упала в обморок; волосы серы от подсохшей сандаловой пасты, которой была нанесена тилака на моем лбу; на шее висели четки Пундарики; кончика уха касалась кисть цветов Париджаты; а на голову накинута платок из красного шелка, который казался сотканным из блеска рубинов. Я выскользнула из боковых ворот дворцового парка, и, взлетев с бутонов лотосов, растущих в саду, за мной устремились пчелы, привлеченные ароматом цветов Париджаты, так что казалось — надо мною вьется темная накидка.

Я шла к Пундарики, со мной не было никого из свиты, кроме Таралики, и я подумала: «Зачем свита той, кто спешит на свидание с любимым? Поистине, здесь хороши иные слуги. Вот, словно страж со стрелой на натянутой тетиве, меня сопровождает бог любви с цветочным луком; вот месяц, протягивая ко мне лучи, словно бы предлагает мне для опоры руки; вот любовь, боясь, что я могу оступиться, поддерживает меня на каждом шагу; вот сердце мое и

чувства, отбросив прочь стыд, прокладывают мне дорогу. А ведет меня, придавая мне смелости, мое желание». Вслух же я сказала: «Таралика! А не может случиться так, что этот негодник-месяц, схватив своими руками-лучами Пундарику за волосы, повлечет его, как и меня, за собою?» Улыбнувшись на мой вопрос, Таралика сказала: «До чего ты простодушна, царевна. Зачем Пундарику месяц? Ведь месяц ведет себя так, будто болен любовью к царевне. Блестая в каплях пота, покрывающих твои щеки, он словно бы их целует. Своими лучами он касается твоей прекрасной, высокой груди, трогает драгоценные камни на твоём кушаке, падает тебе в ноги, отражаясь в зеркале твоих ногтей. И еще: диск его так же бледен, как тело страждущего любовной лихорадкой, умащенное высохшей от жара сандаловой мазью; он простирает к тебе руки-лучи, белые, будто на них браслеты из стеблей лотоса; он словно бы падает в обморок, когда отражается в драгоценных камнях, разбросанных по земле; как бы желая избавиться от жара любви, он погружает в лotosовое озеро свои светлые, как цветы кетаки, лучи-ноги; он жмется к влажному от воды лунному камню и ненавидит дневные лотосы²⁶¹, на которых страдают разлученные пары чакравак».

В таких и подобных им разговорах коротали мы с Тараликой время, пока не пришли к тому месту, где раньше встретили Пундарику. Там я захотела вымыть ноги, серые от пылицы с придорожных лиан, водой лунного камня с горы Кайласы, который растопили лучи восходящего

месяца, как вдруг услышала мужской плач, хотя и заглушенный далью, но все же ясно доносящийся с западного берега озера — оттуда, где должен был быть Пундарика. Уже прежде я была напугана дурной приметой — у меня начал дергаться правый глаз, а теперь мое сердце заныло в тревоге сильнее, предвещая новую беду. «Таралика, что это?» — воскликнула я в ужасе и, дрожа всем телом, бросилась на звуки плача.

Вскоре я узнала голос Капинджалы. Полный отчаяния, он в тишине полуночи был слышен издалека: «Увы, я пропал, я изничтожен, я предан! Что за несчастье! Как же это случилось? Я гибну. Демон любви, свирепый, жестокий, бесстыдный, какое злодейство ты учинил! О злая, безжалостная, надменная Махашвета, что дурного он тебе сделал? О злой, жестокий, низкий месяц, ты получил что хотел! О свирепый, лютый южный ветер, ты исполнил свое желание, дуй теперь куда хочешь! О благородный Шветакету, ты так любил своего сына и еще не знаешь, что осиротел! О добродетель, ты лишилась своей опоры! О покаяние, ты беззащитно! О мудрость, ты стала вдовой! О правда, ты потеряла господина! О мир богов, ты пуст! Друг, подожди, я последую за тобою, я ни на миг не хочу оставаться один без тебя. Как же ты так сразу ушел и покинул меня, будто я тебе незнаком и не знался с тобою прежде? Откуда такая суровость? Скажи, куда мне идти без тебя, кого молить о помощи, где искать прибежища? Я ослеп, для меня опустели стороны света, бес-

смысленна жизнь, бесцельно подвижничество, злосчастен мир. С кем рядом я буду странствовать, с кем говорить? Встань, ответь мне: где твоя дружба, где твои беседы со мной, которые ты всегда начинал с улыбки?»

Услышав, хотя я была далеко, эти и другие стенания Капинджалы, я едва не лишилась жизни и, испустив пронзительный вопль, разрывая в клочья платье о прибрежные лианы, не обращая внимания, ровная ли впереди дорога или кочки, спотыкаясь на каждом шагу, но словно бы кем-то поддерживаемая, я пустилась бежать вдоль озера так быстро, как только могла. И вот, несчастная, я увидела Пундарику, которого только что покинула жизнь.

Он лежал вблизи берега озера на лунном камне, из которого сочилась прохладная влага и поверх которого было постлано ложе из мягких стеблей лотосов, лилий и других всевозможных цветов, казавшихся цветочными стрелами бога любви. Совсем неподвижный, он словно бы прислушивался к звуку моих шагов. Казалось, что он глубоко заснул, почувствовав облегчение, когда гнев на мое промедление охладил снедающий его любовный жар. Казалось, что, раскаиваясь в своем душевном разладе, он принял обет покаяния и удерживает дыхание. Казалось, что своими губами, пылающими ярче огня, он шепчет: «Из-за тебя я в такой беде». Казалось, что от его рук, сложенных на сожженном огнем любви сердце, исходит не блеск ногтей, но сияние лунных лучей, которые пронзили его спину, когда он, враждуя с месяцем, отвернул от него свое

лицо. Казалось, что его лоб, в пятнах бледной, высохшей сандаловой мази, помечен знаком Маданы, принявшего вид луны, возвестившей его гибель. Казалось, что жизнь оставила его, придя в раздражение от мысли: «Другая тебе дороже, чем я». Казалось, что по собственной воле он отринул жизнь с ее страданиями и утрата сознания была для него радостью. Казалось, что он погружен в размышления о таинстве любви или упражняется в особом роде искусства задержки дыхания. Казалось, что Кама, позволив мне свидеться с ним, в награду взял себе его жизнь. Казалось, что, заклиная богов о встрече со мною, он принял на себя обет любви:²⁶² на лоб нанес узор сандаловой пасты, в руку взял священный шнур, свитый из влажных стеблей лотоса, листья бананового дерева на его плечах походили на монашеское платье, нитка жемчуга на шее — на четки, камфарный порошок на груди — на белую золу, а браслет из волокон лотоса на запястье — на заговорный амулет. Его глаза, покрасневшие от непрерывных рыданий, как будто их наполняли не слезы, а кровь, полузакрытые, как будто их истерзали острые стрелы Маданы, казалось, смотрели на меня с горьким упреком: «Жестокосердая, ты даже не хочешь взглянуть на того, кто так тебя любит!» Сквозь приоткрытые губы виднелась полоска зубов, чей блеск озарял его грудь, как если бы это пробились сквозь сердце лучи луны, похитившие его жизнь. Своей левой рукой, которая покоилась у разорванного любовной страстью сердца, он словно бы удерживал меня

в своей груди, умолая: «Смилуйся, не уходи. Ты дорога мне как жизнь!» А другой рукой с широко раскрытой ладонью, которая от сияния ногтей казалась залитой сандаловым соком, он словно бы защищал себя от лунного света. Рядом с ним стоял кувшин, спутник отшельников, словно бы вытянув вверх свое горло, чтобы разглядеть дорогу, которой только что его покинула жизнь. Он ушел в иной мир, и гирлянда из стеблей лотосов, висевшая у него на шее, казалась удушившей его петлей, свитой из лучей месяца. И его обнимал Капинджала, который при виде меня воздел вверх руки, взывая о помощи, и зарыдал с удвоенной силой.

На меня надвинулась тьма обморока, словно я сошла в подземный мир, и я уже не понимала, где я, что делаю и о чем плачу. Не знаю, отчего меня тотчас же не оставила жизнь: то ли мое огрубевшее сердце совсем затвердело; то ли мое мерзкое тело способно переносить какие угодно утраты, то ли дурные дела, совершенные мною в прошлых рождениях, придали мне стойкость, то ли проклятый бог любви захотел умножить мои муки, то ли он решил проявить особое коварство, то ли это судьба обрекла меня на бесконечное горе. Когда же спустя какое-то время я очнулась, то увидела, что бьюсь в отчаянии на земле и неизбежное горе сжигает меня, несчастную, как если бы я горела в огне. Я не могла поверить ни в его смерть, казавшуюся невозможной, ни в то, что я сама еще живу. И, поднявшись с земли, я зарыдала: «Увы, увy! Вот что выпало мне на долю!» Я горестно восклицала: «О мать, о отец,

о друзья! О господин мой, опора моей жизни! Скажи, куда ты ушел, безжалостный, оставив меня одну, беззащитную? Спроси Таралику, сколько страданий ты мне доставил, с каким трудом прожила я этот день, показавшийся мне тысячью столетий. Смилуйся, заговори со мной! Дай почувствовать мне, так тебе преданной, свою любовь! Хоть разок взгляни на меня, не откажи мне в этой просьбе! Я несчастна, я верна тебе, я люблю тебя, я беспомощна, я дитя еще и не знаю, что делать, я в отчаянии, я не имею убежища, я погублена богом любви — отчего ты меня не жалеешь? Скажи, чем я тебя обидела, чего не сделала, какой твой приказ не выполнила, чем милым тебе пренебрегла, за что ты на меня разгневался? Ты ушел, покинув меня, твою служанку, безо всякого на то повода — разве ты не боишься, что тебя за это осудят? Или тебе нет дела до меня, негодной, лживой, лишь притворяющейся влюбленной? Увы, как же мне теперь жить, пропавшей, злосчастной? Как же случилось так, что я осталась без тебя, без отца, без чести, без друзей, без крыши над головой? Горе мне, злодейке, доведшей тебя до такого несчастья! Не найдется другой такой жестокосердой, как я, если и теперь достанет мне сил уйти домой и оставить тебя бездыханным. Но что мне дом, что мать, что отец, что друзья, что слуги! Где мне искать пристанища? О судьба, молю тебя, окажи мне милость: верни мне любимого! Снизойди ко мне, владычица, защити беззащитную женщину! Вы, благие лесные божества, будьте великодушны: возвратите ему жизнь! О мать-

земля, ты сострадаешь всему живому, отчего же ко мне ты так безжалостна? Отец Шива, прибегаю к твоей защите, яви мне свое милосердие!»

Издавая подобные стенания, я — сколько могу вспомнить — рыдала, точно одержимая злым духом, или безумная, или впавшая в неистовство, или одурманенная демоном. Я словно бы сама растворилась в потоке беспрерывно льющихся слез, превратилась в воду. От яркого блеска моих зубов даже вопли мои казались ручьями слез; даже с волос моих, с которых попадали все цветы, казалось, капали одни слезы; даже мои украшения, казалось, исходят слезами в сиянии драгоценных камней. Я молила о своей смерти так же настойчиво, как о его жизни. Хотя он и умер, я всей душой хотела остаться в его сердце. Лаская руками его щеки, его лоб с завитками волос, белыми от высохшей сандаловой мази, его плечи, прикрытые влажными стеблями лотосов, его грудь, устланную лотосовыми листьями и обрызганную сандаловым соком, я упрекала его: «Как ты жесток, Пундрика! Ты даже не подумал обо мне, несчастной!» Снова и снова старалась я воззвать к его состраданию, снова и снова его целовала, снова и снова прижималась к нему, громко рыдая. «Злодейка, ты даже не сумела сберечь до моего прихода его жизнь», — бранила я жемчужную нить, которую ему подарила. «Почтенный, будь великодушен, верни его к жизни», — снова и снова молила я Капинджалу, припав к его ногам. И снова и снова я, плача, обнимала за

шею Таралику. Теперь, когда я вспоминаю об этом, я даже не понимаю, откуда у меня, несчастной, взялись эти тысячи горьких, бессмысленных жалоб, кто им меня обучил и наставил, где раньше я их слышала. Откуда эти вопли, эти стоны отчаянья? Нет, я стала совсем другой. Потоки слез поднимались во мне, как океанские волны в день гибели мира; они лились непрерывной чредой, как вода из фонтана; жалобы росли, как цветочные побеги, порывы горя вздымались горными пиками; обморок сменялся обмороком, будто одно рождение новым рождением.

Рассказывая свою историю и заново переживая свое несчастье, Махашвета опять потеряла сознание. Но прежде чем она упала на твердый камень, Чандрапида, полный сострадания, поспешно протянул вперед руки и, точно слуга, поддержал ее. Он стал заботливо обмахивать девушку полой ее отшельнического платья, влажного от слез, и постепенно возвратил ее к жизни. А когда она пришла в себя, то, охваченный жалостью, не пытаясь сдержать льющиеся и по его щекам слезы, сказал: «Госпожа, это я, невежа, заставил тебя вновь испытать сломившее тебя горе. Так перестань, брось же рассказывать, я сам уже не в силах слушать. Когда говорят о бедах друзей, хотя и давних, они вызывают такую боль, как будто случились только сейчас. Поэтому жизнь свою, которую ты едва сохранила и которая еле-еле теплится, не стоит снова бросать, будто щепку, в костер горьких воспоминаний».

В ответ на его слова Махашвета испустила долгий и тяжкий вздох и, вновь пролив обильные слезы, с грустью сказала: «Царевич, едва ли жизнь, ставшая для меня проклятием, покинет меня теперь, раз уже не покинула в ту ужасную, горькую ночь. Увы, даже благая губительница смерть не хочет со мной свидеться, злосчастной, лишенной добродетелей. Да и с чего бы мне горевать, бездушной! Все это только притворство моего огрубевшего, недоброго сердца. Поистине, по бесстыдству я первая среди бесстыдных. И стоит ли придавать значение моей болтовне, если, испытав такие любовные муки, я все-таки их стерпела, будто каменная? Впрочем, что можно еще рассказать или услышать ужаснее того, что я уже рассказала? Я лишь поведаю тебе о чуде, случившемся уже после того, как ударила молния несчастья, о чем-то неясном и неуловимом, из-за чего я осталась жить. Тебе стоит услышать, почему я поддалась призрачному миражу надежды и не разделалась со своим проклятым телом, которое для меня и так все равно что исчезло и лишь тяготит меня, как чье-то проклятие, как ненужное и бессмысленное бремя.

Так вот, в отчаянии, твердо решив умереть, я, горько плача, сказала Таралике: „Вставай, жестокосердая! Можно ли так долго рыдать? Принеси дрова, разложи костер, и я уйду из жизни вслед за моим господином“. И вдруг в этот самый момент, отделившись от лунного диска, с неба сошел некий муж, исполинского роста, божественного вида, полный величия. Он

был одет в белое, как пена амриты, шелковое платье, которое развевалось по ветру, прикрепленное застежками браслетов к его предплечьям. Его щеки пылали красным отблеском драгоценных серег в ушах. На его груди покоилось чудесное ожерелье из больших жемчужин, похожих на гроздья звезд. Его голову украшал тюрбан из белого шелка, а из-под него выбивались пряди вьющихся волос, темных, как рой пчел. С его ушей свисали цветущие лотосы, а на плечах виднелись следы шафрана с груди его жен. Тело его было белым, как лотосы кумуда, и светлым, как чистая вода, своим сиянием оно словно бы обмывало все стороны пространства. Этот божественный муж обрызгал тело Пундарики благоуханной, прохладной как снег амритой, которая сама струилась изо всех пор его тела, окропил его, будто росой, сандаловым соком, а затем поднял вверх на своих огромных, как хобот Айраваты, руках, чьи белые, как волокна лотоса, пальцы одним только касанием сулили прохладу, и голосом, громким, как бой барабана, воскликнул: «Махашвета, дитя! Ты не должна расставаться с жизнью, ибо снова с ним встретишься!» С этими словами, исполненными отцовской заботы, он вместе с Пундарикой взмыл в небо.

Полная страха, изумления и тревоги, я следила за ними, подняв голову, а затем спросила Капинджалу, что все это значит. Но он, не отвечая, быстро поднялся на ноги и крикнул: „Злодей, куда ты уносишь моего друга?“ Бросая вверх гневные взоры, он повязал себе бедра

лыком и поднялся в воздух вдогонку за улетающим божественным мужем. А я, сколько могла, провожала их взглядом, пока они не скрылись среди звезд.

После того как Капинджала меня покинул, горе мое удвоилось, словно еще раз я потеряла любимого, и еще сильнее заныло сердце. В замешательстве, не зная, как поступить, я спросила Таралику: „Ты понимаешь, что произошло? Объясни мне“. А она, испуганная, как любая на ее месте женщина, охваченная ужасом, который в тот миг пересилил горе, трепеща всем телом и опасаясь, несчастная, всем своим опечаленным и любящим сердцем, что я могу умереть, сказала: „Царевна, я, бедная, не знаю, как и почему, но случилось великое чудо. Муж этот не похож на простого смертного, и, улетая, он утешал тебя так участливо, как если бы был твоим отцом. Известно, что божества не лгут даже во сне, тем более наяву. И я не вижу ни малейшей причины для него говорить неправду. Поэтому тебе следует, все хорошенько обдумав, отказаться от мысли о смерти. В теперешних обстоятельствах его слова, поистине,— великое утешение. Да и к тому же вслед за ним улетел Капинджала. Разузнав, кто этот божественный муж, откуда он явился, куда и зачем унес тело Пундарики, почему ободрил царевну обещанием новой встречи, о которой трудно помыслить, Капинджала вернется, и тогда уже ты решишь, жить тебе или умереть. Ибо, коли отважишься на смерть, умереть легко, но сделать это никогда не поздно. А Капинджала, если только он оста-

нется жив, непременно захочет с тобой пови-
даться. Потому вплоть до его возвращения тебе
не следует думать о смерти“.

С этими словами Таралика упала мне в ноги.
А я — то ли от жажды жить, которую нелегко
преодолеть любому смертному, то ли по слабос-
ти женской природы, то ли ослепленная пустой
мечтой, порожденной словами божественного
мужа, то ли уповая на возвращение Капин-
джалы — не решилась сразу же распрощаться с
жизнью. Чего только не делает с нами надежда!
И эту ночь, схожую с ночью гибели мира, длив-
шуюся будто тысячу лет и словно бы сотворен-
ную из ужаса, страданий, адских мук и пламени,
эту ночь я вместе с Тараликой провела на берегу
Аччходы без сна, нигде не находя себе места.
Мои серые от пыли, неприбранные и спутав-
шиеся волосы липли со всех сторон к мокрым от
слез щекам, а горло ссохлось от горьких рыда-
ний и лишилось голоса.

Когда же на рассвете я поднялась и искупа-
лась в озере, то приняла окончательное реше-
ние. В память о Пундарике я взяла себе его кув-
шин для воды, одежду из льна и четки и — убе-
дившись в тщете мирской жизни, уразумев ску-
дость моих достоинств, видя жестокость гнету-
щих человека несчастий, от которых нет лекар-
ства, постигнув неотвратимость горестей,
познав суровость судьбы, уяснив губительность
любых привязанностей, утвердившись в мысли
о непостоянстве всех вещей, понимая случай-
ность и призрачность всякой удачи,— я посту-
пилась любовью отца и матери, покинула роди-

чей и слуг, отвратила ум от земных радостей и приняла обет подвижничества. Я всецело предалась Шиве и только в нем, оплоте трех миров, защитнике беззащитных, стала искать прибежище.

На следующий день, откуда-то узнав о случившемся, пришел мой отец вместе с матерью и родичами, и, горько рыдая, утешая, умоляя и наставляя меня, он приложил великие старания, чтобы побудить меня вернуться домой. А когда он понял, что ничто не изменит моего решения, то и тогда, уже потеряв надежду, не в силах был превозмочь отцовскую любовь и много дней провел со мною, хотя я и просила его уйти. Наконец, сломленный горем, с разбитым сердцем, он удалился. И с момента его ухода я живу в глубокой скорби в этой обители вместе с Тараликой, ручьями слез изливаю свою преданность Пундарике, изнуряю в аскетическом рвении свое несчастное, исхудавшее от любви, потерявшее стыд тело —местилище греха и тысяч мук и страданий, перечисляю в часы молитвы добродетели моего возлюбленного, питаюсь плодами, кореньями и водой, три раза в день совершаю омовение в озере и каждодневно почитаю жертвами владыку Шиву. Такой вот ты и встретил меня теперь — недостойной, отчаявшейся, утратившей стыд, жестокой, лишенной любви, ни на что не годной, обреченной, живущей бессмысленно и бесцельно, беспомощной, одинокой и несчастной. Не к чему тебе, благородному, знаться со мной, виновной в великом грехе

убийства брахмана, да еще о чем-то меня спрашивать!»

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ДЖАБАЛИ

Кончив рассказывать, Махашвета полою платья из белого лыка, словно краем осеннего облака, прикрыла свое лицо-луну и, не в силах сдерживать бурный поток слез, зарыдала, испуская протяжные вопли и стоны.

Уже прежде Чандрапида почувствовал расположение к Махашвете за ее красоту, скромность, доброту, красноречие, бескорыстие, благочестие, серьезность, самоотверженность, великодушие и чистоту; теперь же, когда она рассказала свою историю, подтвердившую ее благородство и твердость духа, он стал испытывать к ней еще большую симпатию. С сердцем, согретым состраданием, он ласково ей сказал: «Благородная, пусть плачет и доказывает свою преданность бессильным потоком слез тот, кто избегает горестей, не знает верности, привязан к чувственным радостям и не способен к подвигу во имя любви. Тебе же, сделавшей все, чего любовь требует, не стоит плакать. Ради Пундарики ты, будто посторонних, отвергла милых тебе родичей, которые были с тобой со дня твоего рождения; пренебрегла, будто травой, мирскими радостями, которые были тебе доступны; презрела соблазны власти, превосходившей власть Индры. Твое тело, нежное, как стебель лотоса, высохло от сурового покаяния.

Ты стала послушницей, подвергла себя испытаниям подвижничества, обрекла себя на жительство в лесу, такое суровое для женщины. И еще скажу: тому, кто сломлен горем, нетрудно расстаться с жизнью, гораздо труднее — нести в себе горе и жить. Поистине, безрассудно идти за другим дорогой смерти. Желать собственной смерти, когда умер отец, или брат, друг или муж,— это значит предпочесть для себя стезю невежества, прихоть безумия, путь неведения, плод поспешности, узость зрения, заблуждение легкомыслия, западню глупости. Пока жизнь сама не покинет тебя, нельзя от нее отречься. Ведь, если подумать, отказ от жизни своеобразен: он — желанное лекарство от горя для того, кто не способен терпеть. Такой отказ не сулит ничего хорошего и тому, кто умер: он не средство его оживить, и не утверждение его добродетели, и не помощь ему в обретении неба, и не препятствие попасть в ад, и не залог свидания с ним, и не повод для встречи. Умерший по плодам деяний своих смиренно уходит в иные миры, а тот, кто вослед за ним отвергает жизнь, осуждает себя на грех самоубийства. Между тем, если он останется жив, то способен сделать умершему много добра, исполняя ради него погребальные и иные обряды; мертвый же, он ни ему, ни себе не нужен. Вспомни о Рати, верной жене Маданы: когда ее божественный супруг, покоритель женских сердец, сожжен был пламенем глаза Хары, она ведь не рассталась с жизнью. Или о Притхе²⁶³ из рода вришниева, дочери Шуры: когда ее мудрый супруг

Панду, чей трон был усыпан цветами с венков побежденных им великих царей и кому платила дань вся земля, сторел, как хворост, в пламени проклятия отшельника Киндамы, она тоже не отказалась от жизни. Или об юной Уттаре²⁶⁴, дочери Вираты: когда мужественный, честный, прекрасный, как молодой месяц, Абхиманью стал прахом, она ведь сберегла свое тело. Или о Духшале²⁶⁵, дочери Дхритараштры, которую нежили на своих коленях сто братьев-кауров: когда прославленный своей красотой и возвеличенный даром Шивы царь синдхов Джаядратха пал от руки Арджуны, она же не покончила счеты с жизнью. И то же можно сказать о тысячах других дочерей ракшасов, богов, асуров, риши, простых смертных, сиддхов и гандхарвов: хотя они и потеряли возлюбленных, но сберегли жизнь.

Однако, может быть, и стоило бы предпочесть смерть, если бы не было у тебя уверенности в предстоящей встрече с Пундарикой. Эта встреча была тебе обещана, и неуместны сомнения в том, что ты сама слышала. Разве могут быть лживыми — какая бы ни была причина для лжи — слова неземных, великих духом существ, всегда говорящих правду? Верно говорят, что живому не встретиться с мертвым, и потому нет сомнений, что божественный муж, которого ты видела, почувствовав сострадание, унес Пундарику на небо, чтобы вернуть ему жизнь. Ибо непредставимо могущество великих мира сего; непознаваем круговорот жизни, непредсказуема судьба, удивительны чудеса подвижничества,

многообразны плоды совершенных деяний. Если хорошенько подумать, то нет другой причины для похищения тела Пундарики, кроме как ради того, чтобы вернуть ему жизнь. И не считай это невозможным: подобный путь уже проделали многие. Так девушке по имени Прамадвара²⁶⁶, рожденной Менакой от царя гандхарвов Вишвасу, когда она в обители Стулакеши умерла от укуса змеи, юный аскет Руру из рода Бхригу, сын Прамати и внук Чьяваны, отдал половину собственной жизни и воскресил ее. Или Арджуну²⁶⁷, которого, когда он следовал за конем, совершая ашвамедху, сразил в поединке его сын Бабхрувахана, оживила девушка из рода нагов по имени Улупи. Или Парикшита²⁶⁸, сына Абхиманью, который был сожжен пламенем копья Ашваттхамана и уже мертвым извлечен из чрева матери, возродил к жизни, казалось бы, навсегда для него потерянной, благой Кришна, побужденный к состраданию рыданиями Уттары. Или вспомни, как тот же Кришна²⁶⁹, стопы ног которого почитают три мира, вывел из царства Ямы и привел в Удджайини сына брахмана Сандипани. Что-то подобное произойдет и с Пундарикой.

А в том, что случилось, некого упрекать. Ибо могущественна судьба, неотвратим поток событий, даже вздохнуть нельзя по собственной воле. Мучительница судьба безжалостна ко всему и ко всем, жестока и капризна в своих деяниях, ей не по нраву прекрасная своей безоглядностью любовь. Счастье хрупко по своей природе, а страдание бесконечно. Живые суще-

ства сходятся друг с другом с трудом, да и то лишь однажды, а разлука длится вечно. Поэтому ты, беспорочная, не должна себя укорять. То, что случилось с тобою, случается со всяким, кто вступает на тернистую тропу земной жизни. Но стойкие преодолевают беду».

Так ласковыми и участливыми словами Чандрапида ободрил Махашвету, а затем снова принес в пригоршне воды из ручья и заставил ее, пусть и против ее собственной воли, вымыть себе лицо.

Между тем благое солнце, завершая свой дневной путь, потупило очи долу, как бы в скорби от услышанного рассказа Махашветы. И когда день поблек; когда круг солнца, пылая красным заревом, похожим на облако пылицы с распустившихся цветов на лианах приянгу, склонился к горизонту; когда блики заходящего солнца, нежные, как лоскуты шелка, выкрашенные шафраном, были стерты с лика сторон света; когда небо, утратив синеву, засветилось багровым блеском, таким же прекрасным, как у зрачков птиц чакора; когда темно-золотистая, как глаза кукушек, вечерняя заря залила землю розовым сиянием; когда в издавна заведенном порядке начали подниматься в небе созвездия; когда ночная мгла, черная, как шерсть лесного вепря, заволокла небесную ширь и утвердила над нею свою власть; когда зелень лесных тропинок, окутанных густой тьмою, стала неразличимой; когда задул прохладный от капель ночной росы ветерок и о его приходе возвестил аромат множества лесных цветов и трепет веток

лиан; когда с началом ночи неподвижно замерли в глубокой дреме птицы — тогда Махашвета медленно поднялась, прочитала вечерние молитвы, омыла себе ноги водой из кувшина и, горько вздыхая, опустилась на ложе из лыка. Вместе с нею Чандрапида тоже почтил вечернюю зарю возлиянием воды из пригоршни и цветами, а затем лег на подстилку из нежных листьев лиан, которую сам приготовил себе на одном из скалистых склонов. Улегшись, он вновь и вновь возвращался в мыслях к рассказу Махашветы и говорил себе: «Да, таков этот жестокий, не знающий жалости, неодолимый в своем могуществе бог любви с цветочным луком. Даже великие духом терпят от него поражение, перестают понимать ход времени, теряют стойкость и готовы расстаться с жизнью. И все-таки да славится этот бог, которого почитают все три мира!»

Затем он снова окликнул Махашвету: «А где же теперь Таралика, твоя служанка и подруга, разделившая с тобою горечь лесной жизни и все тяготы подвижничества?» Махашвета отвечала: «Как я уже говорила, один из родов апсар возник из амриты, и в нем в свое время родилась девушка по имени Мадара со сладостными, как нектар, и продолговатыми глазами. Ее взял в жены божественный Читраратха, чьи ноги покоятся на пьедестале из корон всех царей гандхарвов. Плененный несравненными достоинствами Мадары, он привязался к ней всем сердцем и наградил ее титулом великой царицы, который недосягаем для других жен, ставит ее

над всеми женщинами гарема и дает право на золотую корону, царский зонт, скипетр и опахало. В наслаждении дарами юности их любовь друг к другу неуклонно возрастала, и со временем у них родилась дочь по имени Кадамбари, истинное чудо и сокровище, средоточие счастья жизни не только ее родителей, но и всего рода гандхарвов, да, пожалуй, и всех существ на свете. Со дня своего рождения она стала моей подругой, разделяла со мной мое кресло, еду и питье и, словно мое второе сердце, пользовалась полным моим доверием и глубокой любовью. Вместе, я и она, учились мы танцам, пению и иным искусствам, проводили детство в играх, подходящих нам по возрасту, и не знали никаких забот. Когда она узнала мою горестную историю, то, полная сострадания, приняла решение, пока я несчастна, ни в коем случае не выходить замуж. И в присутствии своих подруг поклялась: „Если отец, не считаясь с моей волей, вдруг захочет отдать меня кому-нибудь в жены, я непременно покончу счеты с жизнью: умру от голода, взойду на костер, повешусь или отравлю себя ядом“. Слух об этой клятве Кадамбари переходил из уст в уста и наконец через слуг дошел до ее отца, царя гандхарвов Читратратхи. Зная, что дочь его уже вступила в пору цветущей юности, он сильно был озабочен и потерял последний покой. Но ей он не решился ничего сказать: ведь она его единственная дочь и к тому же горячо любимая. Не видя другого выхода и полагая, что медлить уже нельзя, он, посоветовавшись с великой царицей Мадарой, послал ко

мне сегодня утром придворного по имени Кширода, который передал мне такую его просьбу: „Махашвета, дитя! Наши сердца и так опечалены тем, что с тобою случилось, а теперь нас постигла новая беда. Только на тебя можем мы уповать: уговори Кадамбари отказаться от своей клятвы“. Из уважения к старшим и из привязанности к подруге я попросила Таралику пойти вместе с Кширодой к Кадамбари и переслала с ней такое послание: „Кадамбари, подруга! Зачем ты печалишь тех, кто и так в печали? Если ты хочешь, чтобы я осталась жить, выполни волю родителей“. А ты, высокочтимый, явился сюда как раз тогда, когда Таралика уже ушла с этим посланием». Так сказав, Махашвета умолкла.

Тем временем взошел месяц, владыка звезд, драгоценный камень в волосах Шивы, который пятном на своем диске словно бы подражал сожженному пламенем горя сердцу Махашветы, или принял на себя мету великого греха смерти молодого подвижника²⁷⁰, или сохранил след ожога проклятия Дакши²⁷¹, навеки его зачернившего, и который был похож на левую грудь Амбики, белую от густого слоя золы и наполовину прикрытую шкурой черной антилопы. И когда в великом океане неба мало-помалу всплыл этот песчаный остров, этот кувшин с благовонным нектаром, этот провозвестник сна для обитателей семи миров²⁷², этот друг ночных лотосов, размыкающий их бутоны, этот усмиритель женской гордыни; когда, пылая белым блеском, крася в белый цвет десять сторон света,

поднялся серп месяца, сам белый, как раковина, и похожий на белый зонт; когда, побежденное ливнем лунных лучей, поблекло сияние звезд; когда из набухших влагой лунных камней заструились по всей Кайласе ручьи воды; когда на водах озера Аччходы увяли дневные лотосы, как если бы лучи луны, напав на них, похитили их красоту; когда пары уток-чакравак замерли в неподвижности и, качаясь на высоких волнах, жалобно зарыдали в разлуке друг с другом; когда прекрасные девы-видьядхары, вышедшие на свидание с возлюбленными и блуждавшие по небу со слезами радости на глазах, с окончанием восхода луны разбрелись кто куда — тогда Чандрапида, заметив, что Махашвета уснула, сам медленно улегся на ложе из листьев. И с мыслью: «Что теперь думают обо мне Вайшампаяна, и бедная Патралекха, и все царевичи моей свиты?» — он тоже заснул.

Затем, когда тьма ночи рассеялась и занялся рассвет, когда Махашвета, поднявшись на скалу, произносила очистительные молитвы, а Чандрапида совершал утренний обряд, внезапно появилась Таралика, которую сопровождал юноша гандхарва по имени Кеюрака. Ему было всего лишь шестнадцать лет, но вид его внушал доверие и поступь его была тверда, как у отяжелевшего от мускуса царского слона. Его длинные ноги были серыми от высохшей сандаловой мази, а тело — желто-розовым от шафрана. Одет он был в легкое платье, скрепленное на плечах золотыми застёжками, но не обвязанное кушаком, и потому полы его свободно развевались.

У него была широкая грудь, длинные округлые руки и такая тонкая талия, что казалось, он рассечен надвое. Подобно радуге, на его плечи падала сеть лучей от драгоценных серег в ушах, так что казалось — он набросил на себя разноцветную шелковую накидку. Его нижняя губа была нежной, как цветок лотоса, и темной от постоянного жевания бетеля. Ясным взглядом своих продолговатых лучистых глаз он, казалось, высветляет все стороны света, орошает водою цветы, превращает день в луг лотосов. Его лоб был широк, как золотая пластина, и прямые волосы черны, как рой пчел. Воспитанный при царском дворе, он отличался благоразумием и учтивостью манер.

Таралика долго и удивленно разглядывала Чандрапиду, недоумевая, кто он такой, а затем, подойдя к Махашвете, почтительно поклонилась ей и села рядом. Также и Кеюрака приветствовал Махашвету глубоким поклоном, сел неподалеку на камень, который царевна указала ему взглядом, а когда осмотрелся, то был поражен удивительной красотой Чандрапиды, подобной которой он не видывал прежде и которая превосходила красоту бога с цветочным луком, посрамляла очарование богов, асуров и гандхарвов. Завершив молитву, Махашвета спросила у Таралики: «Видела ли ты дорогую мою подругу Кадамбари? В добром ли она здравии? Сделает ли то, о чем я ее просила?» На что Таралика, почтительно наклонив голову, так что серьги в ее ушах опустились на грудь, мягким голосом отвечала: «Да, царевна, я видела

божественную Кадамбари, и она в полном здравии. Я ей слово в слово пересказала твое послание. Выслушав его, она заплакала, пролив частый дождь из капель слез-жемчужин, а затем поручила передать ответ тебе своему хранителю лютни Кеюраке, которого и прислала вместе со мной». Так сказав, она замолчала, и вслед за нею заговорил Кеюрака: «Царевна Махашвета! Божественная Кадамбари крепко обнимает тебя и посылает такое послание:

„Скажи, что стоит за твоими словами, которые передала мне Таралика: послушание воле моих родителей, проверка моего сердца или скрытый упрек, что я живу не с тобой, а у себя во дворце? А может быть, это способ покончить с нашей дружбой, или избавиться от моей преданности, или просто выразить свой гнев? Ты знаешь, что с момента рождения сердце мое полно любви к тебе; как же тебе не совестно обращаться ко мне со столь жестоким посланием? Кто научил тебя, всегда такую ласковую, этому суровому и неприязненному тону? Как бы ни был человек благополучен, если он имеет сердце, то не станет в горестных обстоятельствах обдумывать дело пустячное и тягостное. Менее всех я, чье сердце разбито великой скорбью. Когда душу гнетет несчастье друга, какая тут надежда на радость, какой покой, какие удовольствия и развлечения! И как я могу быть заодно с Камой, который причинил такое горе любимой подруге, который губителен и беспощаден, точно яд? Когда дневные лотосы оплакивают заход солнца, по долгу дружбы с ними даже

юные жены чакравак отказываются от счастья близости со своими супругами. Тем более следует так поступать благородным женщинам. И еще: кто другой способен завладеть моим сердцем, если и днем и ночью в нем живет милая моя подруга, удрученная разлукой с любимым и не желающая никого видеть? А когда лучшая подруга, опечаленная разлукой с любимым и истязаящая себя суровым покаянием, так тяжело страдает, то как могу я, не замечая этого и заботясь лишь о собственном счастье, отдать кому-либо свою руку? Да и смею ли я быть счастливой? Из любви к тебе я, вопреки девичьей скромности, стала своевольной, навлекла на себя нарекания, пренебрегла воспитанием, не подчинилась желанию родителей, не посчиталась с людским мнением, отринула стыд — природное украшение женщин. Скажи, разве есть теперь для меня дорога назад? Поэтому я складываю в приветствии руки, кланяюсь тебе, обнимаю твои колени и прошу тебя: смилуйся надо мной! Ты, уходя в лес, взяла с собой мою жизнь — так не думай даже во сне о том, что ты мне предлагаешь!“» Пересказав послание Кадамбари, Кеюрака замолчал. А Махашвета, выслушав юношу, какое-то время размышляла, а затем отпустила его со словами: «Ступай, я сама пойду к Кадамбари и сделаю все, что нужно».

Когда Кеюрака удалился, Махашвета сказала Чандрапиде: «Царевич! Красива Хемакута, несравненна столица Читратратхи, чудесна земля киннаров, прекрасен мир гандхарвов, благородна и чистосердечна Кадамбари. Если

дорога туда тебе не кажется трудной, если нет у тебя неотложного дела, если тебе любопытно побывать в стране, не виданной прежде, если ты доверяешь моим словам, если ты любишь чудесное, если я заслужила твое участие, если ты не склонен заранее отвергнуть мои советы, если ты хоть немного по-дружески ко мне расположен, если я снискала твою благосклонность, то не оставь бесплодной мою просьбу: поднимись со мною на Хемакуту — средоточие самого прекрасного в мире, познакомься с Кадамбари — моим вторым сердцем и избавь ее от ослепившего ее ум заблуждения. Побудешь там один день, а уже на следующее утро вернешься. Сегодня, обретя твою дружбу, я, сломленная бременем беспросветного горя, впервые за долгое время вдруг вздохнула свободно. А когда я рассказала тебе свою историю, то даже беда моя показалась мне преодолимой. Поистине, встреча с добрым человеком радостна, как бы ни был ты удручен. У таких, как ты, есть великое достоинство — делать других счастливыми». На слова Махашветы Чандрапида отвечал: «Госпожа, как только тебя увидишь, себе самому уже не принадлежишь. Не раздумывай и распоряжайся мною во всем по своему усмотрению». Так сказав, он отправился с нею в путь.

Спустя некоторое время они достигли Хемакуты, подошли к дворцовому парку царя гандхарвов и, пройдя через семь внутренних дворишков с золотыми арками, оказались у входа во дворец царевны. При виде Махашветы привратницы с золотыми жезлами в руках броси-

лись ей навстречу, склонились в глубоком поклоне и провели Махашвету и Чандрапиду во внутренние покои дворца.

Дворец был полон сотен и тысяч женщин; он словно бы вобрал в себя всех женщин трех миров, чтобы можно было любоваться всеми ими сразу, и казался особой планетой, населенной одними женщинами, или новым — но без мужчин — творением Брахмы, или никем дотоле не виданным женским островом, или воплощением пятой, женской, юги²⁷³, или чудесным изделием Праджапати, возненавидевшего мужчин, или необъятным хранилищем женщин, способным в течение многих калп восполнять в них нужду. Озаренный блеском изделий из изумруда, залитый во всех своих пределах сиянием женской красоты, которое наполняло пространство, орошало день влагой амриты и очищало воздух, дворец казался построенным только из света, или сотворенным из тысячи лун, или сотканным из лунных лучей. Все окна в нем, казалось, были сделаны из драгоценных камней, все убранство — из частиц красоты, все стены — из прелестей юности, вся мебель — из любовных капризов Рати, все комнаты — из уловок Маданы. Все, что имелось внутри дворца, словно бы было пропитано любовью, создано из страсти, красоты, любовных утех, цветочных стрел бога любви — всего того, что зовется удивительным, чудесным, сладостным.

Чандрапиде повстречалось великое множество девушек. Из-за сияния их лиц казалось, что льется дождь лун, из-за их кокетливых взгля-

дов — что пол выложен трепещущими голубыми лотосами, из-за крутых изломов бровей-лиан — что изгибаются сотни прекрасных луков Камы, из-за смоли густых черных волос — что сошлись в одно место все ночи темной половины месяца, из-за света улыбок — что наступили весенние дни, слепящие распутившимися цветами, из-за аромата их дыхания — что повеяло ветерком с гор Малая, из-за блеска круглых щек — что сверкают тысячи драгоценных зеркал, из-за розового мерцания ладоней — что на землю хлынул ливень красных лотосов, из-за переливов их ногтей — что повсюду парят тысячи цветочных стрел Маданы, из-за радуги лучей от их украшений — что взлетели в воздух стайки домашних павлинов, из-за их шаловливых повадок — что собрались вместе тысячи божеств любви.

Чандрапида заметил, как под предлогом обычных занятий и дел девушки тайком подражают любовным играм: опираясь на подругу — украдкой жмут ей руку, играя на флейте — словно бы обмениваются поцелуями, касаясь струн лютни — словно бы царапают ногтями, ударяя по мячу руками — словно бы наносят шлепки, поднимая за горло кувшин, чтобы полить цветы, — словно бы обнимают за шею, раскачиваясь на качелях — словно бы играют широкими бедрами, кусая листья бетеля — словно бы покусывают губки, обрызгивая ветки бакулы²⁷⁴ — словно бы из уст в уста льют вино, ударяя ашоку²⁷⁵ — словно бы пинают друг друга ногами, спотыкаясь о цветочные гирлянды — издают страстные возгласы.

Лица девушек как бы умывались в чистом блеске их щечек, их продолговатые глаза казались голубыми лотосами, заложенными за уши, свет улыбки — помадой для губ, дыхание — ароматом благовоний, краски рта — шафрановой пудрой, голос — звоном лютни, руки-лианы — гирляндами цветов чампаки, ладони — трепещущими лотосами, груди — зеркалами, изгибы кожи — шелковым платьем, тяжелые ягоды — мраморными плитами, сияние тонких пальцев — лепестками розы, ногти на пальцах ног — цветами, разбросанными по полу. Они были так нежны, что красный лак обременял им ноги, гирлянда цветов бакулы на талии мешала им двигаться, румяна на лице учащали дыхание, легкое платье вызывало усталость, тонкий браслет на запястьях порождал дрожь рук, цветков в волосах отяжелял голову, дуновение воздуха от крыльев вьющихся пчел возбуждало досаду. Для них было бы весьма опрометчивым быстро встать, не опираясь на руку подруги; им было бы нелегко сорвать подряд два цветка; они способны были терпеть груз ожерелья на шее только благодаря крепости груди; они казались слишком хрупкими, чтобы овладеть искусством плести гирлянды, столь ценным девушками; и неудивительно, что, кланяясь, они подвергали себя опасности переломиться надвое.

Когда же Чандрапида оказался в глубине дворцовых покоев, он услышал пленительную болтовню служанок из свиты Кадамбари, то и дело окликавших друг друга:

«Лавалика, посыпь пылью цветов кетаки

канавку вокруг лианы лавали», «Сагарика, брось изумрудную крошку в бассейн с ароматной водой», «Мриналика, напудри шафрановой пудрой пару игрушечных чакравак в лотосовом пруду», «Макарика, обрызгай камфорными духами чаши с благовониями», «Раджаника, отнеси драгоценный светильник в темную аллею деревьев тамалы», «Кумудика, прикрой жемчужной сеткой плоды граната, чтоб их не расклевали попугаи», «Нипуника, разрисуй груди этих куколок шафрановыми узорами», «Утпалика, почисти золотыми щетками скамьи из изумруда в банановой беседке», «Кесарика, sprysni вином гирлянды цветов бакулы», «Малатика, покрой красным суриком железную крышу храма Камы», «Налиника, напои домашних гусей медвяным соком лотосов», «Кадалика, отведи павлинов в купальню», «Камалиника, дай отведать птенцам чакравакам молочного сока корней лотоса», «Чуталатика, положи в клетку самцов кукушек почки и ветки с деревьев манго», «Паллавика, накорми домашних голубей свежими листьями перцового дерева», «Лавангика, принеси ягод и зерен в клетку с чакорами», «Мадхукарика, сплети из цветов венки», «Маюрика, отведи эту пару киннаров в музыкальный зал», «Кандалика, посади этих двух куропаток на верхушку игрушечной горки», «Хариника, поучи говорить попугаев и сорок в клетках».

И еще он услышал такие шуточные возгласы:

«Чамарика, не строй невинного вида! Кого ты хочешь этим прельстить?», «Эй ты, опьянен-

ная собственной юностью! Все знают, что ты прислонилась к резному павлину на драгоценной колонне, оттого что гнешься под тяжестью кувшинов своей груди», «Эй ты, способная насмешить любого! Ты разговариваешь с собственным отражением в зеркальной стене», «Эй ты, чье платье треплет ветер! Тебя подводит твоя рука, и вместо платья ты ловишь блеск своего ожерелья», «Эй ты, что боишься споткнуться о цветы, разбросанные по полу! Это не цветы в дар богам, а блики сияния твоих щечек», «Эй ты, гордая своей нежностью, превосходящей нежность стеблей лотоса! Ты прикрываешься своей ладонью, будто зонтом, не от жара солнца, а от сверкания рубинов в решетчатом окне», «Эй ты, выронившая из уставшей руки опахало! Теперь тебя обвевают одни только лучи света от твоих же ногтей и перстней».

Прислушиваясь к подобного рода болтовне, Чандрапида подошел к покоям Кадамбари. Дорога к ним из-за пылицы, осыпавшейся с цветов на садовых лианах, показалась ему песчаным берегом; из-за ручьев сока, льющегося из плодов манго, разорванных когтями дерзких кукушек,— дождливым днем; из-за брызг вина, которыми кропили деревья бакулы и которые разносил ветер,— туманным маревом; из-за желтых лепестков чампаки, разбросанных в дар богам,— золотым островом; из-за черных пчел, слетевшихся ко множеству разнообразных цветов,— темным лесом деревьев ашоки. И еще: красный лак на ногах снующих повсюду женщин делал эту дорогу похожей на океан страсти,

аромат благовоний — на день пахтанья амриты, сверкание круглых серег — на лунный мир, узоры черной пасты на женской груди — на чашу лиан приянгу. Дорога выглядела то сплошь красной — из-за заложенных женщинами за уши цветов ашоки, то белой — из-за сандаловой мази, то зеленой — из-за венков, сплетенных из цветов акации шириши. Она казалась въездной аллеей, по обе стороны которой, как частокол красоты, стояли служанки Кадамбари и вдоль которой, как бы сливаясь в бурную реку, струились потоки лучей от женских украшений. А посреди этой реки, словно остров, высился прекрасный павильон, вход в который охраняло несколько привратниц.

В глубине павильона Чандрапида увидел Кадамбари. Плотным кольцом ее окружали придворные девушки, числом в несколько тысяч, блиставшие драгоценными уборами и походившие на рощу деревьев, исполняющих желания. Словно земля, поднятая из океана на клыке Великого вепря, она возлежала на небольшой кушетке, застланной покрывалом из синего шелка, и опиралась согнутой в локте рукой-лианой на белую подушку. Служанки обмахивали ее опахалами и, безуданно вздымая и опуская лианы рук, словно бы плавали в безбрежном море сияния ее тела.

Ее лицо отражалось в зеркале пола, и мнилось, что ее хотят унести в подземное царство змеи-наги; мерцало на выложенных драгоценными плитами стенах, и казалось, что ее похищают хранители сторон света; падало на свет-

лый потолок вверх, и казалось, что ее увлекают в небо боги. Казалось, что ее образ проник в самую сердцевину пилястров из изумрудов, что его пьют дворцовые зеркала, уносят в небо гандхарвы, чьи лица, обращенные вниз, были вылеплены на потолке павильона. Казалось, что в надежде свидеться с нею сюда устремились существа всех трех миров, изображенные на развешанных по стенам картинах, что сам дворец созерцает ее прорезавшимися от любопытства глазами — разноцветными лунами на хвостах сотен павлинов, которые здесь танцевали под звон женских браслетов. Даже собственные ее слуги в страстной жажде любоваться ею не отрывали от нее своих немигающих глаз, которые они будто взяли взаймы у бессмертных богов²⁷⁶. Она как бы распрощалась с детством, отбросив его как возраст, недостойный ее красоты, но пора юности еще не отдала ее под власть бога любви, хотя и провозгласила его могущество.

У ног ее словно бы полыхала коралловая река: пальцы на ее ногах казались красными лучами, которые отбрасывает ее тело, или ручейками красоты, розовыми от лака, или алой бахромой на подоле ее шелкового платья, или сгустками блеска ее ножных браслетов, и были они такими нежными, что как бы сочились кровью сквозь круглые ногти, похожие на земные звезды. Сноп лучей от ее ножных браслетов поднимались вверх по стану, словно бы желая помочь ее бедрам выдержать груз ягодиц. Бедра казались разделенными надвое потоком ее кра-

соты, который, медля на склонах ягодиц, словно бы ниспадал с ее узкой талии, крепко сжатой рукой Праджапати; и были они повязаны кушаком, который во все стороны оцетинился пиками длинных лучей от драгоценных камней, как если бы он из ревности ограждал ее от взглядов мужчин, или, желая измерить объем ее бедер, пытался вытянуться как можно дальше, или как будто на нем поднялись волоски от блаженства близости ее тела. Ее ягодицы были такими тяжелыми, как если бы их обременяли сердца припавших к ее ногам воздыхателей; а талия такой тонкой, как если бы похудела с горя, что не может увидеть ее лицо за высокой грудью. Ее круглый пупок был подобен водовороту и так глубок, как если бы Праджапати, ваяя ее живот, оставил на нем вмятину от своего пальца. От пупка вниз шла дорожка выющихся волос, которая казалась строкой гимна, написанного Манматхой в честь его победы над тремя мирами. Ее высокая грудь, на которую падала тень от листьев в ее ушах, казалась тронем бога любви, поднявшимся из глубин ее сердца, которое не смогло выдержать его тяжести. Пара ее рук казалась двумя потоками лучей, идущих от ее длинных серег, или двумя лотосами, выросшими в чистой воде ее красоты; а ногти на пальцах излучали световые ливни, которые казались струями пота, пролитыми руками, которые изнемогали под бременем драгоценных браслетов. Ее подбородок озаряли лучи от ожерелья на шее, и казалось, они подпирают ее лицо, чтобы оно не клонилось вниз от тяжести груди. Ее

губы, красные как кораллы, казались двумя волнами страсти, выплеснутыми порывом ветра только что наступившей юности. Ее щеки, румяные и безупречно красивые, были похожи на хрустальные чаши, наполненные вином. Стрела ее прямого точеного носа походила на драгоценный смычок лютни. Она словно бы желала растворить весь мир в сиянии своих глаз, похожих на Молочный океан, в котором покоилась Лакшми ее лица;²⁷⁷ глаз, чьи уголки чуть-чуть покраснели, будто гневаясь на уши, мешающие им стать еще длиннее. Ее высокий лоб осеняли брови-лианы, блестящие, как капли мускуса на опьяневшем от страсти слоне, и, нанесенный красной пастой, светился на лбу кружок тилаки, словно сердце бога любви, сраженного ее красотой. В мочки ее ушей были вдеты золотые серьги, которые сверкали, покачиваясь, и казались двумя струйками меда, сочащегося из лотосов, заложенных за ее уши. Ее длинные густые волосы омывало, будто вино, сияние драгоценного камня, который словно бы целовал ее кудри и бросал красный отсвет на ее высокий лоб. Словно бы желая утвердить ее высокую участь и посрамить Гаури, гордую тем, что половину ее составляет Хара²⁷⁸, Манматха проник в каждую пору ее тела. Отражениями своего лика она как бы порождала на свет сотни Лакшми²⁷⁹, укрощая спесь Нараяны, довольствующегося только одной Лакшми на своей груди. Блеском своей улыбки она как бы разбрасывала по сторонам тысячи лун, умеряя надменность Шивы, чвающегося лишь одной луной у себя на челе²⁸⁰.

В сердце своем она давала приют мириадам богов любви, словно бы гневаясь на Хару, который безжалостно сжег единственного Манматху²⁸¹.

Из пыльцы, собранной с лотосов, она соорудила в игрушечной реке небольшую песчаную отмель, чтобы пара ручных чакравак, утомленных ночным бдением, могла на ней отдохнуть. «Привяжи на цепь из стеблей лилий гусей, которые бегают за моими служанками, привлеченные звоном их браслетов»,— приказывала она смотрительнице за гусями. Она кормила колосками ячменя домашнего олененка и пыталась отвлечь его от уха своей подруги, с которого он пытался слизать блики от изумрудных серег. Она дарила свои украшения смотрительнице сада, которая сказала ей, что на выращенной царевной лиане распустились первые цветы. Она старалась вовлечь в разговор смотрительницу игрушечной горки, которая принесла ей корзинку со всевозможными цветами и фруктами и, будучи чужестранкой, смешно и непонятно выговаривала слова. Она, будто с черными мячиками, играла с пчелами, когда они, опьяненные ароматом ее дыхания, слетались к ее лицу, а она снова и снова отгоняла их рукой. Она с улыбкой хлопала лотосом по голове держательницу опахала, когда та не к месту смеялась, заслышав воркование голубей в клетке. Она пудрила грудь своей хранительнице ларца с бетелем, делая вид, что принимает отражение жемчужного ожерелья на ее груди за царапины ночи любви, на которых проступили капли пота. Словно оказывая услугу, она листком лотоса,

снятым с уха, смеясь, прикрывала щеку держательнице своего опахала, делая вид, что принимает отсвет красных серег на ее щеке за полукружье следов ногтей ее возлюбленного.

Подобно земле, отвергнувшей притязания царственных гор и нашедшей прибежище на капюшонах Шеши²⁸², она отвергла притязания царственных женихов и довольствовалась исполнением своих прихотей. Подобно месяцу мадху, чьи яркие краски приглушены цветочной пылью, которую разносят пчелы, она смягчала блеск красного лака на ногах цветочной пудрой. Подобно осени, умеряющей веселье павлинов²⁸³ пением птиц с озера Манаса, она умеряла гордыню Шивы пением стрел Манматхи, порожденных ее взглядами. Подобно Гаури, украсившей голову диадемой из лунных лучей, она украсила свои волосы белым, как луна, диамантом. Подобно роце деревьев тамала на берегу океана, ее чело осеняли темные волосы, черные, как рой пчел. Подобно жене великого гуру, соблазненной Чандрой²⁸⁴, она чаровала взоры своей высокой грудью. Подобно лесной чаще, сумрачной от лиан кадали, на чаше ее живота темнела складка, похожая на лиану. Подобно утру, сияющему яркими красками лотосов и жаркими лучами солнца, ее одежда сверкала красным жаром рубинов и светлым блеском жемчуга. Подобно прозрачному озеру неба с прекрасным, как лотос, созвездием Мула, прозрачный муслин ее платья не скрывал прекрасных бедер-лотосов. Подобно хвосту павлина, сплошь в ярких кругах и полосах, вдоль спины ее кружевом ни-

спадали густые волосы. Подобно Древу желаний, дарящему каждому свои плоды, она казалась каждому желанным даром любви.

Прямо перед Кадамбари сидел Кеюрака, который рассказывал о своей встрече с Чандрапидой и всячески восхвалял его красоту, а Кадамбари снова и снова спрашивала: «Кто этот юноша? Чей он сын? Как его зовут? Как он выглядит? Сколько ему лет? О чем он говорил? Что ты ему говорил? Сколь долгой была ваша встреча? Как он познакомился с Махашветой? Собирается ли он прийти сюда?»

Как только Чандрапида увидел красоту лунного лика Кадамбари, сердце его всколыхнулось от радости, словно волны океана при появлении месяца. И он подумал: «Отчего Творец не превратил все мои чувства в одно только зрение? За какие великие заслуги удостоились мои глаза права любоваться ею? О, как удивительно это средоточие всего лучшего, что только сотворил в этом мире Брахма! Каким образом могли слиться воедино крупички этой несравненной красоты? Поистине, из капель слез, которые она проронила от боли, причиненной рукой Творца при ее создании, появились, верно, на свет все виды лотосов: и белые, и красные, и голубые, и желтые».

Пока он так думал, глаза его повстречались с глазами Кадамбари, которые широко распахнулись, покоренные совершенством его красоты, и, поняв, что перед нею тот юноша, о котором говорил Кеюрака, она уже не могла отвести от Чандрапиды взгляда. Он, взволнованный ее

прелестью и озаренный сиянием ее глаз, походил тогда на гору, освещенную солнцем, а у нее при виде его сначала поднялись волоски на теле, затем зазвенели браслеты, и, наконец, вся она потянулась ему навстречу.

Бог любви с цветочным луком увлажнил ее кожу потом, но она убеждала себя, что это от слабости, вызванной усилием быстро встать. Дрожь ног мешала ей двигаться, но она предпочла считать помехой стайку гусей, привлеченных звоном ее браслетов. От порывистого дыхания затрепетало ее платье, но разве не был тому причиной ветер, поднятый опахалами? Она прижала руку к сердцу, словно бы стремясь коснуться проникшего туда Чандрапиды, но предлогом было желание прикрыть грудь. На ресницах ее от радости выступили слезы, но извинением послужила пыльца, осыпавшаяся с цветов, украшавших ее уши. Смущение не давало ей говорить, но она винила в этом рой пчел, который вился у ее губ, вдыхая благоухание ее лица-лотоса. Она вскрикнула от боли, когда ее пронзила первая стрела Маданы, но притворилась, что укололась о шип цветка кетаки, который лежал на полу. У нее задрожала рука, но она сделала вид, что отстраняет ею привратницу, пришедшую к ней с докладом.

В тот же миг рядом с Манматхой, покорившим сердце Кадамбари, словно бы оказался другой Манматха, который, приняв образ Кадамбари, овладел сердцем Чандрапиды. И блеск ее драгоценностей стал казаться ему свадебным покровом, ее пребывание в его сердце — брач-

ным обрядом, звон ее украшений — любовным лепетом, плен, в который попали его чувства, — даром судьбы, возможность видеть ее красоту — счастьем обладания.

Встретившись с Махашветой после долгой разлуки, Кадамбари, преодолевая слабость, сделала несколько нетвердых шагов ей навстречу и нежно и крепко ее обняла. В ответ Махашвета обняла ее еще крепче и сказала: «Кадамбари, подруга! В стране бхаратов²⁸⁵ есть царь по имени Тарапида. Следы острых копыт его неисчислимого войска остались на берегах всех четырех океанов, и всех своих подданных он навсегда избавил от бед. Перед тобой его сын — Чандрапида, на могучих колоннах рук которого покоится бремя земли и который, завоевав все страны света, посетил и наш край. С той минуты как мы с ним повстречались, он, не имея на то никакой корысти, но только в силу своих природных достоинств, стал моим другом. И как ни окаменело мое сердце, отказавшись от всех привязанностей, оно пленилось его благородным характером и величием духа. Ибо трудно найти человека, который был бы столь же умен, как он, воспитан, искренен, обладал бы таким же прямодушием. Я нарочно привела его сюда, чтобы, свидевшись с ним, ты, как и я, убедилась в совершенстве творений Праджапати, в неувыдаемости красоты, в постоянстве пристрастий Лакшми, в счастливом жребии земли иметь таких повелителей, в превосходстве мира смертных над миром богов, в осуществимости женских чаяний, в способности к телесному во-

площению всех искусств, во всемогуществе добродетели, в величии человеческого рода. Я много рассказывала ему о тебе, моей дорогой подруге. Поэтому, хоть ты и не встречала его раньше, отбрось смущение; хоть ты и не знакома с ним, оставь недоверие; хоть ты и не знаешь его нрава, прогони сомнения. Обойдись с ним так же, как ты обходишься со мной. Он твой друг, твой родич, твой слуга».

Так говорила Махашвета о Чандрапиде, и Чандрапида, представленный ею, поклонился царевне. А когда он кланялся, Кадамбари искоса бросила на него нежный взгляд, и на ресницах ее выступили слезы радости, как если бы зрачки из-за долгого пути в уголки глаз от усталости покрылись каплями пота. Ее уста озарились чистым, как нектар, лунным светом ее улыбки, как если бы в воздухе за клубилась светлая пыль от движения ее сердца, рванувшегося ему навстречу. Одна из ее бровей-лиан поднялась вверх, как если бы хотела сказать голове: «Приветствуй его, столь милого твоему сердцу, ответным поклоном». Ее ладонь в сиянии лучей, струящихся сквозь пальцы от ее кольца с изумрудом, потянулась к приоткрывшемуся в глубоком вздохе рту, как если бы хотела вложить в него лист бетеля. Казалось, что Чандрапида, будто бог любви, овладел ее телом, отразился в каждой его частице, сияющей красотой и прозрачной от выступившего от волнения пота; он заблестел в ногтях на ее ногах, словно бы приглашенный припасть к ним ее большим пальцем, который царапал пол под звон драгоценных

браслетов; показался в ложбинке груди, словно бы притянутый ее сердцем, которое нетерпеливо желало свидания с ним; предстал на округлости ее щек, словно бы выпитый ее взглядом, долгим, как гирлянда голубых лотосов. А у всех служанок Кадамбари, жаждущих получше рассмотреть Чандрапиду, зрачки трепещущих глаз сместились к их уголкам, словно бы желая выпрыгнуть навстречу царевичу, и заметались взад и вперед, подобно пчелам, которые жужжали среди цветов в их ушах.

Кадамбари учтиво ответила поклоном на поклон и села на кушетку рядом с Махашветой. Чандрапида же сел в кресло на четырех золотых ножках, покрытое белым шелковым чехлом, которое слуги немедленно поставили у изголовья кушетки. Угадав желание Кадамбари и из почтения к Махашвете, привратницы призвали к тишине, приложив пальцы к сомкнутым устам, и тут же смолкли приветственные возгласы женщин Магадхи, замерли звуки песен, флейт и лютен. Служанки поспешили принести воду, и Кадамбари, встав с кушетки, собственными руками вымыла Махашвете ноги, вытерла их полрой своего платья и снова села. А ее подруга Мадалекха, пользующаяся полным доверием царевны, равная ей по красоте и дорогая ей, как собственная жизнь, вымыла ноги Чандрапиде, как он тому ни противился.

Затем Махашвета, ласково дотронувшись до плеча Кадамбари, озаренного блеском серег, поправив цветы в ее ушах, усеянные пчелами, пригладив ее длинные волосы, растрепанные

ветерком от опахал, спросила ее, как она поживает. Чувствуя себя чуть ли не виноватой перед любимой подругой, что живет во дворце, чуть ли не стыдясь своего здоровья, Кадамбари отвечала с запинкой, что все у нее хорошо. И хотя из сочувствия горю Махашветы она пыталась не отводить от нее глаз, бог любви с туго натянутым цветочным луком насильно обращал ее взгляд к Чандрапиде, и зрачки ее глаз, то и дело скашиваясь в его сторону, вспыхивали разноцветными искрами, словно бы нарочно мучая царевича. Кадамбари в одно и то же время испытывала ревность, оттого что Чандрапида появлялся в зеркальцах щек ее подруг, боль разлуки, оттого что лицо его исчезало с ее груди из-за поднявшихся на ней волосков, гнев соперницы, оттого что на его влажной от пота груди показались отображения статуй богинь в ее покоях, скорбь отчаяния, оттого что он вдруг закрывал глаза, страдания слепца, оттого что ей мешали его видеть застилавшие взор слезы радости.

Спустя немного времени, когда Кадамбари намеревалась предложить Махашвете бетель²⁸⁶, та ей сказала: «Кадамбари, подруга! Мне кажется, что сначала нужно почтить нашего гостя. Дай бетель ему». Услышав ее слова, Кадамбари наклонила голову и, повернув ее немного в сторону, смущенно прошептала: «Дорогая подруга! Я незнакома с ним, и мне совестно быть навязчивой. Возьми и дай ему сама». Лишь после повторных уговоров она робко, как какая-нибудь деревенская девушка,

решилась предложить бетель Чандрапиде. Стараясь глядеть только на Махашвету, трепеща всем своим стройным телом, тяжело и глубоко вздыхая, словно бы купаясь в волнах пота, поднявшихся под ударами стрел Манматхи, и ища поддержки чужой руки, чтобы не утонуть в этих волнах, словно бы нуждаясь, чтоб не упасть, в какой-то опоре, она неуверенно протянула Чандрапиде свою нежную руку с бетелем. И Чандрапида тоже протянул ей навстречу руку, которая была от природы пунцового цвета, как если бы измазалась в красной краске, когда он похлопывал ею по щекам боевого слона; на которой темнели рубцы от тугой тетивы лука, казавшиеся следами туши с ресниц плачущей богини славы его врагов, схваченной им за волосы; чьи пальцы вслед за лучами света, отброшенными от белых ногтей, словно бы разбегались во все стороны, росли, трепетали и казались пятью чувствами, обретшими плотскую форму в страстном желании коснуться Кадамбари. А в Кадамбари в этот миг словно бы воплотились восемь рас²⁸⁷, которые явились понаблюдать за ее поведением. Когда она давала Чандрапиде бетель, увлажненный каплями пота, рука ее беспомощно, вслепую протянутая вперед и посылавшая потоки лучей, как бы в поисках руки Чандрапиды, казалось, проговорила звонком своих дрожащих в смятении браслетов: «Возьми эту служанку Манматхи», казалось, предложила ему себя навеки, казалось, вручила ему жизнь своей госпожи, воскликнув: «Отныне она принадлежит тебе!» Когда же Кадамбари

убрала назад свою нежную руку-лиану, то даже не заметила, что с нее, как бы в жажде прильнуть к Чандрапиде, соскользнул драгоценный браслет, будто был он ее сердцем, пронзенным стрелою Камы. Затем, взяв другой бетель, Кадамбари поднесла его Махашвете.

Вдруг в покои Кадамбари вбежала птица-сарика, вся словно бы состоящая из цветов: ноги ее были желто-розовыми, как лепестки лотоса кумуды, крылья — синие, как лотос кувала, голова походила на бутон чампаки. А вслед за нею степенно прошествовал попугай, чья шея, будто кольцом, была опоясана трехцветным подобием радуги, клюв напоминал отросток коралла, а крылья отливали изумрудом. Сарика сердито воскликнула: «Царевна Кадамбари! Почему ты не запретишь преследовать меня этой дурно воспитанной, худородной птице, чванящейся своей мнимой красотой? Если ты будешь равнодушно смотреть, как попугай меня оскорбляет, я непременно покончу счеты с жизнью. Клянусь в этом твоими ногами-лотосами!» Кадамбари, выслушав сарику, улыбнулась, а Махашвета, не понимая, в чем дело, спросила у Мадалекхи: «Что это с ней случилось?» И та рассказала: «Сарику зовут Калинди, и она любимица Кадамбари. Царевна, соблюдая все брачные обряды, выдала ее замуж вот за этого попугая по имени Парихаса. Но сегодня утром сарика заметила, как, оставшись наедине с Тамаликой, служанкой Кадамбари и хранительницей ее ларца с бетелем, попугай ей что-то нашептал. С этого времени, охваченная ревностью,

она в гневе воротит от него нос, не подходит к нему, избегает его касаний, не разговаривает с ним и на него не смотрит. Мы все умоляем ее смиростивиться, но она не желает».

Услышав это, Чандрапида еле сдержал смех и сказал, подавив улыбку: «Ну и история! Ей предстоит странствовать из уст в уста, ее перескажут слуги, станут повторять люди за стенами дворца, она разойдется по всему свету, и все мы еще не раз услышим, как, влюбившись в Тамалику, хранительницу бетеля божественной Кадамбари, попугай Парихаса, пылая страстью, забыл о своем долге. Но что толковать об этом невеже попугае, пренебрегшем женой ради бесстыдницы Тамалики! Как могло случиться, что божественная Кадамбари потворствует своей легкомысленной бессовестной служанке? Да и не было ли с ее стороны жестоким выдать замуж несчастную Калинди за столь дурно воспитанного попугая? Однако что же делать теперь бедной Калинди? Ведь если муж берет новую жену, для женщины это первейшая причина для гнева, глубочайший источник отчаяния, худшее из оскорблений. Нет, эта Калинди чересчур терпелива, раз в такой беде, под бременем такой злосчастной судьбы она еще не выпила яду, не взошла на костер, не уморила себя голодом. Ведь нет для женщин большего бесчестья, чем измена мужа. Горе ей, если она примирится со своей великой обидой и снова будет жить с попугаем! В таком случае не стоит о ней сожалеть, но нужно выпроводить куда подальше, изгнать с позором. Кто тогда будет с ней разгова-

ривать, кто на нее взглянет, кто упомянет ее имя?»

Так он сказал, и все женщины, включая Кадамбари, весело засмеялись в ответ. А Парихаса, выслушав его шутивную речь, заметил: «Ты умен, царевич, но и сарика не из глупых. Хотя нрав ее и капризен, ни тебе, ни кому другому не удастся заморочить ей голову. Всю жизнь она провела во дворце и достаточно заточила свой ум, чтобы понять любой намек, разобраться в любой насмешке. Перестань смеяться, она не повод для шуток. Сама владея искусством слова, она знает и место, и время, и меру, и случай, и резон для гнева и для милости».

В этот момент в покои вошел придворный и обратился к Махашвете: «Долгой жизни тебе, царевна! Царь Читраратха и царица Мадира желают тебя видеть». Услышав это, Махашвета встала, но, перед тем как уйти, спросила Кадамбари: «Подруга, где ты думаешь дать приют Чандрапиде?» А та, смущенно подумав: «Разве он не нашел приюта в сердцах тысяч женщин?» — вслух ответила: «Махашвета, подруга! О чем тут говорить? Как только я его увидела, он тут же стал господином моей жизни, тем более господином моего дворца, богатства и слуг. Пусть остановится там, где ему угодно или по сердцу тебе, моей дорогой подруге». На это Махашвета сказала: «В таком случае лучше ему пожить в золотом павильоне, что стоит на искусственной горке в парке для увеселений подле твоего дворца». Так сказав, она пошла к царю гандхарвов. А Чандрапида, выйдя с нею, напра-

вился в золотой павильон на искусственной горке. Путь туда ему указывал знакомый ему Кеюрака, а свиту составили девушки, которые по приказу Кадамбари были посланы с ним привратницей и которые были обучены игре на лютнях и флейтах, любили музыку, умели метать кости, были искусны в шахматах, хорошо рисовали и прекрасно знали стихи.

Когда Чандрапида ушел, царевна гандхарвов отпустила подруг и свиту и лишь с несколькими служанками поднялась на верхнюю террасу дворца, где опустилась на ложе. Служанки, которые сначала пытались ее развлечь, почтительно отошли в глубь террасы, и она, с трудом владея собою и испытывая от этого глубокий стыд, на время осталась одна.

«Безрассудная, что ты наделала?» — как бы стыдила ее застенчивость. «Царевна гандхарвов, разве приличествует тебе такое поведение?» — напоминала ей скромность. «Куда девалось твое девичье простодушие?» — подтрунивала над ней невинность. «Сумасбродка, берегись своего своеволия», — наставляла юность. «Заблудшая, это не путь для царевны», — упрекало достоинство. «Негодница, побереги свою честь», — корила добропорядочность. «Глупая, любовь ведет к легкомыслию», — предостерегало благородство. «Откуда эта слабость сердца?» — негодовала твердость. «Поступай как знаешь, я уже не властно над тобой», — отрекалось от нее послушание. И она подумала: «Что же такое со мною случилось? Поддавшись безумию, я не посчиталась с собственными страхами.

Нетерпеливая, я не взяла в расчет, что никогда прежде его не видела. Бесстыдная, я не потревожилась, что меня назовут легкомысленной. Глупая, я не вникла в его поведение. Беспечная, я не задумалась, нравлюсь я ему или нет. Я не побоялась позора быть отвергнутой, не утратила гнева родителей, пренебрегла общим осуждением. И еще: неблагогородная, я забыла о страданиях Махашветы, безрассудная, не обращала внимания на стоящих рядом подруг, отупевшая, не думала, что меня видят слуги. Даже бестолковые заметили бы нескромность моего поведения — что уж говорить о Махашвете, которая сама испытала бедствия любви, или о моих подругах, сведущих в любой манере вести себя, или о слугах, получивших воспитание при дворе и разбирающихся во всех проявлениях чувств. Ведь у служанок женских покоев особенно острый взгляд на такие вещи. Несчастливая, я совсем пропала! Лучше уж мне поскорее умереть, чем жить в позоре. Что скажут мать, отец, весь народ гандхарвов, когда услышат, что со мною произошло? Как же мне поступить, где найти лекарство, чем скрыть свою вину, кому рассказать об этом безумии чувств, ставших мне неподвластными, куда увлекает меня бог любви, спаливший мне сердце? Когда случилась беда с Махашветой, я приняла обет безбрачия, торжественно возвестила о нем милым подругам, подтвердила его в послании, переданном Кеюракой. А теперь... кто же ко мне, несчастной, привел без моего ведома этого искушителя Чандрапиду: злая судьба, или погубитель

Манматха, или мои дурные деяния в прошлых рождениях, или проклятая смерть, или кто-то еще? А может быть, это он сам, хотя я и не знала его прежде, не видела, не представляла, никогда о нем не думала, нарочно пришел ко мне, чтобы надо мной посмеяться? Как только я на него взглянула, меня словно бы связали и бросили ему под ноги мои собственные чувства; Манматха словно бы заточил меня в клетку из своих стрел и отдал эту клетку ему; страсть словно бы сделала меня своей рабыней и подтолкнула в его сторону; сердце словно бы продало меня и получило себе в уплату его образ». «Не хочу иметь дело с таким наглецом», — решила она, но едва только так подумала, как Чандрапида из глубины ее похолодевшего сердца словно бы высмеял ее решение: «Если не хочешь иметь со мною дела, я сам уйду отсюда, притворщица». Жизнь затрепетала в ее горле, как бы испрашивая разрешения покинуть ее, как только она надумает оставить Чандрапиду. Слезы выступили у нее на ресницах, как бы советуя: «Безрассудная, омой свои глаза, еще раз взгляни на него: такой ли он человек, чтобы от него отказаться?» Бог любви пригрозил ей: «Я избавлю тебя от твоей гордыни вместе с твоей жизнью». И тогда ее сердце вновь устремилось к Чандрапиде.

Как ни старалась Кадамбари обрести покой, все ее старания кончились неудачей, и тогда, как если бы любовь лишила ее собственной воли и подчинила воле кого-то другого, она подошла к решетчатому окну и устремила взгляд в сторону

искусственной горки. Словно бы опасаясь, что ей воспрепятствуют слезы любви, она пыталась увидеть Чандрапиду не глазами, а памятью. Словно бы страшась, что ей помешает пот, увлажнивший пальцы, она рисовала его в уме, а не на холсте. Словно бы испугавшись преграды поднявшихся на теле волосков, она прижимала его прямо к сердцу, а не к груди. И словно бы не способная ни на миг продлить разлуку, она посылала за ним свои мысли, а не слуг.

Между тем Чандрапида вошел в золотой павильон, как раньше он вошел в сердце Кадамбари, и опустился на ковер, расстеленный поверх скалы и обложенный со всех сторон грудами подушек. Кеюрака возложил себе на колени его ноги, вокруг по его указанию расселись служанки, а Чандрапида, полный сомнений, принялся про себя рассуждать: «Откуда у дочери царя гандхарвов эти искусные манеры, способные похитить сердце любого человека? Присущи ли они ей от рождения или это ради меня им научил ее бог любви, милостивый ко мне, хотя я ничем не заслужил его благосклонности? Своими прищуренными глазами, прикрытыми пеленой слез, будто цветочной пылью с поразивших ей сердце стрел Маданы, она искоса бросала в мою сторону потаенные взоры. Когда же я смотрел на нее, она стыдливо пряталась за блеском улыбки, словно за белым шелковым пологом. Она застенчиво отворачивала лицо и вместо глаз подставляла мне зеркало своих щек, как бы желая, чтобы в них отразились мои черты. Она царапала ноготком по

кушетке, словно бы рисуя знак прихоти своего сердца, давшего мне приют. Рукой, поднесшей мне бетель и еще дрожащей от напряжения, она словно бы обмахивала свое пылающее лицо, и вокруг ее ладони, принимая ее за розовый лотос, вился темный рой пчел, который выглядел как черный листок тамалы».

А затем он подумал: «Нет, видно, это воображение, столь свойственное человеку, затуманивает мне голову тысячью миражей. То ли Мадана, то ли пьяные грезы юности лишают меня рассудка. Ведь глаза юношей, будто пораженные слепотой, даже в чем-то пустячном склонны видеть великое. Даже капля приязни разрастается в их фантазиях, как масло в воде. Нет такой мечты, какой бы не пестовал незрелый ум, порождающий, подобно воображению поэта, сотни видений. Нет ничего, чего бы он себе не представил, когда им, словно кистью художника, завладеет коварный Манматха. Нет такой крайности, на которую, словно ветреницу, хвастающую своей красотой, не толкнет человека самообольщение. Желание, точно сон, рисует то, чего никогда не было. Надежда, точно фокусник, внушает то, чего быть не может». И еще он подумал: «К чему эти бесплодные и тревожные мысли! Если сердце светлоглазой царевны действительно ко мне расположено, мой покровитель Манматха, хоть я и не заслужил его благосклонности, сам даст мне знать об этом и устранил мои сомнения».

Так рассудив, Чандрапида встал с ковра, сел в кресло, и девушки, присланные Кадамбари,

принялись развлекать его: они пели, играли на лютнях и тамбуринах, бросали кости, загадывали загадки, читали стихи, вели утонченную беседу, демонстрируя знание самых разных искусств. Но спустя какое-то время он вышел из павильона и, желая осмотреть парк, взобрался на вершину искусственной горки. Там его увидела Кадамбари и под предлогом, что хочет знать, не возвращается ли Махашвета, отошла от окна и с сердцем, охваченным любовью, поднялась на крышу дворца, подобно Парвати, восходящей на пик Кайласы.

Здесь в окружении нескольких служанок она постояла немного. Ее защищал от жара солнца зонт с золотой ручкой, светлый, как полный круг месяца. Ее обдувал ветерок от четырех опахал, белых, как пена. Возле ее лица, привлеченные ароматом цветов, жужжали пчелы, и казалось, что, торопясь на свидание с Чандрапидой, она, хотя и был день, по женскому обыкновению прикрывала голову темной накидкой. То прислоняя лицо к опахалам, то прижимаясь к ручке зонта, то кладя руки на плечи Тамалики, то обнимая Мадалекху, то прячась за своими служанками, то изгибая в наклоне три складки на животе, то опираясь щекой на жезл привратницы, то беря бетель дрожащей рукой и кладя его за нижнюю губку, то в шутку бросая в служанок лотосы из своих волос, а когда они пускаются бежать, делая с улыбкой несколько шагов им вслед — Кадамбари, прищулив глаза, глядела на Чандрапиду, а он — на нее. И она не замечала, как течет время. Наконец явилась привратница и сообщила ей,

что вернулась Махашвета. Тогда Кадамбари сошла с крыши, и, хотя ей было не до омовения и прочих церемоний, она из уважения к Махашвете сделала все, что было положено по этикету.

Тут и Чандрапида спустился с вершины искусственной горки и, отпустив служанок Кадамбари, совершил обряд омовения, на гладком камне своего ложа вознес молитвы богу любви и завершил дневные дела вкушением пищи. Поев, он сел на плиту из изумруда, которая лежала на восточном склоне горки. Эта прекрасная плита, темно-зеленого цвета, будто оперение голубей харитала, влажная от клочьев пены с губ жевавших свою жвачку ланей, блестящая, как воды Ямуны, застывшие в страхе перед плугом Баларама²⁸⁸, была покрыта красными пятнами лака с ног молодых женщин, усыпана, будто песком, цветочной пылью с окрестных лиан и служила как бы танцевальной залой для дворцовых павлинов.

Внезапно Чандрапиде показалось, что день, будто в воде, потонул в ослепительно белом сиянии, что блеск солнца будто выпит стеблями лотосов, что земля будто плавает в Молочном океане, что стороны света будто обрызганы сандаловым соком, что небо будто смазано белой мазью. И он подумал: «Неужели так быстро вошел благой месяц, повелитель холодных лучей, владыка трав? Или это дворцовые фонтаны выбросили из своих железных горл тысячи белых струй? Или, быть может, небесная Ганга, сойдя на землю, побелила ее брызгами воды, разнесенными ветром?»

Когда же он, любопытствуя, откуда льется сияние, оглянувшись, то увидел, что к нему в сопровождении свиты девушек приближается Мадалекха. Она шла под белым зонтом, обвеваемая двумя опахалами, и опиралась на правую руку привратницы, в то время как в левой, привыкшей к жезлу руке та держала шкатулку из кокосового ореха, наполненную сандаловой мазью и прикрытую куском влажной ткани. Дорогу Мадалекхе указывал Кеюрака, который нес два шелковых платья, словно бы сотканые из коры Древа желаний, такие легкие, что они трепетали от малейшего вздоха, и такие белые, что они походили на сброшенную кожу змеи. За Мадалекхой шла Тамалика с венком из цветов малати в руках, а рядом с нею — Таралика с ларцом, обтянутым белым шелком, в котором покоилось ожерелье, излучающее волны белого света.

Это ожерелье не было бы ошибкой принять за первопричину белизны Молочного океана, или за двойника месяца, или за стебель лотоса, растущего из пупа Нараяны, или за сгусток амриты, взбитой горой Мандарой при пахтанье океана, или за старую кожу Васуки, сброшенную им от усталости, или за улыбку Лакшми, забытую ею в отчем доме²⁸⁹, или за связанные нитью осколки месяца, раздробленного горой Мандарой, или за отражения звезд, поднявшихся из волн океана, или за собранные воедино брызги воды из хоботов слонов — хранителей стран света, или за звездную диадему на голове Маданы, принявшего образ слона. Его будто

сделали из клочьев осенних туч или из сердец святых мудрецов, плененных красотой Кадамбари, и оно казалось владыкой всех драгоценных камней на свете, средоточием славы всех океанов, соперником месяца, душой лунного света. Сверкая, как капли воды, которые стекают с листа лотоса, оно походило на сердце Лакшми, такое же непостоянное, как эти капли. Отбрасывая светлые блики, подобные браслетам из стеблей лотоса, оно походило на любовника, украсившего руку браслетом из лотосов. Озаряя мир блеском своих жемчужин, оно походило на свободную от туч осеннюю луну, озаряющую все стороны света. Благоухая ароматом, подобным аромату груди божественной девы, оно походило на реку Мандакини, в которой купаются божественные апсары.

Увидав ожерелье, Чандрапида понял, что от него-то и исходит сияние, превосходящее белизною лунный свет, и, еще издали приветствуя подходившую Мадалекху, он встал и принял ее, соблюдая все обычаи гостеприимства. Мадалекха сначала присела на плиту из изумруда, но потом поднялась с нее, умастила Чандрапиду принесенной сандаловой мазью, надела на него шелковое платье, увенчала венком из цветов малати и, отдав ему под конец ожерелье, сказала: «Царевич, кого не сделает покорным любви к тебе твой ум, прекрасный отсутствием гордыни? Кого не пленит твоя скромность? Чьей жизни не станет владычицей твоя красота? Чьей дружбы ты не добьешься своей добротой, чуждой корысти? Кого не прельстит твой нрав,

щедрый от природы? Кого не утешат твои добродетели, своим проявлением всегда приносящие радость? Весь облик твой заслуживает упрека лишь в том, что тотчас внушает доверие. Ведь если бы не было этого доверия, то любые слова о таком, как ты, чье величие прославлено в мире, показались бы дерзкими. Ибо даже заговорить с тобой — значит покуситься на твое достоинство, почитать тебя — значит себя возвеличивать, восхвалять тебя — значит самому зазнаваться, пытаться тебе услужить — значит слишком на себя надеяться, любить тебя — значит считать себя тебе ровней. Даже обращение к тебе можно принять за неуважение, даже угождение тебе — за обиду, даже подарок тебе — за оскорбление. Да и что можно подарить тому, кто сам берет себе в дар сердца? Что можно предложить тому, кому и так принадлежат наши помыслы? Чем осчастливишь того, кто первым осчастливил нас милостью своего прихода? Разве способны мы сделать твое пребывание у нас плодоносным, если само оно — лучший плод нашей жизни?

Поэтому, предлагая эти дары, Кадамбари предлагает тебе свою преданность, а не какие-то свои богатства, ибо не стоит и говорить, что богатства благородного принадлежат не только ему. Да что там богатства! Даже став рабыней такого, как ты, любая девушка не вызовет осуждения; даже отдав тебе саму себя, не будет обманута; даже вручив свою жизнь, не будет сожалеть об этом. А величие добродетельных в том, чтобы не отвергать любящих и быть снис-

ходительными. Стыдно бывает не тем, кому дарят, а тем, кто дарит. Вот и Кадамбари, сказать откровенно, посылая тебе эти дары, чувствует себя пристыженной. Она посылает это ожерелье, зовущееся Шеша — «Оставшееся», потому что единственным из сокровищ оно осталось у Океана после его пахтанья богами и асурами. Благой Океан особенно его ценил, но подарил мудрому Варуне, когда тот посетил его глубины. Варуна передарил его царю гандхарвов, тот — Кадамбари, а Кадамбари, полагая, что только тебе должно принадлежать такое сокровище, подобно тому как небу, а не земле принадлежит луна, посылает его тебе. И хотя такой, как ты, прекрасен собственными достоинствами и не нуждается в бремени украшений, ценимых лишь обычными людьми и причиняющих одни хлопоты, Кадамбари видит оправдание своему дару в своей приязни к тебе. Разве благой Нараяна не носит у себя на груди камень каустубху, удостоившийся столь великой чести, потому что появился на свет вместе с Лакшми? Но Нараяна не выше тебя, высокочтимый, камень каустубха ни одним из своих качеств не превосходит ожерелье Шешу, а Лакшми, как ею ни восхищаться, — не соперница в красоте Кадамбари. Поэтому Кадамбари просит тебя принять ожерелье, оказать ей эту великую милость и надеется, что ты сочтешь ее достойной своего расположения. Если же ты отклонишь ее просьбу, то, не сомневаюсь, она осыплет Махашвету тысячью упреков, а сама покончит счеты с жизнью. Поэтому Махашвета, послав к тебе с

ожерельем Таралику, поручила ей передать тебе такие слова: «„Высокочтимый, даже в мыслях не отвергай этот первый дар любви Кадамбари“».

Так сказав, Мадалекха возложила на грудь Чандрапиды ожерелье Шешу, которое стало похоже на сонм звезд на склоне горы Меру. А Чандрапида, придя в изумление, отвечал ей: «Мадалекха! Что мне сказать? Ты умна и знаешь, как уговорить принять дар. Ты красноречива и не оставляешь места для возражений. Да и кто мы такие, прямодушная, чтобы что-то принимать или отвергать! Поистине, бесплодны все разговоры о нашей свободе. Покорив человека дружелюбием, можно делать с ним все что захочешь — желает он этого или нет. Да к тому же и нет такого невежи, который не стал бы рабом великих достоинств благородной царевны Кадамбари». Приняв ожерелье, Чандрапида еще долго говорил с Мадалекхой о Кадамбари, а потом распрощался с нею.

Не успела Мадалекха вернуться домой, как дочь Читраратхи, сложив с себя знаки царского достоинства: желз, зонт и опахало — и запретив служанкам следовать за собою, в сопровождении одной Тамалики снова вышла на крышу дворца, чтобы взглянуть на Чандрапиду, который тоже поднялся на вершину искусственной горки и в белом блеске сандаловой мази, шелкового платья и жемчужного ожерелья походил на месяц, взошедший над горой Восхода. И, стоя на крыше, она игрой страстных взглядов, пленительной сменой поз и жестов вновь похитила его сердце.

То, опершись левой рукой-лианой о круглое бедро, опустив правую руку на шелковое платье и глядя на Чандрапиду немигающим взором, она казалась словно бы нарисованной. То словно бы в страхе, чтобы не вырвалось его имя, она прикрывала рот рукою, притворно зевая. То словно бы окликала его жужжанием пчел, когда отгоняла их, прилетевших на аромат ее дыхания, размахивая полой платья. То словно бы приглашала его в объятия, когда прикрывала руками грудь, поспешно натягивая соскользнувшую с плеч накидку. То словно бы кланялась ему, когда шаловливо нюхала цветы, выпавшие из густых волос прямо ей в ладони. То словно бы поверяла ему сердечные желания, перебирая кончиками пальцев жемчужную нить на груди. То словно бы рассказывала ему о мучениях, доставленных цветочными стрелами бога любви, когда, запинаясь о цветы, разбросанные по крыше, вскидывала вверх руки. То словно бы предлагала ему себя связанной путами Манматхи, когда ноги ей, будто железной цепью, оплетал уроненный пояс. То удерживая падающее платье движением бедер и прикрывая грудь концом накидки, то испуганно поворачиваясь и изгибая на животе три складки-лианы, то подбирая руками-лотосами рассыпавшиеся волосы, то потупляя голову — она искоса бросала на него долгие взгляды, от которых светлели цветы в ее ушах, окропляла щеки брызгами нектара стыдливой улыбки, и на лице ее непрерывной чередой сменялись все оттенки чувств. Так она долго стояла, пока не померк свет дня.

Затем, когда диск благого солнца, владыки жизни растений, верховного правителя трех миров, стал багровым, как если бы сердце его запылало страстью к лотосам; когда понемногу заалел небосвод, словно бы от женских взглядов, разгоревшихся в гневе на замешкавшийся день; когда солнце с семью конями его колесницы, зелеными, как голуби харита, утратило свой блеск; когда лужайки цветов сделались бледно-желтыми и лепестки цветочных бутонов сомкнулись, опечаленные разлукой с солнцем; когда расцвели белым цветением купы ночных лотосов; когда горизонт стал красным; когда сгустилась вечерняя мгла; когда мало-помалу скрылось из виду благое солнце и его лучи вспыхнули в последний раз, словно бы в надежде на новое свидание с красотой дня; когда мир смертных пронизало сияние вечерней зари, словно бы прихлынул океан страсти, переполнившей сердце Кадамбари; когда разосталась повсюду тьма, черная, как молодые деревья тамала, и, словно дым от тысяч сердец, сожженных в пламени бога любви, вызвала слезы на глазах женщин; когда в небе зажглись мириады звезд, похожих на брызги воды, бьющей из хоботов слонов — хранителей мира; когда наступило то время суток, которое делает все вокруг недоступным зрению, — тогда Кадамбари спустилась с крыши дворца, а Чандрапида — с вершины искусственной горки.

Спустя недолгое время, радуя взоры смертных, источая нектар лучей, который с благоговением пьют ночные лотосы, взошел благой месяц.

Он словно бы очистил от гнева потемневшие лики божеств сторон света, но пощадил, обойдя стороной, дневные лотосы, оцепеневшие в страхе при его приближении. Он словно бы нес в виде пятна на груди ночь — свою возлюбленную. Он светился розовым светом, словно бы к нему пристал лак с ноги его жены Рохини, ударившей его в любовной ссоре. Он словно бы шел на свидание с небесной твердью, закутавшейся в темные одежды. Он, сам влюбленный, словно бы хотел поделиться своей любовью-милостью со всем миром.

И когда взошел месяц — царский зонт бога любви с цветочным луком, верный супруг ночных лотосов, драгоценный бриллиант в ушах ночи — и излил свое белое сияние на весь мир, так что тот показался вырезанным из слоновой кости, Чандрапида присел на плиту из жемчуга, указанную ему служанками Кадамбари. Она лежала на берегу дворцового пруда, который словно бы состоял из одних лотосов и весь был залит лунным светом, к которому вели мраморные ступени, омытые внизу водой и белые, как нектар, над которым от волн, будто от опахал, веял нежный ветерок и на глади которого спали парами гуси и кричали разлученные чакраваки. По краям жемчужной плиты, словно орнамент, лежали лепестки лотосов, по ней были разбросаны белые гроздья цветов синдхувары, она была чисто вымыта сандаловой водой и прохладна, как месяц. Но едва Чандрапида сел на нее, как явился Кеюрака и сообщил, что божественная Кадамбари идет повидать царевича.

Чандрапида поспешил встать ей навстречу. Она шла в сопровождении лишь нескольких подруг, сняв с себя все знаки царского достоинства и оставив себе как украшение лишь одну жемчужную нить, будто обычная женщина. Ее стройное тело было омыто чистой сандаловой водой и светилось белым блеском; в одном ее ухе висела серьга из слоновой кости, в другом трепетал лепесток лотоса, нежный, как серп молодой луны; на ней было белое, как лунный свет, шелковое платье, словно бы подаренное ей Древом желаний, и она казалась в таком наряде земным воплощением богини восхода луны. Опираясь на руку Мадалекхи, Кадамбари подошла к Чандрапиде и, не скрывая всей силы своей приязни к нему, села у его ног, как простая служанка. Чандрапида тоже опустился рядом с нею на землю и не вставал с нее, хотя Мадалекха несколько раз просила его подняться на плиту. Подождав немного, пока все расселись, Чандрапида сказал: «Царевна, для твоего слуги, который счастлив одним твоим взглядом, излишни иные милости: твои слова или тем более твой приход. Сколько ни думаю, поистине, не вижу за собой и малейшей заслуги, которой я был бы обязан великой чести видеть тебя. Только по своей доброте, благородству, чуждому всякой гордыни, и великодушию ты так благоволишь к своему новому слуге. Ведь не считаешь же ты меня, царевна, невежей, которому дороги одни только почести? Я счастлив, как может быть счастлив слуга, которым ты повелеваешь. А слуга не заслуживает награды за

то, что исполняет приказы. Тело его принадлежит господину, а жизнь не стоит и сухой былинки. Поэтому мне совестно даже пытаться как-то отблагодарить тебя за милость твоего прихода. Однако вот я сам, вот мое тело, вот моя жизнь, вот мои чувства! Возьми, что пожелаешь, и этим ты уготовишь мне великую участь». Прервав его, Мадалекха сказала с улыбкой: «Довольно, царевич! Моей подруге Кадамбари лишь досаждают все эти церемонии. К чему так много говорить? Она все понимает без слов. Своей велеречивостью ты можешь лишь возбудить сомнение в своих чувствах».

Затем, отвечая на расспросы Кадамбари, Чандрапида вновь подробно рассказал о царе Тарапиде, о царице Виласавати, о благородном Шуканасе, о том, каков город Удджайини, как далеко он расположен, что представляет собой страна бхаратов и как прекрасен мир смертных. И, проведя в подобного рода беседе немало времени, Кадамбари удалилась, приказав Кеюраке и другим слугам остаться на ночь с Чандрапидой. Сама же она поднялась на верхнюю террасу дворца и там возлегла на кушетку, застланную белым шелковым покрывалом. Чандрапида тоже лег на свое каменное ложе и, в то время как Кеюрака поглаживал ему ноги, размышлял о скромности, удивительной красоте и благородстве характера Кадамбари, о бескорыстном дружелюбии Махашветы, о высоких добродетелях Мадалекхи, о многих достоинствах слуг Кадамбари, о вели-

колепии царства гандхарвов, о прелести страны Кинпуруши. И эта ночь промелькнула для него как одно мгновение.

Спустя какое-то время месяц, словно бы утомившись неусыпным любованием красотой Кадамбари, поблек и опустился за прохладную под порывами морского ветра кромку лесов из деревьев тала, тамали, тали и кадали на берегу Западного океана. Лунный свет будто пожухнул от жарких вздохов женщин, расстроенных предстоящей разлукой с любимыми. Лакшми, охладив свою страсть к Чандрапиде свежестью ночных лотосов, возлегла на ложе из дневных лотосов. И вот в конце ночи, когда свет лампад во дворце стал бледным, как будто они ослабли от ударов, которыми пытались потушить их стыдливые любовники, хлопая их лотосами, снятыми с женских ушей; когда задул утренний ветерок, благоухающий ароматом цветов и словно бы доносящий вздохи бога любви, уставшего от непрерывного натягивания своего лука; когда звезды, потускневшие на ранней заре, словно бы в страхе скрылись в зарослях лиан на горе Мандаре; когда медленно поднялся красный круг солнца, который словно бы пропитался жаром сердец чакравак, всю ночь грезивших о предстоящем свидании,— Чандрапида встал с каменного ложа, ополоснул свое лицо-лотос, исполнил обряд почитания утренней зари и, взяв в рот бетель, сказал Кеюраке: «Кеюрака, пойди посмотри, проснулась ли царица Кадамбари и где она сейчас». Кеюрака ушел, а вернувшись, сообщил царевичу, что Кадамбари с Махашве-

той находятся в мраморном павильоне парка, расположенного подле дворца Мандары. И Чандрапида, мечтая вновь встретиться с дочерью царя гандхарвов, тотчас же туда направился.

В павильоне он первой увидел Махашвету, которую окружали странствующие послушницы Шивы, чьи лбы были вымазаны белой золой, одежда выкрашена в коричневый цвет, а руки в неустанном движении перебирали четки, буддистские монахини, одетые в красное платье, словно бы сшитое из кожуры спелых плодов дерева тала, джайнские подвижницы, туго подпоясавшие груди белыми кушаками, брахманки-ученицы с волосами, заплетенными в косицы, в платье из лыка, с поясками из травы мунджи, с посохами из дерева палаши. Они читали священные гимны, восхваляя владыку Шиву и Амбику, Карттикею и Вишну, Джину и Бодхисаттву, Авалокитешвару и Брахму, а Махашвета тем временем принимала гостей — старших родственниц царя гандхарвов, и все женщины гарема почтительно их приветствовали, низко кланяясь и вставая при их приближении, предлагали им кресла из тростника и вступали с ними в беседу. Затем Чандрапида увидел Кадамбари: она внимательно слушала «Махабхарату», лучшую из священных книг, которую звонким голосом читала дочь Нарады, и чтение это сопровождали сладкой, как жужжание пчел, игрой на флейтах две сидящие рядом киннары. Кадамбари гляделась в зеркало, держа его прямо перед собой; ее приоткрытые губки, розовые, словно медная пластинка для письма,

с которой стерли воск, изнутри потемнели от бетеля, но светились от лунного блеска ее зубов; а подле нее кругами, будто только что взошедший месяц, ходил домашний гусь и не отрывал широко раскрытых глаз от заткнутого за ее ухо цветка шириши, принимая его за зеленую ряску.

Чандрапида подошел, отвесил низкий поклон и сел на предложенную ему скамью посреди мраморного павильона. Помедлив немного, он взглянул в лицо Махашвете и смущенно улыбнулся, так что щеки его слегка порозовели. Та, тотчас разгадав его мысли, сказала Кадамбари: «Подруга, Чандрапида растоплен лучами твоей красоты, как лунный камень луною, и сам уже не способен говорить. Дело в том, что настало время его отъезда, ибо покинутая им свита, не зная, что с ним случилось, должно быть, впала в отчаяние. Поэтому позволь ему удалиться. Но и тогда, когда вы окажетесь вдали друг от друга, любовь ваша будет длиться до скончания мира, так же как любовь дневных лотосов к их покровителю солнцу или любовь ночных лотосов к их владыке месяцу». Кадамбари отвечала: «Подруга, подобно собственному сердцу царевича, я и вся моя свита целиком в его власти. К чему тут говорить о моих желаниях!» Так сказав, она позвала царевичей-гандхарвов и приказала им сопровождать Чандрапиду в пути. А Чандрапида встал, поклонился сначала Махашвете, потом Кадамбари, и, взволнованный нежным взглядом царевны и благородством ее ума, воскликнул: «Божественная, что мне сказать на прощание!

Кто много говорит, не вызывает доверия. Я только хотел бы, чтобы ты вспоминала обо мне в разговорах со своими слугами». С этими словами он вышел из павильона. И все, кроме Кадамбари, бывшие там девушки проводили его до ограды дворцового парка, покоренные его достоинствами.

После того как девушки простились с ним и ушли, Чандрапида сел на коня, подведенного Кеюракой, и в сопровождении царевичей-гандхарвов покинул Хемакуту. И когда он ехал, то думал только о дочери Читраратхи, и только она одна стояла перед его взором. Прикованный к ней, ланеоккой, всеми своими мыслями, он видел ее и сзади, как если бы она прижалась к его спине, не в силах снести одиночества, и спереди, как если бы она хотела преградить ему дорогу, и в небе, как будто ее вздымали вверх волны его собственной грусти, и у своей груди, как будто, оплакивая всем сердцем разлуку, она желала получше разглядеть его лицо.

Подъехав спустя какое-то время к обители Махашветы, Чандрапида застал здесь свое войско, расположившееся лагерем на берегу Аччходы, куда оно пришло по следам копыт Индраюдхи.

Встреченный всеми воинами с радостью, удивлением и восторгом, он отослал обратно юношей гандхарвов и вошел в приготовленную для него палатку. Там он приветствовал царевичей своей свиты и большую часть дня провел с Вайшампаяной и Патралекхой, рассказывая им о Махашвете, Кадамбари, Мадалекхе, Тамалике

и Кеюраке, обо всем том, что с ним случилось. Как бы ревнуя к образу Кадамбари в его сердце, богиня царской славы не находила теперь в Чандрапиде прежней улады. Ибо, бодрствуя всю ночь, он любовно думал только о прекрасной царице гандхарвов.

На следующее утро, едва только зардело благое солнце, Чандрапида, все еще вспоминая Кадамбари, явился в палатку совета и вдруг увидел, как вслед за привратником туда входит Кеюрака. Кеюрака еще издали отвесил Чандрапиде низкий поклон, коснувшись лбом земли, а Чандрапида с возгласом: «Ближе, ближе!» — бросился ему навстречу и, не отрывая от него глаз, сначала обнял его взглядом, затем — сердцем, затем поднявшимися по всему телу волосами и, наконец, горячо и крепко — руками. Посадив его рядом с собой, Чандрапида стал его торопливо расспрашивать, и каждое слово, которое он произносил, казалось, светилось нектаром его улыбки и вырывалось из самой глубины сердца: «Скажи, Кеюрака, все ли благополучно у царицы Кадамбари и как поживают ее подруги, служанки и благородная Махашвета?» Кеюрака, чья усталость с дороги сразу прошла, как если бы он был омыт и умащен улыбкой царицы, полной любви и приветливости, почтительно отвечал: «У той, о ком спрашивает божественный, все благополучно». А затем он достал корзинку, сплетенную из стеблей лотосов, устланную лотосами и запертую печатью из волокон лотоса, натертых сандаловой мазью, снял с нее влажную ткань, которой она была

прикрыта, и вынул подарки, присланные Кадамбари в знак ее любви. Здесь были маслянистые зерна бетеля, зеленые, как изумруд, очищенные от кожуры и лежащие в красивых стручках, листья бетеля, бледно-желтые, как перья на голове попугая, камфара в кристаллах, больших, как серп луны в волосах Шивы, сандаловая мазь с едким, как у мускуса, запахом. Кеюрака сказал: «Сложив ладони у драгоценного камня на лбу, так что сквозь нежные ее пальцы струятся потоки его красных лучей, царица Кадамбари приветствует божественного Чандрапиду. Приветствуют его и Махашвета, обнимая и посылая свои благословения, и Мадалекха, наклоняя лоб, который омыт блеском рубина в волосах, и все девушки при дворе, касаясь земли золотом головных уборов, и Тамалика, припадая к его ногам и сметая с них пыль. При этом Махашвета передает тебе такое послание: „Счастливы те, на кого упадет теперь твой взгляд. Когда ты рядом, твои достоинства освежают прохладой, как лунный свет, но, когда тебя нет, поистине, они обжигают, как солнечный жар. Каждый из нас страстно желал бы возвратить посланный судьбой вчерашний день, как если бы это был день рождения амриты. Покинутая тобой столица царя гандхарвов выглядит увядшей, как будто здесь кончилось великое празднество. Ты знаешь, я отвергла все земное, однако, словно бы вопреки моей воле, сердце жаждет вновь увидеть тебя, одарившего меня незаслуженной дружбой. И Кадамбари совсем лишилась покоя, она вспоминает тебя, точно бога любви, и ей

всюду мерещится твоя улыбка. Ты сможешь вернуть ей присутствие духа, лишь удостоив радости новой встречи с тобой. Ибо тогда только ценишь себя, когда тебя ценят благородные люди. Да примирится царевич с доукой общения с такими, как мы! Твое собственное великодушие дало мне смелость обратиться к тебе с этим посланием». Передав слова Махашветы, Кеюрака добавил: «А вот ожерелье Шеша, которое ты забыл на своем ложе». И он достал ожерелье из-под полы своего верхнего платья, сквозь тонкий шелк которого пробивались лучи Шеша, как бы подтверждая свое присутствие, и отдал в руки держателя опахала Чандрапиды.

«Великое бремя благоволения, памяти обо мне и других милостей, которым наградила меня, своего слугу, царица Кадамбари, есть плод моего смиренного служения у ног Махашветы!» — воскликнул Чандрапида и принял принесенные Кеюракой дары. Он надел себе на шею ожерелье и умастил себя сандаловой мазью, такой приятной на ощупь, прохладной и ароматной, как если бы она вмещала в себя красоту щек Кадамбари, блеск ее улыбки, нежность ее сердца и все другие ее достоинства. Он положил в рот бетель, постоял немного, опершись левой рукой на плечо Кеюраки, и, отпустив царевичей, ошастливленных, как и всегда, оказанным им почетом, неторопливым шагом пошел взглянуть на слона Гандхамадану. Побыв у него какое-то время, он собственной рукой поднес ему охапку сена, которая в сиянии ногтей Чанрапиды казалась ворохом лотосов. Затем он направился

к конюшне, к любимцам своим — лошадям, и когда шел, то, повернув немного голову сначала в одну, а потом в другую сторону, бросил несколько беглых взглядов на слуг. Придворные, поняв, чего он хочет, запретили слугам следовать за ним и отослали их прочь, и он вошел в конюшню с одним Кеюракой. Там его почтительно встретили конюхи, заранее огорчаясь, что в них ему нет нужды, и действительно, он отослал от себя также и конюхов. Затем, поправив на спине Индраюдхи слегка свесившуюся на бок попону, откинув с его лба рыжую, как шафран, гриву, которая мешала ему хорошо видеть, Чандрапида поставил ногу на подставку для конских копыт, прислонился медленным, но легким движением к деревянной стойке и принялся снова настойчиво расспрашивать Кеюраку: «Кеюрака, расскажи, что происходило при дворе царя гандхарвов после моего отъезда? Как провела этот день царица? Что делала Махашвета, что говорила Мадалекха, о чем болтали слуги, чем занимался ты сам? И вспоминали кто-нибудь обо мне?» Кеюрака отвечал: «Слушай, божественный. Когда ты удалился и звон ножных браслетов в женских покоях, подобно грому походных барабанов, возвестил, что вслед за тобою устремились тысячи сердец, царица Кадамбари со своими служанками поднялась на крышу дворца и все глядела на серую от пыли из-под копыт лошадей дорогу, по которой ехал божественный. Когда же ты скрылся из глаз, царица опустила голову на плечо Мадалекхи и долго еще оставалась на крыше. Она посылала

тебе вдогонку влюбленные взгляды, белые, как Молочный океан, а большой белый зонт, точно ревнивый месяц, защищал ее от жаркой ласки лучей солнца. Печальная, она наконец спустилась вниз, немного отдохнула в Приемном зале и, словно бы остерегаемая жужжанием пчел, чтоб не споткнулась на усыпанном цветами полу, словно бы напуганная криком павлинов, которых она понуждала замолчать, набрасывая соскользнувшие с рук браслеты на их шеи, вытянутые навстречу белым, как струи воды, лучам от ее ногтей, она медленным шагом, цепляясь рукой за цветущие ветви садовых лиан, а сердцем — за твои неисчислимые добродетели, пошла к той искусственной горке, на которой ты, божественный, останавливался. Поднявшись на нее, она провела весь день, отыскивая на ней следы твоего пребывания, на которые ей то и дело указывали слуги: „На этой прохладной скале в беседке из зеленых лиан, которая обрызгана струями воды фонтана из изумрудов, сделанного в форме рыбы, царевич отдыхал“, „У этого камня, на котором, точно колючки, уселись пчелы, прилетевшие на запах благовонной влаги, он совершал омовение“, „Здесь, на берегу реки, усеянном, будто песком, цветочной пылью, он возносил моления Шиве“, „Здесь, на хрустальном холме, чей блеск превосходит блеск луны, он ел“, „На этой жемчужной плите, хранящей пятна сандаловой мази с его тела, он спал“. В конце дня по настоянию Махашветы, но против собственной воли она немного поела в знакомом тебе хрустальном павильоне.

И когда уже скрылось благое солнце и показался месяц, она все еще оставалась на искусственной горке, и кожа ее сделалась прозрачной, будто пронизанная лунным светом. Прикрыв руками обе щеки, будто боясь, что их примут за две луны, она долго о чем-то размышляла, закрыв глаза. Наконец она встала и, с трудом переставляя обычно столь легкие и ловкие ноги, как будто теперь их тяготил груз луны, отраженной в зеркале ее ногтей, направилась в свой спаль- ный покой. Бросившись на постель всем своим нежным телом, она не находила себе места из-за сильной головной боли, мучилась от жестокой лихорадки и, терзая себя горькими мыслями, всю ночь не смыкала глаз, подобно светильни- кам, ночным лотосам или чакравакам. А наутро она позвала меня и настойчиво повелела, чтобы я хоть что-нибудь разузнал о царевице».

Едва услышав Кеюраку, Чандрапида загорелся нетерпением немедленно видеть Кадам- бари и с криком: «Коня, коня!» — выбежал из конюшни. Конюхи поспешно привели и осед- лали Индраюдху, и Чандрапида вскочил на него, а сзади себя посадил Патралекху. Слугам он приказал не покидать лагеря, поставил во главе войска Вайшампаяну и в сопровождении Кеюраки, который сел на другую лошадь, поска- кал к Хемакуте. Подъехав к воротам дворца Кадамбари, он спешился, отдал коня на попече- ние привратников и вместе с Патралекхой, которая с нетерпением ожидала первой встречи с Кадамбари, прошел в дворцовый парк. Там он спросил у одного из вышедших ему навстречу

евнухов: «Где мне найти божественную Кадамбари?» Тот с поклоном ответил: «Царевич, она в Зимнем доме, который находится у подножия искусственной горки Маттамаюры²⁹⁰ на берегу лotosового пруда». По указанию Кеюраки Чандрапида пошел туда через Сад развлечений, и когда он углубился в него, то день в изумрудной зелени банановых деревьев показался ему зеленым, а лучи солнца похожими на стебли травы. Посреди сада он увидел Зимний дом, почти весь обложенный листьями лотоса, а у дома — служанок Кадамбари, приставленных для ухода за нею и преданных ей, как самим себе. Они были в платьях, забрызганных водою, и казались одетыми в волны озера Аччходы. Блеск их тел казался блеском драгоценных камней, хотя не было на них никаких украшений, кроме браслетов из стеблей лотоса на руках-лианах. В ушах у них белели цветы кетаки, но цветы эти способны были посрамить серьги из слоновой кости. На лбах сандаловой пастой были начертаны белые тилаки, которые казались знаками их благой участи, а на щеках — круглые пятна, казавшиеся отражениями луны, не пожелавшей расстаться с их лицами-лотосами. Пучки обычной травы шайвалы за их ушами не уступали по красоте цветам шириши. Грудь прикрывали листья лотоса, посыпанные порошком камфары и пропитанные сандаловой мазью, а поверх них лежали гирлянды из цветов бакулы. В руках, белых от постоянных втираний сандаловой мази и похожих на лучи луны, которые отвердели в наказание за чинимые ими страдания²⁹¹, они дер-

жали опахала из листьев лотоса с древками из лотосовых стеблей. Словно зонтами, они ограждали Кадамбари от солнечного жара ветками баньянового дерева, листьями лотоса, пучками травы, цветами камалы, кумуды и кувалаи на высоких прямых стеблях. Искусные в применении охлаждающих средств, они походили на сонм речных нимф, или на свиту богинь славы бога Варуны, или на собрание богинь осени, или на множество озер.

Служанки поклонились Чандрапиде и расступились, давая ему дорогу, как если бы боялись, что их отражения отяготят ногти на его ногах, и он прошел под аркой, сооруженной из баньянового дерева, смазанного сандаловой мазью. На арке, будто флаги, развевались гирлянды лотосов, белели бутоны лотосов, похожие на колокольчики, реяли гроздья цветов синдхувары, похожие на опахала. С нее свисали венки из цветов жасмина и гвоздичного дерева. С похожими на жезлы стеблями лотосов в руках, ее охраняли стражницы, которые украсили себя убором из всевозможных цветов и словно бы воплощали в себе прелесть месяца мадху.

Пройдя арку, Чандрапида оглянулся по сторонам. То там, то здесь он видел игрушечные реки из сандалового сока с лесами из веток деревьев тамалы по берегам и с песчаными отмелями из пыли лотосов; видел охапки красных лотосов, разбросанных по земле, выкрашенной красным суриком, а над ними пропитанные влагой балдахины, с которых свисали красные опахала, изготовленные из бутонов цветов ничулы;

видел хрустальные домики с прозрачными стенами, которые можно было обнаружить лишь на ощупь и которые были обрызганы соком кардамона; видел стайки механических павлинов на маковках фонтанов, сооруженных из стеблей лотоса, из которых, словно струи воды, летела пыльца цветов кадамбы и рядом с которыми зеленели лужайки из лепестков цветков шириши; видел хижины, выложенные листьями деревьев джамбу и опрыснутые манговым соком; видел пруды с золотыми лотосами, в которых купались стада игрушечных слоников; видел срубы колодцев с благоуханной водой, которые были сделаны из расплавленного золота и внутри которых виднелись водяные колеса с ободами из цветочных стеблей, спицами — из побегов лиан, ведрами — из листьев кетак и веревками на ведрах, сплетенными из волокон лотоса; видел гряду искусственных облаков с нарисованной радугой, из которых падали капли дождя прямо на искусственных журавлей; видел нити жемчуга, свисающие в пруды с прохладной сандаловой водой, в которых свежие лепестки цветов малати казались гребнями волн, а желтые колосья ячменя — берегами; видел механические деревья, постоянно брызжущие большими каплями дождя и окруженные канавками для воды, сделанными из истолченного жемчуга; видел игрушечных птиц из листьев, которые, хлопая крыльями, все время вертелись и рассеивали мелкий дождик; видел качели, сооруженные из цветочных гирлянд, на которых, подобно колокольчикам, жуж-

жали пчелы; видел золотые кувшины, в которых были высажены лотосы на высоких стеблях, прикрывавшие изнутри их горлышки своими листьями; видел зонты из гроздьев сплетенных цветов с рукоятками из веток дерева кадали, похожих на красивые бамбуковые трости; видел одежду, сшитую из лепестков лотоса и надушенную соком растертых вручную камфарных листьев, серьги из цветов жасмина, увлажненные соком плодов лавали, драгоценные чаши с освежающими напитками и реющие над ними опахала из листьев лотоса. И, любуясь этими и подобными им изделиями, которые приготовили слуги Кадамбари, чтобы госпожа чувствовала прохладу, Чандрапида прошел во внутренний покой Зимнего дома.

Здесь он оказался словно бы в сердце снежных Гималаев, или во дворце водных забав бога Варуны, или в месте рождения всех видов лунного диска, или в обители божеств сандаловых деревьев, или у истока всех лунных камней, или в жилище всех ночей месяца мадху, или в приюте всех дождливых сезонов года. Здесь горные реки нашли бы укрытие от летнего зноя; океаны — от жара Вадавы, тучи — от блеска молний, ночные лотосы — от света дня, тягостного из-за разлуки с луной, бог любви — от пламени третьего глаза Шивы. Сюда не заглядывали солнечные лучи, как если бы они опасались холодного касания тысяч фонтанных струй. Здесь дул ветерок, вздымая бесчисленные лепестки цветов кадамбы, как если бы у них от стужи поднялись вверх волоски. Здесь высились банановые

деревья, чьи ветви трепетали от ветра, как если бы они дрожали от холода. Здесь воздух звенел от пчел, которые жужжали, опьяненные цветочным запахом, как если бы у них от мороза стучали зубы. Здесь изгибались лианы, сплошь усеянные пчелами, как если бы они были одеты в черное платье. Чандрапиде показалось, что и внутри него самого, и снаружи стужа как бы сгустилась холодными комьями, что сердце его превратилось в луну, чувства — в ночные лотосы, кожа — в лунный свет, разум — в луковку лотоса, что лучи солнца состоят из жемчуга, солнечный блеск — из сандаловой мази, ветер — из камфары, время — из воды, три мира — из снега.

В глубине Зимнего дома Чандрапида увидел Кадамбари, которую окружали подруги, подобно тому как в ущельях Гималаев божественную Гангу окружают малые реки. Она лежала на ложе из цветов под небольшим балдахином, опирающимся на стебли лотосов, а вокруг ложа по прорытой канавке бежал ручей из сока камфары. Подкравшись к Кадамбари с разных сторон, ее красоту словно бы желали похитить различные боги: всю в ожерельях, ножных и ручных браслетах, кольцах и поясках из стеблей лотоса, ее, казалось, опутал путами ревнивый Манматха; с пятном белой сандаловой мази на лбу, она казалась ласкаемой богом луны; со слезами на ресницах — целуемой в глаза Варуной; с тяжело вздыхающими устами — укушенной в губы Матарिशваном; с телом, охваченным жаром, — стиснутой богом солнца; с сердцем,

пылающим любовью,— прижатой к груди Агни; с кожей, покрытой потом,— в объятиях бога воды. Она совсем ослабела, как если бы каждая частица тела покинула ее и вместе с сердцем устремилась к ее возлюбленному. Все волоски на ее коже поднялись и, белые от высохшей сандаловой мази, казались лучиками света, которые отбрасывают жемчужины ее ожерелья. Вылетев из цветов в ее ушах, пчелы как бы из жалости обведали ее щеки, усеянные каплями пота, ветерком своих крыльев. Из уголков ее глаз лился поток слез, словно бы она желала охладить уши, опаленные жужжанием пчел, роящихся в заложенных за уши цветах; и словно бы соорудив канавку для тока этих обильно льющихся слез, она украсила оба уха стеблями цветов белой кетак. С кувшинов ее груди от горестных вздохов соскользнуло платье, как если бы сияние ее тела попыталось вырваться прочь, уstraшенное пылающим внутри него жаром. Ладонями рук она прикрывала груди, на которые падала тень от реющих над ней опахал, как если бы на них выросли крылья, на которых ей хотелось бы улететь к любимому. Она неустанно сжимала в ладонях прохладную куколку, выдолбленную из льда, то и дело прикладывала к щекам фигурку, вылепленную из камфары, поминутно касалась ногами-лотосами статуэтки из сандаловой мази. Когда она изгибалась, ее лицо отражалось в зеркале груди, и казалось, она с любопытством вглядывается в свой собственный облик. Бутоны цветов в ее ушах, казалось, страстно целуют ее круглые щеки, прини-

мая их за свое отражение. Жемчужины ее ожерелья, казалось, обнимают ее своими длинными лучами-руками, простертыми к ней в знак покорности и любви. Она словно бы принимала за месяц зеркало, лежащее у нее на груди, и заставляла его поклясться жизнью, что сегодня он не взойдет²⁹². Она протягивала вперед руку, отгораживая себя от запахов, идущих из сада, словно слониха, вытягивающая хобот навстречу опьяневшему от страсти слону. Ей было тягостно приближение быстрого, как антилопа, южного ветра, подобно тому как женщине, собравшейся в путь, тягостно дурное предзнаменование — встреча с антилопой²⁹³. Высоко вздымались кувшины ее грудей, белые от сандаловой мази и усыпанные цветами, и она казалась алтарем помазания бога любви, украшенным кувшинами с сандаловой водой и цветочными подношениями. Луны ее ягодиц, нежных, как лепестки лотоса, проступали сквозь прозрачное платье, и она казалась лotosовым озером неба, в котором сквозь прозрачный воздух просвечивает полная луна. От трепета страсти расцвела ее красота, и она казалась цветочным луком, трепещущим в руках бога любви. В прохладных ожерельях из жемчуга она казалась богиней месяца мадху, прогоняющей зиму. Томимая богом с цветочным луком, она казалась пчелой, томящейся по цветам. Хотя и умащенная прохладным сандалом, она страдала от любовного жара. Хотя и далекая от старости, она была обесилена страстью. Хотя и, как лотос, нежная, она жаждала касания снега²⁹⁴.

Служанки, по мере того как приближался Чандрапида, одна за другой подходили к ней и сообщали, что вот-вот он появится, и казалось, что Кадамбари, хотя и оставалась безмолвной, вопрошает каждую трепещущим в волнении взглядом: «Скажи, это правда, что он идет? Ты видела его? Далеко ли он? Скоро ли будет?» Когда же она, прекраснобедрая, разглядела его собственными глазами, которые постепенно разгорались все более ярким светом, то, хотя он и был еще далеко, попыталась подняться с цветочного ложа ему навстречу, словно пойманная недавно слониха, которая рвется вон из стойла, пусть ноги у нее и стянуты путами. Казалось, что это жужжание пчел, которых привлек аромат цветов на ложе, побуждает ее встать против собственной воли. Она тщетно пыталась прикрыть грудь пологом лучей света от жемчужного ожерелья, принимая его за накидку, соскользнувшую из-за ее торопливости с плеч. Опершись левой рукой о драгоценный пол, она как бы просила поддержки у своего отражения в нем. Она словно бы сама приносила себя в жертву, окропляя голову каплями пота, которые падали с ее правой руки, когда она пыталась поправить ею растрепавшиеся волосы. Когда она приподняла ягодицы, три складки на ее животе переплелись друг с другом и дорожка волос намокла от пота, как будто безжалостный бог любви выжал из ее тела всю влагу. Из ее очей заструились слезы радости, такие прохладные, как если бы они были пропитаны сандаловой мазью, проникшей со лба сквозь кожу. Поток этих слез омыл ей

щеки, серые от пыльцы цветов в ушах, как если бы она хотела сделать щеки прозрачными, дабы в них отразилось лицо любимого. Будто под бременем сандаловой пасты на лбу, она чуть-чуть опустила голову, и казалось, что своим долгим, немигающим взглядом она хотела притянуть к себе лицо Чандрапиды.

Чандрапида подошел, сначала приветствовал Махашвету, а затем со всей почтительностью склонился в глубоком поклоне перед Кадамбари. Кадамбари поклонилась ему в ответ и вновь опустилась на цветочное ложе. Привратница принесла для Чандрапиды золотой стул с ножками, усыпанными драгоценными камнями, но он отодвинул его в сторону и сел подле Кадамбари на пол. Тут Кеюрака указал Кадамбари на Патралекху и сказал: «Царевна, вот Патралекха, любимица божественного Чандрапиды и хранительница его ларца с бетелем». Взглянув на Патралекху, Кадамбари подумала: «Ах, велика благосклонность Праджапати к смертным женщинам!» И когда под любопытствующие взгляды слуг Патралекха почтительно поклонилась Кадамбари, та подозвала ее поближе и усадила рядом с собой. С первого взгляда она почувствовала к ней великое расположение и то и дело нежно касалась ее своей рукой-лотосом.

После того как было быстро покончено с положенными при приеме гостя церемониями, Чандрапида, заметив волнение дочери Читрататхи, подумал: «Поистине, сердце мое, наверное, совсем ослепло, если и теперь себе не дове-

ряет. Ладно, попробую прибегнуть к потаенной речи»²⁹⁵. И он сказал: «Божественная, я догадываюсь, в чем причина твоих страданий, вызвавшая эту жестокую лихорадку и заставившая окаменеть твое сердце. Поверь, прекрасная: у меня на сердце — тот же камень. Чтобы излечить тебя, я готов отдать тебе свою руку и вместе с нею свою жизнь. Когда ты лежишь на ложе из цветов и так томишься, я хочу быть рядом и припасть к твоим ногам, только бы тебя утешить. Твои руки-лианы стали такими тонкими, что с них спадают браслеты, а глаза похожи на завядшие красные лотосы, лишенные ласки солнца. И ты, и твои слуги, печалась о тебе, сняли с себя все драгоценности, кроме жемчужных нитей беспрерывно текущих слез. Выбери же поскорей достойное тебя украшение, подобно девушке, выбирающей достойного жениха. Ведь лиана увядает без цветов и пчел, как юность блекнет без любви».

Как ни была простодушна юная Кадамбари, но, умудренная богом любви, она хорошо поняла скрытый смысл слов Чандрапиды. В растерянности, что ее желания так быстро сбываются, но не в силах побороть стыдливость, она хранила молчание и только, словно бы под предлогом, что рой пчел, привлеченный ароматом его дыхания, затеняет его лицо и мешает ей его видеть, озарила Чандрапиду светом своей улыбки. Тогда заговорила Мадалекха: «Что тебе ответить, царевич? Страдание тогда велико, когда его не выразить словами. Да и как не страдать Кадамбари, если томится ее сердце! Даже

свежие бутоны лотосов опаляют ее огнем, даже лунный свет обжигает, как солнце. Разве ты не видишь, как терзает ее даже слабый ветерок от опахал, сплетенных из цветочных стеблей? Только надежда поддерживает в ней жизнь». В мыслях своих такой же ответ послала Чандрапиде и сама Кадамбари. А Чандрапида, чье сердце лукавые слова Мадалекхи оставили на качелях сомнения, долго разговаривал с Махашветой, и разговор их, полный искусных намеков, еще больше усилил его любовь. Но в конце концов он вынужден был его кончить и покинуть дворец Кадамбари, чтобы успеть возвратиться в свой лагерь.

Когда, выйдя из дворца, он садился на коня, к нему сзади подошел Кеюрака и сказал: «Божественный! Мадалекха поручила тебе передать: „Царевне Кадамбари с первого взгляда полюбилась Патралекха, и ей хотелось бы, чтобы она на время осталась у нее и возвратилась к царевичу позже. Выслушав, да повелевает божественный!“» На эту просьбу Чандрапида отвечал: «Достойна счастья и зависти Патралекха, снискавшая столь многотрудную благосклонность царевны! Пусть остается!» Так сказав, он поехал в свой лагерь. А когда он к нему подъезжал, то встретил знакомого гонца, прибывшего от Тарапиды. Глядя на гонца сияющими от радости глазами, он придержал коня и еще издали начал его расспрашивать: «Скорей говори, здоров ли отец и вся его свита, здоровы ли мать и другие жены гарема?» Гонiec подъехал поближе и, поклонившись, отвечал: «Все здо-

ровы твоею милостью». А затем вручил Чандрапиде два письма, которые царевич распечатал и, положив на голову гонца, стал читать: «Поклон тебе из Удджайини! Божественный Тарапида, чьи ноги-лотосы украшены коронами всех земных владык, преданный слуга Шивы и царь царей, приветствует Чандрапиду и целует его в голову, как целуют ее мириады лучей его царственного венца. Мы и все наши подданные благополучны. Однако уже прошло немало времени с тех пор, как ты уехал. Наше сердце полно желания видеть тебя. По тебе скучают царица и жены гарема. Поэтому день, когда ты прочтешь это письмо, должен стать днем твоего отъезда домой». То же прочел Чандрапида и во втором письме, посланном ему Шуканасой.

Тут подошел Вайшампаяна и показал два полученных им письма с тем же, что у Чандрапиды, пожеланием. «Да будет так, как повелевает отец!» — воскликнул Чандрапида и, сев на коня, дал приказ ударить в походные барабаны. А полководцу Мегханаде, сыну Балахики, который подъехал к нему со свитой из многих всадников, он сказал: «Спустя какое-то время сюда придет Кеюрака с Патралекхой. Взяв Патралекху с собой, ты должен последовать за мною, а через Кеюраку передай от меня поклон царевне Кадамбари и такое послание: „Природа смертных во всех трех мирах, поистине, презренна, коварна, неблагодарна и непредсказуема. Привязанности вдруг обрываются, и люди не считаются с чувствами друзей. Так и мой отъезд делает мою любовь к тебе жалким обманом.

Твоего доверия я добился ложным красноречием, моя преданность тебе оказалась мошенничеством, подслащенным угодливостью, а намерения мои расходятся с делами. Но довольно говорить о себе. Увы, и ты, царица, заслуживаешь укоризны, ибо обратила свой взор, который предназначен для одних только богов, на недостойного. А ведь взоры великодушных, проливающие нектар милости, навлекают на них позор, если падают на кого-то ничтожного. Впрочем, сердце мое гнетет стыд не столько даже перед тобой, царица, сколько перед Махашветой. Боюсь, ты еще не раз упрекнешь ее за пристрастие ко мне, негодному, которого она так восхваляла и кому приписала тьму мнимых добродетелей. Однако что же мне делать? Приказ отца непреложен, и я должен ему повиноваться, хотя сердце мое привязано к Хемакуте и хотело бы остаться в рабстве у Кадамбари на тысячу грядущих рождений. Благоволение царицы не позволяет мне покинуть ее, как без воли на то правителя не покидают царских чертогов. И все-таки по приказу отца я должен ехать в Удджайини. Отныне, вспоминая о дурных людях, всегда будут говорить о недостойном Чандрапиде. Но знай, что Чандрапида, пока он жив, еще попытает счастья вновь припасть к твоим ногам-лотосам. Прошу тебя, поклонись от меня Махашвете и уверь ее в моей преданности. Передай привет Мадалекхе и скажи ей, что я крепко ее обнимаю. Горячо обнимаю и Тамалику. Всем твоим слугам я желаю благополучия и, почтительно сложив

ладони, прощаюсь с благословенной Хемакутой“».

Дав Мегханаде такое поручение, Чандрапида поставил во главе войска Вайшампаяну и повелел ему двигаться вслед за собой медленными переходами, дабы не утомить вассальных царей и их воинов. А сам, с сердцем, опустелым после недавней разлуки с Кадамбари, тотчас же тронулся в путь верхом на Индраюдхе. Его сопровождал отряд всадников, скакавших на резвых конях, которые, не зная забот, веселым ржанием сотрясали Кайласу, дробью копыт крушили землю и над которыми шумел густой лес из копий-лиан. Рядом с Чандрапидой, держась за его седло, бежал, по приказу царевича, гонец от Тарапиды и указывал дорогу в Удджайини.

Чандрапида ехал через сумрачный лес, где чуть ли не все деревья, сплошь увитые лианами, дотягивались вершинами до облаков; где тропинки петляли между стволов, поваленных могучими слонами; где над могилами побывавших в лесу смельчаков были навалены курганы из травы, листьев и деревянных кольев; где у подножий высоких деревьев стояли резные изваяния Дурги; где повсюду была разбросана кожура плодов миробалана, высосанных страдающими от жажды путниками; где нелегко было выжить из-за нехватки воды, ибо лесные колодцы были заброшены, засыпаны пылью с распустившихся цветов каранджи, а вода в них, заваленная листьями, стала теплой, тухлой, грязной и вонючей; где лишь по деревьям у загложших водоемов, увешанным, словно стягами,

лоскутьями старой одежды, по траве, собранной в кучи и желтой от пыли с ног пилигримов, по сплетенным из веток лиан и брошенным кувшинам, по ворохам сухих листьев на окрестных камнях можно было догадаться, что когда-то здесь отдыхали путники; где трудно было проникнуть в глубь чащи из-за высохших горных рек, чьи берега посерели от пыли с обильных медом деревьев синдувары, чьи песчаные отмели густо устилали ветви лиан кунджаки, а остатки воды сохранились лишь в канавках, прорытых путниками в грязном песке; где только лай собак и крик петухов давали понять, что посреди густых зарослей иногда скрываются небольшие селенья.

Чандрапида ехал целый день, а когда солнце стало садиться и его заходящий диск окрасил день багровым светом, въехал в перелесок из деревьев кадамба, шалмали и палаша, которые, не имея ветвей и увенчанные лишь у самого верха шатром из листьев, походили на зонты. Перелесок был прорежен полянами, которые щетинились узловатыми пнями с торчащими вверх отростками, разрезан изгородью из твердого и желтого, как шафран, бамбука, уставлен травяными чучелами для отпугивания ланей от спелых плодов на деревьях и бледно-желтых колосьев проса. А немного дальше он увидел огромный красный флаг, который был привязан к вершине высокого сандалового дерева и, казалось, высматривал оттуда на дороге путников, предназначенных для жертвоприношения. Полотнище флага было покрыто густой, алой,

как кровавое мясо, краской, обрызгано сандаловым соком, напоминающим свежую кровь, украшено красными вымпелами, похожими на высушенные языки, и черным султаном, похожим на клочок звериной шерсти. К верхней части древка были прикреплены полукружье и шар, сложенные из ракушек и изображающие месяц и солнце, которые, казалось, сошли на землю, чтобы защитить буйвола Ямы²⁹⁶. А венчал древко золотой трезубец, который словно бы пронзал небо и к одному из зубьев которого железной цепью привязан был колокол, гудящий, когда он раскачивался, глухим, угрожающим гулом, а к другому — яркое опахало из львиной гривы.

Проехав немного вперед по направлению к флагу, Чандрапида увидел святилище богини Чандики²⁹⁷. К нему вели ворота, униженные слоновыми бивнями, белыми, как остроконечные стебли цветов кетаки. Над воротами нависала медная арка, в которую были вделаны железные щиты-зеркала с красными опахалами над ними, как будто это были головы диких горцев со страшными космами рыжих волос. Посреди святилища на черном каменном пьедестале стоял черный буйвол, чье туловище было разрисовано красными пятнами сандала величиною с ладонь, как если бы его погладил кровавой рукой Яма, и чьи красные глазницы жадно лизали шакалы, принимая их за капли крови. Повсюду были разбросаны принесенные для поклонения богине цветы: там — красные лотосы, похожие на глаза лесных буйволов, убитых горцами, там — гро-

здья цветов агасти, похожие на львиные когти, там — бутоны киншуки, похожие на залитые кровью когти тигра. Двор святилища был усеян останками принесенных в жертву животных и казался деревом, чьи ветви — кривые рога антилоп, листья — сотни отрезанных языков, покрытые кровью, цветы — тысячи окровавленных глаз, плоды — множество бритых голов. Здесь же росли деревья ашоки, на чьих ветвях, будто они до времени расцвели гроздьями цветов, прятались от собак красные фазаны, и высились пальмы тала, увешанные похожими на черепа плодами, так что они казались ветами, пришедшими испить жертвенной крови. Проход в глубь двора преграждали деревья кадали, дрожащие словно бы в лихорадке испуга, заросли деревьев шрипхалы, словно бы оцепеневшие от ужаса, пальмы кхадира, на которых, казалось, от страха вздыбились волосы. Среди них беззаботно играли любимцы Чандики — молодые львы и стряхивали с себя жемчужины, выпавшие из разодранных ими висков диких слонов²⁹⁸. Эти жемчужины, принимая их за красные от жертвенной крови зерна риса, подхватывали глупые петухи, а затем снова бросали их на землю. Двор святилища был липким от потоков крови, казавшихся еще более красными от лучей закатного солнца, которое, отражаясь в них, словно бы падало в обморок при виде кровавого пиршества.

Со двора в кумирню Чандики вела дверь, застланная, словно багровой тканью, дымом висящих над нею светильников, украшенная,

словно гирляндой, пояском из павлиньих шей, увенчанная цепочкой железных колокольчиков, обсыпанных белой мукой, имеющая две створки с большими медными шипами, торчащими из пасти оловянных львов, снабженная засовом из слоновьего бивня и расписанная красно-синим орнаментом, многократно отраженным в зеркалах кумирни. За дверью высилось изваяние Чандики. Ступни ее ног были прикрыты полотнищем, красным от лака, и казалось, что это души животных припали к ее стопам, умоляя о защите. Она словно бы восстала из подземного мира, вся в черном блеске топоров, секир и других жертвенных орудий, на которые падал черный отсвет опахал, и казалось, что эти топоры и секиры поросли волосами с некогда срубленных ими голов. С ее шеи ниспадали гирлянды, свитые из побегов диких яблонь с их листьями и плодами, покрытые красным сандалом, так что казалось, что это ожерелья из детских голов, измазанные кровью. Ее руки и ноги были усыпаны принесенными ей в дар кроваво-красными цветами кадамбы, и казалось, что на них поднялись от радости волоски, когда она, яростная, услышала бой барабанов, возвещающий о начале заклятия жертвенных животных. Ее голову стягивал красивый золотой обруч, на лбу пламенела тилака из красного лака, нанесенная служительницами-горянками, на щеки падал отсвет цветков граната, украшавших уши, губы розовели от кровавого бетеля, над огненными глазами дугами изгибались брови, на стройное, как лиана, тело было надето красное от шафрана

шелковое платье — и вся она походила на влюбленную женщину, которая спешит на свидание с Махакалой. Вкруг нее, среди черных клубов дыма от смол и благовоний, полыхали красные языки пламени, и казалось, что она пальцами, покрытыми кровью асуры Махиши, грозит буйволу у ее ног, повинному в том, что колеблет ее трезубец²⁹⁹, когда трет о него свою широкую спину. Казалось, что здесь, в кумирне, обряд в честь богини творят и козлы, трясущие длинными бородами, будто приняли на себя обет послушания, и мыши, подрагивающие губами, будто бормочут молитвы, и лани в серых шкурах, будто они посыпали себя пеплом, умоляя богиню о милости, и змеи с такими яркими камнями в капюшонах, как если бы они держали на голове драгоценные светильники. А стаи ворон своим хриплым карканьем словно бы прославляли ее гимнами.

Рядом с Чандикой стоял старый дравид-аскет. Тело его было покрыто густой сетью сосудов и вен, и казалось, что он сплошь покрыт ящерицами и хамелеонами, принявшими его по ошибке за обуглившийся древесный ствол. На его коже темнели рубцы нарывов и шрамов, и казалось, что неблагоприятная судьба вырвала с мясом все бывшие у него счастливые приметы. Спутанные космы волос свисали ему на шею, точно серьги, и казалось, что он носит ожерелье из четок. От земных поклонов Чандике на его лбу выросла шишка. Один глаз у него заплыл из-за заговорных капель, подсунутых ему шарлатаном-знахарем, а другой скривился от лекар-

ственной мази, которую он трижды в день накладывал деревянным карандашом, истончившимся от частого употребления. Он тщетно пытался вправить торчащие из рта зубы, втирая в них горький настой тыквы, но и на это у него не хватало сил из-за сухотки правой руки, обожженной о горячий кирпич, на который он случайно наткнулся. С каждым днем он видел все хуже и хуже от постоянного применения едких мазей. Он всегда носил с собою кабаньих клык, которым колол камни, а также изготовленную из скорлупы орехов ингуды чашу, в которой держал лекарства и притирания. Пальцы левой руки у него были сведены, потому что нерв у запястья он проткнул иглой, а на большие пальцы ног, изъеденные язвами, он натягивал коконы шелковичных червей. Ко всему этому он страдал от лихорадки из-за неумеренного пристрастия к лекарствам из ртути.

Хотя был он стар, но докучал Дурге мольбами о верховной власти над южными землями и в надежде на эту власть начертал себе на лбу по совету заезжего невежды монаха магическую тилаку. Он имел при себе двустворчатую раковину с чернилами, изготовленными из сажи, смешанной с соком зеленых листьев, и корябал на какой-то тряпице панегирики во славу Чандики. Он носил с собою свитки из пальмовых листьев, на которых красными буквами записал колдовские заговоры и заклинания, и окуривал эти свитки дымом жертвенников. Он хранил у себя наставление в поклонении Махакале, составленное по указаниям старых шиваитов. Он

одержим был недугом болтовни о сокровищах и манией рассуждений об алхимии. Его мучили лихоманка желания побывать в подземном мире и соблазн объятий девушки-якши. Он не щадил усилий в поисках заговора, который бы сделал его невидимым. Он затвердил тысячи волшебных историй о чудесной горе Шрипарвате. Он почти оглох от оплеух разъяренных паломников, которые кидались на него, когда он осыпал их зернами белой горчицы, освященной чтением мантр. Его распирало от гордости быть служителем Шивы. Своей скверной игрой на лютне он мучил путников, которые старались с ним не встречаться. Его пение, при котором он слегка тряс головой, походило на писк комаров среди бела дня. И не лучше выглядел его танец, которым он привык сопровождать чтение гимна Ганге, сочиненного им самим на варварском наречии.

Хотя он и принял по принуждению обет целомудрия, но когда святилище Чандики посещали старые отшельницы из дальних стран, он пытался покорить их сердца с помощью магического любовного корешка. Будучи вспыльчивым, он раздражался бранью, если из-за его же небрежности падал восьмицветный венок с головы богини, и, не в силах удержаться от гримас и ужимок, он, казалось, потешался над самой Чандикой. Иногда он весь бывал в синяках, когда разгневанные путники, которым он запрещал входить в святилище, швыряли его спиной оземь. Иногда он сворачивал себе шею или разбивал голову, когда падал навзничь, оступив-

шись в погоне за дразнящими его мальчишками. Иногда, завидуя тому почету, который оказывали люди странствующим аскетам, он пытался повеситься. Из-за своего невежества он делал все невпопад, из-за хромоты еле-еле двигался, из-за глухоты объяснялся знаками, из-за куринной слепоты выходил из святилища только днем, из-за ожорства имел отвислый живот. Часто, когда он пытался сорвать плоды с дерева, обезьяны обдирали ему нос. Не раз, собирая цветы, он спугивал пчел, и они всего его покрывали укусами. Тысячи раз, когда он спал в пустом и неубранном храме, его жалили черные змеи. Сотни раз плоды шрипхалы разбивали ему голову, падая с дерева. Много раз щеки ему разрывали когтями медведи, живущие в заброшенных храмах богинь-матерей. На весенних игрищах над ним постоянно потешались люди, празднуя его свадьбу с какой-нибудь старой каргой, а чтобы он не мог ее разглядеть, подвешивали ее высоко в воздухе на разбитой, поломанной койке.

Он припадал с мольбами к ногам богов в различных храмах, но всегда уходил, не добившись исполнения своих желаний. Всевозможные невзгоды и болезни как бы стали его семьей, а пороки — детьми, порожденными его глупостью. Многочисленные синяки на его теле от ударов палками казались проступившими наружу знаками его нетерпимости. Многочисленные язвы, пылающие светильниками на его коже, казались отверстыми устами его немощи. Он словно бы плыл по реке унижения, подго-

няемый пинками сотен людей, беспричинно им оскорбленных. Он носил с собою большую корзину для цветов, сплетенную из сухих веток лиан, бамбуковую палку с крючком, чтобы сбивать цветы с деревьев, и ни на минуту не снимал с головы шерстяной колпак.

Чандрапида приказал спутникам остановиться; спешившись, прошел внутрь святилища и с сердцем, полным почтения, склонился перед Чандикой. Затем, обойдя ее изваяние слева направо и снова ей поклонившись, он пожелал осмотреть все святилище. Тут он и натолкнулся на разгневанного дравиду-аскета, который начал, визжа, изрыгать проклятия. Хотя Чандрапиду и мучило горе разлуки с Кадамбари, он долго смеялся, но затем и сам перестал смеяться, и воинам своим запретил потешаться над стариком и вступать с ним в ссору. Кое-как утихомирив аскета знаками уважения и сотней добрых слов, он вступил с ним в неспешный разговор и расспросил его о месте его рождения, семье, жене, детях, имуществе, возрасте и о том, почему он стал подвижником. Тот в ответ подробно поведал о себе, и царевич немало позабавился его хвастливым описанием собственных подвигов, былой красоты и богатства. Старик аскет невольно оказался чем-то вроде лекарства для омраченного разлукой сердца Чандрапиды, и, почувствовав к нему расположение, Чандрапида угостил его бетелем.

Когда село благое солнце; когда свита царевичей расположилась на покой под стволами окрестных деревьев; когда с коней, которые от

избытка силы яростно трясли пыльными гривами, слуги сняли золотую сбрую и развесили ее на сучьях, привязали коней к древкам воткнутых в землю копий, окатили им спины водой и, избавив от усталости, вдоволь их напоили и дали по несколько охапок сена; когда утомленные переходом воины под охраной выставленных часовых легли спать неподалеку от своих лошадей на кучах листьев; когда пламя бесчисленных костров выжгло тьму и воинский лагерь засиял, будто день,— Чандрапида прошел к своему ложу, приготовленному слугами вблизи привязанного к дереву Индраюдхи и указанному ему телохранителем. Он лег на него, и тут же в его сердце словно бы вонзился меч скорби. Печальный, он простился с вассальными царевичами и даже не стал разговаривать с любимыми друзьями, стоявшими рядом. Закрыв глаза, не в силах думать ни о чем другом, он мыслями перенесся в страну киннаров, вспоминал Хемакуту, размышлял о свидании с Кадамбари, в которой видел всю радость своей жизни. Он страстно желал повстречаться с Мадалекхой, прекрасной в своей скромности, хотел повидать Тамалику, воскрешал в памяти приход Кеюраки, рисовал в воображении Зимний дом. Вновь и вновь он выпускал долгие и жаркие вздохи, любовался ожерельем Шешей, тосковал о благородной Патралекхе, которую оставил у Кадамбари. Так и провел он эту ночь без сна. А наутро исполнил мечту старого дравиды-аскета — вручил ему, как тот того и желал, кучу денег и в несколько переходов, останавливаясь по

пути на привалы в красивых местах, прибыл в долгожданный Удджайини.

Когда Чандрапида въезжал в город, взволнованные его внезапным и счастливым прибытием жители посылали ему тысячи приветствий, сложив ладони рук в лотосы почета. В великой радости слуги, каждый стараясь быть первым, прибежали к Тарапиде и доложили: «Боже-ственный, Чандрапида уже у городских ворот!» Услышав это известие, Тарапида надел белое шелковое платье, ниспадающее с него, словно волны Молочного океана с горы Мандары, и, проливая слезы восторга, словно Дерево желаний — поток жемчуга, медленной, чтобы не расплескать свою радость, походкой направился навстречу сыну. И сопровождали его тысячи царей свиты, чьи волосы побелели от старости, которые умастили себя сандаловой мазью, надели чистые льняные одежды, украсили себя браслетами, тюрбанами, коронами и венками, взяли мечи, жезлы, зонты, флаги и опахала и как бы являли собою всю землю с несметным множеством Кайлас и Молочных океанов.

Еще издали завидев отца, Чандрапида сошел с коня и склонил до земли свою голову, озаренную блеском лучей от драгоценного камня на лбу. Отец подозвал его подойти поближе, протянул к нему руки и долго и крепко его обнимал. Чандрапида почтительно приветствовал всех тех, кто встретил его, а затем царь взял его за руку и отвел во дворец Виласавати. Царица Виласавати вышла ему навстречу в сопровождении всех жен гарема, поздравила его с возвра-

щением и совершила в его честь благодарственные обряды. Проведя с ней какое-то время в рассказах о походе на завоевание мира, Чандрапида отправился повидать Шуканасу. У него он тоже побыл немалое время, обменялся приветствиями, встретился с Манорамой, рассказал, что Вайшампаяна здоров и остался при войске. Затем он вернулся к Виласавати, выполнил, но как бы рассеянно, все предписанные церемонии начиная с обряда омовения и после полудня отбыл в собственный дворец. Однако ему, страдающему от любви, не только он сам, но и его дворец, и город Удджайини, да и весь мир казались пустыми без Кадамбари. В нетерпении получить вести о царевне гандхарвов, он стал поджидать приезда Патралекхи, как ждут великого праздника, или вождеденной награды, или глотка амриты.

Несколько дней спустя приехал Мегханада и привез с собой Патралекху. Еще издали послал ей навстречу Чандрапида улыбку радости, а когда она склонилась перед ним в приветствии, он встал и, выказывая все свое благоволение, обнял ту, которая всегда ему была дорога, а теперь, погостив у Кадамбари и как бы переняв часть ее прелести, стала еще дороже. Ласково коснувшись рукой спины Мегханады, который тоже припал в поклоне к его ногам, Чандрапида сел и спросил Патралекху: «Скажи, Патралекха, здоровы ли благородная Махашвета, Мадалекха и божественная Кадамбари? И благополучны ли Тамалика, Кеюрака и остальные слуги?» Патралекха отвечала: «Божественный, все они здо-

ровы твоею милостью. А царица Кадамбари с подругами и свитой почтительно касаются лба сложенными ладонями и посылают тебе свой поклон».

Выслушав ответ, Чандрапида простился с вассальными царями, взял Патралекху за руку и провел ее в глубь дворцового парка. Там он отпустил слуг, сел посреди лужайки лотосов, растянувших над ним как бы зонтик своими длинными, вытянутыми вверх стеблями, отодвинул ногой пару гусей, мирно спавших под одним из лотосов, похожим на изумрудного цвета флаг, и с истерзанным сердцем, не в силах сдерживать свое нетерпение, стал расспрашивать Патралекху: «Скажи, как тебе жилось у Кадамбари после моего отъезда? Как долго ты у нее была? Благосклонна ли была к тебе царица? С кем ты встречалась? О чем разговаривала? Кто чаще других обо мне вспоминал? Кто больше других выказывал ко мне расположение?» На его вопросы Патралекха отвечала: «Божественный, выслушай со вниманием, как и сколько времени я жила у Кадамбари, как относилась ко мне царица, с кем я встречалась, о чем разговаривала, кто чаще других о тебе вспоминал и кто больше других выказывал к тебе расположение.

После того как божественный уехал, я вместе с Кеюракой возвратилась к Кадамбари и села, как и в прошлый раз, у ее цветочного ложа. Я оставалась рядом с нею весь этот день, благодарно принимая от нее все новые и новые знаки внимания. Что здесь много говорить! Почти все время взгляд ее касался моего взгляда, тело —

моего тела, нежная рука — моей руки; речь ее наполнилась звуками моего имени, а сердце — привязанностью ко мне. На следующий день, опершись на мою руку, царица пожелала покинуть Зимний дом и, запретив свите следовать за собою, прошла в любимый ею Девичий сад. Там по лестнице со ступенями из изумруда, будто вырезанными из вод Ямуны, она поднялась на прогулочную балюстраду, выложенную белым мрамором. Прислонясь к драгоценной колонне, она некоторое время оставалась неподвижной, обдумывая какую-то мысль, и долго-долго смотрела на меня, не мигая и не отводя глаз. Наконец она на что-то решилась, и ее омыл поток пота, как будто она отважилась войти в огонь страсти. Словно бы сотрясенная этим потоком, она начала дрожать и пришла в отчаяние, как будто боялась упасть от этой дрожи.

Угадав ее желание и побуждая ее заговорить, я настойчиво и неотрывно глядела ей прямо в лицо, но казалось, что из-за дрожи она не может прервать молчание. Большим пальцем ноги она царапала свое отражение на мраморном полу, словно бы заставляя его уйти из страха, что оно подслушает ее тайну. Ногой-лотосом, на которой при малейшем движении звенел браслет, она словно бы выпроваживала домашних гусей. Полой платья, которой она, как веером, обмахивала свое вспотевшее лицо, она словно бы прогоняла пчел, жужжавших в цветах у ее ушей. Будто отступное, она предлагала павлину лист бетеля, надкушенный ее зубами. Будто боясь, что божества деревьев ее услышат, она бросала

по сторонам испуганные взгляды. Стыд замкнул ей уста, и, даже желая что-то сказать, она не могла ни слова вымолвить. Хотя она и пыталась начать говорить, голос ее никак не мог вырваться из горла, словно бы полностью выжженный пламенем страсти, или смытый потоком слез, или сломленный овладевшим ею страданием, или разбитый стрелами бога любви, или подавленный тяжелыми вздохами, или удержанный сотней забот ее сердца, или выпитый пчелами вместе с ее дыханием. Она наклонила лицо, и ливень прозрачных слез, падающих мимо щек, точно жемчужные бусины, которыми она словно бы пересчитывала тысячи своих бедствий, сделал ее похожей на дождливый день. Глядя на нее, стыдливость как бы училась собственной прелести, скромность — очарованию скромности, наивность — наивности, ум — уму, боязливость — боязливости, смущение — смущению, отчаяние — отчаянию, красота — красоте.

Видя ее замешательство, я спросила ее, что с ней происходит, но вместо ответа она принялась теребить рукой-лотосом гирлянду цветов, сплетенную служанками, как будто желала повеситься с горя, подняла одну из бровей, словно бы высматривая дорогу к смерти, и, вытерев свои покрасневшие глаза, стала долго и тяжело вздыхать. Когда же я, догадываясь о причине ее отчаяния, снова и снова пыталась заставить ее заговорить, она, упершись неподвижным взглядом в землю, лишь что-то чертила кончиком ногтя на листке кетаки, как бы желая написать

мне о своих горестях, и ее нижняя губка дрожала, будто она хотела шепотом поделиться своими бедами с пчелами, которые вились у ее рта.

Однако спустя какое-то время Кадамбари пристально поглядела мне в лицо и, как бы омыв каплями слез, которые падали и вновь наполняли ей глаза, свою способность говорить, померкшую от дыма любви, как бы высветив блеском сверкнувших в улыбке смущения зубов значение слов, которое она в слезах и в испуге на время забыла, кое-как с трудом принудила себя отвечать и сказала: „Патралекха! С того момента, как я тебя увидела, ты стала мне так дорога, как не дороги ни отец, ни мать, ни Махашвета, ни Мадалекха, ни сама жизнь. Не знаю почему, но мое сердце, отвергнув всех подруг, доверяет только тебе. Кого же другого избрать мне теперь наперсницей, кому другому рассказать о своем позоре, с кем другим поделиться горем! Но после того, как я поведаю тебе о своей неизбывной беде, я покончу счеты с жизнью. Клянусь тебе, сердце мое, зная, что со мною случилось, полно стыда. Что тогда говорить о чужом сердце, когда оно тоже это узнает! Как могла я запятнать позором свой род, чистый, как лучи месяца, отречься от скромности, завещанной мне предками, утвердиться в легкомыслии, не подобающем девушке! Без согласия отца, без разрешения матери, без одобрения старших мне не следовало ни говорить с ним, ни посылать за ним, ни показываться ему на глаза. Словно какая-то жалкая ветреница, не знающая удержу,

из-за этого гордеца, царевича Чандрапиды, я невольно стала укором для родичей. Скажи, разве так, как он, ведут себя люди великодушные и разве в том его дружба, чтобы сломать мое сердце, хрупкое, как стебель лотоса? Нет, юноши не должны так безжалостно обходиться с девушками. Ведь огонь любви сначала сжигает у девушек скромность, а потом и сердце; цветочные стрелы Маданы сначала губят их честь, а потом жизнь. Так вот, поскольку нет у меня никого дороже, чем ты, я молю тебя о новой встрече, но уже в другом рождении. Я хочу искупить свой позор ценой собственной жизни“.

Так сказав, она замолчала. Я же, сделав вид, что пристыжена, напугана, сбита с толку и смущена, оттого что не понимаю, в чем дело, с тревогой спросила: „Царевна, я хочу знать правду. Расскажи, что сделал царевич Чандрапида, какое оскорбление он тебе нанес, что за жестокость он учинил, которой ты никак не заслужила и которая разбила твое нежное, как лотос, сердце? Выслушав тебя, я готова буду еще прежде тебя, царевна, расстаться с жизнью“. На мои слова Кадамбари отвечала: „Я скажу тебе все, слушай внимательно. Каждый раз в моих сновидениях приходит ко мне этот лукавый обманщик и через попугая и сороку в клетке рядом со мною передает мне свои тайные послания. Когда я сплю, он, опьяненный нескромными надеждами, пишет на моих серьгах имена тех мест, где хотел бы со мною встретиться. Он посылает мне любовные письма, полные безрассудных мечтаний, и, хотя буквы в них смыты

каплями пота, строчками слез, подкрашенных тушью с ресниц, они рассказывают мне о его страсти. Жаром своей любви он, словно красным лаком, опалает мне ноги. От дерзости лишившись рассудка, он хвастает, что его отражение заполнило зеркало моих ногтей. Когда я одна гуляю по саду, он, гордый своею наглостью, обнимает меня, хотя я и отворачиваю от него лицо; а когда я хочу бежать, то цепляюсь платьем за ветки лиан, словно это мои подруги, по его наущению, пытаются удержать меня в его объятиях. Коварный от рождения, он чертит пальцем узоры на моей груди, словно обучая мое невинное сердце бесстыдству. Лживый льстец, он, будто ветром желаний, освежает своим прохладным дыханием мои щеки, покрытые звездами каплей пота. Невежа, он вместо серег вдевает мне в уши светлые, как колоски ячменя, лучи ногтей своей руки, и из его влажной от страсти ладони выскальзывает зажатый в ней лотос. Бессовестный, он хватает меня за волосы и из своих уст в мои насильно вливает вино, утверждая, что настала пора оросить им кусты моей любимой бакулы³⁰⁰. Безумный, он подставляет голову под мою ногу, когда я поднимаю ее, чтобы ударить ашоку³⁰¹ в дворцовом парке. Скажи, Патралекха, как избавиться мне от этого сумасброда, чей разум ослеплен Манматхой? Упреки он принимает за ревность, отказ за шутку, в молчании видит согласие, недоверие считает кокетством, в презрении усматривает признание в любви, дурную молву о себе почитает славой“.

Когда я это услышала, меня охватила радость и я подумала: „Далеко же увлек ее Кама в ее страсти к Чандрапиде! Если все так, как она говорит, то любовь, какую всем внушает Чандрапида, воплотилась в Кадамбари во всей ее силе. Добродетели Чандрапиды, дарованные ему от природы и умноженные воспитанием, вознаградили его по достоинству; стороны света, будто луной, озарились его славой; молодость пролила на него драгоценный поток даров, почерпнутых из океана любви; имя его во всей прелести вписала в себя луна; величие его соединилось со счастливой участью; красота его, словно красота месяца, выплеснулась дождем амриты. И еще: наконец-то вовремя задул ветер с гор Малая³⁰², на благую пору пришелся восход луны, богатство весенних цветов обернулось обилием ягод, опьянение разума стало добродетелью — настало время любви!“

А вслух я сказала улыбаясь: „Царевна, если так, то перестань гневаться, успокойся. Не нужно осуждать царевича за грехи Камы. Поистине, это не его вина, а проделки коварного бога с цветочным луком“. Услышав мои слова, Кадамбари с любопытством спросила: „Кама это или другой, но скажи, как он выглядит?“ Я отвечала: „Он никак не выглядит, царевна. Он огонь, не имеющий вида. Ибо, не пылая пламенем, он порождает жар, не клубясь дымом, заставляет глаза слезиться, не оставляя золы, покрывает лицо бледностью. И во всех трех мирах в прошлом, настоящем и будущем нет такого существа, которое он бы не ранил своими стре-

лами. Кто посмеет не бояться его? Натянув свой цветочный лук, он способен поразить стрелами самого сильного. А когда он овладевает чувствами девушки, небо ей кажется все в лунах лица ее любимого, земля слишком маленькой, чтобы вместить его отображения, запас чисел ничтожным, чтобы перечесать его достоинства. Сарасвати кажется ей скупой на слова, когда она слышит разговоры о своем избраннике, а время чересчур быстротечным, когда она мечтает о блаженстве свидания с тем, кто стал ей дороже жизни“.

Выслушав меня, Кадамбари немного подумала, а потом сказала: „Ты права, Патралекха, это бог любви с пятью стрелами внушил мне страсть к царевичу. Все то, о чем ты говорила, и даже сверх того, я нахожу в себе. Ты для меня — все равно что собственное мое сердце, и я прошу тебя, научи меня, что мне делать. Я неопытна в подобных делах, и мне так стыдно, так я боюсь недовольства отца и матери, что готова смерть предпочесть жизни“.

В ответ я сказала: „Довольно, довольно, царевна! К чему безо всякой на то причины думать о смерти? Бог любви не оставит тебя без покровительства, хотя ты и не искала его милости. Да и отчего старшим быть недовольными, если бог любви наставляет девушку, как учитель, советует ей, как мать, отдает другому, словно отец; ободряет, словно подруга, вразумляет быть доброй, как нянька в детстве. А о скольких девушках я могу тебе рассказать, которые сами, по собственной воле, выбрали себе супруга! Если

бы такого не случилось, то зачем был бы нужен обряд сваямвары³⁰³, установленный книгами законов? Молю тебя, касаясь твоих ног-лотосов, приготовь послание Чандрапиде и пошли меня с ним к царевичу. Я пойду и сама приведу к тебе, божественная, возлюбленного твоего сердца“.

Слушая меня, Кадамбари, казалось, пила меня глазами, увлажненными слезами радости. Смущенная пылом своей страсти, она пыталась ее сдержать, но та прорывалась сквозь завесу стыда, уже пробитую сотнями стрел бога любви. Она была так счастлива моими словами, что платье ее, прилипшее к потному телу, словно бы приподнялось на кончиках потянувшихся вверх волосков. Она поправила жемчужное ожерелье, в котором запутались дрожащие подвески ее длинных рубиновых серег и которое казалось петлей смерти, свитой из лунных лучей и брошенной ей на шею богом любви. И хотя сердце ее взволнованно билось, она, стараясь быть спокойной и сдержанной, как подобает царевне, сказала: „Я знаю, как сильно ты меня любишь. Однако откуда девушке, слабой по женской своей природе, как хрупкий цветок шириши, да еще только что вступившей в раннюю пору юности, набраться такой решимости? Как велико должно быть мужество тех, кто обращается к любимым с посланием или ищет с ними свидания! А я еще так неопытна и стыжусь подобной дерзости. Да и что за послание я могу отправить? „Ты очень дорог мне?“— это и так понятно. „Дорога ли тебе я?“— глупый вопрос. „Моя любовь к тебе безмерна?“— пустословие

кокетки. „Без тебя я не могу жить?“ — разлад слова и дела. „Меня победил Бестелесный бог?“ — любование собственной слабостью. „Я отдана тебе Маданой?“ — вымогательство встречи. „Ты от меня не вырвешься?“ — наглость блудницы. „Ты непременно должен прийти?“ — надменность красавицы. „Я сама к тебе приду?“ — женская навязчивость. „Я твоя преданная служанка?“ — простая учтивость. „Я не пишу тебе из страха быть отвергнутой?“ — игра с огнем. „Не видеть тебя — тяжелое бремя?“ — излишняя откровенность. „Моя смерть скажет тебе о моей любви?“ — пустая угроза».



ДОПОЛНЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ «КАДАМБАРИ», СОЧИНЕННОЕ БХУШАНОЙ, СЫНОМ БАНЫ

Краткое изложение

Завершая свой рассказ о страданиях Кадамбари в разлуке, Патралекха говорит, что Кадамбари решилась расстаться с нею только в надежде, что Патралекха вскоре вернется в столицу гандхарвов вместе с Чандрапидой, и умоляет царевича ради спасения жизни Кадамбари не медлить с отъездом.

Выслушав рассказ Патралекхи, Чандрапида осыпает себя горькими упреками, что недооценил силу любви Кадамбари. Несмотря на всю радость возвращения на родину, ему отныне становятся в тягость царские развлечения, докучливы встречи с друзьями и близкими. Однако, как ни жаждет он немедленно поехать к Кадамбари, он не чувствует себя вправе пренебречь волей отца, любовью матери и доверием подданных.

Однажды, гуляя вдоль берега реки Сипры, Чандрапида заметил группу всадников во главе с Кеюракой, скачущую в Удджайини от Хемакуты. После взаимных приветствий Чандрапида

отвел Кеюраку к себе во дворец и там подробно расспросил о Махашвете, Мадалекхе и прежде всего о Кадамбари. Оказалось, что Кеюрака не привез от нее никакого послания, он приехал лишь для того, чтобы описать царевичу ее отчаяние и предостеречь, что, если тот в ближайшие дни не появится на Хемакуте, Кадамбари может умереть от горя разлуки с ним.

Выслушав Кеюраку, Чандрапида падает в обморок. Придя в себя, он твердо решает поторопиться с отъездом. Но, не желая оскорбить своей поспешностью отца и мать, он хочет дожидаться Вайшампаяны, который вот-вот должен прибыть в столицу и привести с собой войско, оставленное Чандрапидой на его попечение.

Утром следующего дня до Чандрапиды доходит слух, что Вайшампаяна с войском уже прибыл в городок Дашапуру, который находится неподалеку от Удджайини. Чандрапида делится этой вестью с Кеюракой и тотчас отправляет его обратно к Кадамбари, чтобы тот заверил ее в близости их свидания. Вместе с Кеюракой Чандрапида отправляет и Патралекху, поручая ей убедить Кадамбари в неизменности его любви и преданности. Сразу же вслед за их отъездом министр Шуканаса оповещает Чандрапиду, что царь Тарапида решил его женить и подыскивает ему невесту. Чандрапида счастлив, что сам в качестве таковой вскоре сможет представить отцу Кадамбари.

Весь день Чандрапида поджидает Вайшампаяну, но тот не появляется, и тогда Чандра-

пида выезжает ему навстречу в Дашапуру. Там он находит войско расположившимся на ночной отдых, но среди воинов нигде не видит своего друга. На его расспросы смущенные военачальники так объясняют ему отсутствие Вайшампаяны:

«Когда царевич покинул войско, чтобы быстрее возвратиться в Удджайини, Вайшампаяна согласно приказу задержался у озера Аччходы еще на день. Прежде чем отправиться в путь, он предложил всем нам искупаться. Но когда мы подошли к воде, с ним произошло нечто странное. Любуясь красивой кущей деревьев на берегу, он вдруг застыл в оцепенении, припоминая, видимо, что-то очень важное, что случилось с ним здесь, может быть, даже в прошлом его рождении. Казалось, он мучительно ищет что-то давным-давно им потерянное, и в конце концов, утратив самообладание, он сел на землю и горько зарыдал. Несмотря на все наши уговоры, он отказывался тронуться с места и приказал нам возвращаться в Удджайини без него. „Я знаю,— сказал он,— что причину великое горе и Чандрапиде, и царю с царицей, и отцу, и матери, но ничего не могу с собою поделать. Нечто сильнее меня как бы приковывает меня к этому месту“. Как ни было нам это трудно, но мы должны были подчиниться и ушли, оставив его на попечение нескольких слуг».

Слушая этот рассказ, Чандрапида терялся в догадках: что могло побудить Вайшампаяну отказаться от выполнения своего и дружеского, и воинского долга? Он вернулся в Удджайини и

поспешил во дворец Шуканасы, отца Вайшампаяны, куда уже прибыли царь Тарапида и царица Виласавати. Узнав о случившемся, Тарапида высказывает предположение, что странное поведение Вайшампаяны вызвано каким-то невольным проступком Чандрапида по отношению к другу. Но Шуканаса не соглашается с этим: «Как луна не бывает горячей, а огонь — холодным, так царевич не может быть виноватым. Думаю, что сам Вайшампаяна повинен в непослушании и неблагодарности. И за это заслуживает быть превращенным в самое жалкое из живых существ». Тарапида пытается умирить гнев своего министра, он настаивает, что судить о поступке Вайшампаяны можно, лишь выслушав его самого, и тогда Чандрапида вызывается отправиться на розыски друга. Тарапида охотно дает на это разрешение, но Виласавати полна недобрых предчувствий и предвидит, что на сей раз разлука с сыном окажется куда опасней, чем его недавний поход на завоевание мира.

В тревоге за Вайшампаяну, но одновременно и в надежде на скорое свидание с Кадамбари, Чандрапида тотчас уезжает из Удджайини и, не заботясь в пути ни об отдыхе, ни об удобствах, в несколько дней добирается до озера Аччходы. Там он вместе со своими слугами принимается искать Вайшампаяну, но все его усилия остаются тщетными. Тогда он направляется в обитель Махашветы, рассчитывая, что, может быть, она что-то знает о Вайшампаяне. У входа в обитель он застаёт Махашвету горько плачущей и пугается, не случилось ли чего недоброго с Кадам-

бари. На его расспросы Махашвета из-за рыданий долго не отвечает, но в конце концов собирается с духом и рассказывает:

«После отбытия царевича с Хемакуты, я возвратилась в свою обитель у озера Аччходы, чтобы продолжить подвижничество. Однажды неподалеку отсюда я встретила некоего юношу брахмана, который бродил по округе с печальным и потерянным видом. Завидев меня, он уже не отрывал от меня взгляда, как если бы узнал во мне кого-то давно знакомого. Более того, словно безумный, он подошел ко мне, стал восхвалять мою красоту и уверять в своей любви. Однако со дня смерти Пундарики я глуха к подобным речам, и потому, не отвечая ему, я удалилась. Спустя несколько дней он снова ко мне подошел и снова стал говорить о любви. Опасаясь, что в своей несдержанности он может меня коснуться и тем самым, нарушив мое подвижничество, лишит надежды на встречу с Пундарикой, я гневно воскликнула: „Ты говоришь, как попугай, не задумываясь о смысле произнесенных слов. За это, сообразно своему естеству, да родишься ты попугаем в новом рождении!“ Я взмолилась благому богу луны, чтобы он исполнил мое пожелание, и вот — то ли в силу моего проклятия, то ли по собственной вине, то ли от избытка страсти — этот юноша упал на землю бездыханным, словно подрубленное дерево. И только спустя какое-то время, когда прибежали его слуги и с плачем стали называть его по имени, я поняла, что невольно погубила твоего лучшего друга».

Махашвета вновь зарыдала, а Чандрапиду охватило отчаяние. Он подумал, что безжалостная судьба отняла у него не только друга, но теперь уже и право на счастье с Кадамбари. При этой мысли сердце его раскололось надвое, как лопается созревший бутон под жалом пчелы, и его покинула жизнь.

Махашвета, друзья и слуги, даже конь Индраюдха проливают над бездыханным телом Чандрапиды неутешные слезы, и как раз в это время появляется Кадамбари, которая, услышав о приезде Чандрапиды к берегам Аччходы, отправилась вместе с Патралекхой, Мадалекхой и Кеюракой ему навстречу. Увидев своего возлюбленного мертвым, царица падает в глубокий обморок, а когда приходит в себя, то выражает твердую решимость умереть вслед за ним. Она поручает Мадалекхе заботу о цветах и животных, за которыми ухаживала, нежно прощается с Махашветой и припадает к телу Чандрапиды, чтобы уже никогда с ним не расставаться. В тот же миг над Чандрапидой возгорается белое сияние, которое заливают своим блеском округу, а с неба раздается божественный голос. Этот голос возвещает, что тело Чандрапиды пронизано лунным светом и потому нетленно, его не следует ни сжигать, ни бросать в воду, оно должно оставаться на земле, и Кадамбари надлежит неустанно заботиться о нем, ожидая его воскрешения. Одновременно голос вновь заверяет Махашвету в близкой встрече с Пундарикой, который, как и Чандрапида, пребывает в мире луны. Когда все в оцепенении

продолжают еще вслушиваться в божественное пророчество, Патралекха вдруг вскакивает на спину Индраюдхи и с возгласом: «Ты ни на миг не должен расставаться с хозяином на предначертанном ему пути» — погружается вместе с конем в воды Аччходы.

Как только они исчезли в озере, из его глубины поднимается молодой аскет, в котором Махашвета, к своему удивлению и радости, узнает Капинджалу, друга Пундарики. На ее расспросы Капинджала рассказывает, что, преследуя божественного мужа, унесшего тело Пундарики, он взмыл за ним в небо и оказался в мире луны. Там похититель объявил себя Чандрой, богом луны, и поведал, что однажды ночью, освещая мир своими лучами, он нечаянно коснулся ими Пундарики и доставил ему, и так страдающему из-за любви к Махашвете, новые мучения³⁰⁴. Пундарика проклял его за бессердечие и предсказал, что Чандра дважды подряд родится простым смертным в стране бхаратов и испытает те же, что и он, Пундарика, любовные муки. На проклятие Чандра ответил проклятием, по которому Пундарика должен был умереть и в новых рождениях разделить с Чандрой его страдания. Но затем, узнав, что Пундарика — возлюбленный Махашветы, которая принадлежит к лунной расе, Чандра перенес его тело в лунный мир, где оно и хранится нетленным, пока душа Пундарики в новых обличьях странствует по земле. Рассказав эту историю, Чандра посоветовал Капинджале разыскать отца Пундарики — божественного

мудреца Шветакету и попросить его облегчить, насколько возможно, участь сына.

Отправившись на розыски Шветакету, Капинджала в своих блужданиях по небу однажды второпях не заметил, что непочтительно пересек дорогу его колеснице. Разгневанный Шветакету проклял Капинджалу: поскольку тот торопился, как лошадь, ему предстоит родиться лошадью в мире смертных. Но затем Шветакету ограничил срок своего проклятия: Капинджала останется лошадью лишь до момента смерти своего будущего хозяина — сына царя Тарапиды Чандрапиды, в которого воплотится бог Чандра. Другом же Чандрапиды, по словам Шветакету, будет Пундарика, воплотившийся в сына министра Шуканасы — Вайшампаяну. Так Капинджала стал конем Индраюдхой и, сохраняя память о былом рождении, намеренно привез своего господина Чандрапиду, когда тот преследовал пару киннаров, к берегу озера Аччходы. А Пундарика оказался тем юношей брахманом, которого, не узнав в новом его воплощении, прокляла Махашвета.

Выслушав рассказ Капинджалы, Махашвета пришла в отчаяние, что во второй раз послужила невольной причиной гибели своего возлюбленного, но Капинджала утешил ее, уверив, что время ее испытаний скоро кончится. Кадамбари пожелала услышать от Капинджалы, что случилось с Патралекхой, которая вместе с ним, в его бытность Индраюдхой, бросилась в воды Аччходы, но Капинджала не смог ответить на этот вопрос и вновь поднялся в небо, чтобы

узнать дальнейшую судьбу Патралекхи, а также Чандрапиды и Вайшампаяны.

Кадамбари решила остаться в обители Махашветы и ждать обещанной встречи с возлюбленным. Тело Чандрапиды, о котором она не устанно заботилась, пребывало нетленным и излучало белое сияние, как бы подтверждая истинность рассказа Капинджалы. Тем временем царь Тарапида, полный беспокойства о сыне, сначала посылает в обитель гонцов, а затем и сам является туда вместе с Виласавати, Шуканасой и его женой Манорамой. Виласавати горько оплакивает гибель Чандрапиды, но Тарапида, услышав об всем, что произошло, убеждает супругу не отчаиваться, поскольку их сын, как они только что узнали, — воплощение бога луны и смерть ему не страшна. Познакомившись с Кадамбари и полюбив ее, Тарапида и Виласавати с радостью признают ее невестой сына и в ожидании исхода событий присоединяются к ней и Махашвете в их служении у тела Чандрапиды.

На этом мудрец Джабали закончил свое долгое повествование, которому с любопытством внимали отшельники его обители, и в заключение лишь добавил, что попугай, принесенный в обитель его сыном Харитой, не кто иной, как Пундарика, который сначала был рожден Вайшампаяной, а теперь — по двойному проклятию: Махашветы и Шуканасы — стал попугаем.

Пересказав Шудраке то, что он услышал от Джабали, попугай продолжил свою собственную историю. По словам попугая, рассказ Джабали заставил его припомнить свои прошлые

рождения (в качестве Пундарики и Вайшампаяны), и он вновь почувствовал страстную любовь к Махашвете и братскую привязанность к Чандрапиде. Желая немедленно их повидать, он стал расспрашивать Джабали, где их найти, но тот упрекнул попугая в легкомыслии и посоветовал подождать хотя бы до тех пор, пока у него не отрастут крылья. Между тем в обитель Джабали приходит Капинджала. Он сообщает попугаю, что Шветакету, его отец в прошлом рождении, все знает о его судьбе и приступил к исполнению подвижнических обрядов, которые избавят его от жалкой участи птицы. Пока же ему следует набраться терпения и оставаться в обители Джабали.

Но, несмотря на предостережения, попугай, как только подросли у него крылья, покинул обитель и в стремлении поскорее встретиться с Махашветой полетел к Аччходе. По пути он уснул на ветке дерева, а проснувшись, оказался в силках, расставленных неким охотником-чандалой. Как ни умолял попугай отпустить его на волю, чандала отнес его к своей царевне. А та, ласково обращаясь с ним и называя сыном, некоторое время держала у себя, а затем отнесла царю Шудраке, которому он и поведал во всех подробностях о своих приключениях и о судьбе своих друзей.

Взволнованный удивительным рассказом попугая, Шудрака спрашивает девушку-чандалу, кто она такая и зачем принесла попугая именно ему. Та отвечает, что выслушанная царем история — это история его собственной жизни, ибо

в прошлом своем рождении Шудрака был Чандрапидой, а в вечной своей ипостаси — он Чандра, бог луны и супруг Рохини. Сама же девушка-чанда — воплощение богини Лакшми, матери Пундарики, который, в свою очередь, сначала родился Вайшампаяной, а затем попугаем. По просьбе Шветакету она держала попугая в клетке, оберегая его от легкомысленных поступков, пока с него не будет снято проклятие. «Теперь срок проклятия кончился», — воскликнула девушка-чанда и с этими словами, приняв свой истинный облик богини, взмыла в небо.

Одновременно с концом проклятия Пундарики завершился и срок проклятия, тяготеющего над Чандрой-Чандрапидой. В окрестностях озера Аччходы Кадамбари, повинувшись внезапному порыву, крепко обнимает тело Чандрапиды. Это касание любимой возвращает царевича к жизни. Тут же спускается с неба оживший Пундарика, держа в руках жемчужное ожерелье, подаренное Махашветой. Счастливое свидание друзей и влюбленных завершается появлением Капинджалы с посланием от Шветакету. В этом послании великий мудрец еще раз свидетельствует, что Чандра, Чандрапида и Шудрака — одно и то же лицо, а Шуканасе и Манораме представляет Пундарику как собственного их сына Вайшампаяну. На следующий день все участники необычайных событий покидают берега Аччходы и прибывают в столицу царя гандхарвов, где торжественно празднуются свадьбы Чандрапиды и Кадамбари, Пундарики-Вайшампаяны и Махашветы.

Вскоре после свадьбы Кадамбари спрашивает Чандрапиду о судьбе Патралекхи, которую никто не видел после того, как она бросилась с Индраюдхой-Капинджалой в воды Аччходы. Чандрапида объясняет, что Патралекха не кто иная, как Рохини, супруга бога луны и, следовательно, вторая жена самого Чандрапиды. Когда бог луны по проклятию стал Чандрапидой, Рохини, не желая покинуть супруга, сошла на землю в облике Патралекхи.

В конце романа говорится, что после всех своих злоключений его герой Чандрапида часть отпущенного ему богами времени проводит на небе с Рохини, а часть на земле — попеременно в Удджайини и на Хемакуте — вместе с Кадамбари. И в своей долгой и счастливой земной жизни Чандрапида и Кадамбари, так же как Пундарика и Махашвета, никогда уже не расстаются друг с другом.

ПРИЛОЖЕНИЯ



«КАДАМБАРИ» БАНЫ И ПОЭТИКА САНСКРИТСКОГО РОМАНА

В литературном наследии древней Индии проза (если не учитывать прозу религиозных, философских, научных памятников) занимала сравнительно малое место. Тем не менее в индийской традиции она ценилась ничуть не ниже, чем поэзия. И такая высокая оценка не в последнюю очередь была связана с высокой художественной репутацией переведенного нами сочинения Баны, которое вместе с тремя другими прозаическими сочинениями VII века н. э.: «Харшачаритой» («Деяниями Харши») того же Баны, «Дашакумарачаритой» («Приключениями десяти царевичей») Дандина и «Васавадаттой» Субандху — принадлежит особому жанру древнеиндийской (санскритской) литературы, называемому современными исследователями санскритским романом. Следует, однако, сразу же заметить, что практически удобное обозначение «роман» в отношении санскритского жанра не исконно, но привнесено из европейской литературной традиции, и потому

приходится считаться с его возможной неточностью и условностью.

Психологически понятно, что, когда сталкиваешься с текстами иной литературы, хочется соотнести их с собственным литературным и эстетическим опытом, использовать в связи с ними привычные толкования. Отсюда принятая в литературоведении тенденция вводить классические восточные (в том числе, конечно, и индийские) литературные памятники в знакомые европейские рамки, накладывать на них уже апробированную сетку понятий и терминов — тенденция, находящая опору в представлении об единстве мирового литературного процесса, в концепции гомогенеза мировой культуры, проходящей, по Э. Тэйлору, в разных культурных общностях одни и те же «фазы роста». Есть и противоположная тенденция: рассматривать отдельные цивилизации и соответственно литературы как более или менее замкнутые монады с особым кругом понятий и принципов, созданным по собственным структурным законам. Такая тенденция по многим причинам весьма спорна, но она обладает, по крайней мере, одним достоинством: отвергает априорный подход к культуре «извне» и настаивает на тщательном изучении ее текстов «изнутри», в согласии с выработанными ею самой критериями. Только как последующий шаг предполагается сопоставление памятников разных культур и вывод об их однородности или неоднородности.

Нам хотелось бы учесть преимущества такой

методики еще и потому, что она хотя бы отчасти помогает преодолеть барьеры уже сложившегося эстетического восприятия. Знакомство с критериями «чужой» литературы, их основанием и внутренней логикой невольно приближает к ней даже далекого от нее читателя, общает к ее ценностям. Роман Баны — простое и непривычное чтение, и адекватно оценить его, почувствовать его своеобразие и художественные достоинства можно только в достаточно широком историческом и литературном контексте. Поэтому, прежде чем приступить к его всестороннему содержательному и стилистическому анализу, нам кажется полезным рассмотреть общие принципы древнеиндийской поэтики и механизмы их воплощения в санскритском романе в целом.



В древнеиндийской культуре художественные сочинения объединялись понятием «кавья» (kāvyā), которое обычно переводится как «поэзия». Кавья противопоставлялась нехудожественным (сакральным, дидактическим, ученым, фольклорным и др.) видам словесности и прежде всего понятиям «шастра» (śāstra — «поучение»), которое включало в себя священные предания, а также научные тексты, и «итихаса» (ītiḥāsa — «сказание»), к которому относились классический эпос и пураны. Санскритский теоретик поэзии Маммата (XI в.) в трактате

«Кавьяпракаша» («Свет поэзии») указывает, что в шастрах, включая веды, господствует слово, обладающее силой авторитета, в итихасах — смысл, как бы он ни был высказан, а в кавье — и слово и смысл, но только искусно выраженные (КП, с. 9)¹. Именно искусство выражения признавалось основным признаком кавьи во времена расцвета санскритского романа. Позже наряду с ним и в тесной зависимости от него были добавлены признаки скрытого смысла (дхвани) и эстетической эмоции (раса), но поэтики VII—VIII веков Бхамахи, Дандина и Ваманы специфику поэзии в первую очередь видят в «украшенности» (аланкрити), украшенности риторическими фигурами или «украшениями»-аланкарами (alamkāra). Дандин пишет: «Ими {знатоками} указаны тело поэзии² и украшения» [КД I. 10], и далее «Качества, создающие красоту поэзии, называются украшениями» [КД II. 1]. А Вамана в самом начале своего трактата утверждает: «Поэзия воспринимается благодаря украшенности... Украшенность — это прекрасное <в поэзии>» [КАС I. 1. 1, 2].

Если произведение обладает свойством «украшенности», безразлично, написано оно в

¹ То же говорит другой знаменитый теоретик Абхинавагупта в комментарии к трактату «Натьяшаstra» [АБх. I, с. 383].

² Под «телом» поэзии санскритские поэтики понимали слово (шабда) и смысл (артха) в их единстве и определяли поэзию как «единство звучания и значения»; подробно см.: Гринцер П. А. Основные категории классической санскритской поэтики. М., 1987. С. 12—16.

стихах или в прозе, на санскрите или каком-либо другом языке. И Бхамаха, и Дандин, и Вамана указывают три вида кавьи: стихотворную (падьа), прозаическую (гадьа) и смешанную (мишра)¹, а также составленные на санскрите, пракритах и апабхрانشе², но при этом не видят принципиального различия между ними, и Вамана даже отказывается рассматривать отдельно жанры поэзии и прозы, поскольку жанровая специфика не кажется ему «скольконибудь существенной» [КАС I. 3. 22].

Тем не менее по чисто формальным признакам некоторые жанры выделялись. Так, Бхамаха [КАБ I. 18] в качестве стихотворных жанров различает «поэзию не связанных <друг с другом стихов> (anibaddha-kāvya)» и «большую поэму», разделенную на главы (sargabandha, или mahākāvya); в качестве прозаических — катху (kathā — условно «повесть») и акхьяйку (ākhyāyikā — условно «история»); смешанным жанром (т. е. состоящим из стихов и прозы) он называет драму (abhinaya-artha). Дандин в принципе принимает эту классификацию, но делает

¹ То есть в стихах и прозе одновременно; имеется в виду, в частности, драма (натья).

² Праkritы — среднеиндийские языки, близкие санскриту. Апабхрانشа — по Дандину, язык абхиров и других племён (каст?) низкого социального статуса. По-видимому, во времена Дандина апабхраншей назывался разговорный, «испорченный» язык необразованных классов общества *Gupta D. K. Society and culture in the time of Daṇḍin. Delhi, 1972. P. 373*). Известный под именем апабхранши позднесреднеиндийский литературный язык в VII в. н. э. еще не вошел в обиход.

ее несколько более дробной. В «поэзии не связанных стихов» он различает жанры муктака (отдельные строфы), кулака (стихи из 3—5 строф) и коша (поэтическая антология) [КД I. 13]; к саргабандхе, или махакавье, добавляет жанр сангхаты (saṃghāta — короткой поэмы, написанной одним размером (например, «Мегахадута» («Облако-вестник») Калидасы) [КД I. 13]; наряду с драмой в качестве смешанной формы упоминает чампу (cāmrū) — повествование в стихах и прозе [КД I. 13]. С небольшими вариациями классификация Бхамахи и Дандина была принята всеми последующими поэтиками; и как прозаические виды повествования в них неизменно назывались катха и акхьяика.

Прежде чем подробнее охарактеризовать эти два прозаических жанра, к которым, согласно индийской поэтике, принадлежали упомянутые нами санскритские романы, обратим внимание на весьма примечательное обстоятельство. Дошедшие до нас памятники древнеиндийской прозы достаточно разнообразны, и один из крупнейших исследователей санскритской литературы немецкий индолог М. Винтерниц насчитывает пять ее разновидностей: 1) сказки, рассказы и фарсы, заимствованные из фольклора; 2) собрания рассказов, составленные каким-либо компилятором для религиозных целей (например, буддистские джатаки); 3) повествовательные сочинения, предназначенные для развлечения (например, «Двадцать пять рассказов ветапы» («Веталапанчавиншати») или «Семьдесят рассказов попугая»

(«Шукасаптати»); 4) повествовательные сочинения дидактической направленности (например, «Панчатантра»); 5) романы, написанные изысканной прозой (здесь Винтерниц называет «Дашакумарачариту», «Кадамбари» и «Васавадатту»)¹. Винтерниц, как мы видим, включает в свое перечисление такие всемирно известные, чрезвычайно популярные и в Индии, и за ее пределами памятники, как «Панчатантра», «Шукасаптати», «Веталапанчавиншати», джа-таки. Однако удивительным образом санскритская поэтика в собственных классификациях о них умалчивает и из пяти разновидностей прозы, выделенных Винтерницем, учитывает только пятую — роман (или в оригинальном именовании — катху и акхьяику). Очевидным основанием для этого, с точки зрения санскритской поэтики, служит то обстоятельство, что лишь катха и акхьяика могут по своей стилистике быть отнесены к истинной поэзии — кавье. Остальные виды прозы, как бы ни были они популярны, находятся за рамками высокой литературы: они лишены ее главного признака — украшенности языка или, по крайней мере, этот признак для них не главный.

Критерий украшенности в равной мере предлагается санскритскими поэтиками и к катхе, и к акхьяике, и вместе с тем они устанавливают между ними весьма тонкие различия. Автор первой дошедшей до нас санскритской поэтики

¹ Winternitz M. A history of Indian literature. Vol. III. Pt. 1. Delhi, 1977. P. 336.

Бхамаха (вероятно, XII в.) в трактате «Кавьяланкара» («Поэтические украшения») называет акхьяикой сочинение, написанное возвышенной прозой на санскрите, в котором герой рассказывает историю собственной жизни и которое делится на главы, называемые «уччхвасы», причем каждая из глав, начиная со второй, открывается вступительными стихами в метрах вактра и апаравактра¹, намекающими на дальнейший ход событий. В то же время, по Бхамахе, произведения в жанре катха пишутся не только на санскрите, но и на апабхрханше, в них нет ни деления на главы — уччхвасы, ни соответственно вступительных стихов вактра и апаравактра, рассказчик катхи — иное лицо, чем герой, сюжет включает в себя мотивы «похищения девушки», «разлуки» и «успеха» (udaya) героя, а также «эпизоды, отмеченные воображением поэта» [КАБ I. 25—29]. Бхамаха, таким образом, дифференцирует акхьяику и катху и по формальным (язык, деление на главы, наличие вступительных стихов, характер рассказчика), и по содержательным (автобиографичность и, следовательно, относительная достоверность акхьяики; присутствие вымысла и традиционных повествовательных мотивов в катхе) признакам.

Дандин, живший, по-видимому, немногим позже Бхамахи, в своей поэтике «Кавьядарша»

¹ Вактра — силлабический размер, близкий к эпической шлоке, с 16 слогами в каждом полустишии стиха; апаравактра — стихи, имеющие по 22 или по 23 слога в полустишии.

«Зеркало поэзии») принял постулат о двух видах литературной прозы с большими оговорками [КД. I. 23]. Утверждают, пишет он, что акхьяику рассказывает сам герой, поскольку, «когда речь идет о действительно случившихся событиях, не будет недостатком описывать собственные достоинства» [I. 24]; однако на практике, по мнению Дандина, это правило не соблюдается, и в некоторых акхьяиках герой не является рассказчиком [I. 25]. Точно так же стихи вактра и апаравактра, замечает Дандин, встречаются не только в акхьяиках, но и в катхах, а катхи могут делиться на главы, называющиеся «ламбха» и «уччхваса» [I. 26—27]. Мотивы «похищения девушки», «разлуки», «успеха героя» вообще не могут рассматриваться как отличительные признаки жанра катхи, потому что они присутствуют во всех повествовательных жанрах: и в акхьяике, и даже в саргабандхе [I. 29]. И наконец, катха, вопреки утверждению Бхамахи, может быть составлена не только на санскрите и апабхрانشе, но и на других языках; Дандин при этом ссылается на знаменитое (но не сохранившееся до наших дней) произведение Гунадхьи «Брихаткатха» («Великий сказ»), которое было написано «на языке бхутов» (пракрите пайшачи) [I. 38]. Общий вывод Дандина: «Катха и акхьяика — один жанр (*ekā jātiḥ*), хотя и известный под двумя именами» [I. 28].

В перспективе истории санскритской литературы различие взглядов Бхамахи и Дандина (и даже более или менее явственная полемика

между ними) кажется различием подходов теоретика и практика. Бхамаха в своих утверждениях опирался, видимо, на поэтологическую традицию и, возможно, на особенности древних, не дошедших до нас прозаических сочинений. Дандин же признавал прокламируемые в поэтиках отличия акхьяики от катхи несущественными, поскольку они не были актуальными для современной ему прозы и прежде всего для его собственных сочинений. Как мы убедимся позже, роман Дандина «Дашакумарачарита», несомненно, принадлежал к прозе типа кавья, но весьма мало соответствовал теоретическому канону и свободно варьировал приметы катхи и акхьяики.

Позицию Дандина в отношении жанров прозы в значительной мере разделял Вамана (ок. 800 г.), отказавшийся в «Кавьяланкарасутре» («Сутра о поэтических украшениях») от дискуссии по поводу их различия [КАС I. 3. 32], но в целом в позднейших поэтиках возобладала тенденция отделения катхи от акхьяики, хотя и не вполне по тем признакам, о которых полемизировали Бхамаха и Дандин. Вероятно, здесь сыграло роль появление, а затем и растущая популярность романов Баны и Субандху, которые рядом новых черт отличались друг от друга.

Так, Рудрата (IX в.) в «Кавьяланкаре» («Поэтические украшения») утверждает, что катха начинается стихотворным вступлением, в котором автор восхваляет богов и наставников, а также коротко говорит о себе и о мотивах

создания своего сочинения. Важную роль в катхе, согласно Рудрате, должны играть разного рода описания, среди которых он в первую очередь упоминает описания городов. Помимо главного повествования, в катхе должна рассказываться и побочная история, так или иначе с ним связанная. При этом темой главного повествования катхи является «обретение девушки» (*kanyā-labhā*), а его эмоциональным содержанием — раса любви, или шрингара-раса (*śṛṅgāra-rasa*). Рудрата указывает, что в акхьяике тоже имеется стихотворное вступление, но, в отличие от катхи, в нем нет автобиографических сведений, которым уместно быть в начале прозаического текста. Акхьяика делится на уччхвасы, и за исключением первой они открываются одной-двумя строфами, обозначающими ведущую тему главы; внутри глав также могут быть вкраплены — но в небольших количествах и в особо примечательных случаях — стихи, содержащие изысканные поэтические фигуры — аланкары [КАР XVI. 20—30].

Заметим, что Рудрата не касается вопроса, кто должен быть рассказчиком в акхьяике, а кто в катхе: видимо, это уже не имело значения. Также Рудрата не настаивает, что акхьяика основана на действительных событиях, а катха — на вымысле, хотя его указание, что в прозаический текст акхьяики включается автобиография поэта, в то время как главная тема катхи — «обретение девушки», то есть ведущая тема романической фикции, косвенно подтверж-

дает различие их содержания¹. Позицию Рудраты, хотя и с небольшими отклонениями, разделяют многие индийские теоретики поэтики: анонимный автор раздела о поэтике в «Агни-пуране» [АП 337. 13—16], Бходжа, Хемачандра, Вишванатха и др. И сами они (или их комментаторы, как, например, комментатор трактата Рудраты Намисадху) согласно указывают в качестве образца акхьяики «Харшачариту» Баны, а в качестве образцов катхи — «Кадамбари» Баны и «Васавадатту» Субандху.

Существенны наблюдения авторов поэтик над языком катхи и акхьяики. Помимо «украшенности» или скорее в качестве одного из компонентов «украшенности» они выделяют такое свойство языка прозы, как употребление сложных слов². Дандин в обилии сложных слов видит «жизнь прозы» [КД I. 80]. Умение составлять сложные слова, отличающиеся изяществом, но не препятствующие легкости понимания смысла, признавали необходимым для хорошего прозаика Рудрата [КАР XVI. 21] и автор «Агни-пураны» [АП 337. 14]. А Анандавардхана (IX в.) в «Дхваньялоке» («Свет дхвани») пишет: «В акхьяике, как правило, применяют

¹ Наиболее четкую дифференциацию катхи и акхьяики в этом отношении дает древнеиндийский лексикограф Амарасинха (V—VI в.) в словаре «Амаракоша»: «Акхьяика — <сочинение> с известным содержанием, катха — выдуманная история» [АК I. 5. 6].

² Санскрит представляет широкие возможности образования сложных слов вплоть до соединения нескольких десятков простых слов в одном сложном слове.

средние и короткие сложные слова, ибо слишком большие конструкции затуманивают прозу... В катхе же, хотя ее проза и изобилует длинными конструкциями, нужно соблюдать сообразность, о которой говорилось по поводу расы» (так, например, длинные сложные слова, по мнению Анандавардханы, неуместны при описании печали или неразделенной любви, но хороши для изображения мужества, гнева и т. п.) [ДЛ, с. 143].

В целом авторы санскритских поэтик видели в катхе и акхьяике достаточно близкие друг другу жанры литературной прозы. Разница между ними (не всегда трактуемая как существенная) определялась несколькими аспектами формы (деление на главы, субъект повествования, виды стихотворных вставок) и — что не менее важно — содержания. Акхьяика понималась как рассказ, претендующий на достоверность, поскольку он включал в себя жизнеописание автора и изображение событий, известных из истории либо освященных историческим преданием. Катха же была выдуманным рассказом с традиционным (архетипическим) нарративным сюжетом (утрата возлюбленной, ее поиск, обретение, успех героя), который способен вызвать у читателя эмоциональный отклик — расу (обычно любовную — шрингару). При этом и катхе и акхьяике непременно должна была быть свойственна изысканность, украшенность слога. Стилистический критерий объединял их, определял общую принадлежность к произве-

дениям кавьи, и при рассмотрении поэтики санскритского романа он в первую очередь значим.

Скудость данных санскритских поэтик затрудняет суждение о происхождении жанров катхи и акхьяики и о реальном масштабе распространения этих жанров. В качестве образцов катхи и акхьяики в поэтиках упоминаются лишь романы Баны и Субандху. Между тем уже в III веке до н. э. грамматик Катьяяна в своем комментарии к «Аштадхьяи» («Восьмикнижие») Панини (IV. 2. 60 и IV. 3. 87) выделяет акхьяику в особый словесный жанр, а грамматик Патанджали (II в. до н. э.) называет три ранних акхьяики: «Васавадатту», «Суманоттару» и «Бхаймаратхи». Ничего об этих произведениях мы не знаем. Можно, однако, предположить, что это еще не были акхьяики в классическом значении этого термина, а просто исторические или, точнее, псевдоисторические жизнеописания. Во всяком случае, Каутилья в «Артхашастре» (конец I тысяч. до н. э.) считает акхьяику разновидностью итихасы (достоверного сказания) наряду с другими ее разновидностями, такими, как пурана, итивритта (история), удахарана (пояснение), дхармашастра (законы) и артхашастра (наука политики) [АШ I. 2. 5; с. 20]. По-видимому, только со временем акхьяика стала приобретать собственно литературное качество и из сферы дидактики перешла в сферу кавьи — параллельно, а может быть, и под влиянием формирующегося жанра катхи, первым памятником которого стала знаменитая «Брихаткатха» Гунадхьи, написанная на пракрите пай-

шачи и сохранявшая еще прямую связь с индийским повествовательным фольклором. «Брихаткатха» не дошла до нашего времени, но сохранилось несколько ее средневековых обработок, по которым можно судить о ее содержании и форме. Эти обработки свидетельствуют, в частности, о тесной связи «Брихаткатхи» с санскритским романом, тем более что и Бана, и Субандху, и Дандин — все называют Гунадхью в качестве своего предшественника или его произведение в качестве своего образца.

Наряду с «Брихаткатхой» Бана в стихах пролога к «Харшачарите» называет среди своих образцов также роман «Васавадатта», который «тотчас же обращает в прах гордость поэтов» [ХЧ, строфа 12]¹, и некое прозаическое сочинение Бхаттары Харичандры, «прекрасное связью слов, превосходное, отличающееся искусным сочетанием звуков» [ХЧ, строфа 13]. Есть предположение, что и Субандху косвенно ссылается на несколько популярных романов, названных, как и его собственное сочинение, именами главных их героинь: «Васантасена», «Маданамалини», «Рагалекха», «Ютхика», «Читралекха», «Виласавати» и «Каттимати»². Но, к сожалению, о них ничего не известно, так же как мало что

¹ Возможно, речь идет о той же акхьяике «Васавадатта», которую называл Патанджали; менее вероятно, что имеется в виду «Васавадатта» Субандху (см.: *Dasgupta S. N., De S. K. A history of Sanskrit literature. Vol. 1. Calcutta, 1962. P. 754 f.; Karmarkar R. D. Bāṇa. Dharwar, 1964. P. 28.*

² См.: *Warder A. K. Indian kāvyā literature. Vol. III. Delhi, 1977. P. 243, 245.*

известно о романах «Чарумати» Вараручи, строфу из которого цитирует Бходжа (XI в.) в поэтике «Шрингарапракаша» («Свет расы любви»), «Шудрака-катха» предшественника Калидасы Сомилы (или Рамилы), «Тарангавати» Шрипалитты, упомянутом в нескольких поздних санскритских текстах.

Вместе с упомянутыми выше мы знаем по названиям, как полагают специалисты, около тридцати санскритских романов, из которых сохранились только девять. Не считая четырех классических романов Дандина, Субандху и Баны, это «Тилакаманджари» Дханапалы (X в.), повествующий о разлуке и новой встрече влюбленных друг в друга героев — Самаракету и Тилакаманджари; «Удаясундари-катха» Соддхалы (XI в.) — рассказ о любви дочери царя нагов Удаясундари и царевича Малаяваханы; «Гадьячинтамани» («Волшебный камень прозы») Одеядевы Вадивасинхи (XI в.), в основе которого лежит легенда о благочестивом царевиче Дживандхаре, ставшем после многих приключений джайнским аскетом; «Вемабхупалачарита» («Деяния Вемабхупалы») Ваманабхатты Баны, прославляющий царя Вемабхупалу, или Виранараяну, действительно царствовавшего в Кондавиду в 1403—1420 годах; и «Авантисундари-катха» неизвестного автора. Первые два романа написаны в жанре катха и очевидно ориентированы на «Кадамбари» Баны. Следующие два принадлежат жанру акхьяика и тоже подражают Бане, но уже другому его роману «Харшачарите», уступая, однако, по художе-

ственной ценности своему образцу. О пятом, «Авантисундари-катхе», следует сказать особо.

Фрагменты романа «Авантисундари-катха» впервые были найдены и опубликованы в 1924 году индийским ученым М. Р. Кави. В сохранившейся первой главе романа авторство его приписывается Дандину, причем более или менее подробно рассказано о предках знаменитого писателя, некоторых событиях его жизни, в частности, тех, при которых он взялся за сочинение «Повести об Авантисундари». В целом о содержании романа судить по дошедшим фрагментам было трудно, но вскоре обнаружился его стихотворный пересказ «Авантисундари-катхасара» («Сердцевина повести об Авантисундари»), и оказалось, что оно непосредственно примыкает к содержанию известного нам романа Дандина «Дашакумарачарита». Дело в том, что и «Дашакумарачарита» дошла до нас в неполном виде: не сохранились начало романа (так называемая «пурвапитхика») и его окончание («уттарапитхика»). Так вот «Авантисундари-катха», повествующая о судьбе и приключениях главного героя «Дашакумарачариты» царевича Раджаваханы и его возлюбленной Авантисундари, по сути дела, восполняет отсутствующий в романе Дандина пролог и даже могла бы таковым и считаться, если бы не очевидные различия в стиле и композиции.

«Дашакумарачарита» написана в живой повествовательной манере, с достаточно быстрой сменой событий и эпизодов и редкими отступлениями и описаниями. «Авантисундари-катха»,

напротив, орнаментальна, предпочитает медленное развитие сюжета, изобилует громоздкими описаниями и побочными историями, стилистически близкими романам Баны. Отсюда несколько разных заключений об авторстве и происхождении «Авантисундари-катхи». Одни ученые считают «Авантисундари-катху» поздним произведением Дандина, переписавшего «зрелой рукой мастера» часть своего раннего романа¹. Другие, наоборот, видят в ней раннее сочинение того же Дандина, созданное в подражание Бане, но затем переработанное в «Дашакумарачариту», когда Дандин нашел «свой собственный оригинальный стиль»². Наконец, третьи — и их точка зрения кажется нам наиболее убедительной — не считают «Авантисундари-катху» произведением Дандина, но видят в ней сравнительно поздний самостоятельный роман, призванный, подобно другим поздним переложениям пурвапитхики «Дашакумарачариты», заполнить лакуну в знаменитом романе, но не в манере самого Дандина, а в манере Баны, ставшей в средневековой санскритской литературе безраздельно доминирующей³. Если это так, то

¹ The Daśakumaracarita of Daṇḍin.../Ed with introduction by M. R. Kale. Delhi; Varanasi; Patna, 1966. P. XXIV f.; Gupta D. K. Society and culture in the time of Daṇḍin. Delhi, 1972. P. 7—12.

² Ruben W. Die Erlebnisse der zehn Prinzen. Eine Erzählung Dandins. Berlin, 1952. S. 86—88; Серебряков И. Д. Очерки древнеиндийской литературы. М., 1971. С. 195—197.

³ Dasgupta, De. Op. cit. P. 211.

мы вправе отнести «Авантисундари-катху» к поздним и подражательным текстам, ограничив свое рассмотрение поэтики санскритского романа теми четырьмя классическими его произведениями, которые были названы нами в начале статьи.

*

Одна из самых сложных проблем истории древнеиндийской литературы — проблема хронологии. Индийская традиция придавала мало значения историческому ходу времени, и индийские авторы, как правило, не слишком заботились о том, чтобы отметить себя, свои произведения или те произведения, которые они упоминают, на временной шкале. Отсюда удивительная скудость наших сведений об обстоятельствах жизни того или иного писателя. Расхождения в датировках у исследователей санскритской литературы доходят иногда до нескольких сотен, а то и тысячи лет. По большей части приходится ограничиваться относительной, а не абсолютной хронологией, то есть, исходя из косвенных данных, утверждать, что такой-то автор жил раньше такого-то или такое-то произведение написано заведомо позже такого-то, не зная точно временной приуроченности ни того, ни другого.

К счастью, одним из немногих исключений был автор «Кадамбари» и «Харшачариты» Бана,

или Банабхатта¹. В первых трех главах «Харшачариты» Бана, в согласии с жанровыми нормами акхьяйки, рассказывает свою биографию и, в частности, как после долгих юношеских странствий он поселился в родной деревне, куда однажды явился посланник царя Харши и пригласил его к царскому двору. Обласканный Харшей, Бана провел при дворе несколько лет, а затем снова возвратился на родину и здесь по просьбе друзей и родичей сочинил повесть о деяниях Харши. Таким образом, по свидетельству самого Баны, он являлся современником и летописцем царя Харши, или Харшавардханы, из Канауджа, который, как известно из индийской истории, на некоторое время объединил под своей властью большинство государств северной Индии. И хотя о времени жизни индийских царей мы, как правило, знаем немногим больше, чем об индийских писателях, как раз о Харше имеются достоверные сведения, поскольку многое о нем сообщает китайский паломник-буддист Сюань Цзан, посетивший в это время Индию. Китайцы, в отличие от индийцев, стремились точно фиксировать исторические события, и благодаря запискам Сюань Цзана мы имеем возможность установить время царствования Харши — 606—647 годы, а вместе с тем и более или менее определенно — время жизни и творчества Баны: первая половина VII века н. э.

¹ -бхатта (-bhaṭṭa) — лексический компонент со значением «господин», прилагаемый к именам ученых брахманов.

Сложнее обстоит дело с Субандху и Дандином. Как мы уже говорили, Бана в стихотворном прологе к «Харшачарите», восхваляя своих предшественников, упоминает некий роман — «Васавадатту», и некоторые исследователи полагают, что он имел в виду именно «Васавадатту» Субандху. Отсюда делается вывод, что Субандху жил несколько ранее Баны¹. Но большинство специалистов утверждают, что Бана знал какую-то иную «Васавадатту», скорее всего акхьяику, названную среди прочих Патанджали, и склонны думать, что Субандху был младшим современником Баны². При этом нижняя и верхняя границы творчества Субандху устанавливаются в пределах VII — начала VIII века: с одной стороны, Субандху в «Васавадатте» обнаруживает знакомство с Калидасой, «Камасутрой» Ватсьяяны, сочинениями логика Дхармакирти (все — не позже начала VII в.), а с другой, самого Субандху знает по имени пракритский поэт Вакпатираджа (середина VIII в.), одну из строк «Васавадатты» цитирует в трактате «Кавьяланкарасутра» [КАС I. 3. 25] Вамана (конец VIII в.), а позже о широкой известности романа Субандху свидетельствуют Раджашекхара (IX—X вв.), Манкха (XII в.) и многие другие средневековые санскритские авторы.

¹ *Warder. Op. cit. P. 234.*

² *Dasgupta, De. Op. cit. P. 219; Keith A. B. A history of Sanskrit literature. Delhi, 1973. P. 308; Mylius K. Geschichte der Literatur im alten Indien. Leipzig, 1983. S. 220.*

Несколько менее определенно время жизни Дандина. Большинство исследователей относят его творчество к концу VII — началу VIII века¹. Некоторые среди них, предполагая, что «Авантисундари-катха» принадлежит Дандину, указывают, что он восхваляет в прологе к этому роману своих предшественников — Гунадхью, Бхасу, Калидасу, Бану и Маюру — и, таким образом, не мог жить ранее второй половины VII века. Другие ссылаются на то, что поэтика Дандина «Кавьядарша» написана заведомо после поэтики Бхамахи (т. е. позже начала VII в.) и до поэтики Ваманы (т. е. ранее начала IX в.). В то же время существует и иная точка зрения, согласно которой творчество Дандина приходится на конец VI — начало VII века. Ее сторонники обращают внимание на то, что стиль «Дашакумарачариты» проще стиля романов Бану и Субандху, и делают отсюда вывод, что творчество Дандина отражает сравнительно раннюю стадию развития санскритского романа². Однако представление об обязательности движения литературы от простоты — к сложности весьма зыбко (часто случается проти-

¹ *Dasgupta, De. Op. cit. P. 207—209; Gupta. Op. cit. P. 19; Ruben. Op. cit. S. 87—88; Beer R. Nachowort//Dandin. Die merkwürdigen Erlebnisse und siegreichen Abenteuer des Prinzen von Magadha und seiner neun edlen Jugendgefährten. Weimar, 1974. S. 327; Chaitanya K. A new history of Sanskrit Literature. Bombay, 1962. P. 381.*

² *Keith. Op. cit. P. 296—297; Mylius. Op. cit. S. 218; Кальянов В. И. Предисловие//Дандин. Приключения десяти принцев/Перев. с санскрита Ф. И. Щербатского. М., 1965. С. 7—8.*

воположное направление), и на нем, с нашей точки зрения, нельзя строить сколько-нибудь доказательные хронологические заключения. Впрочем, и все другие аргументы, касающиеся датировки романа Дандина (а в значительной мере и Субандху), достаточно спорны, и потому, как нам кажется, всех трех крупнейших санскритских романистов условно можно рассматривать как современников, в исторической перспективе вводя их творчество в рамки VII — начала VIII века н. э.

Как раз это время принято считать завершением классического периода санскритской литературы, в который в области эпической поэзии творили Калидаса, Бхарави, Бхатти и Магха, в драме — Шудрака, Вишакхадатта, Харша и Бхавабхути, в лирической поэзии — Амару и Бхартрихари, наконец в прозе — Дандин, Субандху и Бана. В начале этого периода произошло объединение почти всей Индии в империю Гуптов — царской династии государства Магадхи со столицей в Паталипутре. Эпоха Гуптов (с 320 г. по середину V в.) считается временем расцвета индийской культуры, развития ее политических и социальных основ, закрепленных в специальных сводах законов-смирти, временем возрождения брахманизма, кодифицированного в форме религии индуизма в санскритских пуранах, но вместе с тем и толерантности по отношению к двум другим великим индийским религиям — буддизму и джайнизму. В середине V века (и окончательно в VI в.) империя Гуптов пала и страна раскололась на множество неза-

висимых царств, враждующих друг с другом: поздние Гупты в Магадхе, Маукхари в Каньякубже, или Канаудже, Майтраки в Гуджарате, Гурджары в Раджастхане, Чалукьи в Декане, Паллавы в южной Индии и некоторые другие, менее могущественные. Иногда среди них — но на недолгое время — выдвигалось какое-нибудь одно, пытаясь политически консолидировать страну, и в числе таких наиболее известным и было царство Харши из Канауджа в северной Индии, просуществовавшее с 606 по 647 год.

Считается, что в романах Дандина, Баны и Субандху отразился и этот период политической нестабильности в Индии, и те религиозные представления, социальные и культурные институты, которые были установлены и упрочены в эпоху Гуптов, а затем стали постепенно подвергаться коррозии. Мы более подробно рассмотрим этот вопрос, когда коснемся содержания анализируемых нами санскритских романов и прежде всего «Дашакумарачариты» Дандина. Но предварительно сделаем два замечания. Во-первых, кодифицированные в индийских религиозных и дидактических трактатах правовые, социальные и политические нормы, с которыми обычно сравнивают конкретные сведения, почерпнутые из художественной литературы, сами по себе далеки от повседневности. Они, как правило, имеют в виду не реально существующее, а некое идеальное общество, сконструированное согласно установлениям древних священных текстов, и потому сравнение с ними требует корректировки и подтвер-

ждения другими источниками. А во-вторых — и это особенно важно — воспроизведение жизни в памятниках санскритской литературы в целом никак нельзя считать достоверным. Им свойственны совсем иные цели, их темы, ситуации, персонажи в значительной мере условны и подчинены не законам отображения, а законам традиционного искусства, и потому их прямое сопряжение с жизнью всегда чревато насилием и натяжками. С этими оговорками мы и приступаем к конкретному рассмотрению санскритских романов. И начнем его с Дандина, чей роман «Дашакумарачарита» среди других романов стоит несколько особняком.

*

Индийская традиция приписывает Дандину четыре сочинения: романы «Дашакумарачарита» («Приключения десяти царевичей») и «Авантисундарикатха» («Повесть об Авантисундари»), поэтику «Кавьядарша» («Зеркало поэзии») и поэму «Двисандханакавья» («Поэма с двойным смыслом»), в которой посредством фраз с двойным значением (аланкара «шлеша») одновременно излагается содержание двух санскритских эпосов: «Махабхараты» и «Рамаяны». Поэма эта не сохранилась, и все связанные с ней проблемы, в том числе и вопрос атрибуции, практически неразрешимы. Но, к сожалению, едва ли разрешима и более общая проблема: принадлежат все четыре названные произведения одному или нескольким Дандинам. Здесь

существуют разные точки зрения (об этом мы уже говорили в связи с «Авантисундарикатхой»), но большинство исследователей сходятся в том, что одним и тем же автором написаны, по крайней мере, два сочинения: «Кавьядарша» и «Дашакумарачарита»¹. В подтверждение этому приводятся и хронологические соображения (при этом полагают, что «Дашакумарачарита» — более раннее, а «Кавьядарша» — более позднее произведение Дандина), и то, что Дандин-поэтик гораздо менее ригористичен (в частности, как мы видим, по вопросу об отличиях катхи от акхьяики), чем другие санскритские теоретики литературы, что находит отражение в относительно свободной форме романа Дандина-писателя.

Судя по названию романа Дандина, в нем должно быть рассказано о десяти царевичах. Между тем дошедший до нас текст в восьми главах — уччхвасах повествует о приключениях лишь восьми героев, причем история первого среди них, царевича Раджаваханы, начинается с середины, а последнего, Вишруты, осталась без окончания. В этой связи в некоторых рукописях к основному тексту романа добавлен пролог (пурвапитхика) в пяти главах, содержащий первую часть истории Раджаваханы и рассказы царевичей Пушпобхавы и Самадатты, а еще в одной рукописи — эпилог (уттарапитхика) с окончанием рассказа Вишруты и заключением

¹ Gupta. Op. cit. P. 2—5; Dasgupta, De. Op. cit. P. 207—209; Серебряков. Указ. соч. С. 196 и др.

ко всему роману. И пурвапитхика, и уттарапихика отличаются по стилю от главного повествования, не всегда и не во всем с ним согласованы, существуют в разных версиях (одной из которых можно считать также «Авантисундарикатху»), и потому специалисты единодушно считают их позднейшими добавлениями к сохранившемуся в неполном виде тексту романа. Тем не менее в целом они, видимо, верно следуют принципам его композиции и особенностям содержания.

Содержание же это составляет рассказ о царевице Раджавахане, который родился в лесу, после того как его отец, царь Магадхи Раджаханса, побежденный царем Малавы Манасаром, бежал из столицы с семьей и свитой. Вместе с Раджаваханой у четырех министров царя родились четыре сына, и тоже в лесу чудесным образом были найдены еще пять младенцев-царевичей. Все они были друзьями, а когда стали юношами, решили отвоевать царство Магадху и выступили в поход на покорение всего мира. В пути Раджавахане повстречался некий аскет Матанга, с которым он спускается в пещеру, чтобы помочь ему овладеть подземным царством. Девять царевичей уходят на розыски Раджаваханы, а тот, возвратившись из-под земли, долгое время скитается один. Он попадает в город Удджайини, влюбляется там в царевну Авантисундари; схваченный наместником царя Чандаварманом, едва избегает казни, после чего с помощью внезапно явившихся ему на подмогу друзей побеждает Чандавармана и убивает его. Встретившись после шестнадцати-

летней разлуки, каждый из царевичей рассказывает Раджавахане о своих приключениях, а затем все вместе они покоряют Магадху. Раджавахана становится «повелителем мира» (чакравартином), а девять его друзей — его вассальными царями. Такова рамка романа, но основную часть его содержания составляют рассказы царевичей — рассказы весьма пестрого содержания, с авантюрными, бытовыми, сказочными и иного рода эпизодами, которые включают в себя новые рассказы, в свою очередь поведенные героям случайно встретившимися с ними персонажами. Подобного рода композиция: рамка, рассказы внутри рамки, рассказы внутри рассказов — широко известна по таким памятникам древнеиндийской литературы, как «Панчатантра», «Хитопадеша» («Доброе наставление»), «Веталапанчавиншати» («Двадцать пять рассказов веталы»), «Шукасаптати» («Семьдесят рассказов попугая») и др., которые составляют жанр обрамленной повести¹. Но есть и серьезные отличия. Рамка обрамленной повести обычно включает в себе ту или иную дидактическую установку, наставляя в правилах разумного поведения, добродетели, науке любви и т. п., а вставные рассказы призваны это наставление иллюстрировать, давая моральный урок, чаще всего эксплицированный в вводных к рассказу или заключающих его стихах. В «Дашакумарачарите» же никакой дидактической уста-

¹ Гринцер П. А. Древнеиндийская проза (обрамленная повесть). М., 1964.

новки, моральной «нагрузки» ни рамочный, ни подавляющее большинство вставных рассказов не несут, имея чисто нарративный, по существу, развлекательный характер. Далее, в обрамленной повести рамочный сюжет откровенно функционален, он лишь создает предлог для введения по содержанию ни с ним, ни друг с другом не связанных вставных историй, которые и играют в обрамленной повести главную роль. В «Дашакумарачарите», напротив, рамочное повествование (рассказ о Раджавахане) важен сам по себе, перекликается с рассказами царевичей, которые в известной мере по нему смоделированы, а, в свою очередь, в этих рассказах вставные истории содержательно от них не оторваны, но так или иначе служат развитию общего действия, вводя новых героев, объясняя или предопределяя случившиеся события¹. И наконец, состав рассказов обрамленной повести в силу ее полуфольклорного происхождения и особенностей композиции в высшей степени неустойчив: каждый автор или редактор по своему вкусу варьировал вставные истории,

¹ Лишь в одном случае, в шестой главе романа, отвечая на вопросы демона-людоеда: «Что не ведаешь жалости?.. Что приятно и полезно человеку женатому?.. Что такое любовь?.. Чего трудно достигнуть?» — царевич Митрагупта рассказывает четыре истории, не связанные с общим сюжетом: о жестокосердой жене, об образцовой хозяйке, о жене, сникшей любовь равнодушного мужа, и о пройдохе, соблазнившем добродетельную женщину [ДКЧ, с. 215—232] — истории, по своему характеру и технике подключения к повествованию вполне отвечающие композиционным требованиям обрамленной повести.

заменял, дополнял и изменял их (ср. разные версии «Панчатантры», особенно когда она попадала в иноязычную среду). Напротив, текст «Дашакумарачариты» постоянен во всех ее рецензиях, поскольку он целенаправленно организован и внутренне связан авторским замыслом, единой авторской волей.

Видимо, в жанровом отношении «Дашакумарачарита» ближе, чем к обрамленной повести, стоит к «Брихаткатхе» («Великому сказу») Гунадхьи. Сочинение Гунадхьи, как мы уже писали, не сохранилось, но о его содержании и форме мы можем достаточно полно судить по его позднейшим обработкам XI века: «Брихаткатхаманджари» («Букет Великого сказа») Кшемендры и «Катхасаритсагаре» («Океан потоков сказаний») Сомадевы¹. Возможно, Дандин не знал уже оригинала «Великого сказа», ибо в «Кавьядарше» он пишет: *«Говорят* (курсив мой.— П. Г.), *что «Брихаткатха» с ее удивительными рассказами была создана на языке бхутов»* [КД I. 38]. Но содержание ее было хорошо ему знакомо. В «Дашакумарачарите» есть ссылка на историю Нараваханадаты, главного героя «Великого сказа» [ДКЧ, с. 67], и представляется весьма вероятным, что и идею рамочного рассказа в своем романе, и замысел нескольких

¹ Существуют еще две обработки «Великого сказа»: «Брихаткатхашлокасанграха» («Собрание шлок Великого сказа») Будхасвамина (возможно IX в.) и написанная на пракрите махараштри «Васудевахинди» («Странствия Васудевы») джайна Сангхадасы (неизвестной даты), но обе они, видимо, далеко отстоят от оригинала Гунадхьи.

вставных рассказов Дандин заимствовал из «Великого сказа» или его изводов.

К числу вставных рассказов «Дашакумарачариты», весьма сходных с рассказами «Великого сказа», относятся, насколько можно судить по тексту «Катхасаритсагары», рассказы о неблагодарной жене, сбросившей мужа в колодец [ДКЧ, с. 216—218 — КСС X. 9. 2—43; ср. Панч. IV. 5], о юноше, в женской одежде проникшем в спальню царевны [ДКЧ, с. 200—204 — КСС I. 7. 60—10; ср. КСС XII. 22], о верной возлюбленной и благородном воре [ДКЧ, с. 96—100 — КСС XII. 17], о юноше, перенесенном во сне в царский дворец [ДКЧ, с. 216—218 — КСС XII. 6], о пройдохе, пометившем шрамом ногу царевны, а затем обличившем ее как ведьму [ДКЧ, с. 228—232 — КСС XII. 8], о волшебном кошельке (в КСС: обезьяне, выплевывающей золото), с помощью которого обобранный гетерой юноша возвращает себе деньги [ДКЧ, с. 102—115 — КСС X. 1. 54—175], о царевиче, убивающем волшебника, который собирался принести в жертву похищенную девушку [ДКЧ, с. 235—239 — КСС III. 4. 152—203], о тайной подмене царя, пытавшегося вернуть себе красоту и молодость [ДКЧ, с. 156—160, 244—245 — КСС VII. 6. 42—75]¹. Отметим, однако, что в «Катхасаритсагаре» все

¹ О сходстве этих и других рассказов «Дашакумарачариты» с «Катхасаритсагарой», а также с иными фольклорными и полуфольклорными текстами см.: *Ruben. Op. cit. S. 52—71.*

эти рассказы — вставные истории в главном или побочном сюжетах, а в «Дашакумарачарите», сообразно с ее жанровой спецификой, они — неотъемлемая часть основного повествования, и их героями являются либо сами царевичи-рассказчики, либо их друзья и спутники.

Однако не столько параллельные вставные сюжеты свидетельствуют о генетической связи «Дашакумарачариты» с «Великим сказом» (и в том и другом памятнике они могли быть независимо почерпнуты из общего фольклорного фонда), сколько то обстоятельство, что, видимо, у Гунадхьи Дандин заимствовал композиционную коллизию своего романа. В «Катхасаритсагаре» бóльшую часть двенадцатой книги занимает история царевича Мриганкадатты. Согласно этой истории, Мриганкадатта и десять его друзей-сыновей министров изгнаны по ложному доносу из Айодхьи. Скитаясь в лесу, они знакомятся с неким подвижником, которому Мриганкадатта помогает завладеть подземным миром. При этом Мриганкадатта расстается со своими друзьями, но затем снова встречается с ними, когда направляется в Удджайини, чтобы найти там обещанную ему во сне возлюбленную. Каждый из друзей по очереди рассказывает царевичу об испытанных им приключениях. Завершается история описанием сражения Мриганкадатты с царем Удджайини Кармасеной и его женитьбы на дочери этого царя Шашанкавати. Несомненно сходство истории «Катхасаритсагары» с сюжетом рамки «Дашакумарачариты» (изгнание в лес, встреча с подвижником,

увлекающим героя в подземный мир, битва с враждебным царем, свадьба с его дочерью), но более существенно, что Дандин использует основной композиционный прием этой истории: последовательное сцепление рассказов десяти друзей, встретившихся после долгой разлуки¹.

Связь с «Брихаткатхой» Гунадхьи, отличающейся удивительной пестротой сюжетов, охватом самого разнообразного — и бытового, и легендарного, и сказочного — материала, в какой-то мере сказалась и на характере содержания «Дашакумараচারиты». Многие исследователи полагают, что роман Дандина уникален в санскритской литературе, поскольку он «глубоко историчен» и «отражает действительную Индию, современную автору»². В романе в целом видят отображение тех бесчисленных войн и феодальных распрей, которые терзали Индию после крушения Гуптов и еще более усилились после распада царства Харшавардханы, а, например, в рассказе из восьмой главы «Дашакумараচারиты» о насильственной смерти царя Анантавармана из Видарбха (Берара) — отголосок разгрома чалукьями царства вакатаков в Декане в середине VI века³. Хотя подоб-

¹ О заимствовании рамочного рассказа «Дашакумараচারиты» из «Брихаткатхи» см. также *Hiberland M. Daśakumārācāritam*. München, 1903. S. 4; *Speyer J. S. Studies about the Kathāsaritsāgara*. Amsterdam, 1908. S. 5, 49 ff.; *Winternitz*. Op. cit. P. 356; *Ruben*. Op. cit. S. 72—73.

² *Серебряков*. Указ. соч. С. 202.

³ *Gupta*. Op. cit. P. 27—32.

ного рода конкретные исторические реминисценции в романе достаточно спорны, не приходится отрицать, что он предлагает достаточно широкую и правдоподобную картину окружающей действительности. Несмотря на сказочность многих сюжетов, вернее, сквозь эту сказочность и наряду с нею, в «Дашакумарачарите» явственно проступают черты индийской обыденной жизни, народного быта и нравов. Место действия романа — средневековый космополитический город; сцены при дворе с его интригами и борьбой за влияние и власть сменяются сценами жизни улицы — с мошенниками, ворами, гетерами, стражниками, странствующими монахами, торговцами, авантюристами в качестве излюбленных героев рассказов; изображение семейных ссор, судебных тяжб, плутней и обманов, любовных преследований и измен, насилия и суеверий, азартных игр, петушиных боев, всевозможного рода обрядов и церемоний — в центре внимания Дандина. В этой связи В. Рубен находит возможным говорить об «известного рода реализме» как главной черте романа Дандина, о том, что этот роман — «одно из немногих санскритских произведений с относительно реалистической общественной критикой»¹. Рубен даже указывает социальные симпатии и антипатии Дандина. По его мнению, Дандин недолюбливает царей и царских чиновников, высмеивает монахов, солдат и купцов, но в то же время расположен к брахманам, осо-

¹ *Ruben. Op. cit. S. 5, 50.*

бенно к брахманам-министрам, симпатизирует простому народу и в целом женщинам¹. Весьма скептическую позицию занимает, как кажется, Дандин и по отношению к религии, без всякого почтения относится к богам, которых то и дело призывают герои романа для помощи в неблагоприятных делах, да и сами боги часто выступают в качестве покровителей таких дел по собственной инициативе. Так, царевич Вишрута использует для обмана имя и храм богини Дурги [ДКЧ, с. 271—276], а бог Ганеша оправдывает намерение царевича Упахаравармана соблазнить жену царя Викатавармана [ДКЧ, с. 149—150]. Брахманы в храме неприкрыто корыстолюбивы, гетера соблазняет аскета, буддистская монахиня выступает в качестве сводни, купец, обобранный гетерой, становится монахом-джайном, но тут же признается, что вера джайнов представляется ему «путем греха и обмана» [ДКЧ, с. 93] и т. д. и т. п. Под подозрением в «Дашакумара-чарите» оказывается традиционный для индийского общества принцип триварги (тройственной цели): дхармы (добродетели, нравственного долга), артхи (материальной выгоды), камы (чувственной жизни); точнее, идеалы дхармы (первой жизненной цели) неуклонно приносятся в жертву и артхе и каме. А когда первый министр царя Анантавармана Васуракшита уговаривает своего повелителя изучить законы нити (политической мудрости), предназначенные для государя, царедворец Вихарабхадра пространно и

¹ *Ibid.* S. 7—22.

убедительно высмеивает эти законы, доказывая, что люди, в том числе и цари, благоденствуют лишь тогда, когда подчиняются естественному ходу жизни, который часто не укладывается ни в какие законы и установления [ДКЧ, с. 253—260].

Если исходить из содержания «Дашакумара-чариты», во всем этом нельзя не почувствовать принципиальной установки самого Дандина. Он действительно не предлагает никакой умозрительной доктрины, не назидателен в привычном для санскритской литературы понимании и как бы стремится непредвзято представить и отразить свободное течение жизни. Но при этом было бы явной натяжкой усматривать в таком подходе элементы социальной критики. Выводы В. Рубена о дифференцированном отношении Дандина к различным слоям общества едва ли подтверждаются текстом романа. Одни цари в «Дашакумара-чарите» на самом деле деспотичны, властолюбивы и жестоки, другие, однако (и прежде всего герои повествования), великодушны и самоотверженны; одни купцы корыстны и плутоваты, но вот купец Данамитра во второй главе романа благороден и щедр, роздал беднякам свое имущество и заслужил у народа прозвище «великодушного» [ДКЧ, с. 98]. Порок и добродетель в «Дашакумара-чарите» — не качества какой-то определенной социальной или конфессиональной группы, но всякий раз обусловлены теми или иными конкретными событиями. Мораль всегда ситуативна, зависит от жизненного контекста и зиждется на здравом смысле. Вообще именно тема здравого смысла как глав-

ного принципа жизни доминирует в романе Дандина. И это тоже, предопределяя и характер отношения к действительности, и выбор героев, и толкование их поведения, сближает «Дашакумарачариту» с «Великим сказом» и его изводами, а также с произведениями санскритской обрамленной повести, начиная с «Панчатантры»¹.

Есть, однако, одна черта, которая решительно отличает содержание «Дашакумарачариты» как произведения «высокой литературы» и от «Великого сказа» и от полуфольклорной обрамленной повести. Это ирония, которой окрашены многие эпизоды романа и которая в значительной мере определяет его тональность; ирония как осознанный прием, как своего рода авторская мета Дандина.

Так, рассказ во второй главе романа о соблазнении аскета Маричи гетерой Камаманджари вполне традиционен в древнеиндийской литературе и в сходном виде встречается еще в буддистских джатаках. Но нетрадиционно наставление гетеры аскету о преимуществах дхармы (добродетели) над артхой (выгодой) и камой (любовью), наставление насквозь ироничное, внешне благочестивое, но на самом деле призванное прельстить аскета описанием греховных услад жизни [ДКЧ, с. 84—87].

¹ Об отношении обрамленной повести к индийской действительности, ее социальным и правовым нормам см. соответствующую главу в кн.: *Гринцер. Древнеиндийская проза...* С. 116—192.

Столь же иронично уже упомянутое нами рассуждение царедворца Вихарабхадры, сопоставляющее с реальной жизнью царя догматические предписания закона: «И прежде всего у царя, изучившего закон, не может быть доверия даже к собственным сыновьям и жене. Всему он отныне должен знать счет и меру: даже для насыщения живота установлено ему, сколько съесть каши, из скольких зерен риса ей состоять и, кроме того, сколько нужно дров, чтобы сварить эту кашу. А когда царь встанет ото сна, то, ополоснул он рот или нет, проглотил горстку каши или только половину горстки, он уже в первую четверть дня должен выслушать доклад о доходах и расходах. И пока он слушает, жулики-надсмотрщики успевают украсть вдвое больше прежнего<...> В третью четверть дня он наконец получает возможность умыться и поесть. Но после еды и до тех пор, пока он не переварит пищу, его гложет страх быть отравленным<...> В третью часть ночи по звуку рожка он ложится в постель и мог бы поспать четвертую и пятую ее части. Однако откуда взяться сладкому сну, когда голова несчастного забита бесчисленными заботами и тревогами?» [ДКЧ, с. 256—258].

Ироническому переосмыслению и травестии подвергаются в «Дашакумарачарите» фольклорные сюжеты. Например, вполне «серьезные» для фольклора сюжеты о волшебном кошельке и омоложении царя здесь используются для демонстрации возможностей обмана алчных или же сластолюбивых простаков. Не менее

иронично подаются мифологические мотивы и аллюзии, нарочито относимые к «неподходящему» случаю, герою или обстоятельству. Так, про вора, которого отыскал в тюрьме царевич Апахараварман, чтобы помочь ему прорыть подземный ход в комнату царевны, говорится, что «в деле рытья подземных ходов он ничуть не уступает любому из сыновей Сагары» [ДКЧ, с. 125]¹. Дружба прекрасных цариц Васумати и Приямвады сравнивается с дружбой двух мрачных демонов-асуров Балы и Шамбалы [ДКЧ, с. 141]. Традиционный и широко используемый в санскритской литературе мотив перерождений, метемпсихоза, иронически сводится к абсурду в объяснении якшини Таравали происхождения министра Камапалы: «Ты, Камапала, в прежних рождениях был Шаунакой и Шудракой. А Кантимати, твоя возлюбленная, была Бандхумати и Винаявати. Одно и то же лицо <в разных рождениях> — Ведамати, Арьядаси и Самадеви. Нет разницы между Хансавали, Шурасеной и Сулочаной. Не отличаются также друг от друга Нандини, Рангапатака и Индрасена...» и т. д. [ДКЧ, с. 173].

Во второй главе «Дашакумарачариты» пересказана, как мы уже говорили, известная притча о великодушном женихе, возлюбленном и воре, позволяющих девушке сдержать данное ею когда-то слово (ср. КСС XII. 17; ВП 9).

¹ Сыновья мифического царя Сагары совершили героический подвиг, прорыв пещеру в подземное царство, дабы разыскать там похищенного Индрой жертвенного коня.

Похвалу бескорыстию вора произносит в речи, построенной по законам риторики, жених девушки: «Благородный, ты тот, кто этой ночью возвратил мне мою возлюбленную, но отнял у меня дар слова. Вот я и не знаю, что сказать. Скажу, что деяние твое удивительно, но разве не удивительно само твое естество!<...> Скажу, что своим благодеянием ты купил меня, сделав своим рабом, но не будет ли это упреком твоей щедрости: зачем за такую дорогую цену покупать столь дешевую вещь!..» и т. п. [ДКЧ, с. 100—101]. Поскольку благодеяние разбойника состояло только в том, что он отпустил девушку, не взяв ее украшений, выпренность и патетика слов жениха Данамитры имеют очевидный комический оттенок.

Ирония — индивидуальная особенность поэтики Дандина, но есть качество, объединяющее его роман с другими санскритскими романами как жанровый признак и отделяющее его от произведений типа «Брихаткатхи» или обрамленной повести. Это стилистика «Дашакумара-чариты». Приключения изгнанных царевичей, магов, лжеаскетов, гетер, воров, пылких возлюбленных изложены в ней украшенным стилем кавья, свойственным санскритской поэзии. Этот стиль отличают употребление разного рода сложных слов, длинных грамматических периодов, постоянное использование всевозможных описаний, а также обилие риторических фигур-аланкар: аллитераций, игры слов, сравнений, метафор, перифраз, гипербол и т. п. Правда, в сравнении с Баной и Субандху Дандин пользует-

ется всеми этими стилистическими приемами более умеренно, но умеренно скорее в количественном, чем в качественном измерении. Причем иногда в интенсивности и броскости их применения он нисколько не уступает самым ярким представителям стиля кавья. Так, например, вся седьмая глава «Дашакумарачариты» — рассказ царевича Мантрагупты — написана с использованием аланкары нияма-читра («ограничивающей употребление»): В тексте главы (а он составляет более двух десятков страниц стандартного санскритского издания романа) отсутствуют губные согласные: по объяснению автора, Мантрагупта рассказывает о своих приключениях, избегая произносить губные звуки, поскольку накануне его супруга в порыве страсти искусала ему губы.

Непременный атрибут произведения в стиле кавья — многочисленные описания природы, сезонов года, времени суток, предметов и явлений, наконец, самих действующих лиц рассказа, особенно его главных героев. В «Дашакумарачарите» все такого рода описания, изобилующие поэтическими украшениями, есть, но они присутствуют как бы в свернутом виде. Традиционное для санскритской поэзии и прозы описание восхода солнца сведено к двум сравнениям: «Ночная мгла рассеялась, словно сдутая могучим дыханием коней колесницы солнца, вынырнувшей из великого океана. Показалось солнце, чей жар был притуплен, словно оно окоченело от пребывания в океанских водах» [ДКЧ, с. 141].

Немногим более пространно неперенное для индийской поэзии описание весны: «И вот в ту пору, когда тоскуют сердца мужей, разлученных со своими женами<...> когда деревья тилака сияют разными красками, будто тилака на лбу сиятельного владыки леса; когда золотые шары распустившихся цветов карникары кажутся царскими зонтами радостного бога любви<...> когда полные страсти женщины, опьяненные сладкими песнями, рвущимися из горл кукушек, готовятся к любовным сражениям<...> когда ветер, дующий с гор Малая, прохладный от касания сандаловых деревьев, колеблет многолиственные лианы, которые кажутся наставниками в танцах и играх,— настала весна» [ДКЧ, с. 239—240].

Но уже вполне в духе поэзии кавья подробные и изысканные описания в «Дашакумарачарите» царевны Амбалики [ДКЧ, с. 126—129], царя Пуньявармана [ДКЧ, с. 251—252], играющей с мячом царевны Кандукавати [ДКЧ, с. 207—211] или, например, спящей царевны Навамалини:

«Взглянув направо, я увидел некую юную девушку. Она лежала на белом ложе, словно бы сотворенном из сгустившейся пены амриты; с нее соскользнула рубашка, открыв грудь восхищенным взорам; с плеч ее спала простыня, похожая на Молочный океан; и в сиянии лучей, исходящих от ее рук, белых, как клыки Великого вепря, она походила на Землю, оцепеневшую в страхе, когда со дна океана ее подымал Вепрь-Вишну. Ветерком своего дыхания, разносящим

благоухание ее лица-лотоса и заставляющим пуститься в пляс нежные бутоны ее розовых губок, она разжигала искры любви, в которые обратил Бестелесного бога пламенем своего третьего глаза Шива. Ее лицо с темными лепестками сомкнувшихся во сне глаз походило на лотос с уснувшими внутри цветка пчелами. Она казалась драгоценной ветвью Древа желаний в небесном саду Нандане, которую сорвал и бросил на землю опьяненный гордыней слон Индры Айравата» [ДКЧ, с. 189—90].

В западной индологии «Дашакумарачариту» принято называть «плутовским романом»¹, или «романом нравов»², или же «сказочным романом»³. Каждое из этих именовании имеет, если исходить только из ее содержания, свой резон, но мало учитывает специфику стиля и композиции «Дашакумарачариты», а именно эти аспекты, как мы знаем, определяющие для санскритской поэтики в жанровой классификации литературы. По композиции роман Дандина примыкает — во всяком случае генетически — к традиции полуфольклорной обрамленной повести и «Брихаткахи», являясь как бы соединительным звеном между нею и традицией «высокой литературы». По стилю же —

¹ Meyer J. J. Die Abenteuer der zehn Prinzen. Leipzig, 1902; Dasgupta, De. Op. cit. P. 213.

² Hertel J. Die zehn Prinzen. Indische Erzähler. Bd. III. Leipzig, 1922. S. 14.

³ Winternitz. Op. cit. P. 428.

это вполне проза кавьи, основными качествами которой являются описательность и украшенный стиль.

В прозе кавья, которая теоретически предполагает существование двух только жанров: катхи и акхьяики — «Дашакумарачарита» занимает особое положение: она не может быть безусловно отнесена ни к одному из них, ибо частично игнорирует, а частично смешивает их жанровые приметы. Пусть не роман в целом, но каждая из его частей-глав рассказана героем повествования, и рассказана им о собственных деяниях. Это, казалось бы, соответствует нормам акхьяики, однако вопреки таким нормам все рассказы явно недостоверны, основаны на вымысле, как полагается в катхе, и композицию их определяют мотивы разлуки с возлюбленной, ее поиска и триумфа героя — опять-таки мотивы катхи. Подобно акхьяике, «Дашакумарачарита» распадается на главы-уччхвасы, но к этим главам нет полагающихся стихов, как нет, если судить по дошедшим версиям пурвапитхики, и стихотворного вступления ко всему роману. Повидимому, эта неустойчивость жанровых признаков не случайна, и объяснение ей может быть двояким. Во-первых, субъективного свойства: как раз Дандин, как мы видели, в своем теоретическом трактате «Кавьядарша» отстаивал право совмещения признаков катхи и акхьяики и считал их в принципе одним и тем же литературным жанром, «но известным под двумя именами» [КД I. 28]. Во-вторых, объективное: хотя «Дашакумарачарита» полноправно входит в

круг прозаической кавьи, композиционно она еще ориентируется на «обрамленную повесть» и «Великий сказ», отчего представляет собою как бы смешанную, недостаточно регламентированную литературную форму. Возможно, именно поэтому санскритские поэтики фактически обходили «Дашакумарачариту», в отличие от других известных нам санскритских романов, своим вниманием, не упоминали ее среди образцовых произведений жанра и стиля, не ссылались на ее текст. В то же время именно своим уклонением от ригоризма санскритской поэтики, относительной живостью повествования, социальными аллюзиями, ироническим тоном «Дашакумарачарита» кажется близкой европейским стандартам, и потому большинство европейских исследователей склонны признать ее «лучшим из санскритских романов»¹.

*

Совершенно иной тип санскритского романа являет собой «Васавадатта» Субандху. Здесь нет сколько-нибудь достоверного жизненного фона, картин быта и нравов, разнообразия героев и ситуаций, рассказ тяжеловесен и перегружен описаниями, читатель погружается в атмосферу сказки, волшебных перерождений, идеальных чувств и романтической грезы.

В начале романа описан царевич Кандарпакету, сын царя Чинтамани, который видит во

¹ *Mylius*. Op. cit. S. 218.

сне незнакомую девушку и страстно в нее влюбляется. Вместе со своим другом Макарандой он отправляется на ее поиски и однажды ночью оказывается в окрестностях гор Виндхья, где случайно подслушивает разговор двух птиц. Одна из них, майна, или сарика, упрекает другую, своего возлюбленного попугая, в долгой отлучке и высказывает подозрение, что попугай изменил ей с прилетевшей вместе с ним еще одной майной. Попугай в оправдание рассказывает, что был он в городе Паталипутре, где царь Шрингашекхара устроил для своей дочери Васавадатты, пожелав выдать ее замуж, состязание женихов (сваямвару). Но та отвергла притязания всех соискателей, поскольку во сне влюбилась в некоего прекрасного царевича. Узнав, что имя этого царевича — Кандарпакету, она послала свою домашнюю майну Тамалику на его розыски. Желая помочь Тамалике в ее нелегком задании, попугай и прилетел с ней в горы Виндхья.

Услышав рассказ попугая, Кандарпакету знакомится с Тамаликой, и та передает ему послание Васавадатты с приглашением свидеться с нею. Кандарпакету и Макаранда направляются в Паталипутру и проникают во дворец Васавадатты. Они узнают, что царь Шрингашекхара, не считаясь с волей царевны, хочет немедленно выдать ее замуж за царя видьядхаров. Тогда Кандарпакету на волшебном коне Маноджаве бежит с Васавадаттой из Паталипутры и снова оказывается в лесу Виндхья, где влюбленные проводят ночь. Проснувшись на рассвете, Кан-

дарпакету обнаруживает, что Васавадатта исчезла.

В бесплодных поисках царевны Кандарпакету приходит на берег океана и решает в нем утопиться. В последний момент его удерживает от самоубийства божественный голос, обещающий ему скорое свидание с возлюбленной. В течение нескольких месяцев Кандарпакету бродит по прибрежным лесам, поддерживая жизнь одними плодами и кореньями, пока однажды в начале осени не наталкивается на каменную статую, похожую на его любимую. Кандарпакету касается статуи рукой, и та становится живой Васавадаттой.

На расспросы Кандарпакету Васавадатта рассказывает, что в далекое утро их разлуки она пошла собрать плоды им на завтрак. Углубившись в лес, она повстречалась с неким войском, расположившимся лагерем, и за ней погнался его предводитель. Но тут появилось еще одно войско — горцев-киратов, и его вождь тоже стал преследовать Васавадатту. Оба военачальника, а затем и их воины вступили из-за Васавадатты в сражение и полностью истребили друг друга. Однако по ходу битвы они опустошили обитель отшельников, находящуюся поблизости, и святой глава обители проклял Васавадатту, сочтя ее виновницей случившегося, и обратил ее в каменную статую. Срок проклятия должен был кончиться — как и произошло на самом деле — когда статуи коснется будущий муж царевны.

После долгожданной встречи Кандарпакету и Васавадатта отправляются в столицу царства

Кандарпакету. Там оба царя-отца, Чинтамани и Шрингарашекхара, торжественно празднуют свадьбу своих сына и дочери, избавленных отныне ото всех тревог и несчастий.

Сюжет «Васавадатты» не известен ни по какому иному памятнику санскритской литературы, хотя по первому впечатлению кажется традиционно сказочным. Он сказочен по общему колориту и к тому же насыщен разного рода сказочными мотивами: вещего сна, волшебного коня, говорящих птиц, проклятия старца, превращения в камень, оживления касанием руки, голоса с неба и т. п. Однако в целом говорить о сказочности романа, по крайней мере в фольклорном понимании сказочности, все-таки не приходится. Повествование отмечено богатой эрудицией автора, который то и дело демонстрирует свои познания в религиозной и светской литературе, мифологии, книгах законов, политике, искусстве любви и прочих науках и искусствах. А главное, оно подчинено авторской интенции, и не сказочные мотивы, не повествование как таковое, а связанные и даже не слишком связанные с ним описания, изображение не действий, но обстоятельств действия, не поступков, но чувств героев находятся в центре внимания Субандху. Всевозможные отступления составляют бо́льшую часть романа, в сравнении с ними сюжет выглядит тонкой нитью, на которую нанизаны, порой полностью вытесняя его из поля зрения, красочные описания отдельных персонажей, царского дворца и отшельнической обители, рассвета и полудня, восходов и

заходов луны и солнца, весны, сезона дождей и осени, поля битвы и кладбища, гор, лесов, океана и рек. Как правило, каждое из описаний занимает по несколько страниц текста, составлено с нарочитой виртуозностью (так, красота Васавадатты, впервые увиденной Кандарпакету во сне, очерчена в одном длинном предложении, составляющем восемьдесят семь печатных строк [Вас., с. 44—67], и изобилует множеством риторических фигур, звуковых и смысловых аланкар.

В соответствии с указаниями поэтик, касающихся прозы, Субандху украшает роман длинными сложными словами, которые, как правило, громоздятся одно за другим в описательных его эпизодах. Так, сложное слово из двадцати одного простых использовано в описании берега океана, где встречается «множество-львов-сверкающих-прекрасной-тяжелой-гривой-влажной- \langle от \rangle потоков-крови- \langle из \rangle -лобных-бугров-диких-слонов-разодранных-многими-яростными-ударами- \langle львиных \rangle когтей-острых- \langle как \rangle зубцы-молний» (kuliśa-śikhara-khara-nakhara-pracaya-pracaṇḍa-capeta-pāṭita-mattamātaṅga-kumbha-sthala-rudhira-chaṭā-churita-cāru-kesara-bhāra-bhāśura-kesari-kadam-bena [Вас., с. 266]). Другое сложное слово из девятнадцати простых вставлено в описание реки Ревы, или Нармады, чьи «воды-пахнут-множеством-капель-меда-пролившихся- \langle с \rangle бутонов-расцветших-лотосов-сбитых-взмахами-огромных-хвостов-юрких-рыб-возбужденных-нестройными криками-опьяневших

<отмеда>-гусей-<и> цапель» (madakala-kalahaṇsa-sārasa-rasita-udbhrānta-bhāḥkūta-vikaṭa-puccha-chaṭā-vyādhūta-vikaca-kamala-khaṇḍa-vigalita-makaranda-bindu-sandoha-surabhita-salilayā [Вас., с. 95]¹. И подобные примеры сложных слов не самые поразительные: в том же описании морского берега имеется сложное слово, состоящее из более чем ста простых [Вас., с. 277—279].

Среди риторических украшений — аланкар Субандху постоянно прибегает к цепочкам сравнений — упам. Так, звезды на ночном небе последовательно сравниваются с «клочьями пены, которые стряхнули с себя лошади колесницы солнца, устав от долгого небесного пути», с «лужайками лотосов в огромном озере неба, залитом чернилами тьмы», с «нулями, начертанными мелком месяца на черной шкуре антилопы тьмы и знаменующими ничтожество круговорота жизни», с «дротиками, стрелами и боевыми дисками, пущенными богом любви с цветочным луком», с «жемчужинами из ожерелья Лакшми, рассыпавшимися по небу», с «рисовыми зернами, сваренными внутри котла земли и неба и обожженными пламенем вечерней зари, кото-

¹ Мы привели в латинской транскрипции санскритский оригинал, поскольку, во-первых, порядок слов в оригинале обратен русскому переводу, а во-вторых, транскрипция иллюстрирует мастерство Субандху в звукописи (аллитерации — анупрасе и слоговых повторах — ямаке), которой пронизан весь текст «Васавадатты» (см.: śikhara-khara-nakhara, pracaya-pracaṇḍa, bhāra-bhāśura, sārasa-rasita, madakala-kalahaṇsa, bhāḥkūta-vikaṭa и т. п.).

рое почернело от дыма надвинувшейся мглы» и т. д. и т. п. [Вас., с. 182—184]. Наряду со сравнениями Субандху широко использует гиперболы — атишайокти («Скорбь, которую она <Васавадатта> испытывает из-за тебя <Кандарпакету>, может быть описана или поведена лишь за несколько тысяч калп, и то лишь тогда, когда небо станет свитком, океан — чернильницей, Брахма — писцом, а змей Шеша с тысячью его языков — рассказчиком» [Вас., с. 238—239]); олицетворения — утпрекши («Сезон дождей играет в шахматы желтыми и зелеными лягушками, словно покрытыми лаком пешками, заставляя их прыгать на черных клетках рисовых полей» [Вас., с. 287]); «ограничения сказанного» — парисандкхьи («Когда этот царь царствовал на земле, опоясанной четырьмя океанами<...> в цепи заключали только звуки слов, измышления и насмешки случались только в фигурах речи, взлеты и падения — только у стрел, убывание — только в счете, увядание — лишь у лотосов в пруду...» [Вас., с. 126]) и другие аланкары.

Однако излюбленной фигурой Субандху была шлеша — «игра слов», которая присутствует буквально на каждой странице романа, иногда выступая самостоятельно, иногда в комбинации с другими аланкарами. Шлеша в «Васавадатте» в одних случаях кажется естественной и уместной. Так, когда Кандарпакету сравнивается с луной, а затем с богом любви, сопоставление подкрепляется двойным значением предикатов, относящихся и к субъекту, и к объекту

сравнения: «пленающий, словно светлый вечер» или «пронзающий мглу ночи», «похожий на белую лилию» или «друг ночных лотосов», «исполняющий желания» или «украшающий стороны света», «преданный любви» и «возлюбленный Рати», «украшенный цветочными гирляндами» и «владеющий цветочными стрелами» и т. п. [Вас., с. 36—38]. В других случаях — и их достаточно много — Субандху мало считается с контекстом или наглядностью, заведомо парадоксален и нелогичен, лишь бы продемонстрировать свое искусство владения словом. Так, Васавадатту он сравнивает с горой Виндхья, поскольку у нее «прекрасные ягодицы» (или: «прекрасные склоны» — *sunitambām*), с богиней Тарой, поскольку она «украшена тяжелыми бедрами» (или: «прославлена супружеством с Брихаспати» — *gurukalatratayoprasobhitām*), с морским берегом, поскольку «в ушах у нее листья тамалы» (или: берег «усажен деревьями тамала» — *tamālapattraprasādhitām*), и такие сравнения внутренне оправданы; но далее она оказывается похожей на грамматику, «с ногами, покрытыми красным лаком» (или: «со словами, написанными красными буквами» — *saraktarādena*) на «Махабхарату» «с прекрасными членами» (или: «частями книги» — *suparvaṇā*), на «Рамаяну» «с пленительными частями тела» (или: «книгами» — *sundarakaṇḍacārunā*), на науку логики, «сияющая всей своей сущностью» (или: «имеющую своей сущностью <учение>

Уддьотакары»¹ — uddyotakarasvarūpām) и т. д. [Вас., с. 234—237].

Шлеша высоко ценилась в санскритской поэтике. Дандин утверждал, что «шлеша во много раз умножает красоту любого поэтического высказывания» [КД II. 363], и Субандху в тринадцатой строфе вступления к «Васавадатте», называя свой роман «сокровищницей искусства», особо гордится тем, что тот «содержит шлешу в каждом слог» [Вас., с. 9]. Если это и преувеличение, то не слишком большое и принципиальное, и Субандху по праву снискал в индийской поэтической традиции титул «мастера вакрокти», то есть мастера «гнутой речи».

Однако то, что привлекало в романе Субандху средневековых индийских критиков, напротив, находит осуждение у критиков европейских. Признавая за Субандху искусство владения словом, последние постоянно упрекают его за вычурность стиля, за пристрастие к пустой и темной по смыслу риторике. По их мнению, стремление перенасытить язык романа всевозможными риторическими фигурами делает его чтение занятием утомительным и исключительно сложным («Васавадатта» в принципе плохо переводима на другие языки), а, сделав акцент на чисто внешних языковых эффектах, Субандху принес им в жертву и живость рассказа, и убедительность характеров, и точность

¹ Уддьотакара — известный индийский логик VI в. н. э., автор трактата «Ньяявартика».

описаний, и, наконец, даже сам здравый смысл¹. В этой связи стилистические принципы «Васавадатты» специалисты находят похожими на принципы европейского маньеризма (издатель и переводчик «Васавадатты» Л. Грей сравнивал ее с «Эвфуэсом» Джона Лили и вообще с прециозной эвфуистической традицией в английской литературе конца XVI — начала XVII в.), но отмечают при этом, что маньеризм в Европе был гораздо более умерен и менее влиятелен, чем индийский. И то и другое утверждение могут быть оспорены, но, как бы то ни было, украшенный стиль Субандху действительно в течение многих веков воспринимался в Индии как образцовый. Об этом свидетельствуют и поздние санскритские романы, и в целом вся средневековая индийская проза.

«Васавадатта» не только по стилю полностью соответствует требованиям санскритских поэтик к жанру катха: ее содержание согласно этим требованиям явно вымышленно, ключевыми моментами сюжета являются утрата, поиск и обретение возлюбленной, рассказ ведется от третьего лица, есть метрическое введение, нет деления на главы и т. д. Текст романа подтверждает, что поэтологическая норма не была чисто теоретической. И еще большее тому подтверждение — два романа Баны, один тоже принадлежащий жанру катха, другой — жанру акхьяика.

¹ Keith. Op. cit. P. 310 f.; Winternitz. Op. cit. P. 434 f.; Dasgupta, De. Op. cit. P. 224 f.



Помимо двух романов — «Харшачарита» и «Кадамбари», индийская традиция называет Бану автором нескольких пьес: «Парвати-париная» («Свадьба Парвати»), «Мукута-тадитака» («Разбитая корона»), «Шарада-чандрика» («Свет осенней луны»), «Сарва-чарита» («Деяния Шивы»), поэмы «Чанди-шатака» («Сто строф во славу Чанди») и ряда стихотворений в средневековых лирических антологиях. Из пьес сохранилась только одна — «Парвати-париная», в пяти актах перелагающая миф о браке богов Шивы и Парвати и в целом следующая версии этого сюжета в знаменитой поэме Калидасы «Кумарасамбхава» («Рождение Кумары»). Существуют, однако, серьезные сомнения в том, что эта пьеса принадлежит Бане-романисту, и большинство исследователей склоняются к мнению, что ее автором был другой Бана — Ваманабхатта Бана, живший в XIV—XV веках¹. Поэма «Чанди-шатака» принадлежит к весьма популярному в санскритской литературе жанру шатаки — сто самостоятельных строф, связанных общей темой (ср. три шатаки поэта Бхартрихари, «Амару-шатаку» поэта Амару, «Маюра-шатаку» Маюры и др.), но, с точки зрения европейской жанровой классификации, относится к гимнографии, поскольку представляет собой гимн в честь богини Чанди (Дурги), сразившей ударом копья

¹ См.: *Dasgupta, De. Op. cit. P. 299, 627; Keith. Op. cit. P. 315.* Иная точка зрения: *Karmarkar. Op. cit. P. 19—21.*

демона-буйвола Махишу. Из 102 строф поэмы (в дошедших до нас санскритских шатаках реальное число строф редко строго соответствует «заявленным» ста) сорок восемь составляют монологи мифических персонажей: Чанди, Махиши, служанок Чанди, Шивы, Карттикейи, ногí Чанди и даже пальцев ее ноги. Поэма написана одним из самых сложных размеров санскритской метрики («срагдхара»), богата звукописью, изобилует риторическими фигурами (в том числе шлешей, так что некоторые строфы имеют два значения), но в санскритской традиции ценилась, видимо, не слишком высоко: она весьма скупо комментируется, практически не упоминается и не цитируется в поэтиках. Это кажется удивительным, поскольку творчество Баны пользовалось непререкаемым авторитетом. И потому приходится предположить, что либо «Чанди-шатаку», как и «Парватипаринаю», сочинил «другой» Бана, либо авторитет Баны распространялся только на прозу, но не на поэзию или драму.

Как мы уже говорили, Бана — один из немногих в санскритской литературе авторов, о которых мы кое-что знаем из их собственных сочинений. Во вступительных стихах к «Кадамбари» (в согласии с нормами катхи, где автор в прологе рассказывает сам о себе) Бана перечисляет своих предков, принадлежащих к брахманскому роду ватсьяянов: прадеда Куберу, «чьи лотосы-ноги чтили великие Гупты» (историческая отсылка, весьма редкая в санскритской литературе), деда Артхапати, «знатока вед, луч-

шего из брахманов», отца Читрабхану, «добродетельного и благородного». В пространной автобиографии, которая, уже сообразно законам акхьяики, рассказана в первых двух с половиной главах «Харшачариты», эта генеалогия подтверждается, но с одним уточнением: Кубера назван не прадедом, а прапрадедом писателя, а прадедом (и отцом Артхапати) назван некий Пашупата. Возможно, это был наименее известный из предков Баны и Бана намеренно исключил его из «похвального списка» вступления к «Кадамбари».

В «автобиографии» «Харшачариты» Бана приводит также весьма любопытную легенду о происхождении своего рода. Некогда в собрании богов Сарасвати, богиня мудрости и красноречия, не смогла удержаться от улыбки, когда мудрец Дурвасас сфальшивил при пении священного гимна. За это, по проклятию Дурвасаса, она должна была покинуть небо и жить среди смертных людей до тех пор, пока «не увидит лица собственного сына». Сарасвати поселяется на берегу реки Шоны вместе с богиней Савитри, которая пожелала разделить с нею тяготы изгнания. Там она встречает сына святого подвижника Чьяваки Дадхичу, влюбляется в него, разлучается, снова встречается и проводит с ним вместе год жизни в своей обители. Когда у Сарасвати рождается от Дадхичи сын по имени Сарасвата, богиня возвращается в мир богов, а Дадхича, став лесным аскетом, отдает сына на воспитание отшельнице Акшамале, жене брахмана из рода Бхригу. Она воспиты-

вает Сарасвату вместе с собственным сыном по имени Ватса, который и становится прародителем рода ватсьяянов, к коему принадлежал сам Бана.

Казалось бы, вся эта подробно рассказанная легенда об изгнании Сарасвати и рождении ею сына к биографии Баны имеет весьма малое отношение: ведь Бана не потомок Сарасвати. Но приведена легенда не без умысла. Через братство Сарасваты и Ватсы род последнего оказывается пусть косвенно, но связанным с богиней — покровительницей искусств и красноречия, и в прологе к «Кадамбари» Бана получает особое право утверждать, что в устах его прадеда Куберы «всегда пребывала богиня Сарасвати», да и что с его собственного чела она «светлые капли пота сама стирает своей ладонью».

Переходя от легендарной части биографии к реальной, Бана сообщает, что он родился в родовом поместье отца Притикуте, расположенном на берегу Шоны. Мать свою, Раджадеви, он потерял в раннем детстве, и все заботы о нем и его воспитании взял на себя отец Читрабхану¹. Но когда Бане исполнилось 14 лет, Читрабхану

¹ Некоторые исследователи полагают, что в «Кадамбари» в рассказе попугая о ранней смерти матери и заботах о нем престарелого отца отразились эти впечатления детства Баны [*Karmarkar. Op. cit. P. 2*]. Но поскольку в соответствующей истории «Великого сказа» Гунадхьи, послужившей источником «Кадамбари», о сиротстве попугая говорится то же самое, у нас нет оснований видеть здесь автобиографические реминисценции.

неожиданно умер, и, предоставленный самому себе, Бана стал вести легкомысленный образ жизни, связавшись с компанией «золотой молодежи», в которую, по его словам, входили поэты Ишана, Венибхарата, Анангабана и Сучибана, сказитель Джаясена, певцы Самила и Грахадитья, музыканты Джимута, Мадхупара и Паравата, живописец Вираварман, актер Шикхандана, танцовщики Тандавика и Хариника, писец, лекарь, ювелир, гончар, фокусник, алхимик, джайнский и буддистский монахи и другие — всего сорок четыре человека. С этими друзьями из разных слоев общества, но по большей части имеющими то или иное отношение к искусству, Бана путешествовал по Индии, бывал в больших и малых городах, при дворах самых различных государей, встречался с самыми разными людьми, и когда по прошествии нескольких лет он наконец возвратился домой, то хотя и запятнал свою репутацию легковесными поступками, но обогатился новыми знаниями и жизненным опытом.

Однажды — продолжает Бана рассказ о себе во второй главе «Харшачариты» — он получает послание от своего друга Кришны, родственника царя Харши. Тот предупреждает его, что до государя дошли слухи о его недостойном поведении и ему следовало бы явиться ко дворцу, чтобы эти слухи развеять. Бана так и делает. Когда он является в царскую резиденцию, Харша встречает его словами: «Это великий распутник», относится к нему поначалу недоброжелательно, но со временем Бане

удается одни наветы на себя опровергнуть, другие — отвести ссылками на молодость, и Харша дарует ему свою благосклонность.

Проведя некоторое время при дворе Харши, Бана возвращается в Притикуту. На встречу с ним собираются друзья и родичи, и по просьбе одного из них Бана принимается за подробный рассказ о деяниях царя Харши. Так, в середине третьей главы «Харшачариты» кончается автобиография Баны и начинается собственно роман: повествование о жизни и подвигах великого царя.

Конечно, то, что Бана сообщил о себе, назвать автобиографией в привычном для нас понимании весьма трудно. Достаточно скудные биографические сведения постоянно перебиваются всевозможными мифологическими экскурсами, длинными монологами персонажей, пространными описаниями (лета, осени, царского лагеря, царского любимца — слона Дарпашаты и т. п.). И тем не менее это чуть ли не единственный в санскритской литературе более или менее достоверный авторский рассказ о себе, который к тому же дополняет информация о собственных литературных вкусах и пристрастиях, особенно в метрических вступлениях к обоим романам.

В 5—6 строфах вступления к «Кадамбари» Бана клеймит своих ненавистников, чьи «уста... всегда полны губительных оскорблений, как жало черной змеи — смертоносного яда». Опираясь на автобиографию в «Харшачарите», можно думать, что здесь он имеет в виду тех доноси-

ков, которые опорочили писателя в глазах Харши, но, учитывая, что в последующих строфах Бана говорит о литературных достоинствах своего романа, скорее следует их рассматривать как выпад против недоброжелательных критиков его прежних произведений. Во всяком случае, во вступлении к «Харшачарите» Бана уже открыто ведет жесткую литературную полемику (строфы 4—6). Он осуждает «стихоплетов», которые пренебрегают признанными законами поэзии, «болтливы и своевольны, как красноглазые кукушки», ограничиваются «простым описанием» (jāti) событий, не придавая значения «силе воображения» (utpāḍaka), способны лишь «переставлять слова» писателей-предшественников, не имея своего стиля.

Пытаясь очертить собственный идеал поэта, Бана указывает на несколько региональных поэтических традиций, существующих в его время: «На севере есть пристрастие к игре слов (шлеше), на западе предпочитают смысл (артху), на юге — поэтическую метафору (утпрекшу), на востоке — пышность слога» (строфа 7)¹. Бана признает, что совместить эти традиции не просто, «трудно сочетать в одном сочинении новое содержание, необычное описание, понятную игру слов, открытое чувство (расу), благозвучие

¹ Эти традиции прослеживаются и в санскритских поэтиках, где постулируется различие трех (иногда четырех) региональных стилей: вайдарбхи (от Видарбхи — Берар) — «южного», гаудия (от Гауды — Бенгалия) — «восточного», панчали (от Панчалы — Кашмир) — «западного» (см., например, [КАС I. 2. 11—14]).

слова» (строфа 8), но именно это, по его мнению, должно быть целью истинного поэта. И в качестве таких поэтов, которым он старается следовать, Бана называет Вьясу, чье «повествование о бхаратах (т. е. «Махабхарата». — П. Г.) наполняет три мира» (строфа 10), автора неизвестной нам «Васавадатты» (строфа 12), некоего Бхаттару Харичандру, чье сочинение в прозе «восхитительно употреблением слов» (строфа 13), Халу Сатавахану (автора собрания лирики на пракрите махараштри «Саттасаи» — «Семьсот строф»), чья «сокровищница <песен> полна прекрасных речений, подобных драгоценным камням» (строфа 14), Праварасену, автора эпической поэмы на сюжет «Рамаяны» «Сетубандху» («Возведение моста») (строфа 15), драматурга Бхасу, чьи пьесы, «похожие на храмы с флагами и башенками, принесли ему славу» (строфа 16), Калидасу, стихи которого «похожи на венки цветов, увлажненные медом» (строфа 17), создателя «Брихаткатхи» (строфа 18), и, наконец, некоего Адхьяраджу (строфа 19), в котором одни исследователи видят того же Гунадхью, а другие — царя Харшавардхану, или Харшу, героя самой «Харшачариты»¹.

Из подобного рода высказываний Баны о литературе можно сделать вывод, что, наряду с «новым содержанием» (понятие, как мы увидим

¹ Царь Харша, современник и покровитель Баны, считается автором трех известных санскритских драм «Приядаршики», «Ратनावали» и «Нагананды» («Блаженство нагов»).

дальше, имеющее свой, достаточно ограниченный смысл, когда речь идет о произведениях традиционной литературы), он считает необходимым для истинной поэзии высокие качества стиля, в первую очередь связанные с изысканностью описаний, благозвучием словоупотребления, использованием риторических украшений, таких как утпрекша, шлеша и др. Эти качества, обеспечивающие «красоту слога», он, вслед за своими знаменитыми предшественниками, и хочет воплотить в своих собственных сочинениях.

*

«Харшачарита», по словам Баны, призвана «воспеть великие деяния великого царя», и, начиная с третьей главы романа, Бана последовательно описывает жизнь своего царственного патрона. Как и собственную биографию, он начинает жизнеописание Харши с генеалогии. Некогда в стране Шрикантхе был царь по имени Пушпабхути, который в награду за помощь богам в борьбе с демонами получил от них обещание великого потомства, среди которого и должен был родиться царь Харша (глава третья). В роде Пушпабхути спустя долгие годы появляется царь Прабхаравардхана, «поклонник бога солнца Сурьи». Его жене Яшомати однажды приснилось, как от диска солнца отделились два прекрасных юноши и девушка, похожая на луну, и проникли ей в чрево. Во исполнение этого сна у царицы один за другим рожда-

ются сыновья, старший — Раджьявардхана и младший Харша, а затем дочь — Раджьяшри. Когда все они выросли, Раджьяшри отдала замуж за царя Каньякубжи Грахавармана (глава четвертая).

Царевич-наследник Раджьявардхана выступает в поход против гунов. Сначала его сопровождает Харша, но, получив известие о внезапной болезни отца, спешно возвращается в столицу царства — Стханишвару. Он застаёт отца при смерти, и вскоре царь Прабхаравардхана умирает на руках у младшего сына. Вслед за царем расстается с жизнью и царица Яшомати, добровольно, по обряду сати, взойдя на жертвенный костер собственного супруга (глава пятая).

Одержав победу над гунами, в столицу возвращается Раджьявардхана. В скорби по умершему отцу он решает стать аскетом и передать царство Харше. Но тут приходит известие, что его зять Грахаварман убит царем Мальвы, а сестра Раджьяшри брошена в оковах в темницу. Раджьявардхана оставляет наместником в Стханишваре Харшу, а сам выступает в поход против царя Мальвы. Спустя некоторое время в Стханишвару прибывает военачальник Кунтала и сообщает Харше, что царь Мальвы разгромлен, но во время битвы Раджьявардхана предательски убит царем Гауды. Тут уже Харша становится во главе войска и идет отомстить за смерть брата (глава шестая).

В походе к Харше присоединяется с войском, победившим царя Мальвы, двоюродный

брат Бханди. От него Харша узнает, что царица Раджьяшри бежала из темницы и скрывается в лесу Виндхья. Харша посылает Бханди с войсками против царя Гауды, а сам отправляется в лес Виндхья на поиски Раджьяшри (глава седьмая).

В лесу Харша попадает в обитель буддистского монаха Дивакарамитры. Тот рассказывает Харше, что утром видел Раджьяшри, которая решила погибнуть на жертвенном костре. Харша и Дивакарамитра успевают помешать ей и отговаривают от самоубийства. Раджьяшри просит Харшу позволить ей стать буддистской монахиней, но Харша убеждает ее повременить до тех пор, пока он не отомстит ее обидчикам. Вместе с Раджьяшри и Дивакарамитрой Харша возвращается в свой лагерь и готовится выступить с войском в поход на завоевание мира (глава восьмая).

На этом рукопись романа неожиданно обрывается, хотя, как мы видим, до «деяний Харши» дело в нем еще не дошло. Существует несколько предположений о причинах такой незавершенности. Одни исследователи полагают, что Бана намеренно оставил «Харшачариту» неоконченной, то ли не одобряя приверженности Харши к буддизму, то ли из опасений бросить тень на кого-либо из своих современников¹. Однако большинство ученых склонны к более простому объяснению, утверждая, что продолжение

¹ Karmarkar. Op. cit. P. 46.

романа утеряно¹. Мы еще вернемся к этой проблеме, тем более что странным образом остался незавершенным и второй роман Баны — «Кадамбари», а пока будем условно рассматривать «Харшачариту» как законченный текст, поскольку по нему вполне можно судить и о содержании, и о стиле романа, и о тех задачах, которые ставил перед собой Бана при его написании.

В соответствии с жанровыми принципами акхьяйки «Харшачарита», описывающая жизнь реального лица, да к тому же современника автора, очевидно, претендует на достоверность. Какова же мера этой достоверности? Можем ли мы считать роман Баны историческим? Несомненно, что кое-какие исторические факты из «Харшачариты» извлечь можно.

Как мы уже говорили, они подтверждаются главным образом записками китайского паломника Сюань Цзана. Так, Сюань Цзан пишет о Харше как о могущественном покровителе буддизма, и в «Харшачарите» царь Харша если и не буддист, то, во всяком случае, относится к буддизму сочувственно, не исключая для себя перспективы стать в будущем буддистским отшельником. Похоже, что в «Харшачарите» достаточно достоверно изложены обстоятельства гибели старшего брата Харши Раджьявардханы. Сюань Цзан говорит, что его убийцей был некий Шашанка, царь одного из государств на востоке

¹ Winternitz. Op. cit. P. 445; Dasgupta, De. Op. cit. P. 220; Mylius. Op. cit. S. 221.

Индии, а в «Харшачарите» Раджьявардхану убивает царь Гауды (Восточная Бенгалия), причем хотя имя его не называется, но на него намечается: в момент его появления восходит месяц (saśāṅka), похожий на «загрибок быка Шивы, запачканный грязью» [ХЧ, с. 246]. С двоюродным братом Харши Бханди, ставшим во главе войска, исследователи идентифицируют старшего советника Харши (у Сюань Цзана — Бани); в качестве одного из союзников Харши «Харшачарита» упоминает царя Бхаскаравармана, а Сюань Цзан — Бхаскараварму Кумару и т. п. Однако подобного рода подтвержденных историческими свидетельствами фактов в целом в романе Баны немного. И главное — они весьма мало его интересуют: история реального Харши рассказана как история какого-нибудь легендарного царя, полная сказочных вкраплений (пророческий сон Яшомати, кстати говоря, дублированный таким же по смыслу сном в «Кадамбари»; волшебный зонт Харши Абхога, дарующий ему постоянную прохладу; браслет из застывших слез бога луны, излечивающий от яда, и т. п.), и организованная на основе традиционной повествовательной модели потери, поисков и обретения девушки (в данном случае сестры Харши, носящей знаменательное имя Раджьяшри — «царское счастье»). Поэтому специалисты почти единодушно считают, что Бана «не пытался отобразить политическую историю своего времени»¹, что «тот факт, что роман заяв-

¹ Chaitanya. Op. cit. P. 391.

ляет историческую тему, не делает его историческим по стилю, духу и трактовке материала»¹, что «исторически... произведение имеет минимальную ценность, хотя при нашей скудости реальных сведений что-то можно извлечь и из него»². Вместе с тем, отказывая Бане в исторической точности, те же специалисты склонны видеть в его романе источник ценной информации об обычаях и институтах отображенного периода индийской истории. Действительно, в многочисленных описаниях, составляющих большую часть романа, Бана рисует быт царского двора и городской площади, деревни и лесной обители, военного лагеря и странствующих актеров, описывает всевозможные ритуалы, свадебную и погребальные церемонии, представляет чисто жанровые сценки: кукольника, забавляющего детей, путников, отдыхающих на постоялом дворе, пастухов, которые с наступлением вечера гонят домой стадо, и т. п. Интересны сведения, которые дает «Харшачарита» о распространенной и при дворе, и в простом народе вере в астрологию и магию, о популярных религиозных празднествах (в честь Шивы, Дурги, богинь-матерей), о жизни религиозных сект. При этом «Харшачарита», как полагают, свидетельствует о высокой степени религиозной терпимости в средневековой Индии; в частности, в восьмой главе романа в обители аскета Дивакарамитры сходятся и совместно слушают буддистскую про-

¹ *Dasgupta, De. Op. cit. P. 228.*

² *Keith. Op. cit. P. 318.*

поведь не только буддисты, но и джайны-шве-тамбары, и шиваитские аскеты, и вишнуиты, и последователи Капилы (т. е. приверженцы учения санкхьи), чарваки (т. е. локаятики — «материалисты») и канады (т. е. приверженцы вайше-шики), и ньяяки, и ведантисты, и грамматики, и почитатели дхармашастр и пуран, и т. д.

Однако, с нашей точки зрения, ценность такого рода информации не стоит преувеличивать. Так же, как и в «Дашакумарачарите», «реальные» описания и бытовые сцены «Харшачариты» в значительной мере построены по общему шаблону, свойственному и другим романам, и вообще произведениям санскритской прозы, к какой бы эпохе они ни относились и на какой бы исторической почве ни были созданы. Так, например, конгломерат религий и верований, сосуществующих в пределах одной обители, который описан в «Харшачарите», едва ли можно рассматривать как достоверное доказательство религиозной терпимости во времена Харши. Такие обители изображены во многих памятниках, и это скорее всего своего рода литературный штамп, в основе которого лежит не столько реальная жизнь, сколько стремление к полноте описания, специфичное для санскритской литературы, когда перечисляются все мыслимые субъекты и объекты, имеющие отношение к данному топосу.

Еще в меньшей мере можно согласиться с теми специалистами, которые полагают, что Бана дал более или менее достоверные порт-

реты исторических деятелей своей эпохи¹. К числу таких портретов относят, например, описание Харши во второй главе романа, содержащее якобы намеки на конкретные исторические события: «Он — победитель армий, усмиривший недовольных царей; он — владыка людей, бесконечно милосердый к другим правителям; он — лучший из людей, стяжавший себе славу победой над царем Синдха; он — сильный, прогнавший слона и освободивший царя от петли <его хобота>; он — государь, помазавший на царство сына; он — господин, одним ударом повергший недругов и утвердивший свое могущество; он — человек-лев, показавший свою силу, повергнув врага своею рукою; он — верховный владыка, наложивший дань на недоступную страну снежных гор...» [ХЧ, с. 138]. Однако очевидно, что истинной целью этого описания была не историческая правда, а демонстрация искусства владения шлешей (игрой слов), ибо каждое предложение имеет второй смысл, имплицитно мифологическое сравнение. Вот этот второй смысл приведенных выше предложений: «Он — Баладжит (Индра), сделавший недвижимыми крылатые горы; он — Праджапати, водрузивший землю на капюшоны Шеши; он — Пурушоттама (Вишну), обретший Лакшми при пахтанье океана; он — Бали, прогнавший Великого змея (Васуки) и освободивший от его тисков гору; он — Ишана, помазавший на цар-

¹ См., например: *Pathak V. S. Ancient historians of India. A study in historical biographies. Bombay, 1966. P. 30—50.*

ство Кумару; он — Сканда, одним ударом повергнувший Арати и утвердивший свое могущество; он — Нарасинха, разорвавший врага (Хираньякашипу) своею лапой, показав свою силу; он — Шива, овладевший Дургой, дочерью царя Хималая». И усматривать здесь намек на реальные события не более убедительно, чем искать портретное сходство в другом описании Харши: «Он, казалось, воплотил в своем теле всех богов: имел длинные красные ноги (или: длинные ноги, как у Аруны), прекрасные широкие бедра (или: широкие бедра, как у Будды), твердые, как алмаз, руки (или: твердые руки, как у Индры), плечи, как у быка (или: плечи, как у Нандина), круглые яркие губы (или: круглые, как солнце, губы), милостивый взгляд (или: взгляд, как у Авалокитешвары), лунный лик (или: лицо, как у Чандры), черные волосы (или: волосы, как у Кришны)» [ХЧ, с. 113]. Описания Харши в «Харшачарите» составлены по общепринятому и в высшей мере условному стандарту описания великого государя, и потому вызывает недоумение предположение И. Д. Серебрякова, что гиперболизм таких описаний Баны связан с тем, что они представляют собой не панегирик, а памфлет против Харши¹.

¹ *Серебряков И. Д.* Литературный процесс в Индии (VII—XIII вв.). М., 1979. С. 51—56; *Серебряков И. Д.* Очерки древнеиндийской литературы. С. 174—179. В той же мере сомнительно высказанное здесь же утверждение И. Д. Серебрякова, что изысканность стиля «Харшачариты», игра слов и иные украшения — это своего рода «эзопов язык», маскировка под официальное славословие, призван-

Описание Харши во второй главе романа занимает более 30-ти страниц санскритского издания текста «Харшачариты». И это лишь одно из многочисленных и столь же пространных описаний иных героев романа, богов и простых смертных: Сарасвати, Савитри, Матали, Лакшми, царевича Дадхичи, царицы Яшомати, царя Прабхакаравардханы, военачальника Синханады, юноши горца Нирхаты, отшельника Дивакарамитры и др. Не менее подробны и изысканны, изобилуя риторическими фигурами и тропами, описания в романе дня и ночи, сезонов года (например, лета в начале второй главы), лесов и рек (например, леса Виндхья в седьмой и восьмой главах, реки Мандакини в первой главе), царского лагеря (глава вторая), города (Стханишвары в пятой главе), лесной обители (восьмая глава), животных (например, царского слона Дарпашаты во второй главе), волшебных предметов (меча Аттахасы в третьей, царского зонта в седьмой, браслета Мандакини в восьмой главах), ритуальных празднеств и церемоний (рождения наследника, свадьбы, самосожжения и т. п.), походов войска и сражений. Мы не будем специально останавливаться на этих описаниях «Харшачариты», потому что они мало чем отличаются от подобных же описаний «Кадамбари», о которых нам еще предстоит говорить в будущем.

ная скрыть критическое отношение Баны к своему царственному патрону. Остается неясным, почему тот же украшенный стиль свойственен и «Кадамбари», и «Васавадатте» Субандху, да и вообще большинству дошедших до нас памятников санскритской литературы.

Сходство обоих романов, их принадлежность одному автору проявляется не только в характере описаний (функционально и по существу сходны описания царского слона, леса Виндхья, отшельнической обители, чудесного ожерелья, имеющиеся и в «Харшачарите» и в «Кадамбари»), но и в общности ряда мотивов и композиционных приемов. Так, в третьей главе «Харшачариты» Бана начинает рассказывать о жизни Харши по просьбе друзей и родичей, но начинает не сразу, а перенеся рассказ на следующий день ввиду наступления ночи. То же и в «Кадамбари»: составляющий большую часть романа рассказ мудреца Джабали вызван просьбой собравшихся вокруг него отшельников, но его начало мудрец откладывает до окончания вечерних обрядов. В четвертой главе «Харшачариты» царица Яшомати видит сон, в котором еще не родившиеся у нее сыновья и дочь появляются из диска солнца. В «Кадамбари» рождение героя романа Чандрапиды также предсказано во сне, по которому в лоно царицы Виласавати проникает диск луны. В пятой главе «Харшачариты» царевич Харша отстает от войска своего брата, увлеченный охотой. В «Кадамбари», заблудившись на охоте, оставляет свой военный лагерь Чандрапида. Перед выступлением Харши в поход на завоевание мира ему дает длинные наставления полководец Синханандана (глава шестая). Перед походом Чандрапиды на завоевание мира в «Кадамбари» его напутствует министр Шуканаса.

При всем параллелизме изобразительных средств и композиционных приемов «Кадамбари», как мы знаем, принадлежит к жанру катхи, а «Харшачарита» — акхьяики. Ее содержание с точки зрения санскритской поэтики составляют «действительно случившиеся события», поскольку она посвящена жизни реального исторического лица — Харши и рассказывает об его жизни (а попутно о своей) соучастник событий — автор¹. «Харшачарита» делится на главы, названные в ней уччхвасами, и каждой из этих глав, кроме первой, предпосланы по два вступительных стиха-сентенции, косвенно обозначающих основной смысл этой главы². Действительно, по своим формальным признакам «Харшачарита» — классическая акхьяика, однако своей стилистикой, да и значи-

¹ Поскольку Бхамаха и Дандин указывали, что рассказчиком акхьяики должен быть ее главный герой, в «Харшачарите» можно усмотреть отклонение от этого требования, так как не главный герой (Харша), а Бана выступает в роли повествователя. Но, во-первых, Бана — не сторонний повествователь, а свидетель описываемых событий, и, например, Бходжа в поэтике «Шрингарапракаша» допускает, что акхьяика может рассказываться спутником героя. А во-вторых, и эта тонкость со временем стала казаться несущественной, и Вишванатха в «Сахитьядарпане» пишет: «Некоторые говорят, что акхьяика должна рассказываться только самим героем, но это неправильно: как утверждал Дандин, «в акхьяике ведут рассказ и другие <чем герой, персонажи>; здесь нет ограничения» [СД, с. 467].

² Так, перед третьей главой, которую Бана по просьбе друзей начинает с рассказа о том, как предку Харши Пушпабхути было обещано богами великое потомство, имеются стихи: «Преданные благу своей страны (или: увлажняющие

тельной частью своего содержания она, по сути, мало чем отличается от классической катхи, какой была «Кадамбари», и это подкрепляет суждение Дандина, что катха и акхьяика — в принципе разновидности одного жанра.

*

Из всех санскритских романов индийская традиция выделяет в качестве самого чтимого и образцового второй роман Баны «Кадамбари». По мнению издателя и переводчика «Кадамбари» на английский язык М. Р. Кале, «Бана был величайшим из тех средневековых санскритских писателей, кто произвел революцию в этой литературе, практически утвердив общепризнанный с тех пор принцип, согласно которому версификация — только внешнее украшение и поэзия может твориться в прозе, так же как и в стихах»¹. Другой современный индийский санскритолог К. Кришнамурти констатирует, что

землю своими дождями), окруженные множеством любящих подданных (или: в изобилии дарующие людям пищу), цари, словно благие сезоны года, появляются на свет благодаря заслугам своих предков. Кому не хочется послужить добродетели, увидеть богиню славы, попасть на небеса, а также услышать о деяниях великих духом?» [ХЧ, с. 128]. Пятая глава, в которой речь идет о смерти отца и матери Харши, открывается стихами: «Судьба, даруя людям счастье, затем <повергает их> в тяжкое горе, словно мгновенная молния, которая, освещая мир, затем обрушивает на него гром. Так же как Ананта — горы, время безжалостно повергает в прах многих великих людей» [ХЧ, с. 210].

¹ Kale M. R. Introduction // Bāṇa's Kādambarī / Ed. by M. R. Kale. Delhi, 1968. P. 33.

«бессмертная слава Баны в прозе сравнима лишь со славой Калидасы в поэзии и драме»¹. Эти высказывания впрямую соотносятся с суждениями о месте Баны в санскритской литературе, принадлежащими самим ее создателям. Так, Джаядева (XII в.), автор поэтики «Чандралока» («Свет луны»), восклицает: «Бана — бог любви, овладевший сердцем поэзии»². Поэт Говардхана (XII в.) в лирическом сборнике «Арьясапташати» («Семьсот строф в метре арья») посвящает Бане такие строки: «Как некогда Шикхандини стала Шикхандином, так, полагаю, искусство поэзии, чтобы быть совершенным, стало Баной»³. А дошедшее до нас из глубины индийского средневековья изречение гласит: «Нет ничего в мире, чего бы не выразил Бана»⁴. Не менее показательно, что само слово «Кадамбари» вошло в несколько новоиндийских языков в качестве обозначения самого жанра романа⁵.

Несмотря на столь высокие оценки, «Кадамбари», так же как и «Харшачарита», — роман

¹ Poets, dramatists and story tellers. New Delhi, 1980. P. 55.

² Здесь игра словами: Bāṇa (Бана) и Pañcabāṇa — «обладающий пятью стрелами», то есть бог любви Кама.

³ Тоже игра слов: vāṇī, или bāṇī («искусство поэзии») созвучно имени Bāṇa (Бана); Шикхандин — герой древнеиндийского эпоса «Махабхараты», родившийся девушкой.

⁴ Цит. по: Kāle. Op. cit. P. 35—36; см. там же аналогичные высказывания.

⁵ Karmarkar. Op. cit. P. 76; Серебряный С. Д. «Свое» и «чужое» в новом индийском романе // Генезис романа в литературах Азии и Африки. М., 1980. С. 234.

неоконченный и дописан, как полагают, сыном Баны — Бхушаной (Бхушанабаной или Бхушанабхаттой)¹, который, по его собственным словам, продолжил незавершенный рассказ не из литературных притязаний, но во исполнение сыновьего долга. Соотношение оригинальной и добавленной частей «Кадамбари» представляет серьезную проблему. Не вызывает сомнений, что по своим литературным качествам продолжение Бхушаны значительно уступает основному тексту. Оно написано тем же стилем, но стиль этот выглядит хотя и умелой, но лишенной собственной жизни имитацией, обозначает достаточно верно литературную манеру Баны, но без ее полнокровия и естественности. Поэтому уже средневековые критики и комментаторы романа четко разделяли текст Баны и текст Бхушаны и имели в виду только первый, когда говорили о «знаменитой «Кадамбари».

Удивительно при этом, что, хотя часть, написанная самим Баной, составляет две трети общего текста, сюжет романа даже не доведен в ней до своей кульминации, героиня, именем которой назван роман, появляется только в конце, действие только завязано и едва развито. Бхушане предстояло продолжить развитие сюжета во всех его основных линиях и развязать все завязки. Не случайно поэтому, что текст Бхушаны, составляющий треть романа, гораздо более, чем у Баны, насыщен действием, и пред-

¹ В нескольких рукописях он также назван Пулиной или Пулиндой.

ставить себе сюжет «Кадамбари» в целом мы можем, лишь учитывая ее продолжение. Насколько, однако, это продолжение соответствует замыслу Баны? Твердых критериев у нас, к сожалению, нет, и приходится ограничиться констатацией, что продолжение Бхушаны ни в чем не противоречит содержанию оригинальной части; более того, многие умолчания и неявные намеки и ситуации Баны вполне адекватно проявляются и разрешаются Бхушаной. Поэтому с прагматической точки зрения целесообразно о литературных особенностях и достоинствах «Кадамбари» судить по тексту, написанному Баной, а о ее содержании в целом и прежде всего о ее сюжете,— принимая во внимание дополнение Бхушаны.

Вопреки собственно индийской традиции европейские исследователи поначалу больше ценили как раз сюжет, а не художественную специфику «Кадамбари». Известный немецкий санскритолог А. Вебер, впервые познакомивший европейского читателя с санскритским романом, скептически отзываясь о стилистическом и композиционном мастерстве Баны, признавал весьма интересным сюжет «Кадамбари». Свидетельствуя, по словам Вебера, «о поэтическом даре воображения и тонкой чувствительности», он мог бы быть поставлен в заслугу автору, «если бы только на самом деле ему принадлежал»¹. В этом Вебер, однако, сомневался и спустя некото-

¹ Weber A. Analyse der Kādambarī // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 7. 1853. S. 583.

рое время предположил, что вероятным источником Баны была «Брихаткатха» Гунадхьи¹.

Предположение Вебера выглядело весьма правдоподобным: «Брихаткатха» индийцами рассматривалась как неисчерпаемая сокровищница повествовательных сюжетов, ей обязан был, как мы видим, многими историями «Дашакумарачариты» Дандин, о Гунадхье как своем предшественнике говорят и Субандху и Бана. И оно вскоре подтвердилось, источник «Кадамбари» был однозначно найден, им оказался вставной рассказ о царе Суманасе, который имелся в двух кашмирских обработках «Великого сказа»: «Брихаткатхаманджари» Кшемендры [БКМ XVI. 183—248; с. 555—560] и «Катхасаритсагаре» Сомадевы [КСС X. 3.22—178; с. 742—764].

Кашмирские обработки «Великого сказа» весьма близки друг другу как по содержанию рамочного повествования, так и по набору вставных рассказов, и, как считает большинство исследователей, весьма полно и точно отражают в этом отношении оригинал Гунадхьи. Во всяком случае, Сомадева в прологе к «Катхасаритсатаре» утверждает, что его сочинение «без малейших отступлений» следует за «Брихаткатхой», воспроизводит ее стиль и расположение частей и лишь изменяет ее язык (переводя с пайшачи на санскрит) и сокращает объем [КСС I.10—11]. Тем более, когда рассказы версий Сомадевы и Кшемендры совпадают, мы

¹ Weber A. Indische Streifen. Berlin, 1868. S. 368.

вправе полагать, что этот рассказ имелся и у Гунадхьи. Таковым как раз является рассказ о Суманасе, и его изложение представляется нам необходимым для понимания как генезиса текста «Кадамбари», так и всей его художественной специфики.

Согласно этому рассказу, в городе Канчанапури жил некогда царь по имени Суманас. Однажды к нему пришла дочь царя нишадов Мукталата и принесла с собой попугая, прочитавшего в честь царя искусные стихи. По просьбе Суманаса попугай рассказывает историю своей жизни. Он родился на дереве в лесу в окрестностях Гималаев. При родах умерла его мать, и воспитывал его престарелый отец. Когда он немного подрос, в лес на охоту явились горцы; один из горцев убил вместе с другими попугаями, живущими на дереве, его отца, но птеник-попугай чудом спасся, и его подобрал аскет Маричи, который отнес его в обитель мудреца Пуластья. Пуластья, в свою очередь, рассказывает отшельникам обители о былом рождении этого попугая.

В городе Ратнакаре у царя Джьотишпрабхи и царицы Харшавати родился сын, которому дали имя Сомпрабха. Его другом стал Приянкара, сын министра Прабхакары, а возникший Индры Матали подарил ему чудесного коня Ашушраваса. Помазанный в наследники престола, Сомпрабха отправился в поход на завоевание мира. При возвращении из похода, преследуя киннару, он заблудился на охоте и встретил у озера вблизи Кайласы красивую

девушку — послушницу бога Шивы. Девушка объясняет ему, что зовут ее Маноратхапрабха и она дочь владыки видьяхаров Падмакуты. Однажды на берегу этого озера она встретила молодого аскета Рашмимата с его другом Будхадаттой. Она и Рашмимат влюбились друг в друга, но, когда они на время разлучились (Маноратхапрабха должна была вернуться во дворец), Рашмимат умер от горя. Маноратхапрабха тоже хотела умереть, но некий божественный муж обещал ей встречу с Рашмиматом и унес его тело на небо.

По окончании рассказа Маноратхапрабхи прилетает юноша-видьядхара Деваджая и от имени царя видьядхаров Синхавикрамы просит Маноратхапрабху явиться ко дворцу, чтобы уговорить ее подругу царевну Макарандику отказаться от решения не выходить замуж. Маноратхапрабха вместе с Сомапрабхой, Деваджаей и служанкой Падмалекхой улетают в столицу видьядхаров. Встретившись в царском дворце, Сомапрабха и Макарандика полюбили друг друга, и царь Синхаварман начинает готовить их свадьбу. Но незадолго до нее Сомапрабха получает послание от своего отца с повелением возвратиться домой. Пообещав Макарандике, что вскоре вернется, Сомапрабха уезжает в Ратнакару. Страдая от разлуки, Макарандика ведет себя как безумная и, проклятая собственным отцом, заново рождается девушкой-нишадкой. Отец ее, Синхавикрама, тоже умирает и в новом рождении становится попугаем. В заключение своего рассказа Пуластья объявляет, что попу-

гай, принесенный в обитель, и есть царь Синхавикрама.

Выслушав собственную историю, попугай улетает из обители Пуластыи и попадает в руки некоему нишаде, тот передает его дочери царя нишадов Мукталате, и Мукталата приносит его царю Суманасу, с чего, собственно, и начинается весь рассказ.

Между тем Шива, явившись во сне Сомапребхе, приказывает ему идти к царю Суманасу, где он и встречает свою возлюбленную Макарандику, принявшую облик Мукталаты. Одновременно Шива посылает во дворец Суманаса и Маноратхапребху, объяснив ей, что Суманас не кто иной, как Рашмимат, принявший новое рождение. Встретившись в Канчанапуре, все герои узнают друг друга, обретают свой прежний облик, и Сомапребха с Макарандикой-Мукталатой и Рашмимат-Суманас с Маноратхапребхой празднуют свои свадьбы.

Сравнение рассказа о Суманасе в «Катхасаритсагаре» и «Брихаткатхаманджари» с содержанием «Кадамбари» не оставляет сомнений в идентичности их сюжетов, так что в основе всех трех лежал, по-видимому, один текст — соответствующий рассказ в «Брихаткатхе» Гунадхьи. Пожалуй, наиболее серьезные отличия связаны с именами героев и топонимами. И здесь заметна определенная последовательность. Во-первых, даже заменяя имя, Бана в большинстве случаев стремится сохранить его семантическую окраску: вместо Сомапребхи (букв. «обладающий блеском луны») в «Брихаткатхаманджари»

и «Катхасарисагаре» — Чандрапида («увенчанный луной») в «Кадамбари»; вместо Харшавати («полная радости») — Виласавати («полная веселья»); вместо Макарандики («медовая») — Кадамбари («опьяняющая»); вместо Джьотишпрабхи («ослепляющий блеском») — Тарапида («увенчанный звездой»); вместо Рашмимата («сверкающий») — Пундарика («светлый, как лотос»); вместо Хемапрабхи («обладающая золотым блеском») — Гаури («белая») и т. п. Во-вторых, сказочные и мифические названия и имена Бана меняет на более, так сказать, обыденные: не сказочный город Канчанапури («Золотой город»), но Видиша, не Хемавати («золотой»), но лес Виндхья, не легендарный Ратнакара («творящий сокровища»), но исторический Удджайини, не мифические ведийские мудрецы-риши Маричи и Пуластья, но Харита и Джабали и т. д.

В остальном сюжетные отклонения романа от рассказа о царе Суманасе весьма незначительны: так, например, в «Катхасаритсагаре» Сомпрабха получает коня Ашушраваса в дар от Индры, а в «Кадамбари» конь Уччайхшравас подарен царю Тарапиде персидским шахом. Однако, продолжив оригинальный текст, Бхушана оказался более независим. В «Катхасаритсагаре» и «Брихаткатхаманджари» Макарандика соглашается на брак с Сомпрабхой сразу же после их первого свидания; в «Кадамбари» речь об их свадьбе заходит много позже. В «Катхасаритсагаре» Макарандика ведет себя в разлуке как безумная и ее проклинают родители: она становится в новом рождении нишадкой;

в продолжении «Кадамбари» Бхушаны не говорится ни о безумии, ни о новом рождении царевны. Иначе в сравнении с версиями «Великого сказа» трактуются в «Кадамбари» перерождения героев. В «Катхасаритсагаре» и «Брихаткатхаманджари», помимо превращения Макарандики в дочь царя нишадов Мукталату, отец ее Синхаварман по проклятию становится попугаем, мать — дикой свиньей, а возлюбленный Маноратхапрабхи Рашмимат — царем Суманасом. В «Кадамбари» же цепочка перерождений иная: Чандрапида (в КСС и БКМ — Сомапрабха) в предшествующих рождениях был богом луны Чандрой, а затем — царем Шудракой (в КСС и БКМ — Суманас); его друг Вайшампаяна (Приянкара) — Пундарикой (Рашмимат) и попугаем; девушка-чандала (которая в КСС и БКМ тождественна Макарандике/Кадамбари) оказывается земным воплощением богини Лакшми, матери Пундарики.

Различия в характере перерождений явно не случайны. В версиях «Великого сказа» мотив перерождений играет в сюжете второстепенную роль, а сам сюжет примыкает к центральному для всего «Великого сказа» циклу мифов о видьядхарах — полубожественных духах воздуха¹. В «Кадамбари» же, тематически от «Вели-

¹ «Великий сказ» повествует о приключениях верховного повелителя видьядхаров Нараваханадатты; в «Катхасаритсагаре» и «Брихаткатхаманджари» дочерьми царей видьядхаров являются обе героини, Макарандика и Маноратхапрабха, к роду видьядхаров принадлежат и оба героя — Рашмимат и Сомапрабха (последний назван

кого сказа» в целом независимой, все нити, связывающие ее сюжет с миром видьядхаров, подчеркнуто оборваны. Махашвета и Кадамбари — уже дочери царей гандхарвов, а не видьядхаров. Тем более не имеют к видьядхарам никакого отношения ни Чандрапида, ни Пундарики. И характерно, что если в «Катхасаритсагаре» и «Брихаткатхаманджари» герои, как и подобает видьядхарам, обычно летают по воздуху (по воздуху прилетают к Маноратхапрабхе и друг Рашмимата Будахатта, и слуга Макарандики Деваджая; по воздуху отправляются в столицу видьядхаров Сомапрабха и Маноратхапрабха и т. д.), то в «Кадамбари» все передвижения героя совершаются только по земле.

Элиминировав миф о видьядхарах, Бана, как нетрудно убедиться, замещает его лунным мифом. Чандрапида оказывается воплощением бога луны Чандры, и появляется он на свет после того, как его отец Тарапида и министр Шуканаса увидели вещий сон, в котором в уста царицы Виласавати входит лунный диск. Служанкой и подругой Чандрапиды в его земной жизни становится в облике Патралекхи небесная супруга Чандры Рохини. К роду гандхарвов, возникшему из лучей луны, принадлежит по матери Махашвета, и Чандра выступает в романе ее постоянным покровителем. Тот же Чандра уносит в лунный мир тело Пундарики и делает его своим спутником в новых рождениях.

«видьядхарой, другом Индры, сошедшим на землю» [КСС X.3.66]).

Наконец, завершает роман указание, что после воссоединения с Кадамбари Чандрапида-Чандра часть времени проводит на небе вместе с Рохини, а часть на земле вместе с Кадамбари. И это позволяет интерпретировать сюжет «Кадамбари» как вариант лунного мифа, объясняющий периодичность убывания и нарастания лунного диска, смены темной (когда Чандра спускается на землю и живет с земной женой) и светлой (когда Чандра остается на небе с Рохини) половин месяца¹.

Подобного рода явных следов лунного мифа в рассказе о Суманасе в обработках «Великого сказа» не прослеживается. Правда, и в нем имеется глухой намек на особую связь героя, Сомапрабхи, с луною: в «Брихаткатхаманджари» Сомапрабха однажды назван «частицей луны» (*candrāñśa* [БKM XVI.197]), а в «Катхасаритсугаре» сказано: «Поскольку царица увидела во сне Сому, проникшего ей в уста, царь дал своему сыну имя Сомапрабха» [КСС X.3.61]. Однако намек этот нигде в тексте не объясняется, на развитие действия нисколько не влияет и, по-видимому, появляется *ad hoc*, дабы истолковать значение имени Сомапрабха — «обладающий блеском луны».

Тем не менее, возможно, именно это случайное упоминание в тексте «Великого сказа»

¹ Этимологическая концовка вставлена, конечно, уже в текст Бхушаны, а не Баны. Но она не просто согласована с основным повествованием романа, а многое объясняет в нем и потому выглядит вполне аутентичной.

натолкнуло Бану на идею конструирования той версии лунного мифа, которая легла в основу содержания «Кадамбари». Именно версии, а не нового мифа, поскольку пределы мифологического вымысла, мифологической инициативы у средневекового автора заведомо ограничены и, как правило, определены традицией. В мифологической канве содержания «Кадамбари» традиционные элементы легко различимы.

Как известно, в ранней ведийской поэзии Сوما имеет несколько ипостасей: 1) некая священная субстанция (вероятно, растение); 2) сок, который выжимают из этого растения и который играет важнейшую роль в ведийском ритуале (ритуалы сомы); 3) божественная персонификация этого сока (бог Сوما ведийских гимнов); и, наконец, 4) по крайней мере в одном, а то и в нескольких поздних гимнах «Ригведы» [X. 85] — бог луны. В дальнейшем, начиная с эпохи брахман, идентификация божественного Сомы с луной становится общепризнанной, и в качестве бога луны Сوما почитается как владыка звезд, сохраняя одновременно функции владыки растений¹, жертвоприношений и приносящих жертву брахманов. Одним из оснований индентификации священного сока с луною послужило, возможно, то, что Сوما в «Ригведе» — пища богов и предков, а свойство

¹ Поэтому Чандрапида в «Кадамбари» однажды называет месяц «владыкой трав» (oṣadhipati) — древним эпитетом Сомы, используемым еще в брахманах [Кад., с. 303; Перевод, с. 298].

пищи — убывать во время поглощения, а затем появляться снова: «Только тебя отопьют, о бог, / ты прибываешь снова» [Рв. X.85.5]. Также в «Ригведе» различаются небесный и земной Сома (как и соответствующий ритуальный напиток *haoma* в «Авесте») и многократно говорится о похищении небесного Сомы и его пребывании на земле [Рв. I.80.2; 93.6; IV.26.27 и др.]. По-видимому, наблюдение за различными фазами луны, ее убыванием и нарастанием порождает представления о луне как о пище богов и о ее периодическом нисхождении на землю, после чего, вступая в связь с растениями и в круговорот вод, она вновь возрождается на небе. «Поистине, царь Сома, пища богов, не что иное, как луна. Когда он не виден ночью ни на востоке, ни на западе, тогда он посещает этот мир, и здесь он входит в растения и воды», — утверждает «Шатапатха-брахмана» [Шат.-бр. I.6.4.5; XI.2.5.3]. В той же «Шатапатха-брахмане» с Сомой отождествляется Творец-Праджапати, который в виде полной луны живет на небе, а молодого месяца — на земле [Шат.-бр. VI.2.2.16; I.6.4.5].

Периодическое убывание и нарастание делает также луну и бога луны в индийской мифологии устойчивым символом бесконечной цепи рождений, метемпсихоза. «Рождаясь, он возникает вновь и вновь», — говорит «Ригведа» [Рв. X.85.19], и определение: «тот, кто рождается снова и снова» или вопрос «Кто рождается снова?» — становятся обычной перифразой Сомы/Чандры в ведийской литературе и эпосе

(см., например, Шат.-бр. XIII.2.6.11; Мбх. III.313.68 и т. п.). Отсюда связь Сомы с богами подземного мира и, в частности, с Ямой (та же связь луны с подземным миром отмечена в греческой, египетской, фригийской и других древних мифологиях). Отсюда представление о луне как о пристанище души в ее странствиях после смерти, как о поворотном пункте на так называемом «пути предков» (питрияне), после которого душа умершего «через пространство, ветер, дождь, землю» возвращается в женское лоно для нового рождения [Бр.-ар.-уп. VI.2.16; Чханд-уп. V.10.3—6]. Отсюда концепция аватар (земных воплощений) Сомы, среди которых наиболее известно воплощение Сомы (или его сына Варчасы) в героя «Махабхараты» Абхиманью, который после гибели возвращается в «мир Сомы» [Мбх. I.61.86; XVIII.4.19, 5.18]. Кажется очевидным, что именно это традиционное восприятие луны (Сомы, Чандры) как символа перевоплощений, представление о ее небесной и земной ипостасях использованы Баной в конструировании лунного мифа «Кадамбари» и той цепочке перерождений, которая связывает ее главных персонажей: царя Шудраку, царевича Чандрапиду и бога Чандру.

Содействовала сложению мифа «Кадамбари» и другая особенность традиционных мифов о Соме/Чандре, а именно: ассоциация лунного бога с царской властью. «<О> царь» (rājan) — постоянный апеллятив Сомы и в ведах, и в брахманах, и в эпосе, и в пуранах (например, Рв.VIII.48.7; IX.113.4; Ав.II.36.3, V.21.11;

Шат.-бр.Х.4.2.1, XIV.1.3.8; Бр.-ар-уп. I.3.24; Чханд.-уп.V.5.2; Кауш.-уп.2,9; Мбх.IV.38.40; Бхаг.-пур.IV.30.17, V.20.11 и др.), и уже в древнейших текстах, как мы говорили, Сома именуется владыкой звезд и планет, растений, жертвоприношений, брахманов, а иногда даже «всех существ» [Мбх.V.147.3]. Сома считается также одним из богов — хранителей мира (локапалов), властителем севера или северо-востока, и всякий царь в той или иной мере его репрезентирует, поскольку «царь — воплощение восьми хранителей мира: Сомы, Агни, Солнца (Сурьи), Анилы (Ваю), Индры, владык богатства (Куберы) и воды (Варуны) и Ямы» [ЗМ V.96; ср. VII.7]. От Сомы берет начало одна из двух великих царских династий Индии — Лунная, к которой, в частности, принадлежат легендарные цари Пуруравас, Нахуша, Яяти, Пуру, Душьянта, Бхарата и все герои «Махабхараты». Сома был первым владельцем «царского лука», который он подарил богу Варуне, тот Агни, а Агни — идеальному эпическому царю-воину Арджуне [Мбх. I.216]. В ритуале царского жертвоприношения (раджасуе) Сома олицетворяет царскую власть (кшатру). «Пусть царь Сома, владыка царей, наделит меня в этом жертвоприношении царской силой, *сваха!*» — должен восклицать царь во время раджасуи [Шат-бр. XI.4.3.9], а жрец провозглашает при этом: «Соме слава!» Сома — это царская сила; так царской силой он <жрец> обрызгивает его <царя>» [Шат-бр.V.3.5.8]. В объяснение ритуала раджасуи «Шатапатха-брахмана» рас-

сказывает, что, когда Праджапати произвел на свет богиню Шри (богиню счастья, красоты, царской славы), каждый из богов пожелал взять себе какую-то ее часть, и тогда Сома взял себе царскую силу [Шат-бр. XV.4.2.1—3]. Согласно важнейшему пураническому мифу о похищении Сомой Тары, жены жреца богов Брихаспати, Сома сам для себя совершает раджасую и после этого завоевывает три мира, становится «царем всех царей» [Бхаг-пур. IX.14; Мбх. IX.43.50]. Напрашивается параллель с героем «Кадамбари» Чандрапидой, который, будучи воплощением Сомы/Чандры, тоже удостаивается царского помазания-раджасуи, а затем покоряет землю и подчиняет себе всех ее царей.

Наконец, использован в «Кадамбари» еще один существенный компонент мифов о Соме: представление о боге луны как об идеальном женихе или возлюбленном. В так называемом свадебном гимне «Ригведы» [Рв.Х.85], который в значительной своей части повторен в двух гимнах «Атхарваведы» [Ав.ХIV.1,2], Сома рисуется женихом Сурьи, дочери солнечного бога Савитара:¹ «Сома возлюбленным был, / Ашвины оба были сваты, / Когда Савитар отдал супругу / Сурью, согласную всей душой» [Рв.Х.85.9; перевод Т. Я. Елизаренковой]. Гимн

¹ По-видимому, в древнейшем слое лунных мифов луна, как правило, воплощает мужское, а солнце — женское начало (мотив свадьбы луны и солнца). В индийской мифологии, во всяком случае, Сома/Чандра всегда олицетворяет мужское начало, ассоциируется с семенем, жизненной силой [Мбх.V.45], является источником мужества [Ав.V.89.1].

предлагает как бы образцовую модель всякой свадьбы (он до сих пор исполняется в Индии на свадебных церемониях), и Сома рассматривается как первый жених каждой невесты: «Сома первый познал <ее>, / Гандхарва познал следующим. / Третий <твой> муж — Агни, / Четвертый твой <муж> — рожденный человеком. // Сома отдал Гандхарве, / Гандхарва отдал Агни. / Богатство и сыновей дал Агни / Мне, а также эту <жену>» [Рв.Х.85.40—41; АВ.ХІV.2.3—4; перевод Т. Я. Елизаренковой]. В многочисленных мифах о Соме он супруг и возлюбленный не только Сурьи [Рв.І.11.17, VI.6.5.5 и др.], но и Ситы [Тайт-бр.ІІ.3.10.1—3], и Дикши [Рам.V.31.5], и Рохини [Рам.ІІІ.2.11, V.31.5, VI.86.4, VII.88—9], и богинь четырех сторон света [Шат-бр.ІІІ.9.4.20]. Особенно популярны мифы о женитьбе Сомы на двадцати семи дочерях Дакши, персонифицирующих двадцать семь лунных созвездий (за предпочтение, выдаваемое Сомой одной из них — Рохини и пренебрежение остальными Дакша обрекает бога луны на постепенное увядание, но по просьбе сжалившихся над Сомой жен смягчает наказание: увядание каждый раз сменяется возрождением), и о похищении Сомой жены Брихаспати Тары (несмотря на приказ Брахмы, Сома отказывается возвратить Тару мужу и смиряется лишь после сражения, в котором боги помогали Брихаспати, а асуры — Соме; уже после возвращения Тары к Брихаспати она рождает от

Сомы сына Будху, который становится основателем Лунной династии).

В согласии с указанной мифологической функцией Сомы — быть первым женихом и идеальным возлюбленным (ср. соответствующую роль Чандрапиды в сюжете «Кадамбари») — он рисуется в эпосе и пуранах как средоточие красоты и привлекательности. Главным образом по признаку красоты («прекрасный, как Сома/Чандра») с ним сравниваются эпические и пуранические герои; в качестве постоянных эпитетов к нему прилагаются определения «красивый», «сияющий», «любимый всеми живыми существами», «радующий сердца и взоры», «украшенный белыми одеждами» и т. п. (показательно, что те же эпитеты прилагаются к Шудраке и Чандрапиде в «Кадамбари»). В классической санскритской поэзии луна всегда ассоциируется с любовной темой, месяц — «супруг и возлюбленный ночи», покровитель или, наоборот, соперник влюбленных, «жрец любви», «точильный камень стрел бога Камы» и неперменный атрибут декоративного фона большинства любовных сцен.

Видимо, влиянием традиционной мифологии Сомы на сюжет «Кадамбари» обусловлено и отмеченное нами перенесение действия романа из мира видьядхаров (как было в версиях «Брихатхатхи» Гунадхьи) в мир гандхарвов. В ведийской мифологии именно гандхарвы оказываются связанными с Сомой. Они, как свидетельствуют тексты, считаются стражами и древними хранителями священного напитка; Гандхарва переносит

сит «быка Сому» с неба на землю и помещает его в растение [Рв. IX. 113. 8]; гандхарва Вишвасу похищает Сому у птицы Гаятри [Шат-бр. III. 2. 4. 1—6]; луна именуется гандхарвой, а его жены-звезды — апсарами [Шат-бр. IX. 4. 1. 9]; в уже процитированном нами свадебном гимне «Ригведы» Гандхарва — второй после Сомы жених всякой невесты, он получает ее из рук Сомы, передает Агни, а тот уже — земному мужу [Рв. X. 85. 40—41; Ав. XIV. 2. 3—4].

Таким образом, мы видим, что просвечивающий сквозь содержание «Кадамбари» миф о перевоплощении бога луны в земного царя, о его любви к царевне гандхарвов и браке с нею, завершившемся его попеременным пребыванием на земле и на небе в двух ипостасях — Чандрапиды и Чандры, построен с помощью традиционных мотивов индийского лунарного мифа. Эти мотивы искусно смонтированы в сюжете «Кадамбари», но лишились свойственных им ритуальных, космографических, этических и прочих внелитературных связей. Еще более важно, что, используя миф в его сюжетообразующей потенции, Бана одновременно придает ему чисто эстетическую функцию, делает его скрытой художественной доминантой, определяющей композиционные приемы и стилистическую окраску романа.

В «Кадамбари» тему любви главных героев, Чандрапиды и Кадамбари, дублирует побочный сюжет — любви их друзей Пундарики (Вайшампаяны) и Махашветы. И соответственно перенимается лунный «подтекст» главной темы. Мать

Махашветы Гаури принадлежит к роду апсар, возникшему от лунных лучей, и, таким образом, сама Махашвета ведет свое происхождение от луны. В свою очередь, это обстоятельство играет определяющую роль в судьбе ее жениха Пундарики. Влюбленный Пундарики проклял бога луны Чандру, терзавшего его в разлуке с Махашветой своими лучами, а Чандра в ответ проклял Пундарику и обрек его на немедленную гибель. Сразу же после смерти Пундарики, «отделившись от лунного диска, с неба сошел некий муж исполинского роста, божественного вида, полный величия. Он был одет в белое, как пена амриты, шелковое платье... На его груди покоилось чудесное ожерелье из больших жемчужин, похожих на гроздь звезд. Его голову украшал тюрбан из белого шелка, а из-под него выбивались пряди вьющихся волос, темных, как рой пчел (...) Тело его было белым, как лотосы кумуда, и светлым, как чистая вода; своим сиянием оно словно бы обмывало все стороны пространства» [с. 253—254 наст. изд.]. Божественный муж уносит бездыханное тело Пундарики на небо, и, как явствует из приведенного описания, а затем подтверждается в тексте «Кадамбари» (в продолжении Бхушаны), этот муж не кто иной, как бог Чандра, который смягчил свое проклятие, узнав, что Пундарики — возлюбленный Махашветы, принадлежащей к его, Чандры, лунному роду. По воле Чандры Пундарики вновь рождается на земле как Вайшампаяна, друг Чандрапиды, то есть самого Чандры. И наконец, третье рождение Пундарики в качестве

попугая тоже не обходится без вмешательства бога луны: тот делает это по просьбе Махашветы, не ведавшей, что Вайшампаяна — это Пундарика в новом обличье и оскорбленной его, как ей казалось, беспричинным любовным домогательством. Так, в дополнение к главной цепи перевоплощений: Чандра — Чандрапида — Шудрака Бана выстраивает еще одну: Пундарика — Вайшампаяна — попугай, тоже непосредственно связанную с лунным мифом романа.

Этим, однако, далеко еще не исчерпываются реминисценции лунного мифа в «Кадамбари». С этим мифом в индийской мифологии непосредственно соотносится другой миф: о пахтанье богами и асурами Молочного океана, дабы добыть из него напиток бессмертия — амриту. Для сюжета «Кадамбари» миф о пахтанье особенно актуален, поскольку по нему из океана вместе с амритой появляется на свет и бог луны Сомы, или Чандра, а также некоторые другие боги и божественные существа: супруга Вишну Лакшми, небесное дерево Париджата, драгоценный камень Каустубха, конь Индры Уччайхшравас, апсары, звезды и т. п. Знаменательно, что большинство этих персонажей Бана вместе с Чандрой так или иначе вводит в сюжет «Кадамбари» в качестве спутников или атрибутов главных героев.

Богиня Лакшми оказывается матерью Пундарики, а затем рождается девушкой-чандалой, которая приносит попугая (Вайшампаяну/Пундарика) к Шудраке и содействует узнаванию героями друг друга и своего прошлого.

По сути дела, земным воплощением коня Индры Уччайхшраваса является конь Чандрапиды Индраюдха, подобно Уччайхшравасу «не выношенный в материнском лоне, но восставший из вод океана» (с. 118 наст. изд.), чье имя буквально значит «оружие Индры». В предыдущем рождении согласно рассказу «Кадамбари» Индраюдха был другом и спутником Пундарика Капинджалой, и эти две ипостаси одного и того же по своей композиционной функции персонажа — «помощника героя» (друга-юноши и друга-коня) еще теснее сближают в романе сюжетные линии Чандрапиды и Пундарика.

В качестве украшения Пундарика носит за ухом белую кисть цветов дерева Париджаты. Капинджала, рассказывая о том, как Пундарика получил эту кисть от богини небесного сада Нанданы, не случайно упоминает, что Париджата «появилась из вод Молочного океана во время его пахтанья богами и асурами» (с. 218). В свою очередь, Пундарика дарит кисть цветов Париджаты Махашвете, восхищенной их ароматом и прелестью.

Также и Кадамбари дарит Чандрапиде ожерелье, вручая которое служанка Мадалекха объясняет, что оно зовется «Шеша — Оставшееся, потому что единственным из сокровищ оно осталось у Океана после его пахтанья богами и асурами. Благой Океан особенно его ценил, но подарил мудрому Варуне, когда тот посетил его глубины, Варуна передарил его царю гандхарвов, тот — Кадамбари, а Кадамбари, полагая, что только тебе (т. е. Чандрапиде.— П. Г.)

должно принадлежать такое сокровище, подобно тому как небу, а не земле принадлежит луна, посылает его тебе» (с. 302 наст. изд.). По своему происхождению и функциям Шеша как бы замещает в романе драгоценный камень Каустубху, тоже появившийся из океана, и показательно, что Мадалекха добавляет: «Разве благой Нараяна не носит у себя на груди камень Каустубху, удостоившийся столь великой чести, потому что явился на свет вместе с Лакшми? Но Нараяна не выше тебя, высокочтимый, камень Каустубха ни одним из своих качеств не превосходит ожерелья Шешу, а Лакшми, как ею ни восхищаться,— не соперница в красоте Кадамбари» (там же).

Еще более знаменательно, что лунный миф не просто многократно проступает в сюжете романа, но что его атрибуты, своего рода «лунный фон», существенны для всей его изобразительной системы. Так, в «Кадамбари», как и в любом другом санскритском романе, широко использованы различные виды описаний, о которых нам еще предстоит говорить подробнее. Пока же отметим, что, в согласии с мифологической основой сюжета, Бана постоянно обыгрывает, оттеняет в этих описаниях лунные мотивы. Характерен, например, выбор для описания времени суток. В той части романа, которая написана самим Баной, нет ни одного описания дня, зато есть два описания утра, начинающегося с захода месяца (с. 40—42 и 309 наст. изд.) и пять описаний вечера (с. 72—74, 147—149, 227—244, 262—267, 305—306). При

этом часто рассказ об одном и том же вечере разбивается на несколько фрагментов, и в каждом из них описания луны, лунных лучей, воздействия лунного света играют основную роль. Таково, например, описание вечера смерти Пундарики, вложенное в уста Махашветы.

Начинается оно с короткого описания захода солнца в тот момент, когда Капинджала, друг Пундарики, появляется во дворце Махашветы: «Затем, когда солнечный диск, зацепившись за край неба, налился багровой краской, как если бы сердце мое поделилось с ним пламенем моей страсти; когда богиня солнечного света, пылавшая огненным жаром, побледнела, будто страдающая от любви женщина <...> когда день скрылся в ущелье горы Меру, которая отвечала громким эхом на веселое ржание коней колесницы солнца, вкушающих отдых после долгой скачки по небу — словом, когда наступил вечер, ко мне вошла держательница моего опахала и доложила...» (с. 227 наст. изд.).

Но далее в описании уже полностью доминирует лунная тема: «...взошел месяц и своим рассеянным светом посеребрил восточную часть неба <...> Понемногу волны лунного света осветили лицо ночи, как если бы при виде месяца она раскрыла в нежной улыбке уста и озарила себя блеском своих зубов. Серп месяца поднимался все выше и выше, будто из подземного мира, разорвав земной покров, потянулся в небо белый капюшон Шеши. И постепенно в сиянии взошедшего юноши месяца, который создан из амриты, доставляет радость всему

живому, дорог всем женщинам и — пропитанный красным жаром страсти, с детства преданный Каме — единственно желанен на празднестве любви, ночь предстала красавицей.

Тогда, глядя на этот месяц, розовый от зари-ва недавнего восхода, как если бы его напоил блеском кораллов лежащий поблизости океан, или оросила своей кровью нашедшая на нем убежище лань, которую убил своей лапой лев Горы восхода, или измазала красным лаком Рохини, ударившая его ногой в любовной ссоре, я склонилась к ногам Таралики и, глядя на месяц, хотя видела перед собой одну смерть, подумала: „Вот весна, вот ветер с гор Малая, вот все хорошее, что они приносят с собой... а вот я, кто не может терпеть этого злого, назойливого месяца и чье сердце истерзано неодолимыми муками любви! Восход этого месяца для меня все равно что груда углей для того, кого жжет огонь лихорадки, или снегопад для страждущего от холода, или укус змеи для и так уже отравленного ядом“. И, подумав так, я закрыла, точно во сне, глаза и упала в обморок, будто лотос, увянувший при восходе луны» (с. 240—242 наст. изд.).

Очнувшись от обморока, Махашвета решает-ся уйти из дворцовых покоев на свидание с Пундарикой, и описание лунного вечера продолжается:

«Когда простор меж небом и землей наполнился сиянием все выше и выше встававшего лунного диска, который походил на большое озеро в дворцовом парке трех миров и чьи лучи струились ливнем чистого нектара <...> или ты-

сячью потоков белой Ганги; когда люди словно бы наслаждались видением Белого острова или счастьем пребывания в лунном мире; когда земной шар, казалось, был приподнят из Молочного океана луной, похожей на круглый клык Великого вепря; когда в каждом доме жены приветствовали восход луны возлияниями сандаловой воды, пропитанной ароматом цветущих лотосов; когда по тропинкам, освещенным луной, сновали тысячи подруг-наперсниц, посланных влюбленными женами; когда там и здесь поспешали на свидание прекрасные девушки, прикрывая себя от лунного света синими шелковыми накидками, похожие на богинь цветочных полян, которые укрываются в тени синих лотосов <...> когда мир живых существ, подобно великому океану при восходе луны, наполнился радостью и, казалось, весь состоял из любовных усад, праздничного веселья, игр и удовольствий; когда павлины, купаясь в потоках лучей, льющихся из драгоценной диадемы луны, прославляли громкими криками начало ночи — тогда, не замеченная никем из придворных, вместе с Тараликой <...> я спустилась вниз по дворцовой лестнице» (с. 243—244 наст. изд.).

Луна в рассказе не просто объект описания, но как бы участница событий. Махашвета восклицает: «Это месяц, друг ночных лотосов, явился сюда, чтобы отвести меня на встречу либо с Пундарикой, либо со смертью. Он устранил все сомнения, избавил ото всех раздумий, снес все препятствия, освободил ото всех страхов, лишил стыда, снял вину за самовольный

уход, покончил с пустой тратой времени» (с. 242). Месяц кажется Махашвете то помощником, который, как она говорит, «протягивая ко мне лучи, словно бы предлагает мне для опоры руки» (с. 244), то разлучником, который, «схватив своими руками-лучами Пундарику за волосы, повлечет его <...> за собою» (с. 245). А Таралика полагает, что месяц, словно бы соперничая с Пундарикой, сам ведет себя с Махашветой, как влюбленный: «Блистая в каплях пота, покрывающих твои щеки, он словно бы их целует. Своими лучами он касается твоей прекрасной высокой груди, трогает драгоценные камни на твоём кушаке, падает тебе в ноги, отражаясь в зеркале твоих ногтей. И еще: диск его так же бледен, как тело страждущего от любовной лихорадки, умащенное высохшей от жара сандаловой мазью; он простирает к тебе руки-лучи, белые, будто на них браслеты из стеблей лотоса; он словно бы падает в обморок, когда отражается в драгоценных камнях, устилающих землю; как бы желая избавиться от жара любви, он погружает в лotosовое озеро свои светлые, как цветы кетаки, лучи-ноги; он жмет к влажному от воды лунному камню и ненавидит дневные лотосы, на которых страдают разлученные пары чакравак» (с. 245).

И наконец, когда Махашвета застаёт Пундарику умершим, она винит в его смерти снова месяц: «Казалось, что от его рук, сложенных на сожженном огнем любви сердце, исходит не блеск ногтей, но сияние лунных лучей, которые пронзили его спину, когда он, враждуя с меся-

цем, отвернул от него свое лицо. Казалось, что его лоб в пятнах бледной, высохшей сандаловой мази, помечен знаком Маданы, принявшего вид луны, возвестившей его гибель <...> Сквозь приоткрытые губы виднелась полоска зубов, чей блеск озарял его грудь, как если бы это пробились сквозь сердце лучи луны, похитившие его жизнь <...> Он ушел в иной мир, и гирлянда из стеблей лотосов, висевшая у него на шее, казалась удушившей его петлей, свитой из лучей месяца» (с. 247—249). Эти на первый взгляд чисто орнаментальные метафоры получают впоследствии мифологическое обоснование, когда выясняется, что Пундарика действительно умер из-за проклятия бога луны, а таинственный муж, унесший его тело на небо, был Чандрой.

Основными средствами описания в романе Баны служат, естественно, многочисленные сравнения, метафоры и иные тропы, которые принадлежат к традиционному изобразительному арсеналу санскритской поэзии и прозы. Однако именно в «Кадамбари» если не большая, то, по крайней мере, значительная их часть так или иначе увязана все с той же лунной тематикой.

Чандрапида, воплощение бога луны в романе, сравнивается с лунной постоянно. Когда он еще не родился, его будущий отец Тарапида восклицает: «Когда же и я, царица, увижу тебя с полным чревом и побледневшим лицом, похожей на вечер перед восходом луны в четырнадцатый день светлой половины месяца?»

(с. 94 наст. изд.). Младенцем «он был похож на алый круг восходящего солнца или на полную луну в сиянии вечерней зари» (с. 109). Горожане его приветствуют, «став похожими на купы лотосов, расцветшие при появлении месяца» (с. 125). Он поднимается «на золотой царский трон, словно месяц на золотую вершину Меру» и при этом умащен «белой, как лунный свет, сандаловой мазью», одет «в белое, как блеск луны, шелковое платье», украшен «ожерельем из семи больших жемчужин... которое казалось семью звездами Большой Медведицы, явившимися взглянуть на его торжество» (с. 167—168). «В белом блеске сандаловой мази, шелкового платья и жемчужного ожерелья» он выглядит, как «месяц, взошедший над горой Восхода» (с. 303). Кажется, что «имя его во всей прелести вписала в себя луна», что «красота его, словно красота месяца, выплеснулась дождем амриты», что «стороны света, будто луной, озарились его славой» (с. 351) и т. д. и т. п.

Сравнения с луной доминируют и в описаниях второго героя, воплощающего бога луны в сюжете «Кадамбари», — царя Шудраки: он ставит «свою левую ногу на круглую скамейку из мрамора, похожую на луну, припавшую к его стопам, когда она потерпела поражение в состязании с красотой его лица», лицо его кажется «второй луной, опоясанной гирляндой звезд», его лоб «широк, как золотой серп луны в восьмой день светлой половины месяца» и т. п. (с. 14—15 наст. изд.; ср. с. 9, 24 и др.). Но характерно, что подобно тому, как центральная мифо-

логическая тема расщепляется в романе на множество параллельных мотивов, так же сравнения с луной (лунные реминисценции) переносятся с Чандрапиды/Шудраки и на других героев.

О Кадамбари говорится: «Ее стройное тело было омыто чистой сандаловой водой и светилося белым блеском; в одном ее ухе висела серьга из слоновой кости, в другом трепетал листок лотоса, нежный, как серп молодой луны; на ней было белое, как лунный свет, шелковое платье, словно бы подаренное Древом желаний, и она казалась в таком наряде земным воплощением богини восхода луны» (с. 307 наст. изд.); «блеском своей красоты она как бы разбрасывает по сторонам тысячи лун, умеряя надменность Шивы, чванящегося лишь одной луной у себя на челе» (с. 279); тело ее прозрачно, «будто пронизанное лунным светом» (с. 318), и т. п. Друг Чандрапиды Вайшампаяна, «одетый в белое платье, с гирляндой благоухающих белых цветов на груди и белым зонтом над головой», выглядит «как месяц» (с. 171). Патралекха походит «на лунный свет, который в страхе быть выпитым Раху покинул серп месяца и спустился на землю» (с. 153). Махашвета с жемчужными четками на шее напоминает «луну в ореоле белых лучей в светлую половину месяца» (с. 197). А ей, в свою очередь, кажется, что «весь лунный свет сосредоточился в теле» Пундарики (с. 213). С луной, ее атрибутами, мотивами лунного мифа связано также значение собственных имен большинства персонажей «Кадамбари»: Тарапида — «увенчанный звездами», то есть

луна, Чандрапида — «увенчанный луной», Кширода — «Молочный океан», Мадари — «нектар», Гаури — «белая», Махашвета — «очень белая», Шветакету — «имеющий белый облик», Пундарика — «белый лотос» и т. д.

Показательно, что почти во всех описаниях «Кадамбари» доминирует идея белого цвета — цвета луны, главного мифологического персонажа романа. Наиболее распространенный эпитет в этих описаниях — «белый», который как бы наглядно эксплицирует стремление Баны к постоянной соотнесенности изобразительного и мифологического уровней романа. Мы уже говорили, что в ведийских, эпических и пуранических текстах бог луны рисуется «одетым в белые одежды». И вот в «Кадамбари», как правило, в белом наряде предстают и Чандрапида («В белом платье, в гирлянде из белых цветов <...> он был похож на Человека-льва с белой гривой, или на гору Кайласу, с которой низвергается множество светлых ручьев, или на слона Айравату, усыпанного лотосами небесной Ганги, или на Молочный океан, весь в сверкающей пене» — (с. 168 наст. изд.), и Кадамбари (см. выше — с. 307), и Вайшампаяна (см. выше — с. 171), и Шудрака («Он надел белое платье, легкое, как высохшая змеиная кожа, обмотал голову шелковым тюрбаном, белоснежным, как прозрачное облако, и стал похож на вершину Гималаев, которую обтекает небесная Ганга» — с. 26), и Тарапида (в белом платье, овеваемый белыми опахалами, он восседает на троне, «как белый гусь на водах Ганги или как божествен-

ный слон Айравата на светлом и чистом прибрежном песке» — с. 141), и мудрец Джабали (из уст которого изливается сияние, «которое красило в белый цвет всю округу и делало его похожим на царя Джахну, извергающего воды Ганги» — с. 64—65), и служанки царицы Виласавати (которую «будто воды Молочного океана — богиню Лакшми, окружало несколько сотен служанок, одетых в белые одежды» — с. 142), и даже грозные стражи дворца Тарапиды («Уматившие свое тело белой мазью, в белых доспехах, с венками белых цветов и белыми тюрбанами на голове, они день и ночь, точно нарисованные или высеченные из камня, неподвижно стояли у колонн портала и своею белой одеждой походили на жителей Белого острова, а высоким ростом — на людей Золотого века» — с. 131).

Белый цвет — атрибут описаний не только главных и второстепенных персонажей, но и любых предметов и явлений. В белом блеске предстает в романе город Удджайини, столица Тарапиды и Чандрапиды: «Он обведен кольцом белоснежного крепостного вала, чьи башенки касаются неба, словно гребни горы Кайласы <...> На его перекрестках высятся красивые храмы, белые, будто гора Мандара во время пахтанья Молочного океана, а на них развеваются белые флаги, похожие на пики Гималаев <...> Подобно амрите, город пенится террасами из белой слоновой кости...» и т. д. (с. 75—77). «Только что выкрашена в белый цвет» спальня царицы Виласавати, вдоль ее стены тянется белый диван, отороченный жемчужной бахро-

мой, у изголовья ложа высятся два белых кувшина, по белому, как лунный свет, покрывалу рассыпаны семена белой горчицы, а самой царице прислуживают служанки, «одетые в чистые, белые платья» (с. 102—104). «Подобно лунному сиянию, заливает всю округу белым светом» храм Шивы; изваяние Шивы в этом храме усыпано «белыми лотосами, которые походили на расщепленные лунные диски, или же на осколки громогласного смеха Шивы, или на лоскутья капюшонов Шеши, или на единокровных братьев раковины Вишну, или на подобия сердец Молочного океана»; и когда Чандрапида приближается к храму, его тело от пылицы цветов кетаки «стало белым, как если бы он <...> посыпал себя по обету золой или, сам того не ведая, облачился в платье из беспорочных заслуг, чтобы быть допущенным в святую обитель» (с. 193—194).

Характерное для «Кадамбари» выделение белого цвета, его постоянное обыгрывание достигает кульминации в описании Махашветы, которая, соответственно значению своего имени («очень белая»), «ярким сиянием своего тела, белым, как волны Молочного океана <...> словно бы превращала всю местность с ее холмами и лесами в светлую гладь луны», которая «в окружающем ее белом сиянии была почти неразличима, будто находилась внутри хрустального дома, или погрузилась в молочную воду, или надела платье из тонкого китайского шелка, или растворилась в зеркальном стекле, или скрылась за пологом осенних туч», которая многократно уподобляется богине Молочного

океана, полной луне, белой шкуре слона Айраваты, белому смеху Шивы, осыпанному белой золой Рудре, чистоте ума Гаури, аскезе Брахмы, красоте белых цветов каши, легендарному белому острову, белому зареву над этим островом и т. п. Она выглядит так, «как если бы все гуси на свете наделили ее своей белизной, как если бы она восстала из сердцевины самой добродетели, или была создана из раковины, или изваяна из жемчуга, или как если бы ее тело было соткано из волокон лотоса или выдолблено из слоновой кости, или вычищено щеткой лунных лучей, или выкрашено белой краской, или вымыто пеной амриты, или покрыто блестящим слоем ртути, или умщено жидким серебром, или вырезано из лунного диска, или осыпано белыми цветами кутаджи, кунды и синдхувары; или как если бы она была средоточием белого цвета» (с. 194—196).

Соотнесение персонажей, явлений и предметов по признаку белизны с луною — важнейший стилистический топос «Кадамбари». Как правило, он реализуется прямыми сравнениями и отождествлениями, но иногда косвенно, с помощью приема «подмены», невольной ошибки. Так, Кадамбари дарит Чандрапиде жемчужное ожерелье Шешу, которое можно принять «за первопричину белизны Молочного океана, или за двойника месяца, или за стебель лотоса, растущего из пупа Нараяны, или за сгусток амриты, взбитой горой Мандарой при пахтанье океана, или за старую кожу Васуки, сброшенную им от усталости, или за улыбку Лакшми, забытую ею в

отчем доме¹, или за связанные нитью осколки месяца, раздробленного горой Мандарой, или за отражения звезд, поднявшихся из волн океана, или за собранные воедино брызги воды из хоботов слонов — хранителей мира, или за звездную диадему на голове Маданы, принявшего образ слона» (с. 299 наст. изд.). Но, еще не зная об ожерелье, Чандрапида по белому блеску, от него исходящему, вообразил, что среди дня возшла луна: «Внезапно Чандрапиде показалось, что день, будто в воде, потонул в ослепительном белом сиянии, что блеск солнца будто выпит стеблями лотосов, что земля будто плавает в Молочном океане, что стороны света будто обрызганы сандаловым соком, что небо будто смазано белой мазью. И он подумал: „Неужели так быстро возшел благой месяц, повелитель холодных лучей, владыка трав?“» (с. 298). «Ошибка» Чандрапиды намеренно заключает в себе имплицитное сравнение Шеши с той же луною.

Наряду с эпитетом «белый» к самого разного рода объектам в «Кадамбари» постоянно прилагаются эпитеты «сияющий», «холодный», «лучистый» и т. п., которые в мифологических текстах также являются постоянными атрибутами месяца, и изобразительный слой романа с помо-

¹ То есть в океане, где жила Лакшми до его пахтанья богами и асурами. Все сравнения этого отрывка (с месяцем, амритой, змеем Васуки, звездами, слонами—хранителями мира) связаны с мифом о пахтанье и тем самым как бы предполагают «приравливание» ожерелья Шеши к камню Каустубха, который в перечислении не случайно отсутствует.

щью и этих эпитетов органично сопрягается с его мифологическим фоном, накладывается на мифологический сюжет.

Использование Баной мифологического сюжета не вызывает удивления. Древнеиндийская мифология — основной источник и строительный материал санскритской литературы, в отношении которой подобная ситуация не в меньшей степени очевидна, чем в отношении литературы античной и других литератур древности. Мифологичны в своем подавляющем большинстве мотивы и сюжеты санскритской литературы, из мифологической традиции почерпнуты ее главные персонажи, к мифологическим архетипам восходят ее композиционные схемы, мифологические клише составляют основу ее стилистики. С полным правом о мифе можно говорить как об универсальном языке этой литературы. Однако при всей насыщенности мифологией произведения древнеиндийской литературы никак не являются собственно мифологическими текстами. Не были таковыми уже ведийские памятники, тем более эпос («Махабхарата» и «Рамаяна») и конечно же авторские сочинения (поэма, драма, лирика, проза) классической эпохи. Миф становится средством достижения иных целей: мировоззренческих, дидактических, литературных. И поэтому в изучении связей санскритской литературы с мифологией важнейшая проблема — это проблема использования мифа, разнопланового и разнохарактерного в различных памятниках.

Роман Баны интересен с этой точки зрения в двух отношениях. Во-первых, Бана не заимствует, не берет в готовом виде, а конструирует свой лунный миф. В случае с «Кадамбари» (как это вообще характерно для произведений традиционалистской литературы) мы вправе говорить не о мифотворчестве, создании новых мифов, но лишь о более или менее свободном варьировании сложившейся традиции. Не порывая с мифологическими корнями санскритской литературы, Бана трансформирует лунный миф, по-своему komponует его традиционные элементы, приспособляя к романической теме, не извлекает тему из мифа, а как бы посредством мифа ее освящает и углубляет.

Во-вторых, трансформация мифа в «Кадамбари» связана с тем, что ему придана в романе особая функция. В памятниках традиционалистской литературы мифологическая основа произведения всегда сочетается с иного рода смысловыми наслоениями, приобретает ритуальные, философские, назидательные, развлекательные и другие функции, и преобладание той или иной функции определяет в конечном счете жанровую и временную стратификацию текстов. В классической санскритской литературе, точнее в литературе кавья, в согласии с нормами санскритской поэтики мифологические модели, мотивы и образы используются под знаком доминирующей в ней эстетической функции. Бана, как мы видели, делает миф инструментом особого рода эстетической «игры», актуализирует его не столько на содержательном, сколько

на изобразительном, стилистическом уровне, скрепляет с его помощью композиционную структуру романа. Из всех возможных интерпретаций мифа, которые свойственны традиционалистской словесности, Бана избирает интерпретацию эстетическую и в этом плане перерабатывает заимствованный из «Великого сказа» сюжет.

*

Переработка Баной рассказа о Суманасе не сводилась, однако, только к замене центрального мифа о видьядхарах собственным вариантом лунного мифа. И «Катхасаритсагара», и «Брихаткатхаманджари», и, вероятно, сама «Брихаткатха», где был этот рассказ, представляли собой собрания сказаний, легенд, преданий, почерпнутых из различных жанров повествовательного фольклора и сохраняющих, несмотря на художественное, авторское переложение (в частности, и переложение в стихотворную форму), полуфольклорный характер. Бана же создает произведение высокой прозы — роман-кавью и переводит заимствованный сюжет из чисто нарративного регистра в регистр «украшенного стиля», который характерен для большинства произведений классической санскритской литературы. Сравнивая рассказ о Суманасе в «Катхасаритсагаре» и «Брихаткатхаманджаре» с рассказом «Кадамбари», исследователи отмечают, что первый «гораздо проще», чем второй, а второй «значительно

более изящен»¹. Как же практически, текстуально выражено это различие?

«Кадамбари» — произведение большого объема: с продолжением Бхушаны оно заняло бы в русском переводе около 20 печатных листов. Между тем рассказ о Суманасе изложен в «Катхасаритсагаре» в 157 шлоках-двустихиях [КСС X. 3. 22—178], а в «Брихаткатхаманджари» всего лишь в 66 шлоках [БKM XVI. 183—248]². При том, что в сравнении с версиями «Великого сказа», как мы говорили, никаких сколько-нибудь существенных изменений в течении сюжета и конкретном содержании эпизодов «Кадамбари» не предлагает, столь серьезное расширение объема (соответственно в сорок и сто раз) достигается в первую очередь за счет множества орнаментальных отступлений и добавлений.

В «Кадамбари» немногим больше персонажей, чем в «Катхасаритсагаре» или «Брихаткатхаманджари». Но если в изводах «Великого сказа» при появлении того или иного персонажа просто упоминается его имя и в лучшем случае оно сопровождается одним-двумя эпитетами или весьма краткой характеристикой, то в «Кадамбари» буквально каждый герой, и главный и третьестепенный, как правило, подробно описывается. Возьмем, например, эпизод встречи

¹ *Dasgupta, De. Op. cit.* P. 230—231.

² Далее при ссылках на «Катхасаритсагару» опущены указания на главу и книгу (X. 3), а при ссылках на «Брихаткатхаманджари» — на книгу (XVI).

царя Шудраки (в КСС и БКМ — царя Суманаса) с девушкой-чандалой (в КСС и БКМ — девушкой-горянкой: śabara-kanyā или bhilla-kanyā).

В «Катхасаритсагаре» ему уделены четыре шлоки: «Однажды, когда он (Суманас.— П. Г.) прошествовал в Приемный зал, привратник ему доложил: „Божественный, дочь царя нишадов по имени Мукталата в сопровождении брата по имени Вирапрабха, держа в руках клетку с попугаем, стоит у ворот и желает видеть государя“. Царь сказал: „Пусть войдет“, и с разрешения привратника девушка-горянка появилась в дверях Приемного зала. „Поистине, она некое божество, а не смертная женщина“, — подумали все придворные, увидев, как удивительно она красива. А она, поклонившись царю, сказала...» [КСС 24—28].

В «Брихаткатхаманджари» то же изложено в двух шлоках: «Однажды, когда он (Суманас.— П. Г.) находился в Приемном зале, привратник доложил ему о прекрасной девушке-горянке по имени Мукталата. Войдя в зал с попугаем, сидящим в клетке цвета изумруда, она поклонилась царю и сказала...» [БКМ 184—185].

А в «Кадамбари» рассказ о приходе девушки-чандалы к Шудраке занимает уже много страниц текста (с. 12—22 наст. изд.), и расширен он в основном за счет подробного описания каждого из действующих в эпизоде лиц: привратницы, докладывающей царю (с. 13), царя Шудраки (с. 14—16; второе описание

этого царя в романе), старца и мальчика, сопровождающих девушку (с. 17), наконец, самой девушки-чандалы (с. 17—19).

В качестве иллюстрации приведем описание девушки-чандалы, о которой, как мы помним, в «Брихаткатхаманджари» сказано лишь, что она «прекрасна», а в «Катхасаритсагаре» — что походит на «некое божество, а не на смертную женщину» и «удивительно красива»:

«Сама девушка, юная и прекрасная, была столь смуглой, что походила на Владыку Хари, когда он нарядился красавицей, чтобы обольстить асуров и выкрасть похищенную ими амриту, или же на ожившую куклу, сделанную из сапфиров. Одета в темное платье, ниспадающее до самых лодыжек, с красным платком на голове, она походила на лужайку синих лотосов, освещенную вечерним солнцем. На ее круглые щеки падали светлые блики от серег, вдетых в уши, и она походила на ночь, озаренную лучами восходящей луны. На ее лоб желтой пастой была нанесена тилака, и она походила на Парвати, принявшую облик горянки в подражание Шиве. Она была похожа на Шри, прильнувшую к груди Нараяны и осененную темным сиянием его тела; или на Рати, почерневшую от пепла Маданы, сожженного разгневанным Шивой; или на темный поток Ямуны, убегаящей в страхе от опьяневшего Баларама, который грозил вычерпать ее плугом; или на Дургу, чьи ноги-лотосы запятнаны, будто узорами красного лака, кровью только что убитого асуры Махиши. Ногти на ее ногах пламенели от розового блеска ее пальцев,

и казалось, она ступает по распустившимся цветам лотосов, не желая касаться жесткого пола, выложенного драгоценными камнями. Тело ее озарял поток красных лучей, льющийся вверх от браслетов на ее лодыжках, и казалось, ее обнимает владыка Агни, который прельстился ее красотой и пренебрег волей Творца, предназначившего ей низкое рождение. Бедра ее были опоясаны кушаком, который казался канавкой с водой, орошающей лиану волос на ее животе, или жемчужной диадемой на голове слона, служащего богу любви. На ее шее, темной, как Ямуна, покоилось ожерелье из блестящих, как воды Ганги, жемчужин. Ее широко раскрытые глаза-лотосы делали ее похожей на осень <с лотосами вместо глаз>¹, густые, как туча, волосы — на дождливый сезон <с тучами вместо волос>, листья сандала в ушах — на склон горы Малая <поросший сандаловыми деревьями>, драгоценная подвеска из двадцати семи жемчужин — на ночное небо <с двадцатью семью созвездиями>, руки-лотосы — на богиню Лакшми <с лотосом в руке>. Будто она морочила головы, лишая людей разума; будто сказочная чаша, навевала чары; будто рожденная среди богов, не нуждалась в богатой родословной; будто греза, могла пригрезиться только во сне; будто куренье из сандала, очищала род чанда-лов; будто прекрасное видение, казалась неприкасаемой; будто дальняя даль, была доступна только для взгляда. Будто трава, которой не

¹ Здесь и далее игра слов — шлеша.

касалась коса, она не ведала пороков своей касты; будто трость, имела стан обхватом в два пальца; будто Алака, столица Куберы, она ласкала взор своими кудрями» (с. 17—19).

Но и на этом описание не кончается, и его завершает размышление царя Шудраки о несовместимости совершенства красоты девушки с ее принадлежностью к касте неприкасаемых (чандалов):

«Глядя на нее, царь, преисполненный изумления, подумал: „Ах, поистине, Творец способен созидать прекрасное даже там, где делать этого не подобает! Но если он уж сотворил красоту, равной которой нет в мире, то почему дал ей в удел такое рождение, при котором нельзя ни коснуться ее, ни насладиться ею? Мне кажется, что, создавая эту девушку, Праджапати не дотрагивался до нее, опасаясь нарушить закон ее касты. Иначе откуда бы это совершенство? Не может быть такой прелести у тела, оскверненного касанием рук! Поистине, это позор для Творца, что он вопреки разумению соединил столь великую красоту со столь низким родом. Эта девушка кажется мне богиней славы асуров, прекрасной, но отпугивающей из-за своей вражды с богами“» (с. 19).

Среди многочисленных описаний персонажей в «Кадамбари» описание девушки-чандалы сравнительно коротко, но оно наглядно воспроизводит и общие принципы подобных описаний, и их соотношение с соответствующими эпизодами в версиях «Брихаткатхи». Хотя в «Кадамбари» приведенное описание во много

раз превосходит по объему и усложняет то, что сказано о девушке-горянке в «Катхасаритсагаре» и «Брихаткатхаманджари», в конечном счете оно опирается на то же смысловое ядро и, видимо, из него исходит. «Некое божество, а не смертная женщина», «удивительно красивая», «прекрасная» — говорится о Мукталате в изводах «Великого сказа», и соответственно у Баны все описание незнакомки, внезапно явившейся ко двору Шудраки, строится на ее последовательном сопоставлении с разного рода богами (Хари, Парвати, Шри, Рати, Ямуной, Дургой и др.) и утверждении ее неземной, необычайной красоты и совершенства, несмотря на низкое рождение в касте неприкасаемых (впоследствии девушка-чандала оказывается земным воплощением богини Лакшми).

Приблизительно такое же соотношение между краткими, часто сведенными к одному лишь называнию имени упоминаниями персонажей в «Катхасаритсагаре» и «Брихаткатхаманджари» и их же подробными описаниями в «Кадамбари»: царя Суманаса [КСС 22—23; БКМ 183] и Шудраки (с. 8—10 наст. изд.), аскета Маричи [КСС 53; БКМ 193] и Хариты (с. 55—57), мудреца Пуластыи [КСС 53; БКМ 194] и Джабали (с. 63—70), царя Джьотишпрабхи [КСС 59; БКМ 196] и Тарапиды (с. 81—85), царевен Маноратхапрабхи [КСС 81; БКМ 203] и Махашветы (с. 194—200), Макарандики [КСС 81; БКМ 232] и Кадамбари (с. 276—282), юноши-отшельника Рашмимата [КСС 90; БКМ 206] и Пундарики (с. 210—212) и т. д. К тому же в «Кадам-

бари» имеются достаточно пространные описания героев, которым в версиях «Великого сказа» вообще не уделено внимания: мудреца Агастья, вблизи обители которого родился рассказчик-попугай (с. 32—33), предводителя войска горцев, опустошившего лес Виндхья с его обитателями (с. 46—49), посланца Кадамбари юноши-гандхарва Кеюраки (с. 266—277), дравидаскета, повстречавшегося Чандрапиде при его возвращении в Удджайини (с. 337—341) и др.

Наряду с описаниями героев широко представлены в «Кадамбари» детализированные описания природы, времени суток, городов, обитателей и т. п., и опять-таки показательно их сопоставление с текстом версий «Великого сказа». Рассказ попугая в «Брихаткатхаманджаре» начинается с упоминания леса и дерева, где он родился: «Есть лес, зовущийся Хемавати, огромный, как сансара. В нем на дереве рохитаке, где жили тысячи попугаев, я родился» [БКМ 188—189]. Параллельное место в «Катхасаритсагаре» примечательно тем, что включает в себе попытку (одну из немногих на протяжении всего рассказа) дать с помощью фигуры шлеша хотя бы подобие свернутого описания: «Поблизости от Гималаев, о царь, есть одинокое дерево рохини, которое полно было птиц, гнездящихся на многих распростертых до неба ветвях, подобное ведам <с брахманами, примыкающими к разным ветвям священной традиции>. В гнезде на этом дереве жил со своей супругой один попугай. И в силу злосчастной судьбы у них родился я» [КСС 37—38]. Однако и

эта редкая попытка украсить аланкарой сухое повествование мало чем напоминает соответствующий эпизод «Кадамбари», составленный из целой серии обширных описаний.

Рассказ попугая в «Кадамбари» начинается со слов: «Есть лес, зовущийся Виндхья, который простирается от берегов Восточного до Западного океана и украшает середину земли, будто драгоценный пояс», и далее следует описание этого леса, занимающее несколько страниц (с. 29—32 перевода). Затем, сменяя друг друга, идут описания расположенной в лесу Виндхья обители Агастья и самого Агастья (с. 32—33), некогда бывшей здесь же обители Рамы Панчавати (с. 33—35), озера Пампы (с. 35—37) и, наконец, дерева шалмали, где живут попугаи, с той же, что и в «Катхасаритсагаре», идеей его величия, но разработанной куда более подробно:

«На западном берегу Пампы, невдалеке от семи пальм, разбитых некогда в щепы стрелой Рамы, стоит большое и старое дерево шалмали. Его подножие обвивает громадный питон, похожий на хобот слона — хранителя мира, и кажется, что оно опоясано глубоким рвом с водою. С его могучего ствола свисают клочья высохшей змеиной кожи, и кажется, что оно прикрыто плащом, который колеблет ветер. Бесчисленным множеством своих ветвей, которые тянутся во все стороны света, оно словно бы старается измерить пространство, и кажется, что оно подражает увенчанному месяцем Шиве, когда тот в день гибели мира танцует танец тандаву и простирает во все стороны тысячу своих

рук. Это дерево упирается вершиной в небо, словно бы страхась упасть из-за своей дряхлости, увито тянущимися вверх по стволу лианами, будто венами, усеяно шипами и наростами, будто старческими родинками. Его верхушки не видно из-за полога туч, которые, будто птицы, мостятся на его ветвях и орошают их влагой океана, чье бремя они не вынесли и потому на время спустились с неба. Оно вздымается высоко вверх, будто хочет полюбоваться красотой небесного сада Нанданы. Его крона бела от волокон хлопчатника, которые кажутся клочьями пены, слетевшими с губ лошадей колесницы солнца, когда они, запыхавшись в стремительном беге, пронесли мимо его вершины. Его ствол способен устоять чуть ли не до конца мира, опоясанный, словно железной цепью, гирляндой черных пчел, которые жадно сосут мускус, оставленный лесными слонами, тершимися висками о его кору. Оно кажется живым из-за множества пчел, поселившихся в его дуплах. Подобно Дурьодхане, привечавшему Шакуни, оно привлекает к себе шакалов; подобно Вишну в цветочной гирлянде, оно увито цветами; подобно огромной туче, оно громоздится до неба¹. Оно высится над округой, словно крыша дворца, с которой лесные божества обозревают землю, словно владыка леса Дандака, словно верховный государь всех деревьев, словно соперник гор Виндхья. И оно как бы обнимает своими руками-ветвями весь виндхийский лес» (с. 37—38).

¹ В оригинале игра слов — шлеша.

Только после этого говорится в «Кадамбари» о живущих на дереве шалмали попугаях (еще одно описание) и рождении у одного из них птенца, который и рассказывает теперь о своих приключениях.

Сходным образом простое упоминание в версиях «Великого сказа» обители Пуластьи [БКМ 194; КСС 54] разрастается в «Кадамбари» в пространное изображение обители Джабали (с. 59—63), безымянного озера и горы Кайласы («отдыхая недолго у озера, он узрел очертания горы Кайласы, жилища трехглазого Шивы» — БКМ 202; «он увидел большое озеро» — КСС 79) — в многостраничное описание горы Кайласы и озера Аччходы (с. 183—188); гарема Макарандики («придя в гарем» — БКМ 232; в КСС и такого упоминания нет) — в обстоятельный рассказ о гареме Кадамбари и его обительницах (с. 271—276). Многочисленны и играют заметную роль в композиции романа Баны описания предметов и явлений, о которых в «Брихаткатхаманджари» и «Катхасаритсагаре» вообще не заходит речь. Среди них самое длинное в «Кадамбари» описание дворцового парка Тарапиды (с. 131—140), описания храмов Шивы (с. 193—194) и Чандики (с. 334—337), Зимнего дома царевны гандхарвов (с. 319—323), месяца Мадху (с. 208—209) и многие другие.

Показательно, что в «Катхасаритсагаре» и «Брихаткатхаманджари» практически отсутствуют указания времени суток, представленные, как мы знаем, в «Кадамбари» подробными описаниями утра и особенно вечера. Однако и

тогда, когда они все-таки в них появляются (и возможно, были в оригинале «Брихаткатхи»), очевидно их коренное отличие от изобразительной техники Баны.

Так, в «Катхасаритсагаре» сразу же по окончании рассказа Маноратхапрабхи о гибели Рашмимата говорится: «Затем пришла ночь, а когда они (Маноратхапрабха и Сомапрабха.— П. Г.) утром встали, то увидели, что с неба спустился к ним видьядхара» [КСС 122]. О ночи упомянуто вскользь, тогда как Бана не упускает возможности предложить здесь очередное описание восхода месяца:

«Тем временем взошел месяц, владыка звезд, драгоценный камень в волосах Шивы, который пятном на своем диске словно бы подражал сожженному пламенем горя сердцу Махашветы, или принял на себя мету великого греха смерти молодого подвижника, или сохранил след ожога проклятия Дакши, навеки его зачернившего, и который был похож на левую грудь Амбики, белую от густого слоя золы и наполовину прикрытую шкурой черной антилопы. И когда в великом океане неба мало-помалу всплыл этот песчаный остров, этот кувшин с благовонным нектаром, этот провозвестник сна для обитателей семи миров, этот друг ночных лотосов, размыкающий их бутоны, этот усмиритель женской гордыни; когда, пылая белым блеском, крася в белый цвет десять сторон света, поднялся серп месяца, сам белый, как раковина, и похожий на белый зонтик; когда, побежденное ливнем лунных лучей, поблекло сияние звезд; когда из набух-

ших влагой лунных камней заструились по всей Кайласе ручьи воды; когда на водах озера Аччходы увяли дневные лотосы, как если бы лучи луны, напав на них, похитили их красоту; когда пары уток чакравак замерли в неподвижности и, качаясь на высоких волнах, жалобно зарыдали в разлуке друг с другом; когда прекрасные девы-видьядхары, вышедшие на свидание с возлюбленными и блуждавшие по небу со слезами радости на глазах, с окончанием восхода луны разбрелись кто куда,— тогда Чандрапида, заметив, что Махашвета уснула, сам медленно улегся на ложе из листьев» (с. 265—266). И только после этой зарисовки, а затем короткого упоминания о наступившем рассвете сообщается о прибытии к Махашвете с посланием юноши-гандхарвы Кеюраки.

Подобным же образом, если в «Катхасаритсагаре» мимоходом говорится, что Рашмимат «умер на восходе луны» [КСС 109], то в «Кадамбари» этот восход луны в вечер смерти Пундарики со все новыми и новыми подробностями описан, как мы имели случай убедиться, по крайней мере трижды (с. 227, 240—241, 243—244).

Среди разного рода описаний в «Кадамбари» много места занимают описания событий: празднеств, походов войска, встреч, прибытия и отбытия героев, их поступков и поведения. Понятно, что ни в «Брихаткатхаманджари», ни в «Катхасаритсагаре» подобных отступлений от прямолинейно развивающегося сюжета нет и о всех его перипетиях сообщается скупое и просто. Лишь в одном случае имеется в «Катхасаритса-

гаре» небольшое украшенное аланкарами изображение охоты, точнее — леса, потрясенного ужасом охоты:

«Однажды в лес, оглашая его трубными звуками коровьих рожков, пришло на охоту грозное войско горцев. С глазами — испуганными ланями, в платье — клубях поднятой пыли, с распущенными волосами — развевающимися хвостами бегущих буйволов, этот большой лес пришел как бы в смятение, когда воины-горцы бросились убивать в нем все живое» [КСС 41—43].

Но и эта выделяющаяся своей фигуративностью (здесь использована аланкара утпрекша — олицетворение в сочетании с тремя метафорами — рупаками) случайная зарисовка события в «Катхасаритсагаре» не идет ни в какое сравнение с соответствующим эпизодом «Кадамбари».

Начинается он с описания утра в лесу (с. 40—42), затем леса, разбуженного гулом приближающейся охоты: «...вдруг по всему огромному лесу громогласно прокатился шум охоты, могучий, как рокот Ганги, низведенной на землю Бхагиратхой. И, сливаясь с плеском крыльев поспешно разлетающихся птиц, с ревом испуганных молодых слонов, с жужжанием пчел, покидающих дрожащие лианы, с сопением диких кабанов, ринувшихся бежать с задранными кверху рылами, с рыком львов, пробудившихся от сна в горных ущельях, он нагнал страх на всех лесных тварей, заставил затрепетать деревья, наполнил ужасом слух лесных божеств» (с. 42). В гул охоты вплетаются также

возгласы охотников, дословно приведенные в длинном перечислении (с. 43—44), и только потом, как и в «Катхасаритсагаре», но гораздо обстоятельнее и красочнее, описывается лесное смятение:

«Спустя немного времени весь лес на всем его протяжении был как бы приведен в смятение грозным, как грохот натертых воском барабанов, рыком пронзенных стрелами львов, которому отвечали протяжным эхом горные ущелья; трубным, похожим на раскаты грома, ревом покинувших перепуганное стадо и блуждающих в одиночку слоновьих вожakov, которому вторили глухие удары их хоботов; жалобным стоном ланей, чью шкуру яростно рвали собаки и чьи зрачки боязливо метались из стороны в сторону; воплями слоних, которые, оплакивая разлуку с убитыми супругами, кружили по лесу со своими слонятами, хлопали длинными ушами и поминутно останавливались, прислушиваясь к нараставшему шуму; громким сопением самок носорогов, потерявших в суматохе своих недавно родившихся детенышей и теперь тщетно призывающих их в бесплодных поисках; криками птиц, взлетевших с верхушек деревьев и беспорядочно порхающих в воздухе; гулким бегом охотников, которые, преследуя зверей, своей дружной поступью словно бы заставляли землю дрожать от страха; пением стрел, которые срывались с туги натянутых луков со звуком, сладостным, как выкрики цапель, рвущиеся из их горла во время любовных утех; лязгом мечей, которые, со свистом рассекая воздух,

обрушивались на могучие хребты буйволов; яростным лаем собак, спущенных с привязи» (с. 44—45). Описание гула охоты и смятения леса дополняется в «Кадамбари» изображением войска горцев (с. 45), его предводителя (с. 46—49), а в заключение — размышлениями рассказчика-попугая о горькой участи горцев и жестокости их образа жизни.

Уже по приведенным примерам проясняется основной метод переработки в «Кадамбари» оригинального сюжета о царе Суманасе. С помощью разного рода отступлений каждый эпизод членится на потенциально заложенные в нем компоненты, и каждый компонент становится объектом особого и, как правило, подробного рассмотрения. Приведем еще несколько примеров, которые делают метод переработки вполне очевидным.

О рождении сына у царя Джьотишпрабхи в «Катхасаритсагаре» рассказано всего в двух шлоках: «У него (Джьотишпрабхи.— П. Г.) от царицы Харишавати благодаря дару Шивы, удовлетворенного ее суровым подвижничеством, родился сын. И, поскольку эта царица увидела во сне Сому, проникшего ей в уста, царь дал своему сыну имя Сомапрабха» [КСС 60—61]. В «Брихат-катхаманджари» говорится еще короче: «У него, предвещанный во сне, родился сын Сомапрабха, частица луны, океан красоты, поток радости для людских взоров» [БКМ 197]. А в «Кадамбари» соответствующий эпизод рождения Чандрапиды занимает много страниц текста и расщеплен на длинный ряд сменяющих друг друга сцен: описа-

ние царицы Виласавати (с. 91), приход к царице ее супруга Тарапиды и его расспросы о причине ее скорби (с. 91—92), объяснение служанки Макарики, что причина — отсутствие сына (с. 93), монолог Тарапиды, в котором он утешает царицу и дает ей благие советы (с. 94—96), подвижничество Виласавати, предпринятое ею ради рождения сына (с. 96—98), вещие сны Тарапиды и его министра Шуканасы (с. 98—99), сообщение служанки Кулавардханы о беременности Виласавати (с. 100—101), описание радости царя и его министра (с. 101—102), посещение царем и Шуканасой Виласавати и описание ее спальни (с. 102—105), рождение сына (с. 105—106), празднество во дворце (с. 106), описание родильных покоев при посещении Виласавати Тарапидой (с. 106—108), описание новорожденного (с. 108—110), рождение сына у Шуканасы (с. 111), праздничное шествие к дворцу Шуканасы (с. 111—112), наречение царевича — Чандрапидой, а сына Шуканасы — Вайшампаяной (с. 112—113).

О помазании Чандрапиды в наследники престола в «Катхасаритсагаре» говорится в одной шлоке [КСС 63], в «Брихаткатхаманджари» — в одном полустииши [БКМ 198]. В «Кадамбари» же между решением царя о помазании (с. 155) и описанием самого помазания (с. 167—168) вставлено обширное поучение царевичу министра Шуканасы с объяснением особенностей царского долга и предостережениями об опасностях и соблазнах царской власти (с. 156—167).

Эпизоду похода Сомапрабхи на завоевание

мира в «Катхасаритсагаре» уделены три [КСС 72—74], а в «Брихаткатхаманджари» — две [БKM 198—199] шлоки, в которых сообщается только, что он выступил в поход «в благоприятный день» и «с огромным войском», «победил великих царей всего мира и отнял у них их сокровища». В «Кадамбари» о результатах похода сказано тоже немного (с. 179—180), хотя, конечно, и гораздо больше, чем в версиях «Великого сказа». Зато на десяток страниц текста развернут подробный рассказ о начале похода: описания грохота боевого барабана (с. 168—169), выезда Чандрапиды к войску (с. 170—171), начала движения войска (с. 171—174), поднятой им пыли (с. 174—177), обращения Вайшампаяны к Чандрапиде (с. 177—179), первого военного лагеря (с. 179).

В версиях «Великого сказа» Маноратхапрабха рассказывает о своей встрече с Рашмиматом в нескольких словах: гуляя по берегу озера, она повстречала молодого аскета, пленилась его красотой и, подойдя к нему ближе, спросила, кто он [КСС, 90—92; БKM 206—208]. Соответствующий эпизод встречи Махашветы с Пундарикой расцвечен в «Кадамбари» серией описаний месяца Мадху (с. 208—209), гуляния по берегу озера Аччходы (с. 209), цветочного аромата, привлечшего внимание Махашветы к Пундарике (с. 210), внешности Пундарики (с. 210—212), влюбленности Махашветы (с. 213—215), влюбленности Пундарики (с. 216), размышлений Махашветы, перед тем как она решается приступить к расспросам (с. 217).

Итак, развертывание эпизода, как правило, происходит в «Кадамбари» за счет введения орнаментальных описаний. Но не обязательно описаний. Любой поступок или решение героев распадается в романе на цепочку действий и противодействий, колебаний и рассуждений, уточняющих и дополняющих сюжетных ходов. В «Катхасаритсагаре», например, Маноратхапрабха в заключение своего рассказа говорит, что после гибели Рашмимата и обещания некоего божества, что влюбленные встретятся вновь, она «отказалась от мысли о смерти и осталась здесь (на берегу озера.— П. Г.), сохраняя надежду и посвятив себя служению Шиве» [КСС 114]. Столь же кратко сказано о решении Маноратхапрабхи стать подвижницей в «Брихаткатхаманджари» [БКМ 219]. Иначе обстоит дело в «Кадамбари».

Прежде чем принять решение, Махашвета, которая раньше хотела покончить с собой, спрашивает совета у своей подруги Таралики. Та уверяет ее, что «божества не лгут даже во сне, тем более наяву» (с. 255), и умоляет оставить мысль о самоубийстве. Махашвета колеблется («А я — то ли от жажды жить, которую нелегко преодолеть любому смертному, то ли по слабости женской натуры, то ли ослепленная пустой мечтой, порожденной словами божественного мужа, то ли уповая на возвращение Капинджалы — не решилась сразу же распрощаться с жизнью. Чего только не делает с нами надежда!» — с. 256) и проводит бессонную ночь в жестоких страданиях (с. 256). Лишь на рассвете

она делает окончательный выбор: «В память о Пундарике я взяла себе его кувшин для воды, одежду из льна и четки и — убедившись в тщете мирской жизни, уразумев скудость моих достоинств, видя жестокость гнетущих человека несчастий, от которых нет лекарства, постигнув неотвратимость горестей, познав суровость судьбы, уяснив губительность любых привязанностей, утвердившись в мысли о непостоянстве всех вещей, понимая случайность и призрачность всякой удачи — я поступилась любовью отца и матери, покинула родичей и слуг, отвратила ум от земных радостей и приняла обет подвижничества. Я всецело предалась Шиве и только в нем, оплоте трех миров, защитнике беззащитных, стала искать прибежище» (с. 256—257).

Но и на этом рассказ Махашветы о своем решении не кончается. К ней приходят отец и мать и умоляют вернуться домой. Отец проводит с царевной несколько дней и, лишь отчаявшись переубедить ее, удаляется. «И с момента его ухода,— заключает рассказ Махашвета,— я живу в этой обители вместе с Тараликой в глубокой скорби, ручьями слез изливаю свою преданность Пундарике, изнуряю в аскетическом рвении свое несчастное, исхудавшее от любви, потерявшее стыд тело — вместилище греха и тысяч мук и страданий, перечисляю в часы молитвы добродетели моего возлюбленного, питаюсь плодами, кореньями и водой, три раза в день совершаю омовение в озере и каждодневно почитаю жертвами владыку Шиву» (с. 257).

Прибегая при обработке заимствованного сюжета к детализации и членению повествования, отступлениям и описаниям, изобилующим поэтическими фигурами, Бана недвусмысленно ориентировался на нормы «высокой поэзии» — кавьи, для которой неторопливость изложения, орнаментальность, украшенность были основополагающими принципами. Но непременным условием кавьи, с точки зрения и поэтической теории, и литературной практики на санскрите, была также ее способность многообразно отражать человеческие чувства (бхавы) и воплощать эстетическую эмоцию — расу¹. И во вступительных стихах к «Кадамбари», утверждая, что его повесть (катха) радуется новыми описаниями, содержащими разного рода украшения-аланкары, Бана в то же время видит ее важнейшее достоинство в том, что она возбуждает расу: «Как молодая жена, полная страсти, подойдя к постели любимого, пленяет его сердце красотой и живостью речи, так эта катха <пленяющая красотой и живостью речи, возбуждает в сердце человека восхищение> — своею расой»² (строфа восьмая).

Согласно воззрениям санскритской поэтики, раса возбуждается совокупностью представленных в произведении возбудителей и симптомов чувств (вибхавами и анубхавами), а также изоб-

¹ Подробно о категории расы см.: Гринцер. Основные категории. С. 141—202.

² Строфа построена на игре слов — шлеше, и перевод здесь дан в максимальном приближении.

ражением сопутствующих преходящих настроений (въябхичарибхава), но никак не простым названием эмоции. «Ибо в поэтическом произведении,— пишет в трактате «Дхваньялока» Анандавардхана,— где лишь названы по имени эротическая или другая раса, но возбудители и прочее не представлены, ни малейшего восприятия расы не будет» [ДЛ, с. 84].

Если с этой точки зрения взглянуть на текст «Брихаткатхаманджари» и «Катхасаритсагары», то нетрудно убедиться, что всякий раз, когда заходит речь о чувствах героев, в обоих памятниках о каких-либо проявлениях и признаках чувства или вообще не говорится, или говорится вскользь, простым названием. Так, Кшемendra в «Брихаткатхаманджари», касаясь центрального события своего рассказа — зарождения любви Сомапратхи и Макарандики, ограничивается немногословной констатацией: «Когда Макарандика увидела прекрасного Сомапратху, сердце ее, наполнившись потоком радости, сделалось подобным макаре (эмблеме бога любви.— П. Г.). Также и царевич, глядя на ту, чьи глаза продолговаты, как у луны, преисполнившись восхищения, стал жертвой любви. У них, юных, началось пиршество пота, трепета, подъятия волосков, свидетельствующее о вспыхнувшей взаимной страсти» [БКМ 233—235].

Еще более лаконично говорит об этом Сомадева: «И когда она (Маноратхапратха.— П. Г.) рассказала о нем (Сомапратхе.— П. Г.), сердце Макарандики сразу же было похищено этим Сомапратхой. И он, тоже приняв ее в свое

сердце, точно воплощенную Лакшми, подумал: „Кто тот счастливец, который станет ее супругом?“» [КСС 130—131]. Естественно, что такая сухая информация не могла, да и не была призвана возбудить у читателя эмоциональный отклик.

В отличие от версий «Великого сказа», в романе Баны тема влюбленности Чандрапиды и Кадамбари реализуется множеством общих и частных описаний, изображением примет и нюансов вспыхнувшего чувства, его спада и нарастаний.

Вслед за подробным описанием внешности Кадамбари, какой она впервые предстает взорам Чандрапиды (с. 276—282), Бана в форме внутреннего монолога отображает волнение Чандрапиды, мысленно восхищающегося ее красотой (с. 282). Затем внимание переключается на Кадамбари, и ее душевное состояние описывается серией из восьми аланкар выджокти — «предлог» (попытка скрыть под каким-нибудь предлогом истинные переживания), последовательно воспроизводящих так называемые саттва-бхавы — произвольные выражения чувства (такие, как появление пота или слез, учатившееся дыхание, сбивчивая речь и т. п.):

«Бог любви с цветочным луком увлажнил ее кожу потом, но она убеждала себя, что это от слабости, вызванной усилием быстро встать (навстречу Чандрапиде.— П. Г.). Дрожь ног мешала ей двигаться, но она предпочла считать помехой стайку гусей, привлеченных звоном ее браслетов. От порывистого дыхания затрепе-

тало ее платье, но разве не был тому причиной ветер, поднятый опахалами? <...> На ресницах ее от радости выступили слезы, но извинением послужила пыльца, осыпавшаяся с цветов, украшавших ее уши. Смущение не давало ей говорить, но она винила в этом рой пчел, который вился у ее губ, вдыхая благоухание ее лица-лотоса <...> У нее задрожала рука, но она сделала вид, что отстраняет ею привратницу, пришедшую к ней с докладом» (с. 283).

После небольшого отступления (представление Чандрапиды Махашветой — с. 284—285) Бана вновь описывает признаки влюбленности Кадамбари: «А когда он (Чандрапида.— П. Г.) кланялся, Кадамбари искоса бросила на него нежный взгляд, и на ресницах ее выступили слезы радости, как если бы зрачки из-за долгого пути в уголки глаз от усталости покрылись каплями пота. Ее уста озарились чистым, как нектар, лунным светом ее улыбки, как если бы в воздухе за клубилась светлая пыль от движения ее сердца, рванувшегося ему навстречу. Одна из ее бровей-лиан поднялась вверх, как если бы хотела сказать голове: „Приветствуй его, столь милого твоему сердцу, ответным поклоном“ <...> Казалось, что Чандрапида, будто бог любви, овладел ее телом, отразился в каждой его частице, сияющей красотой и прозрачной от выступившего от волнения пота: он заблестел в ногтях на ее ногах, словно бы приглашенный припасть к ним ее большим пальцем, который царапал пол под звон драгоценных браслетов; показался в ложбинке груди, словно бы притя-

нутый ее сердцем, которое нетерпеливо желало свидания с ним; предстал на округлости ее щек, словно бы выпитый ее взглядом; долгим, как гирлянда голубых лотосов» (с. 285—286).

И далее рассказ о первом свидании Чандрапиды и Кадамбари еще несколько раз прерывается описаниями их растущей привязанности друг к другу, причем описываются уже не только симптомы (анубхава) любви, но и так называемые преходящие чувства (вьябхичарибхава), так или иначе сопутствующие любви, согласно представлениям санскритской поэтики:

«Кадамбари в одно и то же время испытывала *ревность* (курсив мой.— П. Г.), оттого что Чандрапида появлялся в зеркальцах щек ее подруг, *боль разлуки*, оттого что лицо его исчезало с ее груди из-за поднявшихся на ней волосков, *гнев соперницы*, оттого что на его влажной от пота груди показались отображения статуй богинь в ее покоях, *скорбь отчаяния*, оттого что он вдруг закрывал глаза, *страдания слепца*, оттого что ей мешали его видеть застилавшие взор слезы радости» (с. 287)¹.

В «Брихаткатхаманджари» и «Катхасаритсегаре» вся история влюбленности Сомапратхы и Макарандики, по существу, исчерпана рамками их первого свидания. В «Кадамбари», напротив, Бана еще долго занят ее перипетиями. Расстав-

¹ Здесь использована аланкара хету (букв. «причина»): каждое преходящее чувство (ревность, гнев, скорбь и т. д.) представлено как необычное следствие обычной причины — той или иной традиционной детали описания влюбленных.

шись с Чандрапидой, Кадамбари долго упрекает себя за нескромное поведение (с. 292—294), а Чандрапиду мучают сомнения, любит его Кадамбари или нет (с. 295—296). Затем Кадамбари поднимается на верхнюю террасу дворца, а Чандрапида — на искусственную горку в дворцовом парке, и они издали любят друг друга (с. 297). Снова отступление: к Чандрапиде приходит служанка Кадамбари Мадалекха с подарками от своей госпожи (с. 298—303). И вновь Чандрапида поднимается на вершину горки и обменивается влюбленными взглядами с Кадамбари:

«То, опершись левой рукой-лианой о круглое бедро, опустив правую руку на шелковое платье и глядя на Чандрапиду немигающим взором, она (Кадамбари.— П. Г.) казалась словно бы нарисованной <...> То словно бы окликала его жужжанием пчел, когда отгоняла их, прилетевших на аромат ее дыхания, размахивая полой платья. То словно бы приглашала его в объятия, когда прикрывала руками грудь, поспешно натягивая соскользнувшую с плеч накидку <...> То словно бы поверяла ему сердечные желания, перебирая кончиками пальцев жемчужную нить на груди. То словно бы рассказывала ему о мучениях, доставленных цветочными стрелами бога любви, когда, запинаясь о цветы, разбросанные по крыше, вскидывала вверх руки. То словно бы предлагала ему себя связанной путами Манматхи, когда ноги ей, будто железной цепью, оплетал уроненный пояс <...> Так она долго стояла, пока не померк свет дня» (с. 304).

Эта сцена взаимного любования героев друг другом явно дублирует предыдущую. И метод умножения, дублирования одной и той же ситуации применяется и далее, в частности тогда, когда вслед за первым описываются еще два свидания Кадамбари и Чандрапиды. В заключение второго свидания (с. 307—308) Чандрапида признается Кадамбари в любви, а в заключение третьего (с. 311) то же делает Кадамбари. Однако и здесь не завершается описание оттенков влюбленности Чандрапиды и Кадамбари. Чандрапида возвращается в военный лагерь и уже на следующий день вновь спешит повидать свою возлюбленную. На сей раз он застаёт ее страдающей от разлуки — еще одна каноническая форма воспроизведения расы любви:

«Она совсем ослабела, как если бы каждая частица тела покинула ее и вместе с сердцем устремилась к ее возлюбленному <...> Из уголков ее глаз лился поток слез, словно бы она желала охладить уши, опаленные жужжанием пчел, роящихся в заложенных за уши цветах <...> С кувшинов ее груди от горестных вздохов соскользнуло платье, как если бы сияние ее тела попыталось вырваться прочь, уstraшенное пылающим внутри него жаром. Ладонями рук она прикрывала груди, на которые падала тень от реющих над ней опахал, как если бы на них выросли крылья, на которых ей хотелось бы улететь к любимому <...> Она словно бы принимала за месяц зеркало, лежащее у нее на груди, и заставляла его поклясться жизнью, что сегодня

он не взойдет. Она протягивала вперед руку, отгораживая себя от запахов, идущих из сада, словно слониха, вытягивающая хобот навстречу опьяневшему от страсти слону. Ей было тягостно приближение быстрого, как антилопа, южного ветра, подобно тому как женщине, собравшейся в путь, тягостно дурное предзнаменование — встреча с антилопой <...> Томимая богом с цветочным луком, она казалась пчелой, томящейся по цветам. Хотя и умощенная прохладным сандалом, она страдала от любовного жара. Хотя и далекая от старости, она была обесилена страстью. Хотя и, как лотос, нежная, она жаждала касания снега» (с. 324—325).

Как и обычно, событие сюжета, лишь бегло обозначенное в «Катхасаритсагаре» и «Брихат-катхаманджари», в «Кадамбари» посредством отступлений, детализации, повторов развернуто на много страниц текста. Однако в данном случае событие — любовь героев, и отступления, повторы, детализация используются не только в орнаментальных целях, но ради того, чтобы последовательным и полным изображением стимулов, симптомов и стадий чувства вызвать у читателя соответствующее переживание — расу. В версиях «Великого сказа» внушение расы явно не входит в авторскую задачу, но в «Кадамбари», созданной по законам кавьи, раса — непременный атрибут повествования. Согласно требованиям поэтики, главная раса «Кадамбари» — это шрингара-раса, раса любви (с той же полнотой, что и влюбленность Кадамбари и Чандрапиды, описана в романе любовь

Махашветы и Пундарики), но ее дополняют, с ней сочетаются по ходу повествования также расы мужества — вира (см. описание похода Чандрапиды на завоевание мира), скорби — каруна (смерть Пундарики), смеха — хасья (сцена со старым дравидом-аскетом), отвращения — бибхатса (описание горцев-охотников) и др.

Санскритская литература, подобно другим классическим литературам древности и средневековья, принадлежит к литературам традиционалистского типа¹. Это значит, что ей свойственна ориентация на древних авторов и признанные образцы, использование устойчивого, освященного традицией набора типов героев, тем, сюжетов. «На пути, проложенном древними поэтами,— писал знаменитый санскритский писатель и теоретик поэзии Раджашекхара (X в.),— трудно найти тему, которой бы они не коснулись. Поэтому следует только стараться таковую усовершенствовать» [КМ, с. 62]. Предпочтительным источником тем и сюжетов санскритской литературы был, наряду с древнеиндийским эпосом и пуранами, «Великий сказ» Гунадхьи. Именно из него взял Бана сюжет «Кадамбари». Но, как и все санскритские авторы, заимствованный сюжет он «старается усовершенствовать» и перерабатывает его не столько за счет каких-либо сдвигов в содержа-

¹ См.: Гринцер П. А. Литературы древности и средневековья в системе исторической поэтики // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М., 1986. С. 72—103.

нии и смысле, сколько посредством стилистической трансформации и эмоционального насыщения.

К сожалению, санскритская поэтика уделяла мало внимания сюжету и методам его обработки. Будучи в принципе поэтикой лингвистической, она имела по преимуществу дело не с произведением в целом, а с отдельным поэтическим высказыванием¹. Поэтому для выявления этих методов приходится обращаться непосредственно к литературным текстам, к поэтике практической. Сопоставление «Кадамбари» Баны с рассказом о Суманасе в «Брихаткатхаманджари» и «Катхасаритсагаре», которое мы предприняли, весьма показательно в этом отношении. Оно, на наш взгляд, свидетельствует, что основным способом трансформации заимствованного Баной сюжета было развертывание, расширение каждого его компонента. А это, в свою очередь, заставляет вспомнить о приеме амплификации, который широко использовался в литературе европейского средневековья и подробно обсуждался в латинских поэтиках XII—XIII веков: «Науке стихотворческой» Матвея Вандомского, «Новой поэтике» и «Наставлении в искусстве сочинения прозы и стихов» Гальфреда Винсальвского, «Парижской поэтике» Иоанна Гар-

¹ Так, например, излагая теорию заимствования традиционных тем в 11—13-й главах «Кавьямимансы», Раджашекхара никогда не выходит за пределы отдельной строфы (см.: Гринцер. Основные категории... С. 48—55).

ландского и «Лабиринте» Эберхарда Немецкого¹.

Амплификация в этих поэтиках рассматривалась как наилучшее средство разработки традиционной (заимствованной) темы, и она представлена в них в общей сложности восемью видами: интерпретацией — расширением текста с помощью синонимов, перифразой — заменой прямого названия косвенным определением, сравнением — дополнением по сходству, антитезой — дополнением через противопоставление, восклицанием — обращением к упоминаемому в тексте лицу или вещи, олицетворением — приданием неодушевленному существу способности говорить от первого лица, отступлением и описанием. Особое значение придавалось последним двум видам амплификации, которые и на самом деле доминировали в средневековой поэзии и прозе.

Согласно Гальфреду Винсальвскому отступление (*digressio*) предполагает либо добавление к высказыванию цепочки сравнений, либо перестановку сюжетных ходов, желательно с расширением одного из них. Так, если в оригинале сказано: «Влюбленные расстались весной», то при обработке рекомендуется сначала подробно описать время весны и только после этого сообщить о разлуке влюбленных [Наставление...

¹ См.: Гаспаров М. Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. М., 1986. С. 127—135.

II.2.20]¹. Вторая разновидность отступления (расширение сюжетного хода), по существу, совпадает с восьмым видом амплификации — описанием (*descriptio*), которому авторы латинских поэтик в согласии с поэтической практикой уделяли преимущественное внимание. Матвей Вандомский, в частности, посвящает технике описания треть своего трактата «Наука стихотворческая» (I.38—113). Он классифицирует описания как описания лиц и описания действий или вещей. Описание лиц предусматривает описания устойчивых типов персонажей (духовного лица, царя, добродетельной жены, красавицы и т. д.), каждое из которых строится по определенному плану и в определенной последовательности (так, описание красавицы должно начинаться с волос, затем лица, тела, наряда, ног и т. д.)² и включает одиннадцать атрибутов или признаков: имя, внешность, нрав, положение, занятия, чувства и т. д. Описание действия, в свою очередь, должно иметь девять признаков: общая характеристика действия, его мотивы, обстоятельства, ему предшествующие, сопутствующие и им вызванные, условия действия,

¹ *Faral E.* Les arts poétique du XII^e et du XIII^e siècle. J'enève; Paris, 1982. P. 274. Ср. приведенный нами пример: в «Катхасаритсагаре» сказано, что Рашмимат «умер на восходе луны» [КСС 109], а в «Кадамбари» в том же эпизоде сначала подробно описан восход луны и только потом рассказано о смерти Пундарики.

² О столь же устойчивой структуре описаний в «Кадамбари» (и в их числе описаний красавицы) мы будем говорить позже.

качество, время и место — и опять-таки сохранять устойчивый порядок и мотивацию компонентов.

Приемы амплификации, изложенные в латинских поэтиках, практически близки тем, которые использует Бана, перерабатывая оригинальный рассказ «Брихаткатхи». Первые шесть (от интерпретации до олицетворения) представлены в тексте «Кадамбари» различными поэтическими фигурами — аланкарами, которыми Бана «украшает» сухой, информативный стиль изложения своего источника; последние два (отступление и описание) были, как мы убедились, для Баны главным средством расширения и развития заимствованного сюжета¹. Однако есть и существенные различия.

В европейских поэтиках амплификация рассматривалась как средство модификации частной темы, или топоса, и тем самым проявления авторской индивидуальности в их разработке. «Первый способ <быть оригинальным>, — пишет Гальфред Винсальвский, касаясь проблем амплификации и зеркального ее отражения — аббревиации («сокращения»), — не медлить там, где медлили другие, но проходить мимо того, на чем они задерживались, и <наоборот> задерживаться там, мимо чего они прохо-

¹ Широкое применение амплификации может служить еще одним подтверждением типологического сходства принципиальных поэтологических установок средневековых традиционалистских литератур Востока и Запада (см.: *Гринцер. Литературы древности и средневековья...* С. 72 и сл.).

дили» [Наставление... II. 3. 133]¹. В санскритской литературе амплификация и аббревиация тоже, конечно, служили выявлению индивидуального авторского начала при использовании традиционных топосов². Но, как показывает наше сравнение «Кадамбари» с версиями «Великого сказа», амплификация здесь выступает уже не как частный прием, но как конституирующий текст композиционный и стилистический принцип. Из фактора личной авторской инициативы, личной изобретательности на уровне микроконтекста (т. е. отдельных тем, отрывков, топосов) амплификация становится художественным способом организации макроконтраста (произведения как целого). Иначе говоря, она оказывается тем инструментом, который позволяет Бане осуществить переход от полуфольклорного рассказа, воспроизведенного в «Брихаткатхе» и ее изводах, к многоплановому произведению прозаической кавьи. Многочисленные отступления, которые, как мы видели, были свойственны не только «Кадамбари», но и «Харшачарите», и «Васавадатте», и даже «Дашакумарачарите», определяют в целом не индивидуальный стилистический регистр, присущий творчеству Баны, Субандху или

¹ *Faral*. Op. cit. P. 309.

² Ср. роль амплификации как одного из приемов трансформации традиционного мотива в арабской поэтике (Куделин А. Б. Средневековая арабская поэтика (вторая половина VIII—XI в.). М., 1983. С. 77—79).

Дандина, но служат своеобразным индикатором жанра классического санскритского романа, в равной мере и катхи и акхьяйки.

*

Стилистическая изобретательность Баны, вызывавшая единодушные похвалы средневековых индийских писателей и критиков, далеко не однозначно оценивается, однако, исследователями санскритского романа. А. Вебер, сравнивая «Кадамбари» с «Дашакумарачаритой», в свое время писал, что «Бана самым невыгодным образом отличается от Дандина доходящей до отвращения многоречивостью и тавтологичностью, превышающей всякую меру перегруженностью отдельных слов эпитетами; рассказ продвигается вперед в тенетах высокопарной напыщенности, в которых он (или, по крайней мере, терпение читателя) часто грозит увязнуть; маньеризм, который в „Дашакумарачарите“ еще зарождается, здесь доходит до высшего предела; сказуемое нередко находишь отделенным от подлежащего лишь на второй, третьей, четвертой, а однажды только на шестой странице, и весь интервал между ними заполнен эпитетами и эпитетами к этим эпитетам (а это о чем-то говорит, учитывая, что наше издание текста в высшей мере компактно и сжато¹); к тому же эти

¹ А. Вебер действительно пользовался сравнительно «компактным изданием». В других изданиях «Кадамбари» предложения, им описанные, занимают по 5—10, а иногда и 15—20 страниц санскритского текста.

тексты состоят зачастую из сложных слов, занимающих целые строки. Короче, эта проза — настоящие индийские джунгли, где из-за сплошных лиан не пройдешь вперед, пока не приложишь максимум усилий и не прорубишь сквозь них себе путь, и где сверх того приходишь в ужас от коварных и диких зверей, которые в романе выступают в виде почти непонятных слов»¹.

Этот суровый отзыв Вебера стал своего рода «общим местом» санскритологии и цитируется чуть ли не в каждой работе, посвященной «Кадамбари»². Цитируется, по существу, без возражений, и лишь в попытке примирить его с противоположной оценкой традиции специалисты приводят некоторые оправдания для Баны: признавая справедливыми слова Вебера, их относят исключительно к стилю романа, но подчеркивают его иные, более важные, с точки зрения того или иного исследователя, достоинства. Так, С. К. Де, утверждая, что суждение Вебера «в значительной мере оправданно», в то же время замечает, что Бана избыточно риторичен лишь потому, что следует в этом общему канону санскритской литературы³. П. Петерсон предлагает читателям «Кадамбари» рассматривать стилистические ухищрения романа лишь «как

¹ Weber. *Indische Streifen...* S. 353.

² Peterson P. Introduction // Bāṇa. *Kādambarī* / Ed. by P. Peterson. Bombay, 1883. P. 37; Keith. Op. cit. P. 326; Dasgupta, De. Op. cit. P. 235 f.; Kale. Op. cit. P. 34; и др.

³ Dasgupta, De. Op. cit. P. 326.

лице, как наросты, которые затемняют, но не упраздняют его истинные и исключительные достоинства»¹. А М. Кале, соглашаясь с очевидностью изъянов стиля Баны, тем не менее считает их «единственным дефектом», в котором можно упрекнуть индийского романиста, «исходя из современных норм строгой критики»².

Что же именно, с точки зрения этих норм, с лихвой, по мнению специалистов, искупает недостатки стиля Баны? Это прежде всего превосходные описания индийской природы;³ это глубокое проникновение в человеческие характеры и чувства⁴ — черта, в которой автор монографии о Бане Р. Д. Кармаркар усматривает его «подлинное величие»;⁵ это широта и достоверность (некоторые исследователи, как и в случае с Дандином, используют понятия «реализм» и «реалистичность») отображения действительности: обычаев и нравов индийского города, царского двора, отшельнической обители и т. д.;⁶ это, наконец, искусство композиции, умение поддерживать драматическое напряже-

¹ *Peterson. Op. cit. P. 37.*

² *Kale. Op. cit. P. 34 f.*

³ *Peterson. Op. cit. P. 43; Keith. Op. cit. P. 324 f.; Kale. Op. cit. P. 38 и др.*

⁴ *Peterson. Op. cit. P. 8,41 f.; Keith. Op. cit. P. 325; Kale. Op. cit. P. 37; Dasgupta, De. Op. cit. P. 234 f.*

⁵ *Karmarkar. Op. cit. P. 77; cp. p. 63 f.*

⁶ *Weber. Indische Streifen... S. 353; Peterson. Op. cit. P. 42; Karmarkar. Op. cit. P. 69 f.*

ние, использовать контрастные описания и т. п.¹.

Перечисленные «положительные» качества извлечены из романа Баны, с нашей точки зрения, достаточно искусственно. Это кажется самоочевидным при сколько-нибудь внимательном чтении «Кадамбари» в целом или даже тех из нее отрывков, которые мы приводили в переводе и будем еще приводить. Поэтому ограничимся здесь несколькими соображениями.

Описания природы и различных оттенков человеческих чувств (главным образом любви) в «Кадамбари» действительно хороши. Но хороши не оригинальностью взгляда, наблюдательностью или психологичностью, а прежде всего — и это нам еще предстоит показать — стилистической разработкой. Во всех других отношениях они вполне стандартны и по своим общим характеристикам мало чем отличаются от соответствующих описаний в любом санскритском произведении большой формы. В частности, даже то изображение влюбленности героев «Кадамбари» (Чандрапиды и Кадамбари, Пундарики и Махашветы), то варьирование оттенков и проявлений их чувств (от сдержанной скромности до безудержной страсти, от надежды к сомнению, от радости к горю разлуки и т. д.), о котором мы писали, — не столько индивидуальные приметы творческой манеры Баны,

¹ *Peterson. Op. cit. P. 40; Keith. Op. cit. P. 325; Kale. Op. cit. P. 36 f.*

сколько поэтическая норма, предусмотренная требованиями санскритских теоретических трактатов рисовать «постоянное чувство» любви в неперменной смене установленных в поэтиках «настроений» и «стадий».

В еще большей мере условны характеры «Кадамбари». Те же поэтики регламентируют постоянные типы «благородного и страстного» героя, «преданного друга», «чувствительной и верной» героини, «мудрого министра» и т. д., и Бана последовательно воплощает эти типы (во всех предписанных им качествах) в образах Чандрапиды, Вайшампаяны, Кадамбари, Шуканасы. Тщетность попыток обнаружить глубины психологической обрисовки героев «Кадамбари» наглядно демонстрируют расхождения конкретных оценок критиков: одни — без какой-либо аргументации — настаивают, что Бане лучше удавались второстепенные персонажи (Тарапида, Виласавати, Патралекха, Шуканаса), в то время как главные — достаточно тривиальны¹. Другие — не более доказательно — считают «бледными» образы второстепенных героев и отдают дань глубине психологической характеристики главных².

Заведомо несостоятельны попытки приписать Бане стремление достоверно, тем более реалистично воссоздать окружающую действительность. Такое стремление, как мы видели, едва ли было свойственно даже полуисториче-

¹ Keith. Op. cit. P. 325; Kale. Op. cit. P. 37.

² Karmarkar. Op. cit. P. 64 f.

скому роману Дандина, тем более оно чуждо авантюрно-фантастическому повествованию Баны. Отмечая «удивительную изобретательность» приемов Баны в описании и персонажей, и неживых объектов, С. К. Де вместе с тем справедливо указывает, что «обычно преувеличения искажают правдивость таких описаний. Например, описание города Удджайини слишком причудливо по языку, чтобы дать живое представление о том, каким на самом деле был этот город. Изображение Махашветы слишком нерасчетливо в нагромождении метафор и эпитетов, чтобы создать убедительный, осязаемый образ»¹.

Едва ли, наконец, можно говорить об особой искусности Баны в построении сюжета «Кадамбари». Критики с достаточными к тому основаниями говорят, что в своих бесчисленных отступлениях от действия Бана «теряет чувство меры»², что читателям не часто «за деревьями удастся увидеть лес»³. И в то время как, например, некоторые усматривают в отсроченном чуть ли не к концу романа появлении его главной героини Кадамбари тонко рассчитанный прием для поддержки драматического напряжения⁴, другие считают такое промедление композиционным дефектом⁵. Однако дело даже не в подобного рода частностях. Главное, что сюжет

¹ *Dasgupta, De. Op. cit. P. 233.*

² *Dasgupta, De. Op. cit. P. 383.*

³ *Keith. Op. cit. P. 325.*

⁴ *Kale. Op. cit. P. 36.*

⁵ *Peterson. Op. cit. P. 38; Karmarkar. Op. cit. P. 63.*

«Кадамбари», как мы знаем, заимствован из «Брихаткатхи» Гунадхьи, и заимствован со всей последовательностью сюжетных «ходов» и мотивировок. Учитывая это, приходится признать справедливым мнение М. Винтерница, что, будучи вполне традиционным, «само по себе содержание „Кадамбари“ малоинтересно»¹. И отсюда естественно возникает желание обнаружить за видимым уровнем содержания «Кадамбари» уровни скрытые: этический (утверждение тщеты человеческих страстей)², метафизический (конфликт поведения и знания, разума и чувства, олицетворяемых главными героями)³ или социальный (сатира на официальные институты и нравы)⁴— желание, никак, к сожалению, не подтверждаемое текстом романа.

Поиски «сильных» сторон «Кадамбари» в композиции, характеристиках, достоверности изображения жизни и чувств и т. п. связаны, как говорилось, со стремлением оправдать, искупить то в романе, что со времен А. Вебера считалось его слабостью: избыточность необязательных и вычурных описаний и отступлений, мешающих развитию действия и часто просто сводящих его на нет. Но если исходить не из критериев европейской критики XIX века, а из поэтики самого романа, да и санскритской поэ-

¹ *Winternitz*. Op. cit. P. 445.

² *Peterson*. Op. cit. P. 43.

³ *Karmarkar*. Op. cit. P. 77—79.

⁴ *Серебряков*. Очерки древнеиндийской литературы... С. 183—187.

тики в целом, подобного рода отступления и описания — не слабость, а неперменное свойство жанра. И, чтобы определить специфику и функцию этих описаний в самой «Кадамбари», их соотношение друг с другом и структуру, необходимо рассмотреть их подробнее. Поскольку речь пойдет в первую очередь о стилистическом анализе, придется, как мы отчасти делали это и раньше, прибегнуть к достаточно пространным примерам и цитатам. Только это, на наш взгляд, дает возможность установить ценностные ориентиры в подходе к роману Баны.

Уже при самом беглом знакомстве с «Кадамбари» становится очевидным, что обилие всевозможных описаний, занимающих чуть ли не девять десятых ее объема, — не случайное, а намеренное ее свойство. Рассказ о событии (собственно наррация) каждый раз буквально растворен в сопутствующих этому событию описаниях. Скажем, поход Чандрапида на завоевание мира, казалось, должен бы быть важнейшим эпизодом романа, призванным показать величие, отвагу, благородство главного героя. Однако и о походе, и о его результатах поведано, о чем мы уже упоминали, удивительно скупо: «На рассвете Чандрапида поднялся и возглавил войско, которое в должном порядке, непрерывными маршами и на каждом марше возрастая числом, стало продвигаться вперед и на своем пути сотрясало землю и колебало горы, убыстряло течение рек и осушало озера, опустошало леса и сравнивало с землею горы, засыпало ущелья и протаптывало долины<...> Сначала

он завоевал Восток, затем — Юг, отмеченный звездой Тришанку, затем — Запад, которому покровительствует Варуна, затем — Север, расположенный под созвездием Семи Риши» (с. 179—180). Зато выступление в поход описано с мельчайшими подробностями, и, в частности, описание пыли, «поднявшейся от тяжелой поступи войска», — описание частное и, казалось бы, совершенно необязательное — занимает чуть ли не половину всего текста, посвященного походу (с. 174—177).

Отметим, что наряду с прямыми описаниями (людей и животных, городов и обитателей, дворцов и храмов, лесов и озер, сезонов года и времени суток и т. п.), с которыми мы уже достаточно знакомы, много места в «Кадамбари» занимают монологи героев¹, по сути являющиеся теми же описаниями, только косвенными, от первого лица. Таковы монологи Шудраки, описывающего красоту девушки-чандалы, попугая — о величии аскета Джабали, Шуканасы — о младенце Чандрапиде, Чандрапиды — о прелести озера Аччходы, о Махашвете, о Кадамбари и т. п. Да и монологи, казалось бы, непосредственно связанные с движением сюжета, фактически сводятся к одному из видов описания. Таков, например, монолог царя Тарапиды, встревоженного грустью Виласавати и распра-

¹ В данном случае мы отвлекаемся от того обстоятельства, что весь роман построен в форме монологов сменяющих друг друга рассказчиков (попугая, Джабали, Махашветы), и имеем в виду лишь вставные монологи.

шивающего ее о причине ее слез: «Царица, отчего ты плачешь беззвучно и горько, приняв на одну себя тяжесть своей печали? Капли слез словно бы связывают твои ресницы в жемчужные нити. Отчего, тонкостанная, не надела ты своих украшений? Почему не покрыла свои ноги красным лаком и не стала похожей на солнце, озаряющее розовым светом бутоны лотосов? Зачем не скользят по твоим ногам-лотосам драгоценные браслеты, будто белые гуси по озеру бога любви с цветочным луком? По какой причине безмолвствует твой стан, лишенный звонкозвучного пояса? Почему на груди твоей нет орнамента темной пасты, похожего на знак лани на полной луне? По какой причине твоя тонкая шея, о широкобедрая, не украшена ожерельем, подобным потоку Ганги, струящейся рядом с месяцем в волосах Шивы? Зачем понапрасну вянут твои щеки, красавица, на которых узоры шафрана смыты ручьями слез? Отчего единственным украшением для твоих ушей, похожих на лотосы, стала твоя ладонь с ее нежными пальцами-лепестками? По какой причине, высокочтимая, вместо тилаки, нанесенной желтой мазью, на твой лоб легли эти спутанные пряди? Кудри твоих волос, не убранные цветами, черные, как сгустки тьмы в первую стражу ночи, терзают мой взор. Сжался, царица! Поведай мне причину твоей скорби» (с. 91—92).

Здесь, сменяя друг друга, вопросы царя постепенно рисуют словесный портрет скорбящей красавицы с принятой для подобного рода описаний последовательностью: снизу вверх

(ноги — талия — грудь — шея — щеки — уши — лоб — волосы). Функциональное назначение монолога именно как украшенного описания подчеркнуто щедрым использованием риторических фигур — аланкар, а также параллелизмом синтаксических конструкций с искусным чередованием вступительных слов: отчего — почему — зачем — по какой причине и т. д. (*kim-artham, kasmāt, kim-nimittam, kim-iti, kena kāra-nena, kim, kena hetunā*).

Среди монологов «Кадамбари» исследователи особо выделяют поучение министра Шуканасы царевичу Чандрапиде перед его помазанием. В нем обычно усматривают глубину нравственной мысли Баны и его представлений о царском долге, его знание политической жизни Индии и желание ее отобразить¹. Однако, с нашей точки зрения, Бану занимает здесь не истинность высказываемых суждений (вполне тривиальных в индийской традиции), а их выразительность, связанная с использованием разнообразных риторических средств. Именно в таком чисто условном риторическом ключе подается, например, в поучении составляющее большую его часть описание Лакшми, богини царского счастья и славы:

«Эта Лакшми, снующая среди доспехов храбрых воинов, словно пчела среди лотосов, поднялась некогда из Молочного океана и, чтобы умерить горечь разлуки с теми, к кому привыкла за

¹ *Keith*. Op. cit. P. 325; *Kale*. Op. cit. P. 38; *Karmarkar*. Op. cit. P. 62.

долгие годы жизни в его водах, взяла с собой на память кровавый цвет у дерева Париджаты, кривизну у Месяца, нетерпеливость у коня Уччайхшраваса, способность губить у яда калакуты, искусство пьянить у напитка варуни, жестокость у камня каустубхи¹. Нет в мире ничего столь же неуловимого, как эта злодейка. Ибо, даже заполучив ее, с трудом удерживаешь; хотя и обвяжешь ее крепкой цепью заслуг, она ускользает; хотя и запрешь в клетку из длинных, острых копий зорких воинов, она скрывается; хотя и посадишь под стражу тысячи могучих слонов, черных от потоков мускуса, она убегает прочь. Она не дорожит дружбой, не смотрит на происхождение, не замечает красоты, не считается с родством, не ценит искренность, не соображается с мудростью, не прислушивается к закону, не привержена добродетели, не чтит щедрость, не способна к размышлению, не хранит обычай, не внемлет истине, не признает счастливых знамений <...> Словно дерево, обжитое лианами, она окружает себя приживалами². Словно Ганга, породившая богов Васу, она порождает богатства, но тут же смывает их, как пену с волн. Словно солнце на небосклоне, она слоняется с места на место. Словно пропасть подземного мира, она пропитана тьмой. Словно Хидимба, она покорна только таким, как Бхима. Словно молния в дождливый день, она светит лишь на мгновение. Словно злая пищачи, она

¹ См. примеч. 14.

² Здесь и далее в оригинале игра слов — шлеша.

знает только кровавую пищу и доводит до безумия слабого человека <...> Возбуждая жар желаний, она навлекает холод отчаяния; заставляя тянуться ввысь, требует низости; рожденная из воды, томит жаждой; надеяя могуществом, обращает в ничтожество; придавая силу, утверждает бессилие; сестра сладкой амриты, она оставляет по себе горечь; обладая плотью, она невидима; предназначенная для великих духом, она предпочитает подлых <...> Поистине, она — болотная заводь, взращивающая ядовитые лианы желаний, охотничья дудка, заманивающая ланей чувств в силки, облако дыма, пятнающее алтарь добродетели, мягкое ложе для долгого сна заблуждений, верное убежище для пищачей гордыни, слепота, поражающая глаза закона, знамя войска нечестивых, река, полная крокодилов гнева, вино на разнузданном пиршестве похоти, музыка для танца высокомерия, нора для змей алчности, палка, бьющая по благоумию, засуха для посевов добронравия, плодородная почва для чертополоха нетерпимости, пролог к драме злодеяний, вымпел на слоне страсти, плаха для добрых помыслов, пасть Раху для луны долга...» и т. д. (с. 158—161 и далее).

В сравнении с прямыми описаниями и описаниями-монологами эпизоды, обеспечивающие движение сюжета, оказываются в «Кадамбари» на маргинальном положении. Однако даже они насыщены описательными, орнаментальными деталями. Вот как, например, рассказано о получении Тарапидой известия о беременности его жены Виласавати:

«И однажды, когда царь восседал на троне у себя во дворце и вокруг него, словно сонмы звезд вокруг полной луны или тысячи драгоценных камней капюшонов Шеши вокруг Нараяны, сверкали тысячи светильников, напоенных ароматическим маслом; когда рядом с ним были лишь самые близкие из коронованных им царей, а поодаль стояли самые верные слуги; когда он вел доверительную, не предназначенную для чужих ушей беседу с Шуканасой, который сидел подле него в высоком тростниковом кресле, одет был в простое белое платье, но глубиной своей мудрости превосходил толщу вод океана,— так вот, однажды в счастливый день к царю подошла главная служанка царицы, смотрительница ее спальни по имени Кулавардхана, умудренная постоянным проживанием в царской семье, гордая своей всегдашней близостью к царю, сведущая во всех благих приметах, и тихо прошептала ему на ухо известие о беременности Вилаśавати. При этой весте, никогда им прежде не слыханной и услышать которую царь уже не надеялся, на теле его от удовольствия поднялись волоски, кожа словно бы увлажнилась амритой, поток радости наполнил сердце, рот, расцветший в улыбке, словно бы излил эту радость в блеске зубов, и глаза его, мокрые от сладостных слез, с дрожащими от волнения зрачками и трепещущими ресницами, оборотились в сторону Шуканасы» (с. 100—101).

Мы выделили курсивом слова, которые несут содержательную информацию, и оказалось, что их в отрывке совсем немного; в основном он

состоит из кратких описательных характеристик окружения царя Тарапиды, министра Шуканасы, служанки Кулавардханы, реакции царя (с традиционным перечислением частей его тела) на принесенное известие. Для нарративных эпизодов «Кадамбари» подобное соотношение собственно повествования и побочных описаний весьма типично, и потому даже те эпизоды, что так или иначе непосредственно сопряжены с рассказом, можно в большинстве своем считать описаниями динамическими, в отличие от статических описаний персонажей, природы, городов, времени суток и т. п. Приведем в качестве еще одного примера описание прибытия Чандрапиды во дворец к отцу, следующее за самым длинным в «Кадамбари» статическим описанием дворцового парка Тарапиды:

«Чандрапида — кому, восклицая приветствия, указывали путь поспешно выступившие вперед привратники; кого встречали с почетом ранее восседавшие в креслах, а теперь толпящиеся вокруг него цари и, по очереди представленные служителями, так низко склоняли перед ним головы, что лучи от драгоценных камней в их коронах словно бы ласкали гладь пола; кого на каждом шагу благословляли, выйдя из внутренних покоев, старейшие женщины гарема — знатоки обрядов гостеприимства,— Чандрапида прошел сквозь семь залов дворца, заполненных тысячами всевозможных существ, будто сквозь семь континентов земли, и увидел своего отца. Тарапиду со всех сторон окружали преданные ему и славящиеся своей силой телохранители,

которые получили право служить царю по наследству, происходили из знатных родов и по своей великой крепости и мужеству походили на демонов-данавов. Ладони их рук заглубели до черноты от постоянного ношения оружия, все тело, кроме глаз, рук и ног, было скрыто за темными доспехами, волосы отливали смолюю, и потому они выглядели как столбы для привязи слонов, которые облепили черные пчелы, привлеченные запахом слоновьего мускуса. Справа и слева от царя стояли придворные куртизанки, которые обмахивали его опахалами, и он восседал на троне, как белый гусь на водах Ганги или как божественный слон Айравата на светлом и чистом прибрежном песке» (с. 140—141).

В санскритском оригинале весь этот отрывок составляет одно предложение, и информация, которую он несет (Чандрапида вошел во дворец и встретился с отцом), по сути, растворена в сопутствующих описаниях: привратников, встретивших Чандрапиду, вассальных царей, телохранителей царя и самого Тарапиды на троне. И так всегда в «Кадамбари»: на любой странице романа внимание читателя, по замыслу автора, концентрируется на описательных, изобразительных, а не повествовательных компонентах текста.

Недостаточно, однако, только констатировать решительное преобладание описания над нарративом в «Кадамбари». Для выявления ценностной роли описаний необходимо установить, чем оправдано их преобладание, каков их эстетический эффект и от чего он зависит.

Начнем с уже упомянутого нами описания пыли, поднятой выступившим в поход войском Чандрапиды (с. 174—177). В целом оно распадается на три части, или периода, выделенные в переводе абзацами, а каждый период состоит из нескольких синтаксических блоков, представленных серией однотипных поэтических фигур, или аланкар.

Первый период от слов «Мало-помалу от тяжелой поступи войска...» и до «...была похожа на светлые опилки сандалового дерева, распиленного пилой» — в оригинале одно большое предложение с цепочкой развернутых определительных конструкций к подлежащему «пыль»¹. В начале периода — блок из семи сравнений (санскритская аланкара — «упама»), каждое из которых вводится наречием «там» (*kva-cit*): «<стала клубиться пыль> там серая, как брюшко старого карпа, там желтая, как грива верблюда...» и т. д. Затем идет второй блок, тоже из девяти сравнений, но на сей раз основанных на игре слов (аланкара «шлеша-упама»): «подобно потоку Ганги, который выбивается из-под стоп Хари, она выбивалась из-под копыт лошадей (*tripathagā-pravaḥa iva hari-saraṇa-prabhavaḥ*; слово *hari* имеет два значения: «бог Вишну» и «лошадь»); подобно разгневанному

¹ В санскритском тексте «Кадамбари» период завершается словами «стала клубиться пыль» (*renur utparāta*), вынесенными в переводе в начало. Кроме того, определительные конструкции оригинала в переводе отчасти приходится передавать самостоятельными предложениями, дабы не нарушить и не исказить смысловые связи.

человеку, которого покидает терпение, она покидала землю» (*kurīta-iva miñsan-kṣamām*; *kṣamā* — одновременно «земля» и «терпение») и т. д. Далее — третий блок из девяти аланкар «утпрекша» (нереальное предположение, олицетворение), каждая из которых содержит причастие настоящего времени с частицей *iva* («как», «словно бы»): «она забивалась между ресницами, словно бы запечатывая сургучом (*mudrayan-iva*) глаза воинов; липла к каплям нектара на лотосах в их ушах, словно бы наслаждаясь (*rīyamāna-iva*) цветочным запахом...» и т. д. И наконец, завершает первый период четвертый блок из трех сравнений: «как грозная планета Раху», «браслетами желтой охры», «была похожа на светлые опилки сандалового дерева».

Между первым и вторым периодом вставлена промежуточная фраза-«прокладка»: «Поднимаясь... она мало-помалу заволокла округу» с аланкарами упамой («густая, будто... туча») и утпрекшей («словно бы вобрав в себя все пространство»), — а затем начинается второй период — предложение с развернутыми определениями к слову «пыль», но уже не в именительном, а в инструментальном падеже: «<Этой> пылью пропитаны были все три мира...» (*tribhuvanam-alaṅghyata rajasā*). Открывается второй период блоком из девяти метафор-«уподоблений» (аланкара «рупака»): «она была счастливым стягом победы, инеем, побившим лотосы враждебных династий, благовонной пудрой, украсившей шатер царской славы...» и т. д. За ним следует блок из семи утпрекш: «<она>

будто вырывалась из подземного мира, вздымалась из-под ног воинов... сыпалась... исторгалась...»; и в конце периода — блок из шести аланкар «виродха» (букв. «противоречие»): «<она> казалась сном, но без утраты сознания, сумраком, но при сияющем солнце, прохладой, но в жаркое время года...» и т. д.

Снова промежуточная фраза со сравнением-упамой («И она разрасталась все шире и шире, словно шаги Вишну»), и, наконец, заключительный третий период, состоящий из семи предложений: трех, построенных с помощью аланкары «вакъяртха-упама» (сравнения в целом и по частям): «Как лужайка цветущих лотосов, омытая ливнем, небо было омыто пылью с земли, белой, будто пена Молочного океана...» и др.; и четырех, в которых сочетаются аланкары атишайокти (преувеличение, гипербола) и утпрекша (олицетворение): «Не в силах снести тяжкую поступь войска, земля словно бы обратилась в пыль и устремила в мир бессмертных богов, чтобы вновь попросить облегчить ее бремя...» и др.

Описание пыли, как мы видим, состоит из цепочек синтагм, изоморфных по своему грамматическому строению и риторической организации (то есть с одними и теми же риторическими фигурами). И та же исходная модель, но в подчеркнутом разнообразии вариаций и комбинаций, присутствует в подавляющем большинстве описаний «Кадамбари», к кому и чему бы они ни относились.

Рассмотрим, например, описания героев. Ро-

ман начинается с описания царя Шудраки (с. 8—10). Первая часть этого описания, как и первый период описания пыли, представляет одно большое предложение с субъектом «...царь по имени Шудрака» (*rājā śudrako nāma*) в конце его. Предложение состоит из нескольких определительных конструкций-блоков. Сначала блок из десяти сравнений Шудраки с мифологическими персонажами: «Как Вишну, он был отмечен знаками раковины и диска; как Шива, победил бога любви; как Сканда... как Брахма... как Океан... как Солнце...» и т. д. Далее — блок из тринадцати рупак (метафор), в своей совокупности составляющих еще одну риторическую фигуру «самуччаю», или «уллекху» (характеристика субъекта в различных, но взаимосвязанных качествах): «он был... зеркалом всех наук, опорой всех искусств, сокровищницей добродетелей... горой восхода для солнца счастья своих друзей, кометой бедствий для недругов...» и т. д. И в заключение — два сравнения, основанных на игре слов (шлеша-упама): «Словно Гаруда, сын Винаты, он карал виноватых; словно Притху — гряду гор, смирял гордецов своим луком»¹.

Вторая часть описания Шудраки состоит из пяти предложений, организованных в форме аланкары утпрекши, иногда сочетающейся с дру-

¹ Переводы шлешы здесь, как и во многих других случаях, вынужденно условны. Буквальный перевод: «Словно сны Винаты (*vainateya iva*), он дарил радость Винате (или: скромным — *vinatā*)» и «словно Притху, он выкорчевывал кончиком лука враждебные горы (или: горы врагов — *arāti-kulācalo*)».

гими фигурами. Так, утпрекша: «Огонь его доблести днем и ночью пылал повсюду — даже в сердцах овдовевших жен его недругов, словно бы желая сжечь в них след памяти об убитых супругах» — включает рупаку «огонь его доблести» (*pratāpo-anala*). А утпрекша: «Одним лишь звуком своего имени разрывавший сердца врагов и одним лишь движением ноги утвердивший свое верховенство над миром, он словно бы смеялся над Вишну, который должен был стать Человеком-львом, чтобы разорвать сердце Хираньякашипу, и сделать не один, а три шага, чтобы измерить вселенную» — связана с фигурой «вьятирекой» («различение»), указывающей на превосходство субъекта сравнения (в данном случае — царя) над объектом (богом Вишну).

И заключение описания составляют два блока фигур «парисанкхья», иначе называемых «ниямават-шлеша» («игра слов, ограничивающая» объем высказывания). При этом первый блок из четырнадцати высказываний связан воедино синтаксической конструкцией *locativus absolutus*: «Когда этот царь правил землей» (*rājani paripālayati mahīm*) — и далее: «смуты бывали только сердечными... трепет только в полотнищах знамен, разлад только в музыке... кривизна только у луков...» и т. п. А второй блок из шести ниямават-шлеш построен несколько проще: «И страшились при этом царе одного лишь загробного мира, болтали попусту одни лишь сороки, налагали узы лишь на свадьбах...» и т. д.

Если сравнить с этим описанием царя Шудраки однотипное описание в «Кадамбари» другого

царя — Тарапиды (с. 81—85), можно выявить методы варьирования в романе одной и той же изобразительной модели. Начинается описание Тарапиды периодом — предложением той же грамматической конструкции, что и описание Шудраки: «...был царь по имени Тарапида» (...rājā tārāpiḍo nāmābhūt). Однако в первом блоке этого периода вместо серии из десяти мифологических сравнений имеется одно многочленное сравнение царя, но уже не с богами, а с легендарными царями древности: «...верное подобие Налы и Нахуши, Яяти и Дхундхумары, Бхараты, Бхагиратхи и Дашаратхи». Вслед за ним, как и в описании Шудраки, идет «сводная» характеристика различных качеств Тарапиды (аланкара самуччая, или уллекха): «...исполненный мужества, изучивший науку политики, сведущий в добродетели... избавивший мир от всех бедствий». Но в отличие от описания Шудраки, где самуччая сочетается с рупаками (зерцало наук, родник поэзии, комета бедствий и т. п.), здесь характеристики царя не содержат никаких «украшений». Зато, как бы в виде компенсации, к ним примыкают еще три определения, представляющие совокупность сразу нескольких аланкар (фигура сансришти, или санкара). Так, в одном из них: «Подобно океану <породившему луну>, он стал хранителем славы, схожей с луной: холодной, но сжигающей зло, немеркнувшей, но вечно изменчивой, чистой, но омрачающей лица-лотосы недругов, невозмутимой, но возбуждающей страсть» — сравнение (упама) луны и царской славы подкреплено игрой слов (шлешей) и четырьмя виродхами

(противоречиями). Первый период описания Шудраки завершался двумя упамашлешами; первый период описания Тарапиды — девятью такими же фигурами: «Как горы в страхе лишиться крыльев бежали в подземное царство, так в страхе лишиться приверженцев (rakṣa-ṣati значит и «потеря крыльев» и «потеря сторонников») искали его покровительства земные цари. Как следует за планетами Будха, так следовал он советам мудрых (budha — планета Меркурий и «мудрый»). Как Индра, убивший Вритру, он был победителем в битвах...» и т. д.

Так же, как и в описании Шудраки, второй период описания Тарапиды состоит из отдельных предложений, построенных на основе аланкары утпрекши, включающей в себя и иные фигуры. Например: «Когда Тарапида, будто слон — хранитель мира, который карабкается на Древо желаний, сияющее яркой листвой и увешанное гроздьми плодов, поднимался на трон <сверкающий драгоценными камнями и украшенный жемчужными кистями>, стороны света, уstraшенные тяжестью его меча, падали перед ним ниц, словно лианы /клонящиеся под тяжестью пчел/». Внутри утпрекши («стороны света падали перед ним ниц»), организующей все высказывание, здесь имеются две шлешы-упамы, относящиеся посредством игры слов одни и те же эпитеты к обоим объектам сравнений: Древу желаний и трону, сторонам света и лианам. Заметим также, что, если во втором периоде описания Шудраки утпрекш, осложненных другими аланкарами, — пять, то в описании Тарапиды —

девять, причем их отличает то, что каждая начинается с относительного местоимения *yaд* в строгой последовательности его падежных форм (*yas*, *yam*, *yam*, *yena*, *yasmai*, *yasmāt*, *asya*, *asya*, *asmin*), так что все вместе они образуют еще одну индийскую риторическую фигуру — *читру* («картинку») в одной из ее грамматических разновидностей.

И наконец, как и в описании Шудраки, последний, третий период описания Тарапиды состоит из аланкар *парисанкхья*, или *ниямават-шлеша*: «Когда он царствовал, недоступность (или: «бескрылость» — *vipakṣatā*) была только у гор... любованье собой (или: «самовлюбленность» — *abhimukha-vasthānam*) только в зеркале... заносчивость (или: «вздыхание» — *unpatiḥ*) только у знамен... тернии (или «наложение оков» — *bandhana-sthitiḥ*) — только у цветов...» (всего двадцать восемь аланкар).

Так в пределах общей модели варьируются описания двух одинаковых по статусу и функциям персонажей. Еще более вариативны описания одного и того же персонажа, но в разных ситуациях.

Первое описание Кадамбари приурочено к началу первого свидания с нею Чандрапиды. Махашвета приводит царевича во дворец гандхарвов, и там «в глубине павильона... он увидел Кадамбари» (*madhyabhāge... kādambarīm dadarśa*). Слова «увидел Кадамбари» находятся в конце описания, составляющего одно громадное предложение, и все качества царевны описаны развернутыми определениями в винительном

падеже единственного числа к имени *kādambarīm* (с. 276—282).

Сначала несколькими сравнениями дается как бы общий план описания. Чандрапида видит Кадамбари, окруженную подругами, похожими на рощу деревьев, исполняющих желания; лежащую на кушетке, застланной синим шелком, и опирающуюся на белую подушку, отчего она напоминает землю, поднятую из океана на клыке Великого вепря; овеваемую опахалами, которые, будто плавая в океане ее сияния, поднимают и опускают лианы рук ее служанок. Далее в описании следует блок из девяти утпрекш, тематически объединенных идеей соблазна красоты Кадамбари для любых существ: «Ее лицо отражалось в зеркале пола, и мнилось, что ее хотят унести в подземное царство змеи-наги; мерцало на выложенных драгоценными плитами стенах, и казалось, что ее похищают хранители стран света; падало на светлый потолок вверх, и казалось, что ее увлекают в небо боги...» и т. д.

На этом заканчивается вступление и идет собственно описание, причем вначале — так называемое «описание по частям» (снизу вверх: от пальцев ног до волос), состоящее из двадцати шести чередующихся друг с другом утпрекш и упам:

«Сноп лучей от ее ножных браслетов поднимались вверх по стану, словно бы желая помочь ее бедрам выдержать груз ягодиц <...> Ее ягодицы были такими тяжелыми, как если бы их обременяли сердца припавших к ее ногам

воздыхателей, а талия такой тонкой, как если бы похудела с горя, что не может увидеть ее лицо за высокой грудью. Ее круглый пупок был подобен водовороту и так глубок, как если бы Праджапати, ваяя ее живот, оставил на нем вмятину от своего пальца <...> Ее губы, красные, как кораллы, казались двумя волнами страсти, выплеснутыми порывом ветра только что наступившей юности <...> Ее высокий лоб осеняли брови-лианы, блестящие, как капли мускуса на опьяневшем от страсти слоне, и, нанесенный красной пастой, светился на лбу кружок тилаки, словно сердце бога любви, сраженного ее красотой...» и т. д.

Завершают это «описание по частям» четыре вьятиреки (косвенные сравнения, указывающие на превосходство субъекта над объектом): «Манматха проник в каждую пору ее тела, словно бы желая утвердить ее высокую участь и посрамить Гаури, гордую тем, что половину ее составляет Хара. Отражениями своего лика она как бы порождала на свет сотни Лакшми, укрощая спесь Нараяны, довольствующегося только одной Лакшми на своей груди. Блеском своей улыбки она как бы разбрасывала по сторонам тысячи лун, умеряя надменность Шивы, чванящегося лишь одной луной у себя на челе. В сердце своем она давала приют мириадам богов любви, словно бы гневаясь на Хару, который безжалостно сжег единственного Манматху»¹.

¹ Ср. тематический и синтаксический параллелизм этих четырех вьятирек, игру числами, чередование мифологиче-

В качестве тематической прокладки далее идет короткое перечисление занятий Кадамбари (она сооружает в игрушечном ручье отмель из цветочной пыльцы, кормит ячменем из ладони детеныша лани, отгоняет привлеченных ароматом ее дыхания пчел, подшучивает над служанками, дарит им подарки), а затем завершает описание новый блок аланкар — одиннадцать шлеш-упам. Уже по описаниям Шудраки и Тарапиды можно было заметить, что Бана любит оканчивать описание серий поэтических фигур, связанных с игрой слов. То же он делает здесь, и его не смущает, что приходится возвращаться к тем частностям обрисовки героини, которых он уже касался ранее: «Подобно роще деревьев тамала на берегу океана, ее чело осеняли темные волосы, черные, как рой пчел»;¹ «Подобно жене великого гуру, соблазненной Чандрой, она чаровала взоры своей высокой грудью»;² «Подобно утру, сияющему яркими красками лотосов и жаркими лучами солнца, ее

ских имен и другие приемы, создающие то единство в многообразии, которое характерно для любого блока аланкар в «Кадамбари».

¹ В оригинале по-разному членится одно сложное слово: *madhukara-kula-nīlatama-alaka-ānanam* и *madhukara-kula-nīla-tamāla-kānanam* и соответственно имеет два смысла: «лицо в очень черных, <как> рой пчел, кудрях» и «роща деревьев тамала, черных, <как> рой пчел».

² Здесь сложное слово *uddāma-manmatha-vilāsa-grhita-guru-kalatram* имеет два значения: «тяжелые бедра, возбуждающие великую страсть» и «жена Наставника (Брихаспати.— П. Г.), охваченная сильной страстью».

одежда сверкала красным жаром рубинов и светлым блеском жемчуга»¹.

Приведенные описания Кадамбари, как и ранее описания Шудраки и Тарапиды, принадлежат к обычному в романе типу «общих» многосторонних описаний. Но другое описание Кадамбари, которого мы бы хотели коснуться,— это описание частное, одноаспектное, акцентирующее только одну сторону поведения персонажа или его облика. Таково описание героини при последнем ее свидании с Чандрапидой в Зимнем доме (с. 323—327), целиком направленное на изображение владеющей ею любовной страсти. При этом, хотя структура описания остается прежней, решительно меняется эмоциональная окраска каждой детали.

Как и первое описание, это состоит из определенных конструкций к грамматическому объекту — имени Кадамбари в конце периода: «<он>... увидел Кадамбари» (*kādambarīm vyalokayat*). Как и первое, оно открывается сравнением, рисующим «общий план» сцены: Кадамбари лежит на цветочном ложе, и ее окружают подруги, «подобно тому как в ущельях Гималаев божественную Гангу окружают малые реки». Но

¹ Сложное слово *bhāsvan-mukta-aṅṣu-bhinna-padma-gāga-prasāadhanām* при разном членении может значить: «украшенная красными лотосами, раскрывающимися при лучах солнца» и «украшенная жаром рубинов, смешанным с ярким блеском жемчуга».

здесь «общий план» сведен к минимуму, и сразу же идет блок из восьми утпрекш, представляющих Кадамбари средоточием страсти небесных богов: «всю в ожерельях, ножных и ручных браслетах, кольцах и поясах из стеблей лотоса, ее, казалось, опутал путами ревнивый Манматха; с пятном белой сандаловой мази на лбу, она казалась ласкаемой богом луны; со слезами на ресницах — целуемой в глаза Варуной <...> с сердцем, пылающим любовью, — прижатой к груди Агни; с кожей, покрытой потом, — в объятиях бога воды».

Главный раздел первого описания Кадамбари составляло описание красоты ее тела и одежды. Во втором описании сохраняется, хотя и не с такой строгой последовательностью, принцип «описания по частям». Но на сей раз каждое определение (в форме аланкары утпрекши) призвано показать силу ее любви и страданий в разлуке с Чандрапидой: «Она совсем ослабела, как если бы каждая частица тела покинула ее и вместе с сердцем устремилась к ее возлюбленному <...> Вылетев из цветов в ее ушах, пчелы как бы из жалости обведали ее щеки, усеянные каплями пота, ветерком своих крыльев <...> С кувшинов ее груди от горестных вздохов соскользнуло платье, как если бы сияние ее тела попыталось вырваться прочь, уstraшенное пылающим внутри нее жаром...» и т. д.

В параллель перечислению занятий Кадамбари в первом описании теперь говорится, что «она неустанно сжимала в ладонях прохладную куколку, выдолбленную из льда... приклады-

вала к щекам фигурку, вылепленную из камфары... касалась ногами-лотосами статуэтки из сандаловой мази», дабы умерить жар снѣдающей ее любовной лихорадки. А далее следует блок из четырех аланкар бхрантимат (вольная или невольная подмена одного предмета другим), рисующими, так сказать, «заблуждения любви»: «Бутоны цветов в ее ушах, казалось, страстно целуют ее круглые щеки, принимая их за свое отражение <...> Она словно бы принимала за месяц зеркало, лежащее у нее на груди, и заставляла его поклясться жизнью, что сегодня он не взойдет».

Первое описание Кадамбари завершалось блоком из одиннадцати сравнений, построенных на игре слов. Также и в конце второго описания находятся семь шлеш-упам — все рисующие царевну воплощением любовной страсти: «...Высоко вздымались кувшины ее груди, белые от сандаловой мази и усыпанные цветами, и она казалась алтарем помазания бога любви <украшенным кувшинами с сандаловой водой и цветочными подношениями> <...> От трепета страсти расцвела ее красота, и она казалась цветочным луком <трепещущим в руках бога любви> <...> Томимая богом с цветочным луком, она казалась пчелой <томящейся по цветам>». А за этими шлешами-упамами следует последний в описании блок аланкар — три виродхабхасы (букв. «снятого <посредством шлеш> противоречия»), опять-таки изображающие страдания любви: «Хотя и умощенная прохладным сандалом, она страдала от любов-

ного жара¹. Хотя и далекая от старости, она была обессилена страстью². Хотя и, как лотос, нежная, она жаждала касания снега»³.

Если мы обратимся к иным, чем изображение персонажей, описаниям «Кадамбари», то увидим, что их грамматическая структура, внутреннее членение, распределение аланкар приблизительно то же, что и очерченное ранее.

Возьмем, например, описание озера Аччходы (с. 184—187). Оно состоит из развернутых определений в винительном падеже единственного числа к словам «озеро по имени Аччхода», находящимся в конце периода: «он увидел озеро по имени Аччхода» (*acchodāṃ nāma saro dr̥ṣṭā-vān*). В начале описания — блок из тринадцати сравнений (упам) озера с воображаемыми объектами: «драгоценным зеркалом богини красоты трех миров», «хрустальной обителью богини земли», «колыбелью стран света», «расплавленной Кайласой», «смехом Шивы, обратившимся в воду» и т. п. Затем — четыре утпрекши, объединенные идеей удивительной чистоты озера (само имя «Аччхода» значит на санскрите

¹ Буквально: «Хотя и умащенная сандаловой мазью, она была без мази на теле» (*an-aṅgarāgiṇīm*) или, при другом членении сложного слова (*ananga-rāgiṇīm*), — «она пылала страстью».

² Буквально: «Хотя еще девушка, она была матерью Манматхи» или «...она возбуждала страсть» (сложное слово *manmatha-jananīm* имеет два значения).

³ Буквально: «Хотя и похожая на лотос (или «в браслетах из лотоса» — *mṃālīnīm*), она жаждала касания снега» (или: «прохлады» — *abhyarthita-tuṣāra-sparśām*).

«чистоводное»): озеро кажется созданным «из сердец святых мудрецов», «добродетелей праведников», «блеска глаз антилоп», «сияния драгоценных камней». Затем — группа из нескольких различных фигур: виродхи («прозрачное для глаза, оно казалось пустым, хотя было заполнено водой»), утпрекши («оно словно бы находилось под охраной тысячи луков Индры»), упамы («его воды, казалось, смешались с... нектаром... подобным потоку красоты, струящемуся с ланит Парвати»), атишайокти — преувеличения («озеро было настолько глубоким, что походило на вход в подземный мир»), бхрантимат — «заблуждения» (из-за черных лотосов, цветущих на глади озера, пары уток чакравак полагают, что наступила ночь).

Далее следует блок из одиннадцати определений — все без аланкар. Но, во-первых, все эти определения тематически однородны: перечисляются божественные существа, посещающие озеро. А во-вторых, отсутствие аланкар как бы компенсируется применением анафоры. В первых пяти высказываниях вынесены вперед наречия времени (*asakṛt... anekaśo... bahuśaḥ sahasraśaḥ... sarvadā*): «Часто Брахма... освящал его своим кувшином. Не раз мудрецы-валакхильи... совершали на его берегах обряд почитания солнца. Нередко... Тысячу раз... Каждый день»; а в последних пяти — наречия места (*kva-cit*): «Кое-где среди озера росли лотосы, чьим соком пьянил себя гусь Варуны... кое-где каменистые прибрежные склоны оказались подрывными копытами быка Шивы...» и т. д.

Наконец, последним, как это и принято в описаниях «Кадамбари», идет блок из пятнадцати шлеш-упам: «Подобно юности, полной волнений, озеро пенилось волнами (или: «желаниями» — *utkalikā*). Подобно больному лихорадкой любви, ему служили отрадой белые влажные лотосы (или: «браслеты из лотосов» — *mṛṇāla-valaya*) <...>. Подобно Кадру, вскормившей грудью тысячу змей, оно вспоило тысячи слонов (*nāga* — «змея» и «слон») <...>. Подобно небрежному выводу без подтверждения, оно затопляло водами твердь берегов (или: «его нельзя было подтвердить примером» — *asat-sādhana-iva-dr̥ṣṭāntam*)».

И далее в описании озера Аччходы еще одна особенность, характерная для «Кадамбари»: непосредственно за описанием «от автора» следует еще одно описание, но уже от первого лица, в данном случае Чандрапиды, который любит озером (с. 187—188). Если первое описание построено как одно большое предложение, то второе распадается на короткие высказывания, в каждом из которых, как правило, присутствует аланкара атишайокти — «преувеличение». При этом если первые пять атишайокти — абстрактного плана (Чандрапида называет озеро «идеалом совершеннейшего из удовольствий», «венцом того, что доставляет счастье», «крайним пределом того, что только доступно зрению» и т. п.), то все последующие содержат мифологические аллюзии и связаны друг с другом анафорой «нет сомнений»: «Нет сомнений, что лишь в жажде постоянно видеть это озеро Шива, супруг

Умы, сохраняет привязанность к своей обители на горе Кайласе. Нет сомнений, что Вишну, держатель диска, никогда не насытит своих желаний, пока пренебрегает его чистыми и сладкими, как нектар, водами и предпочитает возлежать на соленых и темных водах океана <...> Нет сомнений, что в день великой гибели мира грозовые тучи именно из него по каплям набирают воду, чтобы потом затопить землю и застлать мраком вселенского ливня десять сторон света».

Несколько иную вариацию исходной структурной модели демонстрирует описание леса Виндхья (с. 29—32), заключенное в синтаксическую рамку: *asti vindhyātavī nāma* («есть... лес, зовущийся Виндхья»). В нем явно преобладают фигуры, связанные с игрой слов: за вступлением, в котором чередуются упамы и утпрекши, следуют тридцать шлеш-упам и три виродхабхасы — «снятого <шлешей> противоречия». Блок из шлеш-упам берет на себя знакомую по другим описаниям «Кадамбари» функцию обрисовки объекта в целом и по частям. Сначала говорится о всем лесе Виндхья: «Подобно столице владыки мертвых Ямы, этот лес, кишачий буйволами (буйвол — ездовое животное Ямы. — П. Г.), грозит смертью; подобно войску, готовому к битве, он щетинится пиками — побегам бамбука, жалит стрелами — жужжащими пчелами, оглашается боевым кличем — рыком львов... подобно Луне со знаком лани или Большой Медведице, он заселен ланями и медведями... подобно Парвати, покоящейся на льве, он свой покой охраняет львами; подобно

Раване, похитителю Ситы, он страшен ревом хищников... подобно Земле на клыке Великого вепря, он разрыт клыками диких кабанов...» и т. д. А затем с помощью анафоры *kvacit* («кое-где») описание леса членится: «Кое-где, будто захмелевшая женщина, он что-то невнятно бормочет голосами кукушек <...> Кое-где, будто поле битвы, усеянное стрелами, он порос длинными травяными стеблями. Кое-где, будто тело Индры, покрытое тысячью глаз, он изрыт тысячью нор грызунов <...> Кое-где, будто царство Вираты кичаками-воинами, он кичится своими водоемами<...> Кое-где, будто тот, кто принял подвижнический обет, он рядится в платье из травы и лыка». И завершает эту цепочку сравнений, основанных на игре слов, блок из трех виродхабхас, или виродха-шлеш: «Хотя не счесть листьев на его деревьях, лучшее его украшение — семилиственница (или: «его украшают только семь листьев» — *saptaraṇṇa*). Хотя он и суров с виду (или: «полон жестоких зверей» — *krura-sattvā*), но населен кроткими отшельниками. И хотя темны его заросли, он неизменно чист и светел».

Наряду с описаниями персонажей и материальных объектов (не только природных, но и городов, дворцов, храмов, обителей и др.) в «Кадамбари», как мы знаем, значительное место занимают описания событий: военного похода, празднеств, развлечений, любовных свиданий, разного рода царских занятий и т. п. Однако такого рода описания в конечном счете состоят тоже из нескольких конкретных, предметных

зарисовок, репрезентирующих по принципу *pars pro toto* все событие. Таково, например, описание въезда Чандрапиды в столицу после многолетнего пребывания в Доме учения (с. 124—130).

Рассказ о торжественном прибытии Чандрапиды со свитой царевичей и конным войском в Удджайини начинается с краткого описания царского зонта: «Его защищал от солнечного зноя белый зонт, укрепленный на высоком золотом древке, который напоминал белый лотос — обитель богини царской славы, или полную луну, сияющую над озером лотосов — свитой царевичей, или песчаный берег бурной реки конного войска; который походил по цвету на круглый капюшон Васуки, омытый пеной Молочного океана, был унизан гроздьями больших жемчужин и имел эмблемой изображение льва». Далее упомянуты горожане, которые, «побросав свои занятия, высыпали ему навстречу, став похожими на купы лотосов, расцветших при появлении месяца»; приведено несколько их восторженных восклицаний при виде Чандрапиды; а затем весь рассказ о встрече — в русле давней санскритской традиции, идущей еще от «Рамаяны» (въезд Рамы в Айодхью), — сводится к описанию женщин, заполнивших улицы города и террасы его дворцов. Причем это описание разбито на несколько блоков, образованных однотипными грамматическими конструкциями и сериями из одних и тех же аланкар.

Вот, например, блок упам (сравнений): «Не-

которые из них (женщин.— П. Г.), с зеркалом в левой руке, были похожи на ночь с блистающей полной луной. Некоторые, на чьих ногах еще не высох красный лак, походили на лотосы с бутонами, озаренными утренним солнцем. Некоторые, путаясь ногами в оброненных в спешке поясах, напоминали слоних, осторожно ступающих из-за мешающих им пут. Некоторые, в разноцветных одеждах, были похожи на радугу в сезон дождей. Некоторые, в сиянии белых лучей, отброшенных ногтями на пальцах их ног, напоминали домашних гусынь, привлеченных звоном ножных браслетов...» и т. д.

А вот другой блок из утпрекш (нереальных предположений): «В одно мгновение дома, заполненные женщинами, показались как бы выстроенными из женских тел; земля, по которой ступали их покрытые лаком ноги,— усыпанной красными лотосами; город, озаренный их улыбками,— воздвигнутым из сияния красоты; небо, заслоненное тысячами круглых лиц,— покрытым полными лунами; воздух, заполненный множеством ладоней, поднятых в защиту от солнца,— преобразившимся в луг лотосов; солнечный свет, пронизанный лучами от драгоценных камней,— окрашенным радугами; день, купающийся в потоке пылающих взглядов,— сотканным из лепестков голубых лотосов».

Завершают описание въезда Чандрапиды восклицания женщин (ср. внутренние монологи в завершение иных описаний в «Кадамбари»), восклицания восторженные, кокетливые и за-

вистливые. И они тоже разбиты на однотипные блоки.

Сначала блок из тридцати пяти реплик, каждая из которых начинается с обращения к подруге (в звательном падеже), так или иначе переключаящегося со смыслом реплики: «Эй, торопливая, меня бы подождала!<...> Потерявшая голову, подними украшение из слоновой кости: оно упало на землю!<...> Бесстыдница, завяжи платье: оно распахнулось!<...> Ненасытная, сколько же ты будешь глазеть!<...> Ослепленная любовью, ты даже не замечаешь своей подружки!<...> Страдалица, ты напрасно себя мучаешь многотрудными ужимками и гримасами! Впавшая в беспамятство, ты даже не заметила, как выбежала из дома!<...> Грезящая о любовном свидании, открой глаза: он давно уже проехал!» и т. д.

Далее блок из восьми реплик, начинающихся с указательных местоимений *etad* или *idam* (на русский язык переведены посредством анафоры «Смотри!»): «Смотри! Венок из цветов малати на его голове кажется сквозь белый зонт скоплением лунных лучей, принявших по ошибке его волосы, черные, как рой пчел, за сгусток ночной тьмы<...> Смотри! В красном пламени рубинов его ожерелья словно бы пылают страстные желания юности, пытаюсь проникнуть в его сердце<...> Смотри! Он просит бетель и шутиво тянет вперед нежные и длинные пальцы своей похожей на розовый бутон лотоса ладони, словно слон, который вытягивает хобот, желая получить охапку травы шайвалы» и т. п.

И наконец, две последние реплики объединяет начальное слово — *dhanyā* («счастливица»): «Счастлива та, кто, уподобившись Лакшми, завладеет его рукой, превосходящей по красоте лотос, и станет вместе с ним соправительницей земли!— Счастлива царица Виласавати, которая его — слона — хранителя мира, способного выдержать бремя всей земли,— выносила, словно небо, в своем чреве!»

По тому же принципу частных зарисовок, репрезентирующих целостное явление, строятся в «Кадамбари» и описания чувств, среди которых, естественно, преобладают описания любовной страсти. Мы приводили уже рассказ о пробуждении любви у Кадамбари и Чандрапиды, в котором последовательно описываются произвольные проявления чувства — сатвика-бхавы (пот, прерывистое дыхание, слезы радости, дрожь рук и т. п.), внешние признаки чувства — анубхава-бхавы (улыбка, нежный взгляд, кокетливые жесты и т. п.), преходящие настроения — вябхичарибхава (ревность, смущение, недовольство и т. п.), в совокупности возбуждающие расу любви — шрингару. При этом и здесь каждое из частных описаний представляет собою блок однотипных аланкар.

В еще большей мере избранная Баной композиционная модель для описаний «Кадамбари» воспроизводится в рассказе аскета Капинджалы о страданиях его друга Пундарики в разлуке с Махашветой (с. 230—232). Рассказ, как и большинство описаний,— это длинный период-предложение с развернутыми определениями к объ-

екту описания, обозначенному в конце периода: ...tam-aḥam-adrākṣam («...его я увидел»).

Вначале, как и обычно, дается общий план: «...он сидел неподалеку от озера в гуще лиан, которые так тесно сплелись друг с другом, что казалось, сплошь состоят из цветов, пчел, кукушек и попугаев, и которые были так прекрасны, что казалось, именно здесь родилась весна»).

Затем следует блок из шести аланкар виродхабаса: «Хотя он не двигался с места, но далеко ушел от верности долгу (букв.: «но двигался от своего <обычного> поведения» — svavṛttācalitam); хотя он был в одиночестве, но имел спутником бога любви (или: «был одержим любовью» — manmathādhīṣṭhitam); хотя и пылал страстью (или: «был красен» — sānurāgam), но был бледен; хотя и пусто было его сердце, но в нем жила его любимая...» и т. д.

А в заключение — длинная череда утпрекш и упам, рисующих, как и всегда в «Кадамбари», внешний вид и черты поведения героя, но в данном случае в постоянном соотношении с охватившим Пундарику чувством скорби от разлуки: «...От его глубоких вздохов на ближайших лианах трепетали красные, как его губы, лепестки цветов, и казалось, что с этими вздохами вверх вздымается пламя любви, пожирающее его сердце. От зеркала ногтей на его левой руке, которой он подпирает щеку, падали светлые блики на лоб, и казалось, что это светится тилака, нанесенная сандаловой мазью<...> От лихорадки любовной страсти у него на коже поднялись все волосы, и казалось, что тысячи

шипов цветочных стрел Камы поразили каждую пору его тела<...> Он был бледен, как луна на рассвете, высох, как русло Ганги летом, скрючился, как сандаловая ветка в огне<...> Он выглядел как одержимый злым духом, как попавший под власть могучего демона, как родившийся под несчастливой звездой, как безумец или страдалец, как глухой, слепой или немой. Разум его покинул, сам он как бы растворился в любви и страсти, и прежний его облик стал неузнаваем».

Опираются на общепринятую в «Кадамбари» модель и описания времени года и суток, в том числе и описания лунного вечера, о которых мы говорили как особой приметой романа, связанной с его мифологическим фоном. Эти описания также разбиваются на несколько тематическо-изобразительных блоков, но с особым подбором устойчивых мотивов и предпочтением определенных грамматических конструкций.

Типично в этом отношении изображение вечера в отшельнической обители Джабали (с. 72—74), последовательно репрезентирующее три темы: захода солнца, вечерней зари и сумерек и, наконец, восхода луны.

Первая тема раскрыта блоком из семи утпрекш и упам: «Солнце в небе словно бы пропиталось красным сандалом, который отшельники принесли ему в дар, совершая предписанные после омовения жертвы<...> Оно спустилось с неба, подобрав красные, как лапки голубя, ногилучи, словно бы опасаясь коснуться подымающегося вверх созвездия Большой Медведицы.

В сиянии пунцовых лучей оно отразилось в Западном океане и стало похоже на лотос, что растет из пупа возлежащего на водах Вишну и источает струю золотистого меда<...> И едва сияющее тысячью лучей благое солнце зашло, занялась алая заря, как если бы из глубин Западного океана поднялось коралловое дерево».

Вторая тема также реализована семью утпрекшами, за которыми следует аланкара вишешокти («выражение исключительности»): «Вечерняя заря, подкрашенная светом вспыхнувших звезд, казалась коровой с красными глазами, которая долго где-то бродила, а теперь вернулась в стойло<...> Когда солнце опустилось в Западный океан, сонмы звезд, будто брызги при всплеске волн, усеяли небо<...> А спустя какое-то время и заря погасла, как если бы, совершая вечерний обряд, отшельники смыли ее пригоршнями воды». И в заключение — вишешокти: «Все вокруг, кроме сердец подвижников, сделалось черным».

Наконец, третья тема — восхода луны и лунного сияния — развита особенно подробно с помощью серии шлеш-упам весьма сложной конструкции: «...вскоре, узнав, что солнце зашло, месяц залил своим светом небо, и оно стало похожим на лесную обитель бессмертных богов: полоска тьмы на краю неба казалась рощей деревьев тамала, созвездие Семи Риши — семью божественными мудрецами, звезда Арундхати — праведной женой Васиштхи (тоже Арундхати.— П. Г.), созвездия Ашадха и Мула — отшельническим посохом (aṣāḍha) и

целебным корнем (mūla), яркие звезды Козе-рога — сверкающими глазами ручной лани. Как белая Ганга падает с головы Шивы, украшенной луной и черепами, и вливается в океан, так лунный свет, белый, как оперенье гуся, падал с неба, украшенного луной и черепками звезд, и полнил океан волной прилива. На озере-луне, белом от расцветших лотосов, показалась лань, словно бы пришедшая попить воды — лунного света и неподвижно застывшая в трясине амриты<...> С серпа луны исчезли розовые краски восхода, и она стала похожа на лобный бугор слона Айраваты, с которого водами небесной Ганги смывает красный сурик».

Примечательно, что вслед за приведенным описанием следует в качестве перехода к новому эпизоду своего рода краткое его «резюме», заключенное в конструкцию *locativus absolutus*, переданную в переводе придаточными предложениями времени: «И вот, когда благой месяц постепенно поднялся высоко в небо, когда мир просветлел от блеска луны, будто припудренный белой пудрой, когда задул — как бывает в начале ночи — тяжелый от капель вечерней росы ветерок<...> Харита... в сопровождении других отшельников пошел к отцу» (с. 74). Примечательно потому, что именно эта конструкция (*locativus absolutus*) доминирует, иногда разрастаясь на несколько страниц текста, в большинстве описаний времен года и суток в романе, например, при описаниях утра (с. 40—42, 309), месяца мадху (с. 208—209), лунного вечера (с. 148—149, 227, 239—240, 243—244, 262—263,

265—266, 305—306), являясь как бы грамматической их приметой.

Так, описание вечера, в который Кадамбари и Чандрапида любят друг другом — она с крыши дворца, а он с искусственной горки в парке,— начинается сразу с периода в *locativus absolutus*: «Затем, когда диск благого солнца, владыки жизни растений, верховного правителя трех миров, стал багровым, как если бы сердце его запыхало страстью к лотосам; когда понемногу заалел небосвод, словно бы от женских взглядов, разгоревшихся в гневе на замешкавшийся день; когда солнце с семью конями его колесницы, зелеными, как голуби харита, утратило свой блеск<...> когда мало-помалу скрылось из виду благое солнце и его лучи вспыхнули в последний раз, словно бы в надежде на новое свидание с красотой дня; когда мир смертных пронизало сияние вечерней зари, словно бы прихлынул океан страсти, переполнившей сердце Кадамбари; когда разостлалась повсюду тьма, черная, как молодые деревья тамала, и, словно дым от тысяч сердец, сожженных в пламени бога любви, вызвала слезы на глазах женщин<...> когда наступило то время суток, которое делает все вокруг недоступным зрению,— тогда Кадамбари спустилась с крыши дворца, а Чандрапида — с вершины искусственной горки» (с. 305).

А описание луны вынесено уже в следующий период-предложение, в котором объекту описания («...взошел благой месяц») предшествуют шесть утпрекш: «Он словно бы очистил от гнева

потемневшие лики божеств сторон света... пощадил, обойдя стороной дневные лотосы, оцепеневшие от страха при его приближении... нес в виде пятна на груди ночь — свою возлюбленную... светился розовым светом, словно бы к нему пристал лак с ноги его жены Рохини... шел на свидание с небесной твердью, закутавшейся в темные одежды. Он, сам влюбленный, словно бы хотел поделиться своей любовью-милостью со всем миром» (с. 306).

Это описание достаточно наглядно демонстрирует принцип единства и одновременно вариативности, характерный для описаний «Кадамбари»: та же, что и в других изображениях вечера, последовательность развития темы (заход солнца, появление вечерней зари, ночная мгла, восход луны), но иная группировка мотивов и аланкар, новая синтаксическая организация. И теперь мы имеем возможность очертить основные структурные особенности описаний «Кадамбари» самого разного рода.

Основной единицей описания является большой период-предложение с личной формой глагола-сказуемого в его конце и с развернутыми определительными конструкциями (которые в переводе часто приходится передавать самостоятельными предложениями) к субъекту или объекту глагола на всем протяжении периода. По сути дела, такой период (а также некоторые частные конструкции) представляет собой расширенный вариант риторической фигуры дипаки (букв. «светильник»), в которой, по определению санскритской поэтики, к

одному слову относятся несколько однородных предикатов, так что слово «обслуживает все высказывание» [КД II. 97]. Иногда такой период синтаксически модифицируется, и однородные предикаты, которые и содержат собственно описание, выступают в виде конструкции *locativus absolutus* (в переводе — придаточных предложений времени). Иногда структура периода меняется более радикально, и он состоит из серии независимых предложений, построенных, однако, как правило, единообразно. Каждое описание персонажа, явления или события в «Кадамбари» может включать в себя все три вида периодов либо быть ограниченным двумя или одним из них.

В свою очередь, каждый период распадается на отдельные блоки высказываний, объединенные синтаксически, тематически и — не в последнюю очередь — однотипными или, по крайней мере, сходными группами аланкар. Подобного рода блоки мы многократно выделяли в рассмотренных нами описаниях. Для наглядности, разделив его построчно на синтагмы, приведем хотя бы один краткий пример (из описания дворцового парка Тарапиды) на языке оригинала:

sa-jaladhara-nātham-iva kṛṣṇāguru-dhūma-paṭalaiḥ,
 sa-nīhāram-iva yāmaruñjara-ghaṭā-nara-śīkaraiḥ,
 sa-nīśam-iva tamāla-vīthika-andhakāraiḥ,
 sa-bālātapam-iva raktāśokaiḥ,
 sa-tārā-gaṇam-iva muktā-kalāpaiḥ,
 sa-varṣā-samayam-iva dhāra-grhaiḥ,

sa-taḍil-latam-iva hemamayībhīr-mayūra-yaṣṭibhiḥ,
sa-gr̥ha-daivatam-iva śāla-bhañjikābhiḥ [Kag., с. 311—312].¹

Блок состоит из однотипных утпрекш (всего их одиннадцать), сопоставляющих дворцовый парк с теми или иными природными явлениями (грозовыми тучами, туманом, ночью, утренним солнцем и т. д.), и все они синтаксически изоморфны, одинаково выстроены: предлог *sa* («с») + винительный падеж объекта сравнения + сравнительное слово *iva* («как бы») + сложное слово в инструментальном падеже множественного числа, являющееся основанием сравнения.

В том же описании дворцового парка вслед за блоком утпрекш следует новый блок уже из пятидесяти двух шлеш-упам (с. ~ 137—140), тоже единообразно построенных: винительный падеж единственного числа объекта сравнения + *iva* + винительный падеж сложного слова, имеющего два значения, соответственно относящихся к субъекту и объекту сравнения. Вот несколько этих шлеш-упам в букваль-

¹ Буквальный перевод: «<Он был> как бы заслан грозовыми тучами из-за черных клубов дыма <от возжиганий> алоэ; как бы окутан туманом из-за струй воды из хоботов сторожевых слонов; как бы <прикрыт> покровом ночи из-за непроглядных зарослей деревьев тамала; как бы озарен утренним солнцем из-за красных деревьев ашока; как бы усеян звездами из-за жемчужных украшений; как бы <попал> в разгар сезона дождей из-за бьющих фонтанов; как бы изветвлен молниями из-за золотых жердей с павлинами; как бы населен домашними божествами из-за резных деревянных статуй...» (ср. перевод на с. 136—137).

ном переводе: «<Он вошел> в парк, словно пьеса, украшенный флагами и вымпелами (или: украшенный сценами и эпизодами); словно пурана, усыпанный во всех пределах сокровищами, свезенными со всех земель (или: описывающая круг земель, согласно установленным им всем пределам) <...> словно лес рук Шивы, весь в двориках, заполненных тысячами любителей удовольствий (или: с плечами, увитыми кольцами тысяч больших змей) <...> словно океан, давший приют тысячам дружественных царей, ищущих здесь защиты <от врагов> (или: давший приют тысячам крылатых гор, ищущих защиты <от Индры>)...» и т. д.

Единообразие строения периодов и блоков часто подчеркнуто в «Кадамбари» использованием анафоры, в качестве которой обычно выступают наречия, сравнительные слова, относительные местоимения и т. п. Так, к уже приведенным примерам добавим описание города Удджайини (с. ~ 79—81), каждое предложение которого начинается с местного падежа местоимения *yad* — *yasyām* (переведено: «В этом городе...»): «В этом городе солнце совершает поклонение Шиве <...> В этом городе солнечные лучи сверкают разными красками... В этом городе блеск женских украшений перекрашивает мглу ночи в золотистый цвет утренней зари... В этом городе месяц словно бы спускается с неба...» и т. д.; или одно из описаний Кадамбари (с. 304), в котором двенадцать утпрекш подряд

начинаются с наречия *mihur* («то... то»): Кадамбари «то казалась словно бы нарисованной... то словно бы окликала его жужжанием пчел... то словно бы приглашала его в объятия... то словно бы кланялась ему...» и т. д.

В устойчивую схему периода вносят разнообразие вставленные посреди него частные описания с собственной синтаксической организацией. Так, мы уже говорили, что среди описания леса Виндхья имеется группа из пятнадцати высказываний, описывающих отдельные участки этого леса, каждое из которых введено наречием «кое-где» (*kvacit*) (с. 31—32). Сходным образом в пространное описание предводителя войска горцев, заключенное в грамматическую рамку: «Посреди этого могучего войска... я увидел юного вождя» (с. 46—49) — ~ вставлено частное описание отдельных групп воинов, объединенное анафорой «некоторые» (*kaiścīti*): «Некоторые несли слоновьи бивни и хвосты молодых яков; некоторые — лукошки, сплошь выложенные листьями и полные меда; некоторые, будто львы, несли жемчуг, добытый из лобных бугров слона; некоторые, будто пишачи, — куски сырого мяса; некоторые, будто слуги Шивы, — львиные шкуры; некоторые, будто джайны-аскеты, — павлиньи перья; некоторые, будто подростки с черными, как у ворона, волосами, — вороньи крылья; некоторые, будто Кришна, вырвавший бивень из глотки Кувалаа-пиды, — слоновьи бивни; а некоторые, будто небо в дождливый день, были одеты в платье

цвета дождевой тучи» (с. 48)¹. Также и упомянутое нами многостраничное описание парка царя Тарапиды разнообразят частные описания слона Гандхамаданы (с. 132—133), животных и людей, населяющих парк (с. 133—135), гарема и женщин, живущих в гареме (с. 135—137), — все внутри одного синтаксического периода, но каждое выделено особой конструкцией или особой аланкарой.

В качестве частных описаний можно рассматривать и прямую речь (реплики) описываемых персонажей. Мы приводили в этой связи восклицания горожанок, любующихся Чандрапидой при его въезде в город. Сходный пример — болтовня служанок, вставленная в описание дворца Кадамбари (с. 273—275). Но и здесь соблюдается принцип вариативности. Если восклицания горожанок разбиты на три блока, соответственно вводимые описательными обращениями («Торопливая», «Спятившая с ума», «Ослепленная любовью» и т. п.), указательными местоимениями (в переводе: «Смотри!»), словом «Счастлива», то первые двадцать реплик служанок начинаются со звательного падежа имени собственного (значение или звучание которого часто переплетаются со смыслом последующего высказывания): «Лавалика, посыпь пылью цветов кетакки канавку вокруг лианы лавали <...> Раджаника (букв. «лунная»), отнеси драгоценный светильник в темную аллею деревьев

¹ Все сравнения в санскритском оригинале здесь заключают в себе игру слов — шлешу.

тамала <...> Камалиника (букв. «лотосовая»), дай отведать птенцам чакравак молочного сока корней лотоса...» и т. д.; а последние шесть — с обращения, связанного с описываемой ситуацией: «Эй ты, способная насмешить любого! Ты разговариваешь с собственным отражением в зеркальной стене», «Эй ты, чье платье треплет ветер! Тебя подводит твоя рука, и вместо платья ты ловишь блеск своего ожерелья» <...> «Эй ты, выронившая из уставшей руки опахало! Теперь тебя обвевают одни только лучи света от твоих же ногтей и перстней...» и т. д.

В свою очередь, особым образом организован блок восклицаний охотников, входящий в описание охоты в лесу Виндхья (с. 43—44). Первые девятнадцать восклицаний объединяет анафора «вот!», а заключительные восемь — повелительное наклонение глагола: «Вот душистые лотосы, поломанные на бегу большими слонами! <...> Вот остатки муравейника, разоренного твердыми, как алмаз, рогами буйвола! <...> Вот похожая на женскую косу лесная тропинка, которую проложил и оросил мускусом отбившийся от стада слон!..» И: «Отрежь дорогу этим буйволам! <...> Лезь на верхушку дерева! Спускай собак!»

Сохраняя верность общей структурной модели, описания «Кадамбари» варьируются — тематически однородные часто попарно — по объему и полноте. Одни занимают многие страницы санскритского текста, другие сводятся к краткой характеристике. Таковы, например, пространное описание обители Джабали

(с. 59—63) и краткое — обители Агастья (с. 32—33), подробное — столицы Тарапиды Удджайини (с. 75—81) и состоящее из нескольких определений столицы Шудраки Видиши (с. 10—11); длинное и краткое описание леса (с. 29—32 и 332—333), утра (с. 40—42 и 309) и др.

Один и тот же персонаж или одно и то же явление могут описываться в целом, а могут частично, иногда однократно (см. описания Шудраки и Тарапиды), а иногда по несколько раз (см. описания Кадамбари, лунного вечера и т. д.). Наконец, как мы уже говорили, описание может быть многоаспектным и одноаспектным, и цитировали в этой связи два описания Кадамбари: одно, рисующее ее внешность, манеры и поведение в целом (с. 276—282), и другое, каждая деталь которого призвана оттенить владеющую героиней любовную страсть (с. 323—325). Очевидно одноаспектно описание Махашветы (с. 194—200), проникнутое идеей белизны/чистоты ее одежды, тела, поведения, помыслов. Характерно, что в нем доминирует, так сказать, зрительная сторона восприятия, так же как, например, в описании города Удджайини: «В этом городе солнечные лучи сверкают разными красками: падают на украшенный мозаикой из драгоценных камней пол — и становятся розовыми, как свет зари; на террасы из изумруда — и выглядят темными лотосами; на дорожки из лазурита — и кажутся как бы рассеянными по небесной тверди; на черные клубы дыма от возжиганий алоэ — и словно бы прореживают

тьму; на изделия из жемчуга — и словно бы соревнуются в блеске со звездами; на лица широкобедрых женщин — и словно бы целуют распутившиеся лотосы; на хрустальные стены — и словно бы смешиваются с лунным сиянием; на белые полотнища знамен — и словно бы купаются в небесной Ганге; на желтый, как солнце, песок — и словно бы глядятся в зеркало; на окна из сапфира — и словно бы попадают в темную пасть демона Раху. В этом городе яркий блеск женских украшений перекрашивает мглу ночи в золотистый цвет утренней зари, и, обманутые этим блеском, уже не разлучаются пары чакравак, а любовники не зажигают светильников: им кажется, что от пламени их любви полыхает сам воздух...» и т. д. (с. 79—80).

Наряду со зрительными для «Кадамбари» характерны и акустические описания. Так, преимущественно в слуховом восприятии изображены сцены охоты (с. 42—45), движения войска Чандрапиды (с. 173—174) или, например, ухода царя Шудраки из Приемного зала: «Приемный зал был оглушен и словно бы приведен в смятение звяканьем золотых браслетов на ногах прислужниц... похожим на бормотание старых гусей, опьяневших от меда лотосов; сладостным перезвоном драгоценных поясков, которые скользили по бедрам снующих туда и сюда дворцовых куртизанок; гоготом гусей, которые... привлеченные бречением ножных браслетов, устремились вверх по лестнице, ведущей в зал <...>; криками домашних цапель... еще более

гулками и тягучими, чем удары медного колокола; топотом ног сотен вассальных царей... от которого дрожала земля, будто от раскатов грома; возгласами: „Осторожно! Поберегись!“, ...звучащими еще громче и протяжней, оттого что им вторили эхом своды царского дворца; скрипом драгоценного пола, по которому елозили короны склонившихся долу царей, царапая его своими зубцами, унизированными алмазами; бряцанием драгоценных серег, которые с грохотом рассыпались по твердому полу <...> гулом восхвалений придворных певцов; <...> жужжанием пчел, которые в испуге от шарканья тысяч ног взлетали с разбросанных по залу цветов; звоном жемчужных нитей на драгоценных колоннах, когда их задевали браслетами суетливо теснящиеся цари» (с. 22—23).

Все описания «Кадамбари» искусно интегрированы в композиции романа. Отдельный блок описания тематически и изобразительно связан с периодом, период — с описанием в целом, описание — с соответствующим нарративным эпизодом. Но наряду с принципом интеграции в композиции романа достаточно строго выдерживается и принцип чередования описаний, смены их разновидностей. Так, рассказ попугая начинается с описания *леса* Виндхья (с. 29—32), далее подряд идут описания *мудреца* Агастья (с. 32—33), его *обители* (с. 33—34), *озера* Пампы (с. 35—37), *деревя* шалмали (с. 37—38) и живущих на нем *попугаев* (с. 38—39). Здесь серия описаний ненадолго прерывается нарративным эпизодом — рассказом попугая о своем детстве

(с. 39—40), а затем — новая череда разнотипных описаний: *утра* в лесу (с. 40—42), *охоты* (с. 42—45), *войска* горцев (с. 45) и его *предводителя* (с. 46—49). Снова сравнительно большой повествовательный эпизод (гибель попугаев и случайное спасение попугая-рассказчика), перемежающийся, правда, несколькими частными описаниями: старого горца, убитых попугаев, отчаяния спасшегося птенца (с. 50—54). А завершают рассказ попугая описания *молодого аскета* Хариты (с. 55—58), *обители* Джабали (с. 59—63), самого *Джабали* (с. 63—66) и *лунного вечера* в обители (с. 72—74), после чего Джабали начинает свое повествование о прошлом рождении птенца попугая, составляющее основное содержание романа. Как мы видим, в рассмотренной нами части «Кадамбари» (с. 29—75) однотипные описания (двух обителей, двух великих подвижников — Агастья и Джабали, двух юношей — вождя горцев и Хариты, двух времен суток — утра и вечера) нарочито разведены в повествовании, всякий раз по-разному построены (полное и краткое, целостное и расчлененное и т. п.), контрастны в отношении друг друга (горец и аскет, утро и вечер). Нарративные эпизоды внутри этой части немногочисленны, коротки и если не полностью слиты с тем или иным описанием, то разделены особыми «интерлюдиями» (тоже, впрочем, описательного характера): тремя монологами рассказчика-попугая о горькой участи горцев (с. 49—50), о собственном несчастье (с. 54—55) и о величии Джабали (с. 66—70).

Подобного рода чередования описаний друг с другом и с нарративными эпизодами характерны для романа в целом и создают его композиционный ритм. Единицей ритма является отдельное описание, и каждое из них, подчеркивая еще раз, отражая общую порождающую модель, всякий раз предлагает новый ее вариант, модифицирует ее в тематическом, синтаксическом и риторическом планах. Тем самым система описаний составляет конституирующий принцип «Кадамбари»; в их единстве и вариативности, повторяемости и различиях она организует роман как целостное произведение¹.

Доминирующая роль описаний — свойство не только «Кадамбари» и даже не столько санскритского романа, но вообще любого санскритского сочинения (и в прозе, и в поэзии) большой формы. Дандин в «Кавьядарше» настаивал на том, что махакавья должна быть украшена «описаниями городов, морей, гор, времен года, восходов луны и солнца, увеселений в парках и на воде, пирушек, любовных свиданий, разлук, свадеб, рождений сыновей, <царских> советов, походов <войска>, битв, а также успеха героя» [КД I.16—18]. В этом отношении Бана — один из наиболее ярких и искусных выразителей индийской поэтической традиции, пусть он и

¹ С. К. Де справедливо замечает: «Бана изумительно владеет словом и одарен страстной склонностью к мелодичным и величественным оборотам речи; и все-таки он не столько творец слов и оборотов, сколько архитектор предложений и периодов» (*Dasqupta*, De. Op. cit. P. 238).

предлагает свою стилистическую интерпретацию ее, специфичную именно для его творчества. И поэтому, когда А. Вебер сетовал, что сквозь «джунгли» описаний «Кадамбари» читателю трудно пробиться к «тропинке» сюжета, он хотя и прав, но прав по чуждым для санскритской литературы критериям. Во-первых, «джунгли» эти не хаотичны, а умело и нарочито выстроены, а во-вторых, с ними, а не с «тропинкой» сюжета ассоциированы основные ценности романа Баны.

*

Наш анализ описаний в «Кадамбари» наглядно показал, что неперменным условием и средством каждого описания было широкое использование поэтических фигур — аланкар, объединенных, как правило, в тематические и синтаксические блоки. В последовательности блоков аланкар есть своя закономерность. Обычно в начале периода находится блок сравнений — упам, далее — олицетворений — утпрекш (или утпрекш, перемежающихся с упами), а в заключение — аланкары, основанные на игре слов — шлеше. Вместе с тем схема эта достаточно вариативна: иногда блок аланкар со шлешей передвигается в середину периода, иногда между блоками или в качестве самостоятельных блоков вводятся иные аланкары или даже «естественные» (т. е. неукрашенные) описания — свабхавокти (впрочем, в санскритской поэтике свабхавокти входит в систему аланкар), иногда смысловые аланкары (т. е. фигуры, свя-

занные со значением слова) сменяются звуковыми (т. е. связанными со звучанием), чередуются и сочетаются с ними.

Как описания в целом, так и предельная насыщенность их аланкарами не составляют исключительную особенность романа Баны, поскольку аланкары-«украшения» рассматривались в индийской традиции как качества, создающие красоту поэзии¹. Но Бане и здесь принадлежит особое место, так как, являясь одним из самых выдающихся мастеров украшенного стиля, он в полной мере и сообразно собственному вкусу принцип украшенности перенес с поэзии на санскритскую прозу. Во вступительных стихах к «Кадамбари», имеющих отчасти программный характер, он писал: «Кого не восхищают катхи, полные превосходных описаний, составленные из прекрасных дипак, упам и новых по значению слов, изобилующие многими шлешами, <катхи, подобные большим венкам, составленным из цветов чампаки и превосходного жасмина, плотно сплетенным, похожим на прекрасные светильники>» (строфа 9)².

Упама (сравнение), дипака (светильник), шлеша (игра слов) — действительно излюбленные аланкары Баны. Кроме того, мы не раз упоминали такие часто встречающиеся в «Кадам-

¹ См. подробно: Гринцер. Основные категории... С. 15 и сл., 56 и сл., 134 и сл. и др.

² Строфа, построенная на шлеше, дается здесь в буквальном переводе.

бари» смысловые фигуры, как утпрекша (олицетворение, нереальное предположение), рупака (уподобление, метафора), особые виды шлеши (шлеша-упама, ниямават-шлеша, или парасанкхья, виродхабхаса), вьяджокти (предлог), атишайокти (преувеличение), вьятирека (различение), виродха (противоречие), читра (картинка), бхрантимат (заблуждение), вишешокти (описание исключительности) и др.

Приведем примеры еще нескольких смысловых аланкар, характерных для «Кадамбари»:

артхантараньяса («подтверждение» примером какой-либо сентенции): «Высокий род и ученость сами по себе не предохраняют от дурных склонностей. Разве пламя не жжет, если горит сандаловое дерево? Или огонь Вадава разве не пожирает вод океана?..» (с. 157);

нидаршана («указание», сведение абстрактного высказывания к конкретному образу): «По истине, глуп тот, кто мечтает о благе, предаваясь чувственным наслаждениям: ...<он> хватается за меч, принимая его за гирлянду синих лотосов; гладит черную змею, полагая, что это струя дыма от возжиганий алоэ; берет в руки пылающий уголь, воображая, что взял драгоценный камень; пытается вырвать бивень у дикого слона, убежденный, что срывает стебель лотоса» (с. 234);

сахокти («совместное описание», приписывание разнородным объектам однородных свойств): «Расцвела его (Чандрапиды.— П. Г.) красота и расширилась грудь, исполнились ожидания родичей и наполнились силой руки, исто-

щились надежды врагов и утончилась талия, разрослась его щедрость и раздалися бедра, удвоилось мужество и удлинились волосы, поникли жены его недругов и низко свесились руки, чистым стал его нрав и светлым взгляд...» (с. 116);

авритти («повтор», фигура, представленная в «Кадамбари» рядами синонимических высказываний): «Что же теперь делать, на что направить усилия, куда бежать, в чем спасение, где искать поддержки, кто придет на выручку, чем можно ему (Пундарике.— П. Г.) помочь, как найти лекарство или убежище, которые бы сохранили ему жизнь? Каким умением, каким способом, каким путем, каким советом, какой мудростью, каким утешением можно убедить его жить?» (с. 237).

Наряду со смысловыми Бана многие страницы своего романа насыщает звуковыми фигурами: аллитерациями, повторами слогов и слов и т. д., которые в списке санскритских аланкар называются *анупрасой* и *ямакой*. Поскольку иллюстрировать примеры звукописи можно лишь на языке оригинала, приведем лишь один — из плача Махашветы над телом Пундарики: *pūraya me manorathamārtāsmi bhaktāsmyanuraktāsmyanāthāsmi bālāsmiyagatikāsmi duḥkhitāsmyananyaśaraṇāsmi madanaparibhūtāsmi... alīkānurāgapratāraṇakulaśayā kiṃ vā vāmayā pāpayā yāhamadyāpi prāṇimi... ayi daiva darśaya dayāṃ vijñāpayāmi tvāṃ dehi dayitadakṣiṇām bhagavāti bhavitavyate kuru kṛpām pāhi vanitāmanāt-*

hām bhagavatyo vanadevatā prasīdata prayacchatā-sya prāṇān¹ [Кад., с. 545—546].

Санскритская поэтика насчитывает в общей сложности более ста фигур, различающихся весьма тонкими и не всегда уловимыми оттенками значения. С точки зрения европейской поэтики, эта классификация кажется избыточной, и большинство смысловых аланкар в санскритских текстах и, в частности, в «Кадамбари» воспринимаются нами как разновидности сравнения или метафоры. Собственно говоря, и санскритские теоретики признавали сравнение главной из аланкар и считали, что к нему восходит большинство украшений [КАС III. 2. 17, с. 48, 56; АБх. II, с. 321; СД, с. 651 и др.]. В частности, к аланкарам, основанным на сходстве и восходящим к упаме, относились обычно рупака, утпрекша, дипака, авритти, артхантараньяса, вьятирека, почти все виды шлеши и многие другие фигуры. Поэтому именно на примере упамы и близких к ней фигур удобнее всего рассмотреть некоторые особенности использования аланкар у Баны и в целом особенности стилистики «Кадамбари».

¹ «...не откажи мне в этой просьбе! Я несчастна, я верна тебе, я люблю тебя, я беспомощна, я дитя еще и не знаю, что делать, я в отчаянии, я не имею убежища, я погублена богом любви <...> Или тебе нет дела до меня, негодной, лживой, лишь притворяющейся влюбленной? <...> О судьба, молю тебя, окажи мне милость: верни мне любимого! Снизойди ко мне, владычица, защити беззащитную женщину! Вы, благие лесные божества, будьте великодушны: возвратите ему жизнь!» (с. 250—251).

Сравнения в романе обычно прямо выражены, указывают субъект и объект сравнения и общие их свойства. Но есть (и в достаточно большом количестве) сравнения скрытые, требующие догадки, домысливания со стороны читателя. Так, в санскритской поэзии общепринято сравнение месяца и ночи с возлюбленным и возлюбленной. В той же «Кадамбари» однажды мы, например, читаем: «Он (месяц.— П. Г.) словно бы нес в виде пятна на груди ночь — свою возлюбленную» (с. 306). Но в другом месте говорится: «Понемногу волны лунного света осветили лицо ночи, как если бы при виде месяца она раскрыла в нежной улыбке уста и озарила себя блеском своих зубов» (с. 241). Здесь уже сравнение ночи с возлюбленной месяца выражено имплицитно, хотя оно и составляет конечный смысл высказывания и основание для заключенного в нем олицетворения природного явления. Такого рода сравнения принадлежат к высоко чтимой в индийской традиции сфере дхвани (поэзии со скрытым смыслом), в которой многие теоретики, начиная с Анандавардханы, видели «душу поэзии»¹.

В «Кадамбари» встречаются одиночные сравнения, но гораздо чаще они соединяются в более или менее длинные цепочки, такие, как, например, цепочка сравнений-метафор в описании богини царской славы Лакшми: «...она болотная заводь, взращивающая ядовитые лианы желаний, охотничья дудка, заманиваю-

¹ См.: Гринцер. Основные категории... С. 203—268.

щая ланей чувств в силки, облако дыма, пятнающее алтарь добродетели, мягкое ложе для долгого сна заблуждений, верное убежище для пищачей гордыни, слепота, поражающая глаза закона, знамя войска нечестивых, река, полная крокодилов гнева, вино на разнузданном пиршестве похоти, музыка для танца высокомерия, нора для змей алчности, палка, бьющая по благоразумию, засуха для посевов добронравия, плодородная почва для чертополоха нетерпимости, пролог к драме злодеяний, вымпел на слоне страсти, плаха для добрых помыслов, пасть Раху для луны долга» (с. 161).

Еще чаще эти цепочки выстраиваются с помощью союза «или» (vā): «Дворец <...> казался особой планетой, населенной одними женщинами, или новым — но без мужчин — творением Брахмы, или никем дотоле не виданным женским островом, или воплощением пятой, женской, юги, или чудесным изделием Праджапати, возненавидевшего мужчин, или необъятным хранилищем женщин, способным в течение многих калъп восполнять в них нужду» (с. 271).

Тематически большинство сравнений в «Кадамбари» связано с природными явлениями, реальными или воображаемыми вещными объектами, но также значительная их часть почерпнута из индуистской мифологии.

Иногда достаточно краткой отсылки к мифологическому персонажу и какому-нибудь его атрибуту: «Как Вишну, он (Шудрака.— П. Г.) был отмечен знаками раковины и диска; как Шива, победил бога любви; как Сканда, владел

неудержимым копьем; как рожденный из лотоса Брахма, царил над озером белых гусей-государей; как Океан, хранил несметные сокровища; как поток Ганги, следовал благочестивым путем Бхагиратхи; как Солнце, сиял каждый день; как Меру, укрывал в своей тени все живое; как Слон, покровитель сторон света, расточал своей рукой-хоботом бесчисленные дары» (с. 8).

Иногда отсылка более пространна и касается не столько персонажа, сколько того или иного мифологического сюжета: «Она (Махашвета.— П. Г.) выглядела олицетворением жертвоприношения Дакши, которым тот хотел умиловить Шиву, дабы не быть схваченным за волосы его слугами; или воплощением Рати, которая взяла на себя обет почитания Хары ради воскрешения Маданы; или богиней Молочного океана, которая по праву давней дружбы пришла взглянуть на месяц, венчающий голову Шивы...» и т. д. (с. 195).

Особое место среди сравнений «Кадамбари» занимают так называемые «ученые» сравнения. Согласно требованиям санскритской поэтики хороший поэт должен обладать тремя качествами: воображением, или талантом (пратибха, шакти), практическим навыком (абхьяса, абхихьяга) и ученостью, культурой (вьютпатти, шрута). В понятие учености обычно входят знания грамматики, философии, науки политики, различных искусств, поэтики и т. п. Санскритский поэт склонен в своих сочинениях демонстрировать свою ученость, и Бана не является здесь исключением. Делает он это разными спо-

собами. Иногда достаточно прямо (см. рассуждения Шуканасы о сущности царской власти, многочисленные мифологические аллюзии и т. п.), иногда более изысканно: выбирая, в частности, в качестве объектов сравнения «ученые» или абстрактные понятия и оправдывая их неожиданное появление искусной игрой слов.

Таковы парадоксальное сравнение молодого вождя войска горцев с музыкальной гаммой: «Как музыкальную гамму, его сопровождала нота нишада»¹, оправданное тем, что второе значение: «...его сопровождало племя нишадов»;² сравнение озера Аччходы с силлогизмом: «Подобно неверной посылке силлогизма, оно не имело примера»³ (или: «...оно было необозримо»);⁴ сравнения дворцового парка Тарапиды с пьесой: «Подобно пьесе, он был украшен эпизодами и актами»⁵ (или: «...он был украшен полотнищами флагов»)⁶, с грамматикой: «Подобно грамматике, он славился различными правилами, касающимися разделения на первое, второе и третье лицо, склонения имен, управления

¹ Нишада (niṣāda) — последняя нота в индийской музыкальной гамме.

² gītakalavinyāsamiva niṣādānugatam (это и последующие сравнения из-за игры слов даются в буквальном переводе) [Кад., с. 108].

³ Пятичленный индийский силлогизм включает в себя поясняющий пример (удахарана, или дриштанта).

⁴ asatsādhanamivādṛṣṭāntam [Кад., с. 430].

⁵ Санскритская теория драмы предусматривала в каждой пьесе наличие определенного числа эпизодов (патака) и актов (анка).

⁶ nāṭakamiva prakāṣapataṅkāṅkaśobhitam [Кад., с. 313].

глаголов, падежей, флексий и неизменяемых частей слова» (или: «...он славился многообразием трат, связанных с раздачей даров среди людей достойных, средних и лучших многочисленными назначенными для этого чиновниками»)¹, с астрономией: «Подобно астрономии, ему были ведомы фазы луны, затмения и выходы из затмений планет» (или: «...ему были ведомы разные искусства, пленение и освобождение (недругов.— П. Г.)»;²сравнения жителей города Удджайини одновременно с учением Будды: «...они ревностно чтили учение сарвастивады» (или: «с готовностью отвечали „да“ всем <просителям>»)³, с философской доктриной санкхьи: «... они признавали прадхану и пурушу»⁴ (или: «...они имели выдающихся мужей»)⁵, с религией джайнов: «Подобно учению Джины, они сострадали всему живому»)⁶.

При всем разнообразии, многоаспектности, а иногда и вычурности подбираемых Баной сравнений, в большинстве своем, соединяясь в цепочки, они призваны иллюстрировать, выделять ведущую тему, идею, мотив, связанные с тем или иным конкретным персонажем или

¹ vyākaraṇamiva prathamamadhyamottamapurūṣavibhakti-sthitānekādeśakāraṁkākhyaṭasampradānakriyāvyaaprapāṇcasu-sthitam [Кад., с. 314].

² jyōtisamiva grahamokṣakalābhāganipuṇam [Кад., с. 319].

³ buddheneva sarvāstivādaśūreṇa [Кад., с. 179].

⁴ Прадахна (первоматерия) и пуруша (дух) — основные принципы философии санкхьи.

⁵ sāṅkhyāgameneva pradhānapuruṣopetena [Кад., с. 179].

⁶ jīnadharmeneva jīvānukampinā [Кад., с. 179].

событием. Мы уже указывали, что в описании, например, Махашветы подчеркнута идея белизны, лучезарности, чистоты ее внешнего и внутреннего облика. Так же почти во всех сравнениях описания юного аскета Пундарики доминируют мотивы подвижничества, благочестия, мудрости: «Он был похож на Васанту, который... совершает аскезу; или на серп месяца... который предается покаянию, дабы стать полной луной; или же на Каму, который стал подвижником в надежде умиловить Трехглазого бога <...> На его лбу был нарисован золою священный знак, который выглядел как победоносный стяг добродетели <...> У него был большой и прямой нос, похожий на бамбуковый посох <...> Глубокая впадина его пупка казалась водоворотом, в котором бурлила река его учености <...> Дорожка волос на его животе казалась тропинкой, по которой убегают тьма невежества <...> Он казался драгоценным камнем обета безбрачия, цветком добродетели, воплощением прелести Сарасвати, желанным супругом мудрости, средоточием всех знаний» (с. 210—212).

В зависимости от характера персонажа меняется и окраска, тональность относящихся к нему сравнений. Так, старость аскета Джабали иллюстрируется сравнениями, оттеняющими величие его духа: «Его длинные, побелевшие от времени волосы вздымались вверх, словно знамя дхармы <...> Вся его шея была изрезана жилами, которые походили на натянутые вожжи, сдерживающие нетерпеливых коней

чувств. Сквозь его прозрачную кожу отчетливо проступало каждое ребро, и тело его было похоже на чистый поток Мандакини, который прорежают поднятые ветром белые волны <...> Его ноги и руки были покрыты сеткой набухших вен, которые походили на гибкие лианы, обвивающие Древо желаний...» и т. д. (с. 64—65). В то же время сравнения, описывающие старость невежественного аскета-дравида, встреченного Чандрапидой на пути в Удджайини, имеют совсем иной, уничижительный оттенок: «Тело его было покрыто густой сетью сосудов и вен, и казалось, что он сплошь покрыт ящерицами и хамелеонами, принявшими его по ошибке за обуглившийся древесный ствол. На его коже темнели рубцы нарывов и шрамов, и казалось, что неблагоприятная судьба вырвала с мясом все бывшие у него счастливые приметы <...> Многочисленные язвы, пылающие светильниками на его коже, казались отверстыми устами его немощи...» (с. 337, 340).

При всем мастерстве Баны в использовании сравнений европейскому читателю эти сравнения подчас кажутся не просто парадоксальными, но искусственными, не оправданными ни событийным контекстом, ни собственной внутренней логикой. Так, охваченный отчаянием Капинджала в своем грустном рассказе о страданиях друга Пундарики не упускает тем не менее возможности описать красоту весеннего леса: «...он (Пундарики.— П. Г.) сидел неподалеку от озера в гуще лиан, которые так тесно сплелись друг с другом, что казалось, сплошь состоят из

цветов, пчел, кукушек и попугаев, и которые были так прекрасны, что казалось, именно здесь родилась весна...» и т. д. (с. 230). Такого рода примеров немало. Однако кажется особенно удивительным, что Бана нанизывает сравнение за сравнением, словно бы не заботясь об их логической связи, выбирает для сравнений любые объекты, не обращая внимания на их совместимость. Можно еще согласиться с тем, что девушка-чандала сравнивается одновременно и с Владыкой Хари, и с куклой, сделанной из сапфиров, и с лужайкой синих лотосов, и с ночью, озаренной лучами луны, и с Парвати, принявшей облик горянки, и со Шри, прильнувшей к груди Нараяны, и с Рати, почерневшей от пепла Маданы, и с темным потоком реки Ямуны и т. д. (с. 17—18), ибо каждый раз основанием для сравнения служит темный цвет ее кожи; или что озеро Пампа сравнивается и с океаном, и с небом, и с пропастью и т. п. (с. 35) по признаку «необъятности», «неисчерпаемости». Но кажется неестественным, что царица Виласавати, поскольку у нее на шее висит жемчужная нить, подобна земле, по которой струится Ганга, но также и небу, на котором сияет луна, поскольку лицо ее отражается в зеркале (с. 143). Точно так же царица Кадамбари по самым разным признакам одновременно оказывается похожей на землю и на небо, на весенний месяц мадху и на осень, на рощу деревьев тамала и на Древо желаний, на утро и на вечерние сумерки (с. 281—282). А дворцовый парк Тарапиды кажется и окутанным темным туманом, и погру-

женным в ночь, и полным звезд, и озаренным утренним солнцем; сравнивается без какой бы то ни было последовательности с сезоном дождей, солнцем, морским приливом, слоном, источающим ливни мускуса, Шивой, увитым тысячью змей, океаном, вечером, водами Ганги, луной, весенним лесом, безоблачным утром, а также пьесой, пураной, «Бхагавадгитой», наукой грамматики, священной «Махабхаратой», книгой законов Нарады, астрономией, музыкальной залой, и т. д. и т. п. (с. 136—140).

В последнем случае противоречивость сравнений, вероятно, была оправдана в глазах Баны и его читателей использованием игры слов (шлеши), как та же шлеша, как мы видели несколько раньше, оправдывала сравнение жителей Удджайини, «прилежных в изучении вед» (с. 78), то есть, казалось бы, приверженцев брахманизма, с последователями Будды и Джины, то есть учений, несовместимых с брахманизмом. Однако и не прибегая к шлеше, Бана готов был сравнивать что угодно и с чем угодно, не заботясь о логической связи сравнений. Отсюда, например, в одном и том же описании пыль может быть уподоблена белому снегу, желтым цветам и черному покрывалу, темной ночи и хмурому дню, стягу победы и стаду слонов, подземному царству и океану, таким умозрительным понятиям, как темный сполох сознания земли, сон, прохлада и т. п.¹

¹ «...она была счастливым стягом победы, инеем, побившим лотосы враждебных династий, благовонной пудрой;

Подлинным объяснением нелогичности сравнений Баны служит то обстоятельство, что санскритская поэтика (в отличие, скажем, от поэтики античной) требовала не изобразительности описания и, в частности, сравнений, а выразительности. Сравнения Баны кажутся случайными и противоречивыми тогда, когда требуешь от них того, чему они не предназначены — правдоподобия и живописности. Бана же стремится сделать каждое сравнение, как и любую другую аланкару, убедительными поэтической логикой собственного строения, самодовлеюще ценными, а если соединяет их в серии, то добивается не пластического эффекта, не целостности зрительного впечатления, а прежде всего эмоционального воздействия.

Выражение эмоции — расы, которому санскритская поэтика уделяла первостепенное значение, в «Кадамбари» становится функцией описаний, состоящих в основном из аланкар. На важную роль аланкар в возбуждении расы указывал в «Дхваньялоке» Анандавардхана: «Ведь

украшившей шатер царской славы, снегом, выпавшим на лужайки лотосов нечестивцев, темным сполохом сознания земли, обессилившей под бременем войска, желтыми цветами дерева кадамбы, расцветшего при появлении туч — выступивших в поход воинов, стадом слонов, затоптавших лотосы лучей солнца, океаном, затопившим небо и землю при гибели вселенной, черным покрывалом на голове богини славы трех миров <...> Она казалась сном, но без утраты сознания, сумраком, но при сияющем солнце, прохладой, но в жаркое время года, темной ночью, но без блеска звезд, хмурым днем, но без льющегося дождя, подземным царством, но без обитающих в нем змей» (с. 175—176).

расы привносятся теми или иными выражаемыми и передающими их выражениями. А что такое метафора (рупака) и другие украшения, как не особые выражаемые, освещающие эти <расы>». И тут же в качестве примера украшений, «которые, соревнуясь друг с другом, спешат к искусному поэту, чей ум сосредоточен на расе», Анандавардхана приводит «то место в „Кадамбари“, где описывается Кадамбари» [ДЛ, с. 86—87].

Искусство Баны в использовании аланкар, проявляющих расу, высоко ценилось в индийской традиции. Мы уже цитировали посвященные Бане стихи Джаядевы и Говардханы. К ним можно добавить стихи теоретика поэзии XIII века Дхармадасы Сури, составленные, кстати говоря, как и у Джаядевы, и у Говардханы, с помощью шлеши — одной из излюбленных Баной фигур: «Обладающая прекрасным голосом (или: звучанием), сложением (или: слогом), членами (или: словами), полная страстей (или: рас) и чувств (или: бхав), она радует сердца <всех> в мире. Кто это? Девушка? Нет, нет! Это катха сладостного Баны». А поэт Кавираджа (XII в.) в поэме «Рагхавапандавия» восклицает: «Субандху, Бана и Кавираджа (т. е. сам автор поэмы. — П. Г.) — вот три искусника гнутой речи <вакрукти>. Четвертого такого нет!»¹

Итак, не сюжет, не характеры, не «способы отражения» жизни, которые, как мы говорили, в «Кадамбари» условны и формализованы, а осо-

¹ Цит. по: *Kale*. Op. cit. P. 35.

бенности стиля составляют главную ценность романа Баны и в его глазах, и в глазах его индийских читателей. Возможности стиля он реализует в первую очередь в своих описаниях, где доминируют риторические фигуры — аланкары. И в самой технике описаний, их грамматическом и поэтическом строе, в специфике конструирования и соположения аланкар проявляется индивидуальное мастерство Баны-стилиста, его собственные инициатива и изобретательность, но инициатива и изобретательность в рамках того канона, той «поэтики слова», в которой творил средневековый санскритский автор.

*

Поэтика слова или поэтика стиля — ведущие категории литературной теории средневековья и вместе с тем условные понятия, характеризующие доминирующую тенденцию развития средневековых литератур¹. В исследованиях, посвященных классическим восточным литературам, стало своего рода общим местом утверждение о свойственной им стилистической изощренности. М. Винтерниц с сожалением отмечает в санскритской литературе «большой упор на форму, чем на содержание»². О примате формы над

¹ См.: Гринцер П. А. Поэтика слова // Вопросы литературы. 1984. № 1. С. 130—148; Гринцер П. А. Стиль как критерий ценности // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 160—221.

² Winternitz. Op. cit. P. 1.

содержанием в классической арабской поэзии теоретической поэтике писали многие арабисты¹. По мнению современной исследовательницы средневековой японской литературы, в ней «особое значение приобретает форма высказывания, возникает столь характерная для средневековых литератур эстетика формы»². О «гипертрофии формы» в средневековой поэзии, о «характерном для средневековой письменной литературы формализме и одновременно о ее так называемом вербализме, то есть стремлении использовать все возможности слова», — пишет М. И. Стеблин-Каменский³.

Мы уже отмечали в этой связи, что любое определение поэзии в санскритских поэтиках начиналось с утверждения, что «поэзия — это слово в единстве его звучания и значения», или во всяком случае такое утверждение подразумевалось. Авторы поэтик были убеждены, что специфика художественной литературы коренится в языке, и стремились выявить и охарактеризовать тот уровень языка, который можно и должно считать поэтическим. Для ближайших современников Баны, теоретиков VII—IX веков Бхамахи, Дандина, Ваманы, Удбхаты и Рудраты, таким уровнем был уровень украшений, аланкар, «которые придают красоту поэ-

¹ См. обзор в кн.: Куделин. Указ соч. С. 124 и сл.

² Боронина И. А. Поэтика классического японского стиха. М., 1978. С. 24.

³ Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика. М., 1978. С. 96—101, 141 и др.

зии» (Дандин), «позволяют поэзии быть поэзией» (Вамана). Впоследствии так называемая школа аланкариков сменилась в санскритской поэтике школами дхвани и расы. Но, несмотря на это, во всех авторитетных поэтиках с IX по XVII век преимущественное внимание по-прежнему уделялось аланкарам, а главное, сами концепции дхвани (скрытого смысла) и расы (эстетической эмоции) развивались в постоянном взаимодействии с концепцией аланкар. При этом и дхвани и раса, согласно взглядам индийских теоретиков, реализуются только благодаря свойствам поэтического языка, являются особыми качествами стиля, словесного выражения. «В поэзии,— писал Раджашекхара,— слова поэта, а не содержание возбуждают или не возбуждают расу <...> Есть ли раса в сюжете или нет ее там — не столь важно: она пребывает в речи поэта» [КМ, с. 45—46].

В санскритской поэтике слово, а не тема, содержание или сюжет рассматривается как основной инструмент эстетического воздействия, как «тело», от которого зависит «душа» поэзии, ее эмоциональное воздействие, да и познавательная ценность. Отсюда особое внимание к стилю произведения, которому мы и уделили наибольшее внимание в нашем анализе «Кадамбари». В свойствах стиля, с нашей точки зрения, ключ к пониманию некоторых важных особенностей творчества санскритских романистов, да и развития санскритской литературы в целом. На одной из таких особенностей нам хотелось бы остановиться в заключение.

Как известно, роман «Кадамбари» не был окончен. Большинство исследователей полагают, что не окончен из-за смерти Баны, и потому его пришлось завершать сыну Баны Бхушане¹. Но тогда возникает недоумение, почему не окончен и второй роман Баны — «Харшачарита»? Тут индологи прибегают к иного рода объяснениям: «Харшачарита» оставлена Баной якобы по конъюнктурным соображениям: либо он боялся затронуть интересы кого-либо из своих современников, либо не хотел писать о последующих военных неудачах Харши, либо не одобрял пристрастия своего патрона к буддизму². Однако не может в этой связи не привлечь внимания, что и третий из четырех классических санскритских романов — «Дашакумарачарита» Дандина тоже не имеет конца. Здесь в качестве объяснения исследователи уже ссылаются на дефектность рукописей, неполноту рукописной традиции.

Все эти объяснения даются *ad hoc*, по каждому отдельному случаю, произвольно конструируя предполагаемые обстоятельства создания того или иного романа. Уже сама разноголосица таких объяснений вызывает определенные сомнения. Тем более они усиливаются, если мы бросим взгляд на историю санскритской литературы в более широкой перспективе.

¹ *Dasgupta*, *De*. Op. cit. P. 229; *Kale*. Op. cit. P. 31; *Mylius*. Op. cit. S. 222.

² *Karmarkar*. Op. cit. P. 46; *Серебряков*. Очерки древнеиндийской литературы... С. 173.

Оказывается, что незавершенность текста — не случайная, а достаточно устойчивая черта санскритской литературы, во всяком случае ее эпических, нарративных жанров. Так, из пяти поэм жанра махакавья, признанных в индийской традиции «великими», остались незаконченными три: «Кумарасамбхава»¹ и «Рагхуванша»² Калидасы и «Найшадхачарита» («Деяния Нишадхи»)³ Шрихарши (XII в.). Помимо них, дошли до нас незавершенными махакавьи «Буддхачарита»⁴ Ашвагхоши, «Джанакихарана» («Похищение дочери Джанаки») Кумарадасы (вероятно VI в.), «Шрикантхачарита» («Деяния Шивы») Манкхи (XII в.), «Падмананда» («Блаженство Падмы») Амарачандры (XIII в.), «Ударарагхава» («Благородный Рагхава») Сакальямаллы (XIV в.), «Налабхьюдая» («Счастье Налы») Вamanaбхатты Баны (XV в.), «Падьячудамани» («Драгоценный камень поэзии») Буддхагхоши, анонимная «Притхвираджавиджая» («Победа Притхвираджи») и некото-

¹ Калидасе принадлежат только восемь первых песен поэмы, не доводящие рассказ даже до заявленного в заглавии события — «Рождения (бога войны) Кумары»; остальные девять песен — позднейшее добавление.

² Поэма о династии царей Солнечной династии («Род Рагху») неожиданно обрывается на девятнадцатой песне.

³ Шрихарша излагает историю царя Налы, известную еще по «Махабхарате», но доводит ее лишь до эпизода свадьбы Налы и Дамаянти — по сути, лишь завязки всего повествования.

⁴ В санскритских рукописях имеются лишь первые тринадцать песен «Жизни Будды» Ашвагхоши (до поединка Будды с искусителем Марой); в то время как в китайской и тибетской версиях поэмы их двадцать восемь.

рые другие. Еще один жанр санскритской эпической литературы — чампу (повесть в стихах и прозе) также представлен главным образом неоконченными произведениями, к каковым относятся наиболее известные среди них: самая ранняя чампу «Джатакамала» («Гирлянда джатак») Арьяшуры (возможно, III в.), «Налачампу» («Чампу о Нале») Тривикрамахатты (X в.), «Рамаяначампу» («Чампу по „Рамаяне“») Бходжи (XI в.) и др.

Так же, как и в отношении романов, незаконченность перечисленных выше текстов каждый раз объясняется специалистами либо неполнотой рукописей, либо внезапной смертью автора, либо характером его художественного замысла и условий создания произведения. Но при этом фактически оставляется без внимания, во-первых, удивительное обилие не доведенных до конца сюжета сочинений в санскритской литературе, а во-вторых, то, что все они принадлежат именно к эпическим, а скажем, не к лирическим или драматическим жанрам. Что касается лирических жанров, то здесь положение особое: они, как правило, бессюжетны, слагаются из не зависящих друг от друга строф, и текстологическую проблему составляет не их незавершенность, а вариативность. Драма же дает совершенно иную картину, чем нарративные жанры: подавляющее большинство пьес, за исключением нескольких второстепенных, сохранились полностью. Дело, по-видимому, в том, что санскритская драма в своем генезисе

тесно была связана с ритуалом, и последовательность ее композиции, завершенность сюжета изначально предопределялись строгой организацией ритуала. Отсюда в санскритской поэтике, достаточно четко отделявшей драму от иных родов поэзии и прозы, пьесы классифицируются по их протяженности (от одного до десяти актов в разных их видах), отсюда та тщательность, с которой разрабатываются вопросы развития и законченности драматического сюжета, в котором предусматривались последовательность его мотивов (артхапраkritи), связей (сандхи) и стадий (авастха) — от начала действия и до его конца, «обретения плода» (phalayaoga).

Принципиально иначе трактовали поэтики жанры эпической поэмы (махакавьи) и романа (катха и акхьяика). Помимо того что их сюжет должен быть заимствован из традиции, излагаться в песнях или главах и включать определенные топосы, в поэтиках, по существу, ничего не говорилось об его развитии. Рекомендовалось несколько способов начать произведение, но не было установленных форм его концовки. Все критические оценки того или иного автора определялись, как мы знаем, его мастерством в описаниях, употреблении аланкар, манифестации расы, но отнюдь не в трактовке темы или сюжета.

Соответственно для средневекового индийского поэта и прозаика сюжет (в большинстве случаев традиционный и хорошо известный)

был, по сути, предлогом для проявления его искусности в стиле, в способе выражения, от которого, по рассуждению Раджашекхары, «зависит совершенство или несовершенство поэзии» [КМ, с. 46]. Работая в русле поэтики слова, санскритский автор мало занят логикой развития сюжета, последовательностью и полнотой раскрытия темы, но основное внимание уделяет изобразительным средствам своего произведения и их эмоциональному воздействию. Поэтому если поэма или роман не завершены, то не завершены они скорее с точки зрения наших эстетических критериев, а не по критериям средневековых индийских писателей и современных им критиков. Само представление о законченности произведения связывалось тогда не столько с содержанием или сюжетом, сколько со стилистической гармонией. И даже если мы сталкиваемся, как в случае с «Кадамбари», с последующим завершением текста, то вызвано это скорее всего не желанием удовлетворить любопытство читателя и восполнить недостающие звенья сюжета (и так ему известные), а попыткой вступить в состязание со своим предшественником в стиле и слоге на им же самым избранном материале. То, что Бана не завершил ни «Кадамбари», ни «Харшачариту», не мешало индийской традиции воспринимать его романы как целостные и даже образцовые в художественном отношении сочинения.

Остается добавить, что сходная ситуация обнаруживается и в других литературах, в кото-

рых господствует поэтика слова, в частности в средневековой европейской литературе, поскольку, по словам крупнейшего современного ее исследователя П. Зюмтора, «средневековый текст, по существу, является стилем, а вербальная и ритмическая организация текста — важнейшим признаком его литературности»¹. Среди незаконченных больших эпических сочинений европейского средневековья назовем хотя бы два из пяти романов Кретьена де Труа: «Ланселот» (продолженный Джофруа де Ланьи) и «Персеваль» (имеющий четыре продолжения общим счетом в 60 000 стихов), поэмы о Тристане Тома и Бериуля, «Роман о Розе» (не законченный Гильомом де Лоррисом и дополненный Жаком де Менем), трилогию о Граале Роберта де Борона, «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, «Тристана и Изольду» Готфрида Страсбургского и др. Показательна в том же плане и тенденция к циклизации и объединению текстов, делающая неустойчивыми их границы, таких, например, как романы артуровской темы, песни о Гильоме Оранжском, поэмы о Лисе Ренаре и т. п.².

По-видимому, завершенность произведе-

¹ См.: *Zumthor P. Essai de poétique médiévale*. Paris, 1972. P. 108—109.

² Проблема незавершенности, открытости текста выходит, конечно, за рамки средневековья. Но всякий раз она определена своими, отличными от рассмотренных нами для средневековых текстов, причинами и требует особого изучения.

ния — понятие неоднозначное, зависит от смены эстетических установок и целей, которые преследует автор. «Завершая произведение,— замечает Ролан Барт,— писатель делает не что иное, как обрывает его в тот самый момент, когда оно начинает наполняться определенным значением, начинает из вопроса превращаться в ответ»¹. Читатель каждой эпохи ставит перед литературой свои вопросы. Схематизируя литературный процесс, можно вслед за Нортропом Фраем² сказать, что, когда читатель спрашивает: «Чем все кончится?» — его интересует фабула, и главным в романе оказывается сюжет; когда он спрашивает: «В чем суть истории?» — ответом служит идея, интерпретация темы; а когда задается вопрос: «Как это сделано?» — писатель сосредоточивает внимание на способах изображения, на стиле произведения. Вопрос «как это сделано?» был определяющим в санскритской поэтике, и, отвечая на него, индийский автор чувствовал себя вправе завершить текст тогда, когда полагал уже реализованными изобразительные возможности избранного им — хотя, может быть, и не доведенного до конца — традиционного сюжета. Именно так, как нам кажется, и обстояло дело с двумя романами Баны.

¹ Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 239.

² Frye N. Anatomy of criticism. Four essays. Princeton, 1957. P. 52.

*

Пришло наконец время ответить на вопрос, в какой мере произведения Дандина, Субандху, Баны и их преемников можно рассматривать как романы.

Вопрос этот зависит от общих представлений о жанровой природе романа. И здесь оказывается, что в целом эти представления достаточно зыбки и неопределенны в сравнении, скажем, с жанрами, описанными в античной и классицистической поэтиках. Роман на всем протяжении его существования выступает как достаточно свободное образование, не укладывающееся в жесткую композиционную структуру, не терпящее ни стилистической, ни тематической строгой регламентации. Его часто даже называют не жанром, а антижанром, поскольку, не имея собственного канона, он, с одной стороны, впитывает в себя разноречивые особенности других жанров, а с другой — открыто противостоит им. Наследуя эпосу, роман в то же время строится на основе чисто художественного вымысла, не претендуя, подобно эпосу, на историческую или коренящуюся в мифологической картине мира достоверность¹. В этом роман оказывается близок к сказке, но, в свою очередь, противостоит сказке, так же как и эпосу, ориентацией на изображение частной

¹ Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986. С. 124.

жизни, личных (внешних или внутренних) коллизий¹. Позже в своей истории роман отличается от поэмы, рассказа и повести охватом описываемых событий, объективностью их освещения, многослойной композицией, а иногда, как в случае с поэмой, прозаической, а не поэтической формой. Конечно, все эти отличия не абсолютны, в истории литературы мы сталкиваемся, например, с нечетким разграничением понятий рыцарского эпоса и рыцарского романа в средние века, с терминами «мифологический роман», «сказочный роман», «роман в стихах» и т. п. в новых литературах, но в целом обозначенные выше дифференциальные признаки, получая в разные эпохи разную меру интенсивности и актуальности, составляют если не твердые очертания жанра, то, во всяком случае, «жанровое поле» романа.

С проблемой специфики романного жанра тесно связан вопрос о том, когда возник роман. Вслед за Гегелем, назвавшим роман «буржуазной эпопеей», широко распространилось представление о романе как жанре, появившемся лишь в Новое время, причем первыми истинными романами разные специалисты предлагали считать то «Дон Кихота» Сервантеса, то «Принцессу Клевскую» г-жи де Лафайет, то

¹ По определению В. Кайзера, «рассказ о всеобщем мире в возвышенном тоне называется эпосом; рассказ о частном мире в приватном тоне называется романом» (*Kayser W. Die sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. Bern; München, 1961. S. 359*).

испанский плутовской роман, то английский роман XVIII века Дефо, Филдинга и Ричардсона. Основным аргументом сторонников такой точки зрения был тот, что только в Новое время роман приобретает черты «рассказа о частном мире», повествует о столкновении индивидуума с конкретными жизненными обстоятельствами, по ходу которого происходит становление характера героя и он формируется как личность. В древности же и средневековье, по их мнению, существовал не роман, а так называемые квазироманные формы (в Греции и Риме, Византии, западном и восточном средневековье), в которых изображались условный герой и условные обстоятельства, а сюжет, наподобие сказки, строился как цепь чудесных или удивительных авантур. Соображения подобного рода весьма уязвимы. Во-первых, они говорят не столько о межжанровом членении, сколько о членении реалистических и нереалистических (условных) форм внутри, быть может, одного жанра. Во-вторых, противопоставление авантурного и психологического сюжетов само по себе не свидетельствует о жанровом различии; как справедливо заметил Т. Манн: «...разве немецкий роман воспитания и формирования героя, разве гетевский «Вильгельм Мейстер» представляет собой что-либо иное, нежели углубленный во внутреннюю жизнь, сублимированный приклю-

ченческий роман?»¹ И в-третьих, что мешает считать современные научно-фантастические или детективные романы, а ранее так называемый готический английский роман Радклиф, Льюиса, Метьюрина преемниками ранних авантюрных форм, а с другой стороны, утверждать, что идея духовного поиска уже присутствует в европейском рыцарском романе² или что психологическая установка греческого «Дафниса и Хлои» Лонга в какой-то мере предвосхитила появление «романа воспитания», будь то романы Филдинга или Т. Манна?

С нашей точки зрения, нет оснований относить возникновение европейского романа лишь к XVII—XVIII и тем более XIX веку; полное право называться романами имеют и романы античный, византийский, средневековый рыцарский и т. д. Различия между ними не меж-, а внутрижанровые, и речь может идти не о разных жанрах, но о двух типах одного и того же жанра: о романе традиционном и романе новом. В целом и тот и другой характеризует идея взаимодействия человека (частного, а не универсального) и обстоятельств, идея испытания, которая в традиционном романе воплощается в устойчивой композиционной схеме: разлука — поиск — обретение, а в новом прини-

¹ Манн Т. Искусство романа. Собр. соч. Т. 10. М., 1961. С. 282.

² См. об этом в кн.: Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 1976.

мает обычно форму духовного искуса и его преодоления. При этом традиционный роман предпочитает действие и описание действия изображению характера, а в новом характер, его развитие и изменения важнее действия и в значительной мере его определяют; традиционный роман имеет дело с редкостными, а иногда и невероятными событиями, а в новом — даже когда его нельзя причислить к реалистическим — доминирует правда жизни и нравов; в романе традиционном слово как бы не зависит от предмета изображения, и отсюда изощренность и риторичность его стиля, а в новом — слово в первую очередь инструмент смысла. Если принять такую точку зрения, то к традиционному роману, наряду с европейским античным и средневековым, с полным правом принадлежит средневековый восточный: японский, персидский и конечно же санскритский¹.

С традиционным романом санскритский сближают основные уже отмеченные нами его свойства. Как мы видели, в генезисе санскритского романа органически сочетались традиции полуфольклорной сказочной обрамленной повести и литературного (искусственного) эпоса — махакавы. Оказывается, что традиционный роман в принципе полигенетичен. Истоки гре-

¹ Подробнее о традиционном и новом романе см.: Гринцер П. А. Две эпохи романа // Генезис романа в литературах Азии и Африки. М., 1980. С. 3—44.

ческого, например, романа исследователи находят в разных античных жанрах: в местных легендах, культовых преданиях и мифах (Р. Лаваньини, К. Кереньи, Р. Меркельбах, М. Браун и др.), в географических описаниях и историографии (Э. Роде, В. Шмид, Э. Шварц, А. Людвиговский), в греческой и восточной новеллистике (А. Шассан, А. И. Кирпичников, Г. Тиле), в александрийской лирике (Э. Роде, Б. А. Грифцов, А. В. Болдырев) и т. д. «Можно по-разному,— писал М. Бахтин,— оценивать значение любовной элегии, географического романа, риторики, драмы, историографического жанра в процессе рождения (генезиса) романа, но известный синкретизм жанровых моментов в греческом романе отрицать не приходится»¹. Сходная картина с генезисом традиционного романа в иных литературах: французский рыцарский роман имеет в своих истоках кельтскую богатырскую сказку, а также латинскую эпiku и христианскую агиографию, японский — сказочную повесть, дневниковую прозу и лирическую поэзию, персоязычный — героические легенды книжного эпоса и древнеарабские романтические предания о поэтах и т. д.²

При всем многообразии источников традиционного романа в его происхождении почти

¹ Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 239.

² Мелетинский Е. М. Средневековый роман. Происхождение и классические формы. М., 1983. С. 39—67, 151—155, 224—227.

всегда участвует (а иногда и доминирует) сказочная эпика в разных ее видах. Однако влияние сказки или сказочной повести само по себе недостаточно. Для того чтобы роман окончательно сформировался, необходимо воздействие уже сложившихся литературных жанров и прежде всего литературного эпоса. Именно таким, как мы убедились, и был путь формирования санскритского романа.

Из сказки и эпоса традиционный роман заимствует свой магистральный сюжет, основные звенья которого: встреча — разлука — поиск — обретение¹. В той или иной форме этот сюжет определяет композицию большинства древних и средневековых романов, в том числе и санскритского. Он вполне очевиден в «Васавадатте» Субандху (встреча Васавадатты и Кандарпакету, их разлука, поиск царевны, свадьба), в «Кадамбари» (истории Чандрапиды и Кадамбари, Пундарики и Махашветы) и, хотя и в скрытой, но композиционно значимой форме, присутствует в «Харшачарите» Баны (центральные эпизоды романа — похищение Раджьяшри, ее поиск и спасение Харшей) и в «Дашакумарачарите» Дандина (рамка и большинство глав романа рассказывают о встрече влюбленных, их разлуке и преодолении препятствий на пути к соединению).

И еще одна черта близости санскритского и традиционного романа. У традиционного

¹ Гринцер. Две эпохи романа... С. 12, 16, 41—42.

романа есть несколько типов. По-видимому, самый распространенный — авантюрно-любовный роман. В европейской античной и средневековой литературах он представлен «Хереем и Каллироей» Харитона, «Габрокомом и Антией» Ксенофонта Эфесского, «Эфиопикой» Гелиодора, большей частью византийских и куртуазных рыцарских романов, а в санскритской, конечно, «Васададтой» Субандху и «Кадамбари» Баны. Но, помимо авантюрного, хорошо известен другой тип традиционного романа — квазиисторический. К нему принадлежат греческие «Роман об Александре» и «Роман о Нине», французские псевдоисторические романы о Трое, Бруте, Фивах и т. д., и сюда же, несомненно, относится санскритская «Харшачарита» Баны. Наконец, в третьем типе романа реализуется попытка преодолеть чисто приключенческую природу традиционного жанра посредством пародийной игры, травестии обычного романного сюжета¹. И здесь, наряду с «Повестью о Левкиппе и Клитофонте» Ахилла Татия, «Сатириконом» Петрония, «Мулом без узды» Пайена из Мезьера, «Окассеном и Николетт» и др., вполне можно назвать «Дашакумарачариту» Дандина, в которой очевидны ироническое

¹ «Характерно,— пишет М. М. Бахтин,— что роман не дает стабилизироваться ни одной из собственных разновидностей. Через всю историю романа тянется последовательное пародирование или травестирование господствующих и модных разновидностей этого жанра, стремящихся шаблонизироваться» (Бахтин. Указ. соч. С. 450).

снижение идеальных характеров любовного романа, травестия многих его мотивов и приемов.

Признавая принадлежность сочинений Дандина, Субандху и Баны жанру традиционного романа, мы находим дополнительное объяснение изощренности его стиля, которая составляла ценностные его характеристики. Изощренность стиля санскритского романа связана, как мы пытались показать, с его ориентацией на жанр «украшенной» эпической поэмы (махакавьи) и с общими постулатами санскритской поэтики, но оказывается, что в той или иной мере та же изощренность в принципе присуща роману на первых порах его становления. Не случайно одной из предтеч греческого романа признается риторическая проза, и приемы риторики широко используют такие романисты, как Ямвлих, Ахилл Татий, Лонг, Гелиодор и др. Не случайно и то, что у истоков нового европейского романа стоит роман прециозный, и один из наиболее ярких образцов его — «Эвфуэс» Джона Лили нередко сравнивают с романом санскритским, стиль последнего называя эвфуистическим¹. Повидимому, риторический, украшенный стиль отличал ранние образцы романа в разных странах и в разное время хотя бы потому, что языку прозы требовалось еще дока-

¹ Dasgupta, *De. Op. cit.* P. 223.

зять ее право принадлежать к высокой литературе¹.

Само собой разумеется, что тезису о принадлежности произведений Дандина, Субандху и Баны жанру традиционного романа не противоречит то обстоятельство, что санскритская поэтика называла их катха и акхьяика, не имея термина, эквивалентного европейскому «роман». Точно так же терминологически не был вычленен античный роман, который функционировал под разными обозначениями; персоязычные романы именовались «масневи» наряду с произведениями стихотворной дидактики; японские романы делили свое название «моноготари» со сказочными и лирическими повестями; даже в средневековой Франции термин «роман» первоначально означал не жанр рыцарского романа,

¹ В целом тяготея к прозе, традиционный роман мог создаваться и в стихотворной форме. Как и в санскритском романе, стихотворные вставки имеются в некоторых античных романах («История Аполлония, царя Тирского», «Сатирикон» Петрония). В стихах писались средневековые персоязычные романы Низами, Амира Хосроу, Джами и др. Многие европейские рыцарские романы имели и стихотворные и прозаические версии. В том же ряду, что и прозаические рыцарские романы, Сервантес в «Дон Кихоте» называет романические поэмы Боярдо и Ариосто. А теоретик прециозного романа Юэ, как бы подводя итог этому смешанному развитию жанра, в 1670 году пишет: «В былое время под именем романов разумели не только прозаические, но и, более того, романы, писанные стихом<...> В настоящее время преобладает другое понимание, и мы называем романами вымышленные изображения любовных приключений, написанные в прозе» (цит. по кн.: Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 17).

а любое повествование на народном (романском) языке. Заметим попутно, что и в санскритской литературе термины «катха» и «акхьяика» прилагались не только к роману, но к достаточно разнородному кругу произведений обрамленной повести¹.

О близости санскритского и традиционного европейского романа косвенно свидетельствует и та дискуссия между специалистами, которая имела место во второй половине XIX века. Знакомясь с сочинениями Баны, Субандху и Дандина, ученые обратили внимание на их сходство с романом античным и в отношении ряда центральных мотивов (видение возлюбленной во сне, влюбленность по портрету, исчезновение и розыски любимой), и в некоторых особенностях композиции (ср. вставные рассказы в «Чудесах по ту сторону Фулы» Антония Диогена, «Сатириконе» Петрония и др.), и по стилю (ср., например, изысканные отступления и описания в «Левкиппе и Клитопонте» Ахилла Татия). При этом одни полагали, что индийский роман возник под непосредственным влиянием греческого; другие, наоборот, что греческий зависит от ранних (и не дошедших до нас) образцов романа индийского². Гипотеза заимствования и в той, и в другой интерпретации не подкреплена никакими свидетельствами о литератур-

¹ Гринцер. Древнеиндийская проза... С. 13—15.

² Обзор дискуссии см.: Keith. Op. cit. P. 365—370; Winternitz. Op. cit. P. 450—453.

ных контактах, о взаимном знакомстве не только с текстами соответствующих романов, но и вообще с чужой литературной традицией, никак не соотносится с хронологическими данными и потому должна быть признана неубедительной, как неубедительны оказались подобно-го же рода гипотезы о заимствовании из Греции индийского классического эпоса или драмы. Речь, конечно, идет не о заимствовании, но о типологическом сходстве, и потому такие же, а иногда и более очевидные параллели существуют также между санскритским и византийским, санскритским и бретонским, персидским, японским и иными средневековыми романами. И они лишний раз подтверждают, что все они относятся к одному жанру, который мы и привыкли обозначать словом «роман».

Однако в рамках традиционного романа санскритскому, естественно, принадлежит особое место, свойственна своя специфика. Специфика эта обусловлена не только внешними факторами: местным колоритом, историческими реалиями, кругом сюжетов, культурным фоном и т. п., но и самим характером литературной традиции. Тесно связанный и в своем генезисе, и в развитии с санскритской поэзией — кавьей, отвечающий требованиям средневековой индийской поэтики, санскритский роман, пожалуй, в большей мере, чем его иноязычные аналоги, пренебрегает занимательностью и новизной содержания, хитросплетениями сюжета и уделяет основное внимание изобразительным

средствам, тому, что мы называем художественной формой. Но констатация формализма санскритского романа требует серьезной оговорки. Жесткая дихотомия формы и содержания вообще условна, а по отношению к средневековой литературе и ее жанрам особенно непродуктивна. С точки зрения средневековой поэтики изобразительные приемы, способ выражения, стиль — не только формальные, но и содержательные элементы литературы. «Характер выражаемого в поэзии,— писал Анандавардхана,— воспринимается нераздельно от особенностей реальных объектов познания. И таким образом, говорящий о разнообразии выражения должен — пусть и невольно — признать в поэзии и разнообразие выражаемого» [ДЛ, с. 598—590]. В отличие от обыденной речи поэтическая речь особым образом освещает и осмысляет объекты действительности, трансформирует и множит эти объекты, творит свою действительность, не совпадающую, но соотносенную с реальностью. Поэтому стилистическая изощренность санскритского романа свидетельствует не об его бессодержательности, увлечении пустой орнаментальностью, техницизме ради техницизма, но об особом способе видения и освоения мира, что и делает этот роман интересным для читателя другой страны и другой эпохи.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АБх: *Abhinavabhāratī of Abhinavagupta // Nāṭyaśāstra with the commentary of Abhinavagupta* / Ed. by M. R. Kane. Vol. 1—3. Baroda, 1926—1954.
- Ав: *Atharvaveda-Saṃhitā* / Hrsg. von R. Roth und W. D. Whitney. Berlin, 1856.
- АК: *The Amarakośa of Amara Sinha* / Ed. by S. H. Śastri. Benares, 1937.
- АП: *Agnipurāṇa* / Ed. by R. Mitra. Vol. 1—3. Calcutta, 1923.
- АШ: *Артхашастра, или Наука политики*. М.; Л., 1959.
- БКМ: *The Brihatkathāmañjarī of Kshemendra* / Ed. by Śivadatta and K. P. Parab. Bombay, 1931.
- Бр.-ар.-уп.: *Брихадараньяка-упанишада* / Перев. А. Я. Сыркина. М., 1964.
- Бхаг-пур.: *The Bhāgavata-purāṇam*. Pt. 1—12. Bombay, 1903.
- Вас.: *The Vāsavadattā, a romance by Subandhu* / Ed. by F. Hall. Calcutta, 1859.
- ВП: *Die Vetālapañcaviṃśatikā des Śivadāsa* / Hrsg. von H. Uhle. Leipzig, 1881.
- ДКЧ: *The Daśakumāracharita of Daṇḍin* / Ed. by N. B. Gogbole. Bombay, 1925.
- ДЛ: *The Dhvanyāloka of Ānandavardhana* / Ed. by Durgāprasād and K. S. Parab. Bombay, 1891.
- ЗМ: *Законы Ману* / Перев. С. Д. Эльмановича. М., 1960.

- КАБ: Kavyālaṃkāra of Bhāmaha // The Pratāparudrayaśobhūshana of Vidyānātha / Ed. by K. P. Trivedi. Appendix VIII. Bombay, 1909.
- Кад.: Bāṇabhaṭṭa. Kādambarī / Ed. by H. S. Vāgiśa. Calcutta, 1960.
- КАР: Kāvyaṃkāra of Rudraṭa / Ed. by Dargāprasāda and W. L. S. Paṇashīkar. Bombay, 1909.
- КАС: Kāvyaṃkārasūtrāṇi of Vāmana. Bombay, 1953.
- Кауш-уп.: Каушитаки-упанишада // Упанишады / Перев. А. Я. Сыркина. М., 1967.
- КД: The Kāvyaḍarśa of Daṇḍin / Ed. by R. R. Shastri. Poona, 1938.
- КМ: The Kāvyaṃmāṃsā of Rājaśekhara / Ed. by C. D. Dalal and R. A. Sastry. Baroda, 1934.
- КП: The Kāvyaṃprakāśa of Maṃmaṭa / Ed. by R. D. Karmarkar. Poona, 1965.
- КСС: Somadeva Bhaṭṭa. Kathāsaritsāgara. Vol. I—III. Patna, 1960—1962.
- Мбх.: The Mahābhārata with the comment. of Nīlakaṇṭha. Pt. 1—18. Bombay, 1890.
- Панч.: Панчатантра / Перев. А. Я. Сыркина. М., 1958.
- Рам.: The Rāmāyaṇa of Vālmīki / Ed. by K. P. Parab. Pt. 1—2. Bombay, 1888.
- Рв.: Die Hymnen des Rigveda / Hrsg. von Th. Aufrecht. Bd. 1—2. Berlin, 1955.
- СД: Sāhityadarpaṇa of Viśvanātha Kavirāja / Ed. by K. Śāstri. Varanasi, 1967.
- Тайт-бр.: The Taittirīya-brāhmaṇa of the Black Yajurveda. Calcutta, 1859.
- ХЧ: Śrīharṣacaritam. Bāṇabhaṭṭa's biography of king Harshavardhana / Ed. by A. A. Führer. Bombay, 1867.
- Чханд-уп.: Чхандогья-упанишада / Перев. А. Я. Сыркина. М., 1965.
- Шат-бр.: The Śatapatha-brāhmaṇa / Transl. by J. Eggeling. Pt. 1—5 // The sacred books of the East. Vol. XII, XXVI, XLI, XLIII, XLIV. Delhi, 1963.

ПРИМЕЧАНИЯ

Перевод «Кадамбари» выполнен по санскритскому изданию текста: *Bāṇabhaṭṭa. Kādambarī* / Ed. by H. S. Vāgiśa. Calcutta, 1960. Использовано также издание: *Bāṇa's. Kādambarī* / Ed. with commentary Tattvapraṇāśikā. Introduction, notes and literal English translation by M. R. Kale. Delhi; Patna; Varanasi, 1968.

- ¹ Сообразно литературной традиции, роман Баны начинается со стихотворного вступления: двадцати строф в метре «упаджати». Первые три строфы восхваляют трех верховных богов индуистского пантеона (тримурти): Брахму, Шиву и Вишну. Последующие строфы имеют литературный и в какой-то мере автобиографический характер.
- ² *Тройственная веда* — то есть «Ригведа», «Самаведа» и «Яджурведа», представленные в своем единстве.
- ³ *...Творцу, Хранителю и Губителю...* — Три главные божественные функции: творение, сохранение и уничтожение мира — обычно распределяются между тремя верховными богами индуизма, соответственно Брахмой, Вишну и Шивой. В данной строфе все они, так же как три гуны и три веды, представлены воплощенными в Брахме.
- ⁴ *...Трехглазого Шивы...* — Шива имеет посредине лба третий глаз, способный исторгать испепеляющий огонь.

- ⁵ ...*льнущая к кудрям богов...*— Пыль со стоп Шивы льнет к кудрям богов, чернит волосы могучего асуры Баны и короны десятиголового Раваны, поскольку все они припадают к его ногам.
- ⁶ *Вереница смертей и рождений* — то есть сансара, круговорот жизни, бесконечные перевоплощения душ, освобождение от которого дарует Шива.
- ⁷ ...*почтенного Бхраву...*— видимо, учителя, наставника (гуру) Баны. *Владыки Магадхи*.— Имеются в виду цари династии Маукхари, которым наследовал покровитель Баны царь Харша.
- ⁸ ...*чьи пальцы розовы...*— Типичная для стиля Баны гипербола (атишайокти): поскольку ноги Бхравы опираются на пьедестал из корон склонившихся перед ним царей, сияние драгоценных камней в этих коронах окрашивает в розовый цвет пальцы его ног.
- ⁹ ...*ненавистников злоба...*— По-видимому, Бана имеет в виду *недоброжелательство критиков своих прежних сочинений, в частности романа «Харшачарита».
- ¹⁰ ...*будто амрита, застрявшая в горле Раху...*— Когда демон Раху попытался похитить у богов амриту — напиток бессмертия, это заметили луна и солнце и сообщили Вишну. Вишну отрубил Раху голову, но, поскольку Раху успел сделать глоток, амрита уже дошла до его горла и сделала голову демона бессмертной. Блуждая по небу, голова Раху, ставшая планетой, иногда в отместку луне и солнцу их заглатывает (мифологическое объяснение затмений).
- ¹¹ *Как молодая жена...*— Строфа построена на основе риторической фигуры шлеси (игры слов): к двум различным субъектам высказывания — «жена» (*vadhū*) и «повесть» (*kathā*) — относятся одни и те же предикаты, но с различными оттенками значения.
- ¹² *Кого не возрадует...*— Здесь подобного же рода шлеса: одни и те же определения, но в различных значениях относятся к словам «повесть» (*kathā*) и «гирлянда» (*śraj*).
- ¹³ *Великие Гупты* — царская династия, правившая в северной Индии в IV—V вв. н. э.

- ¹⁴ ...как родился месяц из Молочного океана...— При пахтанье Молочного океана богами и асурами, желавшими добыть из него амриту (миф, широко используемый Баной в тексте «Кадамбари»), вместе с амритой появились на свет Месяц, богиня Лакшми, конь Уччайхшравас, камень Каустубха и другие божественные существа и сокровища.
- ¹⁵ *Хираньягарбха* — здесь одно из имен Брахмы, родившегося, согласно одному из космогонических мифов, из мирового яйца и сотворившего из его скорлупы небо и землю.
- ¹⁶ *Супарна* — здесь имя Гаруды, сына Кашьяпы и Винаты.
- ¹⁷ *Богини сторон света*.— Для стиля Баны характерны олицетворения (и именно в женских образах) мифологических и абстрактных понятий; ср. далее: богини веды.
- ¹⁸ *Листья тамалы*.— Листья тамалы черного цвета и часто служат объектом поэтических сравнений; здесь с ними, так же как с черными кудрями богинь сторон света, сравниваются клубы дыма, поднимающиеся с жертвенников.
- ¹⁹ *Семь миров*.— Число миров, составляющих вселенную, в индуистской мифологии непостоянно. Обычно это три мира (трилока): небо, земля и подземный мир или небо, воздушное пространство и земля. Однако иные классификации насчитывают восемь, четырнадцать или, как в данном случае, семь миров: земля, воздушное пространство, небо Индры, небо святых мудрецов-риши, небо сыновей Брахмы, небо Брахмы-Творца, небо Брахмы-Абсолюта.
- ²⁰ ...землей, опоясанной четырьмя океанами...— Согласно индийской космографии, землю окружают четыре океана, расположенные по четырем сторонам света.
- ²¹ *Знаки раковины и диска*.— Раковина (шанкха) и диск (чакра) — неперенные атрибуты бога Вишну; в то же время знаки раковины и диска на ладони считаются счастливыми царскими приметами.
- ²² ...как Шива, победил бога любви...— Пламенем своего третьего глаза Шива сжег бога любви Каму, помешавшего его

аскезе. По отношению к Шудраке «победил бога любви» значит «победил плотские желания».

- ²³ ...как рожденный из лотоса Брахма, царил над озером белых гусей-государей...— «Рожденный из лотоса» — один из эпитетов Брахмы, поскольку, по одному из мифов, он возник из лотоса, выросшего из пупа Вишну; белый гусь считается ездовым животным (ваханой) Брахмы.
- ²⁴ ...как поток Ганги, следовал <...> путем Бхагиратхи...— Царь Бхагиратха с помощью суровой аскезы низверг воды Ганги с неба, где ранее они протекали, на землю, а затем в подземное царство, чтобы они омыли пепел его предков, сыновей Сагары, и возродили их к жизни.
- ²⁵ ...как Слон, покровитель сторон света...— Каждая из восьми сторон света имеет, согласно индуистским мифологическим представлениям, своего покровителя, или хранителя,— божественного слона (диггаджу).
- ²⁶ ...словно Притху — гряду гор...— Царь Притху, по одному из мифов, срезал стрелами горы, сплошь когда-то покрывавшие землю, и тем самым сделал ее плодородной.
- ²⁷ ...он словно бы смеялся над Вишну...— Здесь имеются в виду два вишнуитских мифа: о демоне Хираньякашипу, который преследовал приверженцев Вишну и которого Вишну убил, воплотившись в человека-льва (Нарасинху); и о трех шагах Вишну в воплощении (аватаре) карлика, которыми он измерил землю и небо и отнял власть над ними у демона Бали. Шудрака превосходит («смеется над») Вишну, поскольку, не нуждаясь ни в каком грозном обличье, убивает врагов только звуком своего имени и одним, а не тремя, как Вишну, шагами добивается верховенства над миром.
- ²⁸ Богиня царской славы — здесь Лакшми, или Шри, почитавшаяся как богиня счастья, красоты и богатства.
- ²⁹ ...владыкой Нараяной, воплотившим в себе всех богов <...> все стихии. — В одиннадцатой главе «Бхагавадгиты» рисуется «вселенская форма» Нараяны-Кришны, в

котором целокупно представлен мир со всеми населяющими его существами, богами, стихиями и т. д.

- ³⁰ ...жемчужины <...> из... лбов свирепых слонов...— По народному (и поэтическому) поверью, внутри лбов (точнее — височных бугров) слонов скрываются жемчужины.
- ³¹ Золотой век.— По индийской космографии, существуют четыре периода (юги) мировой истории: критаяуга, или «золотой век», длящийся 1 728 000 лет, третаюга (1 296 000 лет), двапараюга (864 000 лет) и калиюга, или «железный век» (432 000 лет). Каждый последующий период хуже предыдущего, и соответственно современное человечество живет в последний период — калиюгу.
- ³² *Три мира*.— См. примеч. 19.
- ³³ *Девушка-чандала* — то есть девушка, принадлежащая к низшей индуистской касте неприкасаемых — чандалов.
- ³⁴ ...похожа на царскую славу Тришанку...— Царь Тришанку с помощью мудреца Вишвамитры получил доступ на небо, но был сброшен оттуда гневным возгласом Индры. Сравнение девушки с царской славой Тришанку подкрепляется мифологическим мотивом, по которому, проклятый сыновьями мудреца Васиштни, соперника Вишвамитры, царь Тришанку был низведен до статуса чандалы.
- ³⁵ ...в страхе перед перуном Индры...— Согласно мифу, горы Кула некогда имели крылья и, перемещаясь с места на место, разрушали города и селенья. По просьбе святых мудрецов Индра своими молниями срезал у гор, хотя они и пытались скрыться на дне океана, крылья, после чего горы стали неподвижными.
- ³⁶ *Восемь сторон света* — восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад, север, северо-восток.
- ³⁷ *Небесная Ганга*.— Ганга текла сначала только на небесах; см. примеч. 24.
- ³⁸ *Пучок волос между бровями* — одна из счастливых примет, сулящая ее обладателю славу и власть.
- ³⁹ ...опаленным пламенем глаза Шивы...— См. примеч. 22.

- ⁴⁰ ...походил он на темного Кришну...— «Кришна» буквально значит «черный», «темный», он изображался с черным или темно-синим цветом тела.
- ⁴¹ ...на Владыку Хари, когда он нарядился красавицей...— Во время пахтанья океана асуры похитили у богов амриту, и, чтобы возвратить ее, Вишну, или Хари, принял облик красивой девушки (Мохини) и отвлек внимание асуров от охраны напитка бессмертия.
- ⁴² ...на Парвати, принявшую облик горянки...— В ряде мифов Шива предстает в облике горца (отсюда одно из его имен Кирата — «горец»), а Парвати в виде горянки, причем в подражание супругу она имеет третий глаз, который здесь напоминает желтая тилака на лбу девушки-чандалы.
- ⁴³ ...на темный поток Ямуны, убегающей <...> от <...> Баларама...— Воды реки Ямуны (совр. Джамны) выглядят темными, и представление о «темных водах Ямуны» широко используется в санскритской поэзии. По одному из мифов, Баларама, брат Кришны, будучи пьяным, призвал к себе Ямуну, дабы в ней искупаться. Ямуна послушалась, и Баларама принялся вычерпывать ее своим оружием — плугом, пока река, обернувшись девушкой, не вымолила его прощения.
- ⁴⁴ ...пренебрег волей Творца, предназначившего ей низкое рождение.— Агни не вправе обнять девушку, поскольку она чандала — неприкасаемая. Несоответствие низкого, «неприкасаемого» статуса девушки и ее красоты и величия всячески обыгрывается Баной.
- ⁴⁵ ...ночное небо с двадцатью семью созвездиями...— Имеются в виду двадцать семь лунных созвездий («лунных домов»), которые идентифицируются в индийской мифологии с двадцатью семью дочерьми Дакши, ставшими женами бога луны Сомы.
- ⁴⁶ Лакшми с лотосом в руке.— Лотос — неперенный атрибут иконографии Лакшми; она родилась на лотосе, возлежит на лотосе, держит лотос в руке и т. п.
- ⁴⁷ Метр арья — чисто квантитативный размер классической индийской поэзии.

- ⁴⁸ ...по заслугам в прошлых рождениях...— Согласно индийским представлениям о переселении душ (метемпсихозе), новое рождение любого существа предопределяется его заслугами или преступлениями в прошлых жизнях.
- ⁴⁹ ...из-за проклятия Агни...— По одному из пуранических мифов, когда Агни скрывался от богов, его выдал попугай, воспроизведя его голос, и Агни проклял попугая, отчего у того речь стала невнятной; слон же вовсе лишился способности говорить за то, что подсказал богам, что Агни прячется в дереве ашваттхе.
- ⁵⁰ Бетель — род перца, листья которого, свернутые в трубку и наполненные разного рода пряностями, употребляются для жевания и считаются в Индии изысканным лакомством.
- ⁵¹ ...брызги амриты, сверкающие на лунном диске...— Луна в индийской мифологии и поэзии почитается хранилищем амриты; о связи луны с понятиями амриты и сомы см. в приложенной к переводу статье.
- ⁵² ...жемчужины, вырванные <...> из висков дикого слона.— См. примеч. 30.
- ⁵³ Подобно столице <...> Ямы...— лес полон буйволов, а буйвол — ездовое животное бога смерти Ямы.
- ⁵⁴ ...подобно Дурге...— Грозная богиня Дурга изображалась с разными видами оружия в руках и с телом, покрытым кровью убитых ею демонов.
- ⁵⁵ День гибели мира.— Гибель мира (пралая) происходит, по индийским космогоническим представлениям, периодически, через каждые 4 320 000 000 человеческих лет, составляющих один «день Брахмы», или кальпу. Конец кальпы знаменуется грозными землетрясениями, бурями, потопом, появлением 12-ти (или 7-ми) солнц, которые дотла сжигают все миры. Спустя определенное время начинается новое творение мира и соответственно новая кальпа.

- ⁵⁶ ...павлинов, танцующих, точно Шива...— Павлины, по индийскому поверью, танцуют при приближении туч; Шива же своим танцем разрушает мир в день его гибели.
- ⁵⁷ ...подобно океану во время пахтанья, он полон деревьев шри и травы варуни...— При пахтанье Молочного океана богами и асурами в числе других сокровищ из него появились на свет богиня красоты Шри (Лакшми) и богиня вина Варуни. Здесь, как и вообще в заключительной части описания леса Виндхья, используется игра слов.
- ⁵⁸ ...подобно луне со знаком лани...— Пятно на луне толкуется в ряде индийских мифов как укрывшаяся от погони лань.
- ⁵⁹ ...подобно царской власти...— Опахала из бычьих хвостов и армия слонов рассматриваются здесь как атрибуты царской власти.
- ⁶⁰ ...подобно Парвати, покоящейся на льве...— Лев — ездовое животное богини Парвати, или Дурги.
- ⁶¹ ...подобно Раване, похитителю Ситы...— «Равана» на санскрите значит «ревуший».
- ⁶² ...подобно Земле на клыке Великого вепря...— В своем воплощении (аватаре) Великого вепря Вишну поднял на клыке Землю, утопленную в океане демоном Хираньякшей.
- ⁶³ ...подобно крепостному валу столицы Раваны...— В «Рамаяне» войско обезьян ломает крепостной вал из деревьев и берет штурмом столицу Раваны — Ланку.
- ⁶⁴ ...будто тело Индры, покрытое тысячью глаз...— По одному из мифов, тело Индры покрылось тысячью глаз, когда он любовался апсарой Тилоттамой, обходящей собрание богов.
- ⁶⁵ ...будто стяг на колеснице Арджуны...— На стяге Арджуны, одного из главных героев эпоса «Махабхарата», восседал, устрашая врагов во время битвы, царь обезьян Ханумаң.
- ⁶⁶ ...будто царство Вираты кичаками-воинами...— В «Махабхарате» кичаки, названные так по имени своего военачальника и старшего родича Кичаки, составляли отборное войско при дворе царя матсьев Вираты.

- ⁶⁷ ...обитель великого мудреца Агастья...— Далее упоминаются мифы, связанные с именем Агастья: Агастья выпил океан, на дне которого укрывались асуры, и тем самым помог богам одержать над ними победу; заставил согнуться горы Виндхья, когда они уперлись вершинами в небосвод и преградили путь солнцу; проглотил демона Ватапи, преследовавшего брахманов в лесу Дандака; сбросил с неба и превратил в змея царя Нахушу, захватившего власть над тремя мирами. Агастья считается покровителем юга Индии и отождествляется со звездой Южного полушария Канопусом.
- ⁶⁸ *Узор из трех линий* — магический знак, который подвижники наносили себе золою на лоб, а иногда на плечи, грудь, спину и т. д.
- ⁶⁹ *Неподалеку <...> жил некогда Рама*...— Герой эпоса «Рамаяна» Рама, отказавшись от царства, вместе со своей женой Ситой и братом Лакшманой провел в лесу Дандака (в той части его, которая зовется Панчавата) четырнадцать лет своего изгнания.
- ⁷⁰ ...*кровью бесчисленных воинов Раваны*...— Рама, сын Дашаратхи, во время жительствова в лесу Дандака истребил бесчисленное войско ракшасов во главе с братьями Раваны — Кхарой и Душаной.
- ⁷¹ *Золотая антилопа*.— Согласно «Рамаяне», демон Марича, приняв облик золотой антилопы, увлек за собой Раму в лес и тем самым дал возможность Раване похитить Ситу и унести ее на Ланку.
- ⁷² ...*словно луна и солнце в пасть Раху*...— См. примеч. 10.
- ⁷³ ...*огромная рука демона Йоджанабаху*...— Йоджанабаху (букв. «имеющий руку длиною в йоджану») — прозвище демона Кадамбхи, который сначала пленил Раму и Лакшману, но затем был ими убит.
- ⁷⁴ ...*кажется, что она вновь восстает из земли*...— Согласно «Рамаяне», Сита родилась из земли и ушла в землю в конце жизни.
- ⁷⁵ ...*по наущению Варуны*...— Варуна — бог океанских вод и потому разгневался на Агастью, осушившего океан.

- ⁷⁶ ...Сугрива <...> изгнанный Балином...— Царь обезьян Сугрива, согласно «Рамаяне», был изгнан своим братом Балином в лес, где встретил Раму, который помог ему вернуть царство.
- ⁷⁷ ...будто <...> их пятнает давнее проклятие Рамы.— Рама проклял уток-чакравак, смеявшихся над его горем, когда он потерял Ситу, предсказав, что и они каждую ночь будут терять своих любимых. Ночные страдания разлученной пары чакравак — один из устойчивых топосов индийской поэзии.
- ⁷⁸ ...семи пальм, разбитых <...> стрелой Рамы...— Желая убедить Сугриву в своей способности победить Балина, Рама пустил стрелу, которая пробила подряд семь пальмовых деревьев.
- ⁷⁹ ...увенчанному месяцем Шиве...— Шива обычно изображается с серпом месяца на голове.
- ⁸⁰ ...танец тандаву...— Тандава — экстатический танец Шивы, который он, в качестве бога-разрушителя, танцует во время пралаи и, простирая тысячу рук, уничтожает мир.
- ⁸¹ Подобно Дурьодхане, привечавшему Шакуни...— Шакуни — один из недоброжелателей братьев-пандавов, героев «Махабхараты», которому покровительствовал их главный обидчик Дурьодхана.
- ⁸² ...на реку Ямуну, поднятую вверх плугом <...> Баларамы...— См. примеч. 43.
- ⁸³ ...Сугрива, <...> разлученный <...> с Тарой...— См. примеч. 76; Балин, изгнав Сугриву, отнял у него и жену — Тару; «Тара» букв. значит «звезда», Сугрива — сын бога солнца Сурьи.
- ⁸⁴ ...Ганги, низведенной на землю Бхагиратхой...— См. примеч. 24.
- ⁸⁵ ...река Нармада, разделенная <...> тысячью рук Арджуны Картавиры...— Тысячерукий царь Арджуна Картавирия, желая продемонстрировать свою силу, разделил Нармаду на тысячу русел.

- ⁸⁶ ...словно заросли деревья тамала... — то есть темного цвета; см. примеч. 18.
- ⁸⁷ ...воины Кхары и Душаны... — См. примеч. 70.
- ⁸⁸ ...приверженцы века Кали... — См. примеч. 31.
- ⁸⁹ ...вырвав его из капюшона змеи... — По индийскому поверью, в капюшонах больших змей (обычно кобр) можно найти драгоценные камни.
- ⁹⁰ ...Кришна, вырвавший бивень из глотки Кувалаяпиды... — Кувалаяпида — демон, посланный Кансой уничтожить Кришну и ради этого принявший облик громадного слона. Кришна вырвал из пасти Кувалаяпиды бивень и, использовав его как свое оружие, убил демона.
- ⁹¹ ...Бака, утраивший Экачакру... — Ракшаса Бака, согласно рассказу «Махабхараты», требовал от жителей города Экачакры ежедневную дань — двух быков и одного человека. По просьбе жителей города один из братьев-пандавов, Бхима, убил Баку.
- ⁹² ...Гаруда, вырывающий зубы у змей... — Царь птиц Гаруда изображается непримиримым врагом змей, которым он мстил за унижение своей матери Винаты.
- ⁹³ ...Бхишма, враждующий с сыном Друпady... — в «Махабхарате» Бхишма командовал войском кауравов, а сын Друпady Дхриштадьумна — войском их противников пандавов.
- ⁹⁴ Как нота нишада... — Слово «нишада» (niśāda) может означать последнюю из семи нот индийской гаммы и одновременно — племя горцев-нишадов, принадлежащих к касте чандалов.
- ⁹⁵ Трезубец Дурги — оружие, которым Дурга убила демона-буйвола Махишу, пытавшегося изгнать богов с неба.
- ⁹⁶ ...черной, будто платье Балафамы... — Баларама (или Баладева), брат Кришны, в отличие от него имеет светлый, золотистый цвет кожи (у Кришны — темно-синий), но носит темно-синюю одежду (Кришна — желтую).
- ⁹⁷ ...Агни <...> принял облик юноши-брахмана. — «Махабхарата» рассказывает, что бог Агни пожелал сжечь себе в

пропитание лес Кхандаву, но Индра помешал ему, пролив на лес дождь. Тогда Агни попросил помощи у Кришны и Арджуны, явившись к ним в виде юноши-брахмана, и те прикрыли лес от дождя пологом своих стрел.

⁹⁸ ...как у сына Дроны с Крипой...— В «Махабхарате» сын Дроны Ашваттхаман и Крипа, приемный сын царя Шантану, заключив союз с еще одним воином-кауравом Криттаварманом, истребили уже после окончания битвы на поле Куру спящий лагерь пандавов.

⁹⁹ ...принявшим вид антилопы Маричей...— См. примеч. 71.

¹⁰⁰ ...Брахме, рожденному из лотоса...— См. примеч. 23.

¹⁰¹ ...Вишну, ставшему вепрем и человеком-львом. — Имеются в виду две аватары (земные воплощения) Вишну.

¹⁰² ...Балараме, победителю Дхенуки...— Дхенука, демон, принявший облик осла, был убит Баларамой за то, что пытался помешать юным Кришне и Балараме собирать плоды в охраняемой им роще.

¹⁰³ ...Хануману, разбившему кости Акши...— Согласно рассказу «Рамаяны», вождь обезьян Хануман в сражении под Ланкой убил сына Раваны Акшу, бросив его о землю. Здесь, как и в целом в этой части описания обители, использована игра слов: «акша» (akṣa) не только имя демона, но и название плодов дерева акши (Eleoagnus parnitrus).

¹⁰⁴ ...Джахну, извергающего воды Ганги.— Когда Бхагиратха низводил на землю Гангу, она, падая с неба, разбила алтарь мудреца Джахну; разгневанный Джахну выпил реку, но затем по просьбе Бхагиратхи выпустил ее воды через свое ухо.

¹⁰⁵ ...Гаруда, мститель Винаты...— Мать Гаруды Вината стала рабыней своей сестры Кадру, после того как дети Кадру — змеи — обманом помогли своей матери выиграть у Винаты спор, ставкой в котором была свобода. Мстя за унижение матери, Гаруда постоянно враждовал со змеями.

¹⁰⁶ Владыка гор — Гириша, одно из имен Шивы, супруга богини Гаури, или Парвати.

- ¹⁰⁷ *Шива, покрытый золой.*— В качестве бога-разрушителя, бога-аскета Шива изображался с телом, покрытым золой.
- ¹⁰⁸ *Четырехликий Брахма.*— Брахма, бог-творец, создатель четырех вед, изображался с четырьмя лицами; отсюда одно из его имен: Чатуранана, или Чатурмукха, — «четырехликий».
- ¹⁰⁹ *Созвездие Семи Риши* — созвездие Большой Медведицы, семь звезд которой, согласно индуистской мифологии, репрезентируют семь божественных мудрецов-риши: Готаму, Бхарадваджу, Вишвамитру, Джамдагни, Васиштху, Кашьяпу и Атри.
- ¹¹⁰ *...подобно Ганге, сошедшей на голову Шивы...*— При падении Ганги с неба Шива, чтобы смягчить удар ее вод о землю, принял ее себе на голову и замедлил ее течение в своих волосах; отсюда один из эпитетов Шивы — Гангадхара, то есть «Держатель Ганги».
- ¹¹¹ *Пять стихий мироздания* — пять «великих элементов» (махабхута) мира: воздух, земля, вода, огонь и эфир.
- ¹¹² *...лотос, что растет из пупа <...> Вишну...*— Перед началом творения Вишну возлежит на мее Шеше в водах Мирового океана, из его пупа вырастает лотос, из лотоса — Брахма, который и осуществляет задуманный Вишну замысел творения мира; см. примеч. 23.
- ¹¹³ *...с звездой Арундхати — праведной женой Васиштхи...*— Жену мудреца Васиштхи звали Арундхати, и она идентифицировалась с небольшой звездой Арундхати (Алькор) в созвездии Большой Медведицы.
- ¹¹⁴ *...созвездия Ашадха и Мула — отшельническим посохом и целебным корнем...*— На санскрите слова «ашадха» (āṣāḍha) и «мула» (mūla) означают одновременно отшельнический посох и двадцать первое лунное созвездие, корень дерева и семнадцатое лунное созвездие.
- ¹¹⁵ *...с головы Шивы, украшенной луной и черепами...*— Шива изображается с Гангой и серпом месяца в волосах (см. примеч. 79 и 107), а также — в своем грозном облике — с венком из черепов на голове или в ожерелье из черепов.

- ¹¹⁶ *На озере-луне <...> показалась лань...*— См. примеч. 58.
- ¹¹⁷ *...первой стражи ночи.*— Стража — восьмая часть суток, период в три часа.
- ¹¹⁸ *...Кайласы, пожелавшей остаться обиталищем Шивы.*— Гора Кайласа считается обителью Шивы; поскольку Удджайини кажется сотворенным Шивой, то его крепостной вал сравнивается с Кайласой, не желающей расстаться со своим господином.
- ¹¹⁹ *Гора Мандафа* — гора, служившая богам и асурам мутовкой во время пахтанья ими Молочного океана.
- ¹²⁰ *Флаги со знаками макары.*— Макара — легендарное морское животное (иногда переводится на русский язык как «дельфин»), изображением которого украшено знамя бога любви Маданы.
- ¹²¹ *...тысяча глаз Индры...*— См. примеч. 64.
- ¹²² *Майнака* — единственная гора, которая, скрывшись на дне океана, сберегла свои крылья, когда Индра срезал их у всех гор; см. примеч. 35.
- ¹²³ *Законы смрити.*— Смрити, или дхармашастры, — древнеиндийские книги законов.
- ¹²⁴ *...как Дурга, он дружен со львами...*— См. примеч. 60.
- ¹²⁵ *...не разлучаются пары чакравак...*— См. примеч. 77.
- ¹²⁶ *...рыдает Рати по сожженному Шивой Каме.*— См. примеч. 22.
- ¹²⁷ *...как ноги Вишну служат опорой небесной Ганги...*— Небесная Ганга вытекает из большого пальца левой ноги Вишну.
- ¹²⁸ *Как Пашупати удержал гору Кайласу...*— Согласно «Рамаяне», Равана попытался однажды сокрушить Кайласу, но Шива (Пашупати) удержал ее одним пальцем, а Равану заставил взмолиться о пощаде, прицелив горой его руки.
- ¹²⁹ *...хоботом слона Айраваты...*— Айравата, божественный слон Индры, как и его господин, считается хранителем Востока.
- ¹³⁰ *...на юге — до берега Южного океана...*— Далее приметы похода на юг, на остров Ланку, войска Рамы: мост через океан, сложенный из обломков скал обезьяной Налой;

обезьянье войско Рамы; следы ног Рамы на прибрежном песке; горы, сброшенные в море обезьянами, для того чтобы построить мост.

¹³¹ ...на западе — до горы Мандары...— Далее приметы пахтанья Западного, или Молочного, океана богами и асурами: гора Мандара в качестве мутовки; брызги амриты, добытой при пахтанье; браслеты с рук Вишну, пахтавшего амриту; змей Васуки, обмотанный вокруг Мандары вместо веревки.

¹³² ...на севере — до горы Гандхамаданы...— Далее упоминания мифов, связанных с этой священной горой в Гималаях: здесь находится обитель Бадафика, в которой Вишну в его двойной ипостаси Нары и Нараяны в течение многих тысяч лет совершал аскезу; рядом расположена столица Куберы Алака; с озера на вершине горы один из братьев-пандавов Бхима, или Врикодара, принес по просьбе Драупади благоуханные лотосы.

¹³³ Древо желаний — кальпаврикша, одно из пяти чудесных деревьев, растущих в райском саду на небе Индры.

¹³⁴ ...словно стая гусей от горы Краунча...— По одному из мифов, бог Сканда прострелил стрелой гору Краунча, загораживающую озеро Манас, и гуси, живущие на озере, с тех пор могли через образовавшуюся расщелину разлетаться по всему свету.

¹³⁵ ...очищая своей белизной мир богов и асуров...— В индийской мифо-поэтической традиции слава — белого цвета.

¹³⁶ ...составленный из двух половин Джарасандха...— Отец царя Джарасандхи Брихадратха долгое время был бездетен. Наконец он получил от мудреца Чандакаушки чудесный плод манго, который разделил между двумя своими женами. Съев плод, каждая из них родила по половине младенца и в ужасе бросила свою половину на землю. Женщина-демон Джара соединила брошенные половинки, и, когда они срослись, появившийся на свет мальчик получил имя Джарасандха, то есть «Соединенный Джарой».

- ¹³⁷ ...все равно что Брихаспати для Индры...— Далее названы мудрые советники богов, асуров и легендарных царей.
- ¹³⁸ ...волосков, вставших от наслаждения...— Волоски на коже, поднимающиеся при сильной эмоции (влюбленности, радости, наслаждении и т. п.) — постоянный образ индийской поэзии.
- ¹³⁹ ...как расцветает дерево бакула <...> как розовеет <...> ашока...— По народному поверью, цветы на бакуле появляются после того, как девушка опрыснет ее вином из рта, а на ашоке — когда она ударит ее ногою.
- ¹⁴⁰ ...как Баларама...— См. примеч. 96.
- ¹⁴¹ ...Джарасандха <...> победивший Джанардану.— Царь Джарасандха (см. примеч. 136) после того, как Кришна (Джанардана) убил его зятя Кансу, напал на Кришну и изгнал его из Матхуры в Двараку. Впоследствии по наущению Кришны Джарасандха был убит Бхимой.
- ¹⁴² ...Дашаратха <...> обрел <...> четырех сыновей...— Согласно «Рамаяне», мудрец Ришьяшринга совершил для бездетного царя Айодхьи Дашаратхи жертвоприношение, в результате которого у жен Дашаратхи Каушалы, Кайкеи и Сумитры родились четыре сына: Рама, Бхарата и близнецы Лакшмана и Шатругхна.
- ¹⁴³ ...четыре руки Нараяны...— Нараяна (Вишну) изображается с четырьмя руками, одна из которых держит чакру, другая — раковину, третья — булаву или палицу и четвертая — лотос или лук.
- ¹⁴⁴ ...в разводах белой горчицы...— Белая горчица (гаурасаршапа), зола, нитка с желтыми бусинами и т. д.— талисманы, предохраняющие младенца от болезней и бед.
- ¹⁴⁵ В храмах Чандики...— Далее описание магических обрядов и действий, которые совершает женщина ради рождения сына.
- ¹⁴⁶ ...богов — хранителей сторон света.— Восемь богов-локаपालов: Индра — хранитель Востока, Агни — Юго-Востока; Яма — Юга, Сурья — Юго-Запада, Варуна — Запада, Ваю — Северо-Запада, Кубера — Севера и Сомы — Северо-Востока.

- 147 ...тысячи драгоценных камней капюшонов Шеши...— Царь змей Шеша имеет тысячу капюшонов, и в каждом из них — драгоценный камень (см. примеч. 89). Когда Вишну спит в Мировом океане, он возлежит на Шеше, и камни в капюшонах Шеши озаряют его своим блеском.
- 148 ...богини-матери, покровительницы шестидневных младенцев...— Шестой день жизни новорожденного, определяющий, по индийским верованиям, его судьбу, охраняется особой богиней-матерью (обычно Дургой, или Катьяяни). Здесь, как и во всем этом отрывке, описываются обряды и магические действия, обеспечивающие благополучие и здоровье младенца.
- 149 ...Карттикеи, сидящего на <...> спине <...> павлина...— Павлин — ездовое животное бога Сканды, или Карттикеи.
- 150 ...тысяча имен Нараяны...— В «Махабхарате» (XIII. 149) имеется особый раздел, названный «Гимн тысяче имен Вишну».
- 151 ...как Карттикея, но только с одним, а не с шестью лицами...— Бог Сканда в младенчестве был воспитан шестью богинями-Криттиками (звездами Плеяды), и отсюда у него шесть лиц и второе имя — Карттикея.
- 152 ...знаками диска и раковины...— См. примеч. 21.
- 153 ...знаками знамени, колесницы, коня, зонта и лотоса...— то есть знаками царского достоинства, указывающими на предназначенное младенцу верховенство над миром.
- 154 ...походили на распутившиеся белые лотосы...— Смех в индийской мифо-поэтической традиции белого цвета.
- 155 ...подобное для брахмана имя...— Вайшампаяной, в частности, звали древнего брахмана-мудреца, рассказчика «Махабхараты».
- 156 ...подобно Бхиме...— Среди пяти братьев-пандавов, героев «Махабхараты», Бхима отличался физической силой.
- 157 ...подобно стрелам Парашурамы...— В отместку за убийство своего отца Джамадагни сыновьями царя Арджуны Картавиры Парашурама поклялся очистить землю от цар-

ских родов и трижды по семь раз устраивал побоище кшатриев, истребляя их стрелами из своего лука.

158 *...как цветы древа желаний на его луке...*— Бог любви Кама вооружен луком из сахарного тростника и пятью стрелами из цветов, насылающими любовную страсть; отсюда имена Камы: «Бог с цветочным луком» или «Бог с цветочными стрелами».

159 *...со своими матерями...*— Матерями царевича считаются не только его родная мать, но и все жены царя.

160 *...быка Шивы...*— Имеется в виду бык Нандин, ездовое животное Шивы, глава его божественной свиты (ганы), который живет вместе с ним на горе Кайласе.

161 *...льва Парвати...*— См. примеч. 60.

162 *...казался одним из коней колесницы солнца...*— Кони колесницы солнца имеют шерсть зеленого цвета.

163 *Подобно Вишну...*— См. примеч. 27.

164 *Гусь* — ездовое животное бога Варуны.

165 *...стоглазый Индра был обманут океаном...*— поскольку своего коня, Уччайхшраваса, Индра получил от океана.

166 *...царя тридцатки богов...*— Индры; «тридцатка» (тридаша) — округление обычного числа главных индуистских богов — 33 (12 адитьев, 8 васу, 11 рудр и 2 ашвина).

167 *...белый лотос — обитель богини царской славы...*— См. примеч. 46.

168 *...вновь обретшему тело <...> богу любви...*— См. примеч. 22.

169 *...купы лотосов, расцветшие при появлении месяца...*— Месяц считается покровителем ночных лотосов, расцветающих при его восходе; солнце — покровителем дневных лотосов.

170 *...Карттикея <...> недостоин имени царевича!* — Одно из имен бога Карттикеи, или Сканды, — «Царевич», «Мальчик» (Кумара); о шести лицах Сканды см. примеч. 151.

171 *...только без макары на знамени...*— См. примеч. 120.

172 *...походили на жителей Белого острова...*— Белый остров (Шветадвипа) — легендарная обитель блаженных.

- 173 ...Вишну-карлика, делающего три шага.— См. примеч. 27.
- 174 ...родом ядавов, ведомым Кришной.— Ядавы — племя, в котором родился Кришна и которое погибло после его смерти.
- 175 ...океаном, укрывшим тысячи крылатых гор.— См. примеч. 35.
- 176 ...карликом Вишну, победившим асуру Бали.— См. примеч. 27.
- 177 ...Удаяной, покорившим Васавадатту.— Легенда о царе ватсов Удаяне, завоевавшем любовь царевны Васавадатты — одна из самых популярных в санскритской литературе.
- 178 Актеры-бхараты.— Бхараты — одно из наименований актеров в Индии, поскольку они считаются потомками мудреца Бхараты, легендарного основателя индийского театра, в репертуаре которого преобладают сюжеты эпоса, прежде всего «Махабхараты».
- 179 ...книгой законов Нарады.— «Нарадия-дхармашастра», древняя книга законов, приписываемая мудрецу Нараде.
- 180 ...казался Радхой, пленяющей Кришну.— Легенда о возлюбленной Кришны пастушке Радхе — центральная в кришнаизме и постоянно используется в поэзии и прозе.
- 181 Белый <...> он казался Баладевой...— См. примеч. 96.
- 182 ...семь континентов земли...— По индийской космографии, земля состоит из семи (иногда — четырех, иногда — девяти или одиннадцати) континентов, расположенных лепестками вокруг горы Меру.
- 183 ...будто воды Молочного океана богиню Лакшми...— См. примеч. 14.
- 184 ...как принял его на свои клыки великий вепрь Вишну! — См. примеч. 62.
- 185 Пары чакравак <...> расстались друг с другом...— См. примеч. 77.
- 186 ...набросив <...> черную петлю.— Бог смерти Яма изображается с петлей, которой он вынимает у умерших душу из тела.

- 187 ...точно Вишну — на царя змей Шешу...— См. примеч. 147.
- 188 ...лунный свет <...> в страхе быть выпитым Раху...— См. примеч. 10.
- 189 ...на царскую славу сына Радхи.— Имеется в виду герой «Махабхараты» Карна, рожденный вне брака царицей Кунти и воспитанный колесничим Адхиратхой и его женой Радхой, которую считал своей матерью. Глава рода кауравов Дурьодхана помазал Карну на царство в стране Анга.
- 190 Опьянение дарами Лакшми...— Здесь и далее во всем поучении Шуканасы Лакшми, или Шри, рассматривается прежде всего как богиня царской власти.
- 191 ...бога с цветочным луком...— См. примеч. 158.
- 192 ...взяла с собою на память...— Перечисляются сокровища, которые вместе с Лакшми пребывали в Молочном океане и были добыты из него богами и асурами.
- 193 Город гандхарвов — призрачный небесный город, фантом, мираж.
- 194 ...пребывая на лотосе...— См. примеч. 46.
- 195 ...изменчивость облика (Нараяны).— Имеется в виду разнообразие воплощений (аватар) Вишну.
- 196 ...Ганга, породившая богов Васу...— Согласно «Махабхарате», восемь божеств Васу по проклятию мудреца Васиштхи родились на земле сыновьями царя Шантану и богини Ганги.
- 197 Словно Хидимба...— Женщина-ракшаса Хидимба, по рассказу «Махабхараты», страстно полюбила одного из братьев-пандавов — Бхиму.
- 198 ...она избегает тех, к кому благосклонна Сарасвати.— Иными словами, богатство и власть несовместимы с ученостью из-за взаимной ревности двух богинь: Лакшми и Сарасвати.
- 198 ...сестра сладкой амриты...— поскольку Лакшми и амрита вместе появились на свет при пахтанье океана.
- 200 ...землю, украшенную семью континентами...— См. примеч. 182.

- 201 ...Человека-льва...— См. примеч. 27.
- 202 ...буйвол бога смерти...— Ездовым животным бога смерти Ямы является черный буйвол.
- 203 ...гора Кайласа с протянутой к ней <...> рукой Раваны.— См. примеч. 128.
- 204 Десять сторон света...— К традиционным восьми (см. примеч. 36) прибавляется еще две стороны: верх и низ.
- 205 ...разрасталась <...> словно шаги Вишну.— См. примеч. 27.
- 206 ...вновь попросить облегчить ее (земли) бремя.— В ряде мифов земля, явившись на небо в виде коровы, просила Брахму избавить ее от бремени асуров.
- 207 Яйцо Брахмы.— См. примеч. 15.
- 208 ...великой битвы бхаратов.— Имеется в виду битва на поле Куру потомков царя Бхараты — пандавов и кауров, которая описана в «Махабхарате» и в которой, по утверждению эпоса, принимали участие чуть ли не все народы и царства Индии.
- 209 ...Юг, отмеченный звездой Тришанку...— Царь Тришанку (см. примеч. 34), сброшенный Индрой с неба, по воле мудреца Вишвамитры получил бессмертие и стал созвездием в южной части неба.
- 210 ...Запад, которому покровительствует Варуна...— См. примеч. 146.
- 211 ...Север, расположенный под созвездием Семи Риши.— См. примеч. 109.
- 212 Лук Индры — так на санскрите называется радуга (indrasāra).
- 213 ...подобно лотосу Нараяны...— См. примеч. 112.
- 214 ...с нектаром, излитым полумесяцем на челе Шивы...— См. примеч. 51 и 115.
- 215 ...нафы чакравак старались проплыть стороной...— См. примеч. 77.
- 216 Подобно больному лихорадкой любви...— Страдающий от любви, чтобы охладить свою страсть, должен, по предписаниям индийской эротической литературы, воз-

лагать себе на тело влажные лотосы, втирать освежающие мази, пить прохладительные напитки и т. п.

217 *Подобно великому мужу со счастливыми признаками...*— Знаки рыбы, дельфина (макары) и черепахи входят в число счастливых примет человека.

218 *Подобно плачу жен Краунчи...*— Краунча — имя демона, убитого Скандой, или Карттикеей, и в то же время — название птицы, род кроншнепа.

219 *Подобно Шиве, проглотившему яд калакату...*— Во время пахтанья океана Шива выпил яд калакату, грозивший отравить вселенную, отчего шея у него стала синего цвета.

220 *...оно зналось с макарами.*— См. примеч. 120.

221 *Подобно богам с немигающими глазами...*— Немигающие глаза — один из признаков божества.

222 *Подобно Кадру, вскормившей грудью тысячу змей...*— Кадру, жена Кашьяпы, была матерью тысячи змей-нагов, царем которых стал Васуки.

223 *...предпочитает возлежать на соленых и темных водах океана.*— В конце каждого мирового цикла (кальпы) Вишну погружается в сон и возлежит на змее Шеше в Мировом океане.

224 *...что воды одним глотком смог выпить Агастья...*— См. примеч. 67.

225 *...день великой гибели мира...*— См. примеч. 55.

226 *Слуги Шивы* — низшие божества, составляющие гану — свиту Шивы. Их предводителем считается Ганеша, слоновый бог, сын Шивы и Парвати.

227 *...будто юноша, раненный стрелами Камы...*— См. примеч. 216.

228 *...чатак, принявших их за дождевые тучи...*— По народному поверью, птица чатака способна утолить жажду только каплями дождя.

229 *...осколки громогласного смеха Шивы <...> лоскутья капюшонов Шешы <...> раковина Вишну <...> подобия сердца Молочного океана.*— Перечисляются явления, имеющие, по мифо-поэтическому канону, белый цвет.

- ²³⁰ *Жертвоприношения Дакши.*— Согласно известному мифу, Дакша совершил первое в мире жертвоприношение и пригласил на него всех богов, кроме Рудры (Шивы). Разгневанный Шива разрушил жертву стрелой и нанес увечья многим богам, включая самого Дакшу. Тогда, чтобы умиловить Шиву, Дакша признал его верховенство над богами и совершил в его честь новое жертвоприношение.
- ²³¹ *...по праву давней дружбы...*— До пахтанья амриты месяц жил в Молочном океане; см. примеч. 14.
- ²³² *...десяти Праджapati первой юги...*— Десять святых мудрецов (риши), сотворенных в Золотом веке и явившихся праотцами всех живых существ: Маричи, Атри, Ангирас, Пуластья, Палаха, Крату, Васиштха, Прачетас, Бхригу и Нарада.
- ²³³ *...красотой Кайласы, рухнувшей на землю...*— См. примеч. 128.
- ²³⁴ *...Белого острова...*— См. примеч. 172.
- ²³⁵ *Гаятри* — священный стих «Ригведы», обращенный к богу солнца Савитару (Рв. III. 62. 10).
- ²³⁶ *Брахмасана* — одна из поз религиозной медитации.
- ²³⁷ *Сокрушитель Трипуры* — Шива, который сжег своей стрелой город асуров Трипуру («Тройной город»).
- ²³⁸ *...входящая в огонь Сита...*— В «Рамаяне» Сита, чтобы доказать свою верность Раме, взошла на жертвенный костер, но огонь не коснулся ее тела.
- ²³⁹ *...пяти стихий?* — См. примеч. 111.
- ²⁴⁰ *...Мандакини, супруге Молочного океана...*— Все реки, в том числе и Мандакини, считаются, по индийским мифологическим представлениям, женами Мирового (Молочного) океана.
- ²⁴¹ *...месяц мадху...*— Мадху, или чайтра,— первый месяц весны, приблизительно март — апрель.
- ²⁴² *...обрызгивают вином <...> почки на деревьях бакулы...*— См. примеч. 130.
- ²⁴³ *...гул ударов о стволы ашоки ножных браслетов...*— См. примеч. 139.

- 244 ...*дороги словно бы политы кровью сердец путников*...— Страдания путников, разлученных в весенние дни со своими женами,— излюбленный топос индийской поэзии.
- 245 ...*похож на Васанту*...— Васанта, бог весны, описывается здесь как друг бога любви Маданы, оплакивающий его гибель от пламени глаза Шивы.
- 246 ...*пятно сандаловой мази, призванной охладить его страсть к Сарасвати*...— Юноша-подвижник описывается как возлюбленный богини мудрости Сарасвати; сандаловая мазь — средство успокоения любовных мук (см. примеч. 216).
- 247 ...*месяц чайтра*...— См. примеч. 241.
- 248 ...*лучом, зовущимся Сушумна*...— Имеется в виду один из семи главных лучей солнца, который поглощает свет убывающей луны.
- 249 ...*выбирают любимых по собственной воле*...— Среди видов брачного обряда в Древней Индии имелся и обряд «сва-ямвара» — свободный выбор жениха невестой.
- 250 ...*обет брахмачарина* — первая из четырех стадий (ашрам) жизни брахмана, стадия ученичества, в течение которой юноша живет в доме своего наставника и изучает веды.
- 251 ...*навлин — к туче*.— Павлины, радующиеся тучам и дождю,— традиционный топос индийской поэзии.
- 252 ...*чьим троном служит <...> рука Лакшми*.— Здесь Лакшми — богиня царской власти и славы.
- 253 ...*в метре арья*...— См. примеч. 47.
- 254 ...*бога, который лишен даже собственного тела?* — То есть Камы, тело которого сжег Шива; см. примеч. 22.
- 255 ...*жар двенадцати солнц*...— См. примеч. 55.
- 256 ...*солнце <...> друг чакравак*...— поскольку восход солнца знаменует конец ночи, а с ним и конец разлуки влюбленных чакравак; см. примеч. 77.
- 257 ...*великий грех убийства брахмана*.— Убийство брахмана, пьянство, кража и прелюбодеяние с женой наставника названы в индийских книгах законов «четырьмя великими грехами».

- 258 ...жемчужной пылью из висков слона...— См. примеч. 30.
- 259 ...нашедшая на нем убежище лань...— См. примеч. 58.
- 260 Лунный камень — чудесный камень, созданный якобы из лучей луны и при восходе луны источающий влагу.
- 261 ...ненавидит дневные лотосы...— Здесь вражда месяца к дневным лотосам (см. примеч. 169) объясняется тем, что, будучи сам влюблен, месяц считает их виновными в разлуке любящих чакравак.
- 262 ...принял на себя обет любви...— Далее приметы, отличающие влюбленного, истолковываются как атрибуты монашеской аскезы.
- 263 Или о Притхе...— Супруг Притхи, или Кунти, царь Панду, по проклятию мудреца Киндамы, не должен был под угрозой смерти вступать в связь с женщиной и, когда однажды пренебрег этим проклятием, тут же умер.
- 264 Или об юной Уттаре...— Уттара, жена Абхиманью, уже после смерти своего мужа в битве на поле Куру родила от него сына Парикшита, который стал царем Хастинапуры.
- 265 Или о Духшале...— Духшала — единственная сестра ста братьев-кауравов и жена царя синдхов Джаядратхи, который после суровой аскезы получил от Шивы дар: способность победить на поле боя любого из братьев-пандавов, кроме Арджуны. Джаядратха пал как раз от руки Арджуны.
- 266 ...девушке по имени Прамадвара...— Прамадвару, согласно рассказу «Махабхараты», незадолго до ее свадьбы с молодым аскетом Руру смертельно ужалила змея. Тогда Руру по совету богов отдал Прамадваре половину отпущенного ему срока жизни, и Прамадвара воскресла.
- 267 Или Арджуну...— Арджуну по неведению убил в поединке его собственный сын Бабхрувахана. Узнав, что убитый — его отец, Бабхрувахана решил умереть сам, но приемная мать Бабхруваханы, царица змей-нагов Улупи дала ему магический камень, с помощью которого он возвратил Арджуну к жизни.

- 268 *Или Парикшита...*— После окончания битвы на поле Куру Ашваттхаман, мстя за смерть своего отца Дроны, божественным оружием брахмастрой убил еще не родившегося Парикшита в чреве его матери Уттары. Но по просьбе Уттары Кришна воскресил Парикшита.
- 269 *Или <...> как тот же Кришна...*— Согласно одному из мифов «Вишнупураны», брахман Сандипани, наставник Кришны, потребовал в награду за обучение, чтобы Кришна возвратил ему сына, похищенного демоном Панчаджаной. Кришна отыскал сына брахмана уже в подземной обители бога смерти Ямы и вывел его оттуда к отцу.
- 270 *...мету великого греха смерти молодого подвижника...*— См. примеч. 257.
- 271 *...след ожога проклятия Дакши...*— Дакша проклял бога луны Сому и обрек его на периодическое «увядание» за то, что тот, отдавая предпочтение Рохини, пренебрегал другими двадцатью шестью своими женами — дочерьми Дакши.
- 272 *...для обитателей семи миров...*— См. примеч. 19.
- 273 *...пятой, женской, юги...*— В индийской космографии насчитываются четыре юги.
- 274 *...обрызгивая ветки бакулы...*— См. примеч. 139.
- 275 *...ударяя ашоку...*— См. примеч. 139.
- 276 *...взяли взаймы у бессмертных богов...*— См. примеч. 221.
- 277 *...Лакшми ее лица...*— Здесь Лакшми — богиня красоты.
- 278 *...половину ее составляет Хара...*— Шива (Хара) и Парвати (Гаури) иногда рассматриваются как двуединое существо, Ардханаришвара, с правой (мужской) и левой (женской) половинами тела. Здесь имеется в виду, что Кадамбари превосходит Гаури, поскольку Манматха слит со всем ее телом, а у Гаури лишь половина тела принадлежит Шиве.
- 279 *...порождала на свет сотни Лакшми...*— Имеется в виду, что отражения Кадамбари кажутся сотнями богинь красоты Лакшми и этим Кадамбари как бы посрамляет Нараяну, которому принадлежит только одна Лакшми.
- 280 *...чванящегося лишь одной луной...*— См. примеч. 79.

- 281 ...который <...> сжег единственного Манматху.— См. примеч. 22.
- 282 Подобно земле, отвергнувшей притязания царственных гор и нашедшей прибежище на капюшонах Шеши...— Горы, согласно одному из мифов, притязали заполнить собою всю землю (см. примеч. 26); змей Шеша рассматривается как одна из опор земли.
- 283 Подобно осени, умеряющей веселье павлинов...— Наступление осени знаменует собой конец сезона дождей, любимого павлинами (см. примеч. 251), а возвещает начало осени в поэтической традиции прилет гусей с озера Манаса.
- 284 Подобно жене великого гуру, соблазненной Чандрой...— Чандра, бог луны, соблазнил, по одному из мифов, Тару, жену гуру (наставника) богов Брихаспати и увел ее от супруга. Он возвратил ее лишь спустя долгое время после вмешательства Брахмы.
- 285 Страна бхаратов — Бхаратаварша, то есть Индия.
- 286 ...предложить Махашиве бетель...— Предложение бетеля входило в индийский церемониал гостеприимства и служило выражением уважения.
- 287 Восемь рас — то есть расы любви, смеха, скорби, гнева, мужества, страха, отвращения и удивления, каждой из которых соответствуют особые проявления чувства (анубхавы), выражающиеся в мимике, жестах и манере поведения.
- 288 ...воды Ямуны, застывшие в страхе перед плугом Бала-рамы...— См. примеч. 43.
- 289 ...улыбку Лакшми, забытую ею в отчем доме...— то есть в океане, из которого вышла Лакшми. Как и большинство других сравнений в данном отрывке, это связано с мифом о пахтанье океана, поскольку ожерелье, принесенное Тараликой, принадлежит к сокровищам океана.
- 290 Маттамаюра — букв. «Пьяный павлин».
- 291 ...отвердели <...> за чинимые ими страдания...— Имеются в виду страдания влюбленных от лунного света — один из постоянных мотивов индийской поэзии.

- 292 ...заставляла его (месяц) поклясться жизнью, что сегодня он не взойдет.— Иначе он бы умножил ее страдания; см. примеч. 291.
- 293 ...тягостно <...> встреча с антилопой...— Увидеть справа от себя антилопу считается дурным знаком.
- 294 ...жаждала касания снега.— Поскольку холод умеряет любовный жар. В целом все описание Зимнего дома пронизано мотивами прохлады и влаги — традиционными, по индийскому поэтическому канону, средствами смягчения лихорадки любви.
- 295 ...попробую прибегнуть к потаенной речи.— То есть к речи, имеющей второй смысл. Так, заставивших окаменеть твое сердце — благодаря созвучию значит также: «отдавших твое сердце во власть Камы» (бога любви), у меня на сердце тот же камень — «Кама и у меня в сердце», готов отдать тебе свою руку — «готов стать твоим супругом», хочу быть рядом и припасть к твоим ногам — то есть «возлечь с тобою на ложе» и т. д.
- 296 ...чтобы защитит буйвола Ямы.— Здесь с буйволом Ямы (см. примеч. 202) идентифицируется демон-буйвол Махиша, убитый богиней Чандикой.
- 297 ...увидел святилище богини Чандики.— Далее следует описание святилища, которое соответствует представлению о Чандике как грозной богине-воительнице, которой приносятся кровавые (в том числе и человеческие) жертвы.
- 298 ...жемчужины, выпавшие из <...> висков <...> слонов.— См. примеч. 30.
- 299 ...грозит буйволу <...> повинному в том, что колеблет ее трезубец...— Чандика изображена пронзающей своим оружием-трезубцем демона-буйвола у ее ног.
- 300 ...оросить им (вином) кусты... бакулы.— См. примеч. 139.
- 301 ...ударить ашоку.— См. примеч. 139.
- 302 ...вовремя задул ветер с гор Малая...— Ветер с гор Малая дует в начале весны, как бы возвещая наступление поры любви.
- 303 Сваямвара.— См. примеч. 249.
- 304 ...доставил ему <...> новые мучения.— См. примеч. 291.

СЛОВАРЬ ИМЕН, НАЗВАНИЙ И ТЕРМИНОВ

Абхиманью — один из героев «Махабхараты», сын Арджуны.
Авалокитешвара — бодхисаттва, особенно почитаемый в северном буддизме.

Аванти — древняя страна на территории совр. Мальвы (Раджастан).

Аватара — «нисхождение» божества на землю, его воплощение в смертное существо.

Агасти — название цветов, растущих в западной Индии, *Agasti grandiflora*.

Агастья — божественный мудрец (риши), сын богов Митры и Варуны и апсары Урваши; имя Агастьи носит также звезда в Южном полушарии (Канопус).

Агни — бог огня.

Адити — мать двенадцати ведийских богов-адитьев, в том числе Индры, Вишну и Сурьи.

Айодхья — столица древней страны Кошалы — царства Рамы; совр. Аудх.

Айравата — слон Индры, появившийся на свет при пахтанье океана, один из восьми слонов — хранителей сторон света, хранитель Востока.

Акша — один из героев «Рамаяны», сын царя ракшасов Раваны, убитый Хануманом.

Акша — название дерева, косточки плодов которого использовались как игральные кости, *Eleocarpus panitrus*.

- Алака* — легендарная столица бога богатств Куберы, расположенная в Гималаях.
- Аларка* — древний царь, прославленный за свою щедрость.
- Амалака* — название дерева, *Emblic murgalan*.
- Амбика* — одно из имен богини Умы, супруги Шивы.
- Амрита* — напиток бессмертия, добытый богами и асурами при пахтанье океана.
- Ананта* — «бесконечный», одно из имен Шеши.
- Анджана* — мать предводителя обезьян Ханумана, героя «Рамаяны».
- Андхака* — тысячерукий демон, убитый Шивой.
- Андхра* — страна на юге Индии.
- Апсары* — божественные девы, небесные куртизанки и танцовщицы.
- Арати* — демон, убитый Скандой.
- Арджуна* — один из пяти братьев-пандавов, главных героев «Махабхараты».
- Арджуна Картавирия* — тысячерукий царь хайхаев, убитый Парашурамой.
- Аришта* — дочь Дакши и одна из жен прародителя живых существ Кашьяпы.
- Аришта*, или *ариштака* — название дерева, *Sapindus detergens*.
- Арка* — дерево, листья которого использовались в жертвенных церемониях, *Calatropis gigantea*.
- Аруна* — колесничий Солнца, персонифицирующий утреннюю зарю.
- Арундхати* — жена риши Васишты, почитавшаяся как утренняя звезда в созвездии Большой Медведицы.
- Архат* — высшее существо у джайнов и буддистов.
- Астика* — легендарный мудрец, спасший змей-нагов во время великого змеиного жертвоприношения в «Махабхарате».
- Асуры* — могущественные демоны, соперники богов.
- Ачхода* — «чистоводное», озеро в Гималаях.
- Ашадха* — одно из созвездий лунного зодиака.

Ашвамедха — жертвоприношение коня, древний ритуал, связанный с получением верховной царской власти.

Ашваттха — пипал, священное фиговое дерево, *Ficus religiosa*.

Ашваттхаман — один из героев «Махабхараты», сын Дроны, военачальник кауравов.

Ашока — «беспечальное», дерево с оранжево-алыми цветами, *Jonesia asoca* или *Saraca indica*.

Бабхрувахана — сын Арджуны от царевны Читрангады.

Бадарика — название обители Вишну (в его двойной ипостаси Нары-Нараяны) в Гималаях у истока Ганга, совр. Бадринах.

Бака — ракшаса, убитый героем «Махабхараты» Бхимой.

Бакула — вечнозеленое растение с цветами бледно-зеленого цвета, *Mimusops elengi*.

Бала, или **Вала** — демон, убитый Индрой, брат Вритры.

Баладжит — «победитель Балы», один из эпитетов Индры.

Баралама, или **Баладева** — старший брат Кришны, считавшийся одним из воплощений (аватарой) Вишну или Шеши.

Бали — праведный асура, получивший власть над тремя мирами и побежденный Вишну в его воплощении (аватаре) карлика.

Балин — царь обезьян, убитый Рамой в «Рамаяне».

Бана — асура, сын Бали, побежденный в поединке Кришной.

Бетель — род перца, употребляющийся в Индии для жевания, *Piper betel*.

Богини-матери — семь, восемь или шестнадцать богинь, принадлежащих к окружению Шивы или же его сына Сканды.

Бодхисаттва — в буддизме совершенное существо, стремящееся к просветлению, будущий будда.

Брахма — бог-творец, прародитель всего сущего, один из трех верховных богов индуистского пантеона.

Брахманы — жреческая каста, высшее сословие (варна) древнеиндийского общества.

Брихадратха — легендарный царь, основатель династии, правившей в Магадхе на протяжении тысячи лет.

Брихаспати — ведическое божество, впоследствии наставник богов и правитель планеты Юпитер.

«**Брихаткатха**» — не сохранившееся собрание сказочных и легендарных историй, которое послужило источником многих сюжетов санскритской литературы.

Будда — основоположник буддизма, Будда Шакьямуни.

Будха — сын Сомы, планета Меркурий.

«**Бхагавадгита**» — один из разделов «Махабхараты», священная книга индуизма.

Бхагиратха — потомок царя Сагары, принудивший своей аскезой сойти Гангу с неба на землю.

Бхадрамуста — вид травы.

Бхарата — 1) царь Лунной династии, сын Душьянты и Шакунталы, предок героев «Махабхараты» — пандавов и кауравов;

2) легендарный мудрец, которому приписываются изобретение драмы и авторство древнейшего трактата по театральному искусству — «Натьяшастры».

Бхаратаварша — «страна Бхараты», название Индии.

Бхараты — потомки царя Лунной династии Бхараты.

Бхима — 1) герой «Махабхараты», один из братьев-пандавов;

2) царь видарбхов, отец Дамаянти.

Бхишма — герой «Махабхараты», дед кауравов и пандавов, прославленный своей мудростью и воинским искусством.

Бхригу — ведийский мудрец, основатель жреческого рода бхаргавов.

Бхрингараджа — вид птиц, сорокопут.

Бхринги — один из помощников Шивы, входящий в его свиту.

Вадава — мифический подводный огонь, пожирающий воды океана.

Вайдурья — камень «кошачий глаз», ляпис-лазурь.

Валакхильи — мудрецы-небожители ростом с большой палец руки, стражи колесницы солнца.

Варуна — в древнейшей части вед бог, олицетворяющий небо, царь вселенной; позже — бог океана, морей и рек.

Варуни — жена Варуны, богиня вина, появившаяся на свет при пахтанье океана.

Варуни — одно из названий травы дурвы.

Варны — четыре главных сословия древнеиндийского общества: брахманы, кшатрии, вайшьи — торговцы, земледельцы и шудры — мелкие ремесленники, рабы.

Варша — название девяти (или семи) регионов земли и гор, отделяющих один регион от другого.

Васададтта — жена легендарного царя Удаяны.

Васанта — бог весны.

Васиштха — один из семи божественных мудрецов (махариши).

Васу — восемь божеств, олицетворяющих силы природы и составляющих свиту Индры.

Васуки — царь змей-нагов, живущих в подземном царстве; часто отождествляется с Шешей.

Ватапи — ракшаса, враждовавший с брахманами и проглоченный Агастьей.

Веданги — «части вед», шесть вспомогательных ведийских дисциплин: фонетика, метрика, грамматика, этимология, астрономия и ритуалистика.

Веды — древнейшие религиозные тексты Индии: четыре сборника ведийских гимнов — «Ригведа», «Самаведа», «Яджурведа» и «Атхарваведа» (собственно веды; первоначально священными считались только три первых сборника), брахманы, араньяки и упанишады.

Веталы — злые духи, оборотни, живущие на кладбищах и вселяющиеся в мертвые тела.

Ветравати — река, начинающаяся в Гималаях и впадающая в Ямуну (Джамну).

Вибхандака — мудрец, сын Кашьяпы, ставший лесным отшельником.

Видиша — древний город в северной Индии, совр. Бхилса.
Видьядхары (ж.р. видьядхари) — полубоги, олицетворяющие красоту и мудрость.

Вината — одна из жен Кашьяпы, дочь Дакши и мать Гаруды.
Виндхья — горный хребет, отделяющий северную Индию от южной части Деканского полуострова.

Вирата — один из героев «Махабхараты», царь племени матсьев, жившего на территории совр. Раджастан.

Вишваदेва — «все-боги», один из разрядов богов, состоящий из девяти или десяти божеств.

Вишвамитра — ведийский мудрец, кшатрий по рождению, ставший брахманом в результате аскезы.

Вишвасу — царь гандхарвов.

Вишну — один из трех верховных богов индуистского пантеона, бог-хранитель, выступающий на защиту мира в различных земных воплощениях (аватарах): Кришны, Рамы, Великого вепря, карлика, Человека-льва и др.

Врикодара — «волчья утроба», прозвище Бхимы.

Вритра — ведийский демон, убитый Индрой.

Вришапарван — один из царей асуров.

Вришни — род, входивший в племя ядавов, к которому принадлежал Кришна.

Ганга — священная река Ганг и богиня этой реки.

Гандхамадана — гора в Гималаях, обитель Куберы.

Гандхарвы — полубоги низшего класса, небесные музыканты.

Ганеша — слогоголовый бог мудрости, устранитель препятствий, сын Парвати и Шивы и предводитель свиты Шивы — ганы.

Гаруда — царь птиц и ездовое животное (вахана) Вишну.

Гаятри — «песня», жена Брахмы и мать четырех вед, иногда представляемая в виде птицы.

Годавари — река в южной части Деканского полуострова.

Грантхипарнака — вид кустарника.

Гуны — качества материи, основные начала природы: саттва, раджас и тамас.

Гунджа — кустарник с темно-красными ядовитыми ягодами, *Arbus ptesicatorius*.

Гуру — духовный учитель, наставник; великий гуру — Брихаспати.

Гухьяки — полубожественные существа, составляющие свиту Куберы, стражи его сокровищ.

Дадхича — ведийский мудрец, пожертвовавший своим телом ради победы богов в сражениях с асурами.

Дайтьи — род демонов-асуров, противников богов, сыновья Кашьяпы и Дити.

Дакша — ведийское божество, сын Брахмы, соучастник творения мира.

Даманака — брахман-мудрец, домашний жрец царя видарбхов Бхимы.

Данавы — род демонов-асуров, сыновья Кашьяпы и Дану.

Дандака — лес в окрестностях гор Виндхья, в котором, согласно «Рамаяне», жили в изгнании Рама и Сита.

Дашагрива — «имеющий десять шей», прозвище Раваны.

Дашапур — город в Мальве, совр. Мандасор.

Дашаратха — царь Айодхьи, отец Рамы.

Дварака — столица Кришны; возможно, совр. Дварка в Гуджарате.

Джабали — легендарный мудрец, автор одной из книг законов.

Джайны — приверженцы религиозно-философского учения, близкого буддизму и отрицавшего авторитет вед.

Джамадагни — брахман-мудрец, потомок Бхригу и отец Парашурамы.

Джамба — дерево из семейства миртовых с душистыми плодами, *Eugenia jambolana*.

Джанардана — «побуждающий людей», одно из имен Вишну-Кришны.

Джарасандха — царь Магадхи, убитый Бхимой.

- Джахну* — легендарный мудрец, выпивший воды Ганги.
- Джаядратха* — один из героев «Махабхараты», противник пандавов, царь страны Синдху.
- Джива* — «живой», одно из имен Брихаспати.
- Джина* — «победитель», основатель учения джайнов; также одно из имен Будды.
- Дикша* — одна из жен бога Сомы.
- Дилипа* — легендарный царь Солнечной династии, отец Бхагиратхи и предок Рамы.
- Дравиды* — название страны и народа на юге Индии.
- Драупади* — героиня «Махабхараты», жена пятерых братьев-пандавов.
- Древо желаний*, или кальпаврикша — одно из пяти деревьев неба Индры, исполняющее желания просителей.
- Дрона* — герой «Махабхараты», наставник пандавов и кауров в военном искусстве.
- Друма* — легендарный царь киннаров.
- Друпада* — один из героев «Махабхараты», царь панчалов, отец Драупади.
- Дурва* — трава, почитаемая священной и используемая в ритуалах, *Panicum dactylon*.
- Дурвасас* — легендарный мудрец, сын или воплощение Шивы; во многих мифологических сюжетах выступает как хранитель традиционных норм поведения и каратель за их нарушение.
- Дурга* — одно из имен супруги Шивы в грозной ее ипостаси.
- Дурьодхана* — герой «Махабхараты», старший из братьев-кауров и главный антагонист пандавов.
- Душала* — одна из героинь «Махабхараты», дочь Дхрити-раштры и жена Джаядратхи.
- Душана* — один из военачальников ракшасов, убитый Рамой в «Рамаяне».
- Душьянта* — царь Лунной династии, супруг Шакунталы.
- Дхарма* — бог справедливости и благочестия, часто отождествлявшийся с Ямой.

Гуны — качества материи, основные начала природы: саттва, раджас и тамас.

Гунджа — кустарник с темно-красными ядовитыми ягодами, *Arbus precatorius*.

Гуру — духовный учитель, наставник; великий гуру — Брихаспати.

Гухьяки — полубожественные существа, составляющие свиту Куберы, стражи его сокровищ.

Дадхича — ведийский мудрец, пожертвовавший своим телом ради победы богов в сражениях с асурами.

Дайтьи — род демонов-асуров, противников богов, сыновья Кашьяпы и Дити.

Даक्षा — ведийское божество, сын Брахмы, соучастник творения мира.

Даманака — брахман-мудрец, домашний жрец царя видарбхов Бхимы.

Данавы — род демонов-асуров, сыновья Кашьяпы и Дану.

Дандака — лес в окрестностях гор Виндхья, в котором, согласно «Рамаяне», жили в изгнании Рама и Сита.

Дашагрива — «имеющий десять шей», прозвище Раваны.

Дашапур — город в Мальве, совр. Мандасор.

Дашаратха — царь Айодхьи, отец Рамы.

Дварака — столица Кришны; возможно, совр. Дварка в Гуджарате.

Джабали — легендарный мудрец, автор одной из книг законов.

Джайны — приверженцы религиозно-философского учения, близкого буддизму и отрицавшего авторитет вед.

Жамадагни — брахман-мудрец, потомок Бхригу и отец Парашурамы.

Жамба — дерево из семейства миртовых с душистыми плодами, *Eugenia jambolana*.

Жанардана — «побуждающий людей», одно из имен Вишну-Кришны.

Жарасандха — царь Магадхи, убитый Бхимой.

- Джахну* — легендарный мудрец, выпивший воды Ганги.
- Джаядратха* — один из героев «Махабхараты», противник пандавов, царь страны Синдху.
- Джива* — «живой», одно из имен Брихаспати.
- Джина* — «победитель», основатель учения джайнов; также одно из имен Будды.
- Дикша* — одна из жен бога Сомы.
- Дилипа* — легендарный царь Солнечной династии, отец Бхагиратхи и предок Рамы.
- Дравиды* — название страны и народа на юге Индии.
- Драупади* — героиня «Махабхараты», жена пятерых братьев-пандавов.
- Древо желаний*, или кальпаврикша — одно из пяти деревьев неба Индры, исполняющее желания просителей.
- Дрона* — герой «Махабхараты», наставник пандавов и кауравов в военном искусстве.
- Друма* — легендарный царь киннаров.
- Друпада* — один из героев «Махабхараты», царь панчалов, отец Драупади.
- Дурва* — трава, почитаемая священной и используемая в ритуалах, *Panicum dactylon*.
- Дурвасас* — легендарный мудрец, сын или воплощение Шивы; во многих мифологических сюжетах выступает как хранитель традиционных норм поведения и каратель за их нарушение.
- Дурга* — одно из имен супруги Шивы в грозной ее ипостаси.
- Дурьодхана* — герой «Махабхараты», старший из братьев-кауров и главный антагонист пандавов.
- Духшала* — одна из героинь «Махабхараты», дочь Дхриташтры и жена Джаядратхи.
- Душана* — один из военачальников ракшасов, убитый Рамой в «Рамаяне».
- Душьянта* — царь Лунной династии, супруг Шакунталы.
- Дхарма* — бог справедливости и благочестия, часто отождествлявшийся с Ямой.

Дхарма — добродетель, закон, религиозный долг, одна из трех главных целей человеческой жизни в древнеиндийской религии и философии.

Дхаумья — жрец пандавов в «Махабхарате».

Дхенука — демон, убитый Баларамой.

Дхритарашистра — герой «Махабхараты», слепой отец ста братьев-кауров.

Дхундхумара — «убийца Дхундху», прозвище царя Солнечной династии Кавалаяшвы, убившего асуру Дхундху.

Железный век, или калиюга — последний из четырех периодов мировой истории, который длится 432 000 лет и в который живет современное человечество; в период калиюги, согласно индийской космографии, добродетель приходит в упадок, жизнь людей коротка и греховна, протекает в распрях и войнах и т. п.

Золотой век, или критаяуга — первый из четырех периодов мировой истории, длящийся 1 728 000 лет; люди в этот период поклоняются одному божеству, счастливы, наделены всеми достоинствами, не знают горестей и болезней и т. п.

Ингуда — лекарственное ореховое дерево, *Terminalia catappa*.

Индра — царь богов в индуистском пантеоне.

Итихасы — букв.: «так именно было», сказания о древности.

Ишана — «владыка», одно из имен Шивы.

Йоджана — индийская мера длины; по разным подсчетам — от 12 до 17 км.

Йоджанабакху — «имеющий руку <длиною> с йоджану», прозвище ракшасы Кабандхи.

Кабандха — согласно «Рамаяне», гандхарва, ставший по проклятию ракшасом и убитый Рамой, после чего он обрел свой прежний облик гандхарвы.

Кадали — род бананового дерева, *Musa sapientum*.

Кадамба — дерево с оранжевыми душистыми цветами, *Naus-lea cadamba*.

Кадру — дочь Дакши и сестра Винаты, прародительница змей-нагов.

Кайласа — горный хребет в Гималаях, обитель Шивы и Парвати, а также Куберы.

Кайтабха — демон, в паре с другим демоном Мадху появившийся на свет из уха Вишну и вместе с ним убитый Вишну за попытку нападения на Брахму.

Каккола — род плодовых деревьев.

Калакута — яд, возникший при пахтанье океана и проглоченный Шивой ради спасения мира.

Калаяка — название дерева, *Curcuma xanthorrhiza*.

Кали (век) — см. Железный век.

Кальпа — по индийскому мифологическому исчислению «день Брахмы», составляющий 1000 махаюг, или 4 320 000 000 человеческих лет; в конце кальпы происходит уничтожение мира (пралая), затем наступает «ночь Брахмы», длящаяся столько же, сколько «день», а затем новое творение и новая кальпа.

Кама — бог любви.

Камала — вид лотосов.

Канса — царь Матхуры, враждовавший с Кришной и им убитый.

Катила — легендарный мудрец, основатель философской школы санкхьи.

Каравира — олеандр, *Nerium odorum*.

Каранджа — дерево с цветами, похожими на ноготки, *Pongamia glabra*.

Карифа — колючий кустарник, *Sapparis aphylla*.

Каркандху — плодовое дерево юбуа, *Zizyphus jujuba*.

Карна — герой «Махабхараты», добрачный сын матери пандавов Кунти от бога солнца Сурьи, оказавшийся во враждебном своим братьям лагере и погибший от руки Арджуны в битве на поле Куру.

- Кар்த்தикея* — «сын Криттик», одно из имен бога Сканды.
- Кауравы* — «потомки <царя> Куру», сыновья царя Дхритараштры, антагонисты главных героев эпоса «Махабхараты».
- Каутилья* — мудрец, министр царя Чандрагупты Маурьи (рубеж IV—III вв. до н. э.), которому приписывается создание древнеиндийского трактата по искусству политики «Артхашастра».
- Каустубха* — драгоценный камень, добытый при пахтании океана и украшавший грудь Вишну.
- Кахлара* — белая лилия, *Nymphaea lotus*.
- Каша* — вид белых цветов, *Saccharum spontaneum*.
- Кашьяпа* — мифический мудрец, сын (или внук) Брахмы, прародитель многих родов богов, демонов и живых существ.
- Керала* — страна на юго-западе Индии.
- Кетак* — растение с остроконечными цветами, *Pandanus odoratissimus*.
- Кимпуруша* — область в Гималаях, где, согласно легенде, обитают киннары.
- Киндама* — мудрец-отшельник, проклявший, согласно «Махабхарате», царя Панду.
- Киннары* — мифические существа с телом человека и головою лошади, принадлежащие к окружению бога Куберы и живущие в Гималаях.
- Кираты* — дикие племена в предгорьях Гималаев.
- Краунча* — 1) гора в Гималаях, расколота стрелой бога Сканды;
2) демон, убитый Скандой.
- Краунча* — птица, вид кроншнепов.
- Криттика* — созвездие Плеяд, шесть звезд которого были, согласно мифу, кормилицами и воспитательницами бога Сканды (Кар்த்தикеи).
- Кришна* — воплощение (аватара) бога Вишну, герой «Махабхараты» и большого цикла индуистских мифов, верховный бог одного из течений индуизма — кришнаизма.

Кубера — бог богатства, хранитель Севера.

Кувала — вид ночных лотосов.

Кувалаптида — демон, принявший вид слона и убитый Кришной и Баларамой.

Кула — общее название шести или семи главных горных хребтов в Южной Индии: Махендра, Малая, Сахья, Шактиман, Рикша, Виндхья и Парипатра.

Кулуты — племя в Гималаях.

Кумафа — «юный», «дитя», имя Сканды.

Кумуда — разновидность лотосов.

Кунда — вид жасмина, *Jasminum multiflorum* или *pubescens*.

Кунджака — род лиан.

Кусумбха — шафран, *Crocus sativus*.

Кутаджа — растение с белыми цветами, *Wrightia antidysenterica*.

Куша, или *дарбха* — трава, почитаемая священной и используемая в религиозных церемониях, *Poa cynosuroides*.

Кхадира — вид акации, *Acacia catechu* или *Mimosa catechu*.

Кхандава — лес на правом берегу реки Ямуны (Джамны), описанный в «Махабхарате».

Кхара — ракшаса, младший брат Раваны, убитый Рамой.

Кшатри — второе по значению сословие (варна) индийского общества: воины, цари.

Лавали — название дерева, *Averrhoa acidula*.

Лаванга — гвоздичное дерево.

Лакучи — вид хлебного дерева, *Artocarpus lacucha*.

Лакшмана — герой «Рамаяны», брат и сподвижник Рамы.

Лакшми — богиня красоты и благополучия (в особенности царского счастья и славы), появившаяся на свет при пахтанье океана, супруга Вишну.

Ланка — столица царства Раваны в «Рамаяне»; остров, обычно идентифицируемый со Шри Ланкой (Цейлоном).

Линга — фаллос, символ Шивы; изображения линги особо почитаемы в Индии.

Лодхра — название дерева, *Symplocos racemosa*.

Лопамудра — жена мудреца Агастья.

Магадха — древняя страна на территории совр. Южного Бихара.

Мадана — одно из имен бога любви Камы.

Мадана — название некоторых видов деревьев: *Phascolus radiatus*, *Acacia catechu* и др.

Мадху — демон, убитый Кришной; см. Кайтабха.

Мадхусудана — «губитель Мадху», одно из имен Кришны.

Майнака — легендарная крылатая гора, скрывшаяся от Индры, когда он срезал горам крылья.

Макара — легендарное морское чудовище, иногда отождествляемое с дельфином; считается эмблемой бога любви Камы.

Макарадхаджа — «имеющий на знамени макару», одно из имен бога Камы.

Малати — вид жасмина, *Jasminum grandiflorum*.

Малая — горный хребет на юге Индии.

Мальва — название страны в центральной Индии.

Манаса — название озера в Гималаях.

Мандакини — небесная Ганга, а также название реки в «Рамаяне», протекавшей вблизи лесной обители Рамы и Сити.

Мандара — 1) легендарная гора, которую боги и асуры использовали при пахтанье океана в качестве мутовки;

2) коралловое дерево, одно из пяти чудесных деревьев небесного сада Нанданы.

Мандхатри — легендарный царь Солнечной династии, добившийся верховной власти над миром.

Манматха — одно из имен бога любви Камы.

Манорама — имя одной из апсар.

Мантра — ведийский гимн, ритуальная формула, заклинание.

Марича — демон-оборотень, принявший в «Рамаяне» облик

золотой антилопы и уведший Раму от его обители, дабы дать возможность Раване похитить Ситу.

Марут — одно из имен бога ветра Ваю.

Маруты — божества бури, ветра, грома и молнии.

Матали — колесничий Индры и его вестник.

Матаришван — одно из имен бога ветра Ваю.

Матхура — древний город на берегу Ямуны, почитавшийся местом рождения Кришны.

«*Махабхарата*» — древнеиндийский эпос о великой войне потомков царя Бхараты — пандавов и кауравов.

Махакала — «<господин> великого времени», одно из имен Шивы.

Махасена — «<господин> великого войска», одно из имен Сканды.

Махиша — демон-буйвол, убитый богиней Дургой.

Менака — апсара, мать Шакунталы.

Меру — мифическая гора, расположенная в северных Гималаях и считающаяся центром земли, резиденцией Индры и других богов.

Митра — ведийское божество, один из адитьев, выступающий в мифах в паре с Варуной в качестве правителя мира.

Молочный океан — один из семи мировых океанов, на котором покоится Вишну. Согласно одному из основных мифов индуизма, во время пахтанья Молочного океана богами и асурами из него появились на свет напиток бессмертия — амрита, боги Сома (месяц), Лакшми и Варуни, конь Уччайхшравас, камень Каустубха, яд калакута и некоторые иные существа и сокровища.

Мриттикавати — название древнего города.

Мула — семнадцатый (либо девятнадцатый) «лунный дом», или созвездие лунного зодиака.

Мунджа — вид осоки, *Saccharum sara*.

Муни — одна из дочерей Дакши, мать нескольких разрядов богов и гандхарвов.

Наги — мифические существа, демоны-змеи, населяющие подземные миры.

Нала — 1) царь нишадхов, герой одного из вставных сказаний «Махабхараты»;

2) обезьяна, герой «Рамаяны», строитель моста через океан на остров Ланку.

Нала — вид кустарника, *Amphidonax karka*.

Налина — разновидность лотоса или лилии, *Nelumbium speciosum*.

Намеру — название дерева, *Elaeocarpus ganitrus*.

Нандана — небесный сад Индры.

Нандин — бык, ездовое животное (вахана) Шивы.

Нафа — святой мудрец, сын Дхармы; вместе с Нараяной — парное воплощение Вишну.

Нарада — один из семи великих мудрецов (риши), часто выступающий в качестве посредника между богами и людьми.

Нарака — асура, похитивший сокровища богов и убитый Кришной.

Нарасинха, или Человек-лев — Вишну в его воплощении (аватаре) льва с головою человека, победитель царя демонов-дайтьев Хираньякашипу.

Нараяна — древнее божество, идентифицированное с Вишну-Кришной.

Нармада — священная река в южной Индии.

Нахуша — легендарный царь, занявший престол Индры на небе и сброшенный оттуда мудрецом Агастьей, после чего он превратился в змею.

Нила — вождь обезьян, союзник Рамы в «Рамаяне».

Нила — дерево с темными листьями, *Indigofera tinctoria*.

Ничула — название дерева, *Barringtonia acutangula*.

Нишады — коллективное именование североиндийских аборигенных племен.

Палаша — дерево с зубчатыми листьями и красными цветами, *Butea frondosa*.

Пампа — озеро в южной Индии.

Пандавы — главные герои «Махабхараты», пять сыновей царя Панду: Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева.

Панду — царь Хастинапуры, отец пяти братьев-пандавов.

Панчаватй — лесная местность у истоков реки Годавари, где Рама провел годы изгнания.

Парашара — ведийский мудрец, отец Вьясы, легендарного творца «Махабхараты».

Парашурама — «Рама с топором», сын подвижника Джамадагни, шестое воплощение (аватара) Вишну; непримиримый враг и губитель кшатриев.

Парвати — «горянка», дочь царя гор Химавана и супруга Шивы.

Париджата — коралловое дерево, добытое при пахтанье океана и ставшее одним из пяти чудесных деревьев в небесном саду Индры.

Парикшит — сын Абхиманью и внук Арджуны, ставший царем в столице пандавов Хастинапуре.

Пашупати — «владыка тварей», одно из имен Шивы.

Пиппала — иное название священного дерева ашваттхи.

Пишачи — злые демоны, пожиратели трупов.

Поле Куру, или Курукшетра — священная земля между реками Сарасвати и Дришадвати, на которой произошла великая битва «Махабхараты».

Праджапати — «владыка живых существ», бог-творец, в индуизме — одно из имен Брахмы; также коллективное имя десяти святых мудрецов — прародителей всего сущего.

Прамадвара — дочь мудреца Стхулакеши и апсары Менаки, супруга Руру.

Праматхи — внук Бхригу и отец Руру.

Праматхи — разряд полубожеств из свиты Шивы.

Притха, или Кунти — супруга царя Панду и мать трех пандавов в «Махабхарате»: Юдхиштхиры, Бхимы и Арджуны.

Притху — легендарный царь Солнечной династии, владыка мира.

Приянгу — разновидность лиан, *Sinapis gamosa* или *Panicum Italicum*.

Пураны — «<сказания> о древности», комплекс индуистских мифолого-религиозных текстов; насчитывается восемнадцать основных пуран.

Пуру — один из царей Лунной династии.

Пуруравас — легендарный царь Лунной династии, супруг апсары Урваши.

Пурушоттама — букв. «лучший из людей», «высший дух», один из эпитетов Вишну.

Равана — десятиголовый царь ракшасов, владыка Ланки, главный антагонист Рамы в «Рамаяне».

Раджас — одна из трех гун, активное начало в природе, страсть, энергия.

Раджасуя — «царское жертвоприношение», совершавшееся при коронации царя и знаменующее его власть над миром.

Радха — 1) пастушка, возлюбленная Кришны, иногда рассматривается как инкарнация Лакшми;

2) приемная мать Карны, героя «Махабхараты».

Ракшасы — злые духи, демоны, враждебные людям.

Рама — воплощение (аватара) Вишну, главный герой «Рамаяны», сын царя Айодхьи Дашаратхи и супруг Ситы.

«*Рамаяна*» — древнеиндийский эпос, посвященный деяниям Рамы и его борьбе с Раваной.

Рамбха — апсара, почитаемая воплощением женской красоты.

Раса — «вкус», эстетическая эмоция; древнеиндийская поэтика указывает восемь рас: любви (шрингара), смеха (хасья), скорби (каруна), гнева (раудра), мужества (вира), страха (бхаянака), отвращения (бихатса) и удивления (адбхута).

Рати — супруга бога любви Камы.

Раху — восьмая планета индийской астрономии; в мифологии — демон, чье туловище было отсечено Вишну, а голова блуждала по небу и время от времени заглатывала луну или солнце, вызывая их затмения.

Ренука — жена мудреца Джамадагни и мать Парашурамы.

«*Ригведа*» — древнейшее собрание священных ведийских гимнов.

Рити — один из божественных помощников Шивы.

Риши — святые мудрецы, провидцы; среди нескольких рядов риши особенно чтимы семь божественных мудрецов: Готама, Бхарадваджа, Вишвамитра, Джамадагни, Васиштха, Кашьяпа, Атри (в различных текстах имена «семи риши» варьируются).

Ришьямука — гора в южной Индии недалеко от озера Пампы.

Ришьяшринга — легендарный подвижник, сын Вибхандаки; Ришьяшринга, согласно «Рамаяне», совершил жертвоприношение для царя Дашаратхи, вследствие которого родился Рама.

Рохини — название нескольких деревьев: *Hilleborus niger*, *Asacia Arabica*, *Gmelina arborea* и др.

Рохини — дочь Дакши, любимая жена бога луны Сомы, отождествляется с четвертым созвездием лунного зодиака.

Рохитака — дерево, *Andersonia rohitaka*.

Рудра — «ревун», ведийский бог, впоследствии идентифицированный с Шивой.

Руру — брахман, герой одного из сказаний «Махабхараты», отдавший половину собственной жизни ради жизни своей жены Прамадвары.

Савитар — «порождающий», одно из имен бога солнца Сурьи.

Сагара — мифический царь Солнечной династии.

Садхьи — разряд низших богов, живущих на небе и в воздухе.

Сала — название дерева, *Vatica robusta*.

Саллаки — название дерева, *Boswellia thurifera*.

Самаведа — один из четырех сборников ведийских гимнов.

Сандипани — наставник Кришны, сына которого Кришна вывел из царства бога смерти Ямы.

Сансара — совокупность существований, бесконечная цепь рождений и смертей; одно из основных понятий индуизма и буддизма.

Сапчачада, или семилиственница — название дерева, *Alstonia scholaris* или *Mimosa pudica*.

Сарала — вид хвойного дерева, *Pinus longifolia*.

Сарасвати — богиня мудрости и красноречия; почитается как дочь или супруга Брахмы.

Сарика — птица из семейства скворцов, *Turdus salica*.

Саттва — одна из трех гун, благое начало в природе, легкость, чистота, умиротворенность.

Сваямвара — «собственный выбор», свадебный обряд, при котором невеста сама выбирает себе жениха.

Северная Кура, или Уттаракуру — мифическая страна за Гималаями.

Сиддхи — разряд полубожеств, обладающих духовным совершенством.

Синдхува — название дерева, *Vitex negunda*.

Синхала — остров Ланка (Цейлон).

Сита — 1) богиня пашни и земледелия в ведах;

2) царевна Видехи, жена Рамы, главная героиня «Рамаяны».

Сканда — сын Шивы, военачальник богов.

Сома — бог луны; по одним мифам появился на свет при пахтанье океана богами и асурами, по другим — сын Дхармы или риши Атри.

Сома — название основного в ведийском ритуале растения и сока этого растения; иногда отождествляется с богом Сомой.

Стхулакеша — легендарный мудрец, отец Прамадвары.

Стхулашифас — древний мудрец, упоминаемый в «Махабхарате».

Суварнапура — мифический «золотой город».

Сугрива — царь обезьян и союзник Рамы в «Рамаяне».

Сумати — советник царя Налы.

Супарна — «прекраснокрылый», одно из имен Гаруды.

Сурья — 1) бог солнца;

2) дочь (или жена) бога солнца Савитара.

Сушумна — «благодетельный», имя одного из семи главных лучей солнца.

Тала — вид пальмового дерева, *Borassus flabelliformis*.

Тамала — дерево с черной корой и листьями, разновидность акации, *Xantochymus pictoris*.

Тамас — одна из трех гун, инерционное начало, тяжесть, темнота, косность.

Тамбули — вид кустарника, бетель.

Тара — 1) жена Брихаспати, похищенная Сомой, мать Будхи;

2) жена героев «Рамаяны» обезьян Балина и Сугривы.

Тилака — круглое пятно на лбу, наносимое краской, сандалом, пастой и служащее украшением либо знаком секты или касты.

Тилака — название дерева, *Clerodendrum phlomoides*.

Тилоттама — апсара, созданная зодчим богов Вишвакарманом.

Тримурти — триада верховных богов индуизма: Брахма, Вишну и Шива.

Трипура — «тройной город», мифический город асуров, сожженный Шивой.

Тришанку — благочестивый царь, вознесшийся на небо, но свергнутый оттуда Индрой и ставший созвездием.

Тумбуру — один из царей гандхарвов, обращенный в ракшасу и избавленный от этого состояния Рамой.

- Удая** — мифическая гора, из-за которой восходит солнце.
- Удаяна** — легендарный царь Лунной династии, супруг Васа-вадатты, герой многих индийских сказаний.
- Удджайини** — главный город Мальвы, один из семи священных городов древней Индии, совр. Удджайн.
- Улупи** — царевна нагов, одна из жен Арджуны и приемная мать его сына Бабхруваханы.
- Ума** — супруга Шивы, имеющая много имен и ипостасей.
- Урваши** — апсара, жена царя Лунной династии Пурура-васа.
- Уттара** — дочь царя Вираты и жена Абхиманью.
- Уччайхшравас** — белый конь Индры, добытый богами при пахтанье океана.
- Ханса** — царь гандхарвов, сын дочери Дакши Аришты.
- Хануман** — вождь обезьян, сын бога ветра Ваю, главный союзник Рамы в «Рамаяне».
- Хара** — «разрушитель», одно из имен Шивы.
- Хари** — возм. «устранитель <зла>», одно из имен Вишну-Кришны.
- Хариванша** — «родословная Хари», эпическая поэма, считающаяся приложением к «Махабхарате».
- Харита**, или харитала — разновидность голубя с зеленоватым оперением, *Columba hurrigala*.
- Хемакута** — гора в Гималаях, столица царства гандхарвов.
- Хидимба** — женщина-ракшаса, мать Гхатоткачи, сына Бхимы.
- Хинтала** — финиковое дерево, *Phoenix* или *Elate paludosa*.
- Хираньягарбха** — «золотой зародыш» или «золотое яйцо», из которого Брахма сотворил небо и землю; иногда идентифицируется с самим Брахмой-Пруджапати.
- Хираньякашипу** — царь демонов-дайтьев, убитый Вишну в его аватаре Человека-льва.
- Хираньякша** — демон, утопивший землю в океане; Вишну в аватаре Вепря поднял землю на своих клыках и убил Хираньякшу.

Чакора — черная куропатка, питающаяся, согласно легендарному преданию, лунным светом, *Perdix rufa*.

Чакра — метательный диск, оружие Вишну.

Чакравака — птица из отряда утиных, *Anas casarca*.

Чандакаушики — жрец царя Брихадратхи, отца Джарасандхи.

Чандика, или **Чанди** — «яростная», имя богини — супруги Шивы в одной из грозных ее ипостасей.

Чатака — птица из семейства кукушек, питающаяся, согласно легендам, каплями дождя, *Cuculus melano-leucus*.

Человек-лев — см. Нарасинха.

Читраватха — царь гандхарвов, сын Муни.

Читрасена — царь гандхарвов, друг Арджуны в «Махабхарате».

Чъявана — легендарный мудрец, сын Бхригу, дед Рुरु.

Шайвала — водяное растение, *Vallisneria octandra*.

Шакуни — дядя братьев-кауров в «Махабхарате», неприимый враг пандавов.

Шалака, или **шала** — большое тиковое дерево, *Vatica robusta*.

Шалаки — название дерева, *Boswellia thurifera*.

Шалмали — шелковичное дерево, *Bombax heptaphyllum* или *Salmalia malabarica*.

Шамбала, или **Шамбара** — демон, персонифицирующий засуху; иногда отождествляется с Вритрой.

Шанкара — «благотворный», имя-эпитет Шивы.

Шантану — царь Лунной династии, предок героев «Махабхараты».

Шастры — древние религиозно-философские трактаты, а также трактаты по иным отраслям знания.

Шатадханван — легендарный царь из рода ядавов.

Шветакету — древний мудрец, один из персонажей ведийской литературы.

Шепхалика — название дерева, *Vetex negundo*.

Шеша — мифический тысячеголовый змей, на котором возлежит Вишну и который служит опорой земли.

Шива — один из трех верховных богов индуистского пантеона, бог — разрушитель мира.

Шириша — вид акации, *Acacia sirissa*.

Шри — «красота», «богатство», одно из имен Лакшми, супруги Вишну.

Шри — именование деревьев ашваттха и билва.

Шрипарвата — легендарная гора в южной Индии, на которой совершала аскезу богиня Лакшми.

Шрипхала — разновидность дикой яблони, билва, *Aegle marmelos*.

Шудрака — легендарный царь многих индийских сказаний.

Шукра — сын Бхригу, жрец асуров-дайтьев, правитель планеты Венера.

Шура — отец Притхи (Кунти), царь Матхуры.

Экалавья — царевич из племени нишадов, искусный стрелок из лука и соперник Арджуны в «Махабхарате».

Экачкара — город в «Махабхарате», где некоторое время жили пандавы во время изгнания, совр. Чакарнагар.

Юга — в индийской космографии период мировой истории. Древняя традиция насчитывает четыре последовательно сменяющие друг друга юги: крита (Золотой век), трета, двапара и кали (Железный век), вместе составляющие одну махаюгу («большую югу»), которая длится 4 320 000 лет. Тысяча махаюг составляет, в свою очередь, одну кальпу (см.).

Юдхитхира — герой «Махабхараты», старший из пяти братьев-пандавов.

Ядавы — древнее племя, к которому принадлежал Кришна.

Яджурведа — один из четырех сборников ведийских гимнов, веда жертвенных формул.

Якши (ж.р. якшини) — полубожественные существа из свиты бога Куберы.

Яма — бог смерти, владыка подземного царства, хранитель одной из сторон света (юга).

Ямуна — одна из крупных рек Индии (совр. Джамна), берущая начало в Гималаях и впадающая в Ганг у Аллахабада; в мифологии персонифицируется как дочь бога солнца Сурьи от его жены Санджни.

Яяти — царь Лунной династии, отец Пуру.

СОДЕРЖАНИЕ

Бана. КАДАМБАРИ. <i>Перевод П. А. Гринцера</i>	5
Дополнение. Продолжение «Кадамбари», сочиненное Бхушаной, сыном Баны. <i>Краткое изложение П. А. Гринцера</i>	355

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>П. А. Гринцер</i> . «Кадамбари» Баны и поэтика санскритского романа	369
Список сокращений	610
Примечания (<i>сост. П. А. Гринцер</i>)	612
Словарь имен, названий и терминов (<i>сост. П. А. Гринцер</i>)	640

Бана

Кадамбари. / Изд. подгот. П. А. Гринцер.— М.: Ладомир, Наука, 1995.— 664 с.— (Серия «Литературные памятники»)

ISBN 5-86218-221-7

«Кадамбари» Баны (VII в. н. э.) — выдающийся памятник древнеиндийской литературы, признаваемый в индийской традиции лучшим произведением санскритской прозы. Роман переведен на русский язык впервые. К переводу приложена статья, в которой подробно рассмотрены история санскритского романа, его специфика и место в мировой литературе, а также принципы санскритской поэтики, дающие ключ к адекватному пониманию и оценке содержания и стилистики «Кадамбари».

Бана
КАДАМБАРИ

*Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии
«Литературные памятники»*

Редактор
С. Н. Согласнова

Художественный редактор
Е. В. Гаврилин

Технический редактор
И. И. Володина

Корректоры
Г. Н. Володина, О. Г. Наренкова

ЛР № 063160 от 14.12.93 г.
Сдано в набор 18.01.96. Подписано в печать 24.02.97.
Формат 70×90¹/₃₂. Гарнитура «Баскервиль».
Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 21,00.
Усл. печ. л. 24,57. Тираж 3000 экз. Зак. №3584

Научно-издательский центр «Ладомир»
103617, Москва, К-617, кор. 1435

ПО «Полиграфист», 160001, г. Вологда,
ул. Челюскинцев, 3



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На складе издательства имеются остатки тиражей следующих книг серии «Литературные памятники»:

АПОЛОДОР. *МИФОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА.* (216 с., 12 000 р.)

М. А. ЛУКАН. *ФАРСАЛИЯ.* (350 с., 14 000 р.)

АРТХАШАСТРА. (796 с., 29 000 р.)

ДИГЕНИС АКРИТ. (220 с., 16 000 р.)

Ж. ЖАНЕН. *МЕРТВЫЙ ОСЕЛ И ГИЛЬОТИНИРОВАННАЯ ЖЕНЩИНА.* (368 с., 20 000 р.)

КСЕНОФОНТ. *КИРОПЕДИЯ.* (334 с., 22 000 р.)

ДИГЕНИС АКРИТ. (220 с., 16 000 р.)

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЛЮБОВНАЯ ПРОЗА. (316 с., 14 000 р.)

ПОПОЛЬ-ВУХ. *РОДОСЛОВНАЯ ВЛАДЫК ТОТНИКОПАНА.* (252 с., 16 000 р.)

Х. К. АНДЕРСЕН. *СКАЗКИ. ИСТОРИИ. НОВЫЕ СКАЗКИ.* (740 с., 42 000 р.)

Для получения этих и других книг «Ладомира» почтой заказы направляйте по адресу:

103617, Москва, Зеленоград, кор. 1435,
НИЦ «Ладомир»

Цены указаны без стоимости доставки
и упаковки.




Планируется к изданию

КАРДИНАЛ ДЕ РЕЦ

МЕМУАРЫ

Этому памятнику французской литературы XVII века, несмотря на обширный объем, суждено стать бестселлером. Им будут зачитываться как любители исторических романов, так и любители мемуарной литературы. В книге Реца (1613 — 1679) есть все: парламентские дебаты, гражданская война, психологические портреты современников (Ришельё, Мазарини, Анны Австрийской, Ларошфуко и многих других), философские и политические размышления, отливающиеся в афоризмы, любовные приключения, придворные интриги, авантюрные страницы. Недаром эти мемуары послужили одним из основных источников романов Александра Дюма о XVII веке (роман «Двадцать лет спустя» фактически построен на книге Реца, да и сам Рец выступает в нем как один из героев). Поль де Гонди, кардинал де Рец, — личность ярчайшая. Потомок итальянцев, обосновавшихся во Франции еще в XVI веке, Поль де Гонди, как младший сын в семье, был предназначен церкви. Человек земных страстей, честолюбец и любитель женщин, он приложил все силы, чтобы избежать сутаны. Когда же его попытки сорвались, он решил сделать карьеру на духовном поприще. Став коадьютором (т. е. заместителем парижского архиепископа), он снискал огромную популярность в народе. Она пригодилась, когда ход истории вернул его к мирским



делам. В эпоху Реца события развивались бурно: умер Ришельё, за ним Людовик XIII. Королем Франции стал малолетний Людовик XIV, а регентшей — его мать Анна Австрийская. Но настоящим правителем страны был непопулярный у французов итальянец Мазарини, против которого и всесилия королевской власти поднялся сначала парламент, потом крупные феодалы. В стране началась гражданская война, знаменитая Фронда. Активный ее участник, Рец проявил себя дипломатом и интриганом, политиком и авантюристом, демагогом и смельчаком, что во всей полноте отразилось в его мемуарах. Чем кончилась политическая карьера Реца и как завершилась его бурная жизнь, приведшая его в Ватикан и ввергнувшая в борьбу за избрание папы, читатель узнает, ознакомившись с предлагаемой книгой. После долгих лет изгнания Рецу было разрешено возвратиться во Францию, однако жить ему пришлось вдали от двора. В опале и уединении Рец и создал свои «Мемуары». И если в политике этот человек оказался побежденным, то он навсегда вписал свое имя в литературу. Судьба «Мемуаров» не проста: они были напечатаны много лет спустя после смерти автора и притом за границей. В последующие десятилетия и века «Мемуары» выдержали множество изданий, во Франции; они переведены на основные языки. В России их неполный текст был издан лишь однажды, в царствование Екатерины Великой. Полный перевод на русский язык этого интереснейшего литературного памятника появляется впервые.



Планируется к изданию

Т. ДЕ КВИНСИ

***ИСПОВЕДЬ АНГЛИЧАНИНА,
ЛЮБИТЕЛЯ ОПИУМА***

Опиум, пришедший с таинственного и притягательного Востока, был окружен в XIX веке ореолом чудодейственного зелья. В медицине он использовался в качестве единственного тогда эффективного болеутоляющего средства, а в литературе служил способом мотивации всевозможных «чудес». Де Квинси эту легендарность одновременно разрушил и упрочил, потому что, пожалуй, со времен «Робинзона Крузо» не было в английской литературе произведения с оттенком необычайности, которому бы столь послушно доверялись читатели. «Исповедь» (1822) начинается воспоминаниями о юности де Квинси. Он рассказыва-



ет о бегстве из школы, о скитальческой жизни в Уэльсе и Лондоне. Нужда и лишения, расшатав здоровье автора и подорвав его душевные силы, способствовали, по его мнению, началу его болезни — опиомании. Затем воспоминания оттесняются наркотическими видениями и сами порою приобретают фантастический оттенок. «Дитя, видевшее ад», — так охарактеризовал де Квинси Т. Карлейль, познакомившийся с ним в его преклонных годах и поразившийся его физической миниатюрности, хрупкости в сочетании с размахом ума, силой духа. «Исповедь» оказала влияние на Э. По, Ш. Бодлера, Ж. К. Гюисманса, русских декадентов. В «Приложении» будут опубликованы этюд де Квинси «Убийство, как один из видов изящных искусств» и ряд его других сочинений.



Планируется к изданию

А. РАДКЛИФ *ИТАЛЬЯНЕЦ*

Первое на русском языке научное издание одного из лучших романов Анны Радклиф (1764 — 1823) — английской писательницы, с именем которой собственно и связывается расцвет «готического» романа. Радклиф мастерски создавала атмосферу «ужасного» и «таинственного», подчиняя ей сюжет и даже пейзаж; непременными персонажами романов писательницы являются, помимо молодых героев, злая тетка-интриганка, мрачный злодей, разбойники и монахи, а основными мотивами — необычные путешествия, загадки рождения, неожиданное наследство, а также целая серия тайн (таинственные звуки, вещие сны, предзнаменования и пр.)

